ЖУКОВСКИЙ





Библиотека поэта

Основана М. Горьким

Ленинград · Советский писатель · 1940

В. А. ЖУКОВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

РЕДАКЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

Ц. ВОЛЬПЕ

ТОМ II

ЛЕНИНГРАД · СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · 1940

Ж-86

ПОВЕСТИ

ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК

За́мок Шильон — в котором с 1530 по 1537 заключен был знаменитый Бонивар, женевский гражданин, мученик веры и патриотизма — находится между Клараном и Вильневом, у самых восточных берегов Женевского озера (Лемана). Из окон его видны, с одной стороны, устье Роны, долина, ведущая к Сен-Морицу и Мартиньи, снежные Валлизские горы и высокие утесы Мельери; а с другой — Монтре, Шателар, Кларан, Веве, множество деревень и замков; пред ним расстилается необъятная равнина вод, ограниченная в отдалении низкими, голубыми берегами, на которых, как светлые точки, сияют Лозанна, Морж, Сен-Пре и Ролль; а позади его падает с холма шумный поток. Он со всех сторон окружен озером, которого глубина в этом месте простирается до 800 французских футов. Можно подумать что он выходит из воды, ибо совсем не видно утеса, служащего ему основанием: где кончится поверхность озера, там начинаются крепкие стены замка. Темница, в которой страдал несчастный Бонивар, до половины выдолблена в гранитном утесе: своды ее, поддерживаемые семью колоннами, опираются на дикую, необтесанную скалу: на одной из колонн висит еще то кольцо, к которому была прикреплена цепь Бониварова; а на полу, у подошвы той же колонны, заметна впадина, вытоптанная ногами несчастного узника, который столько времени принужден был ходить на цепи своей всё по одному месту. Неподалеку от устья Роны, вливающейся в Женевское озеро, недалеко от Вильнева, находится небольшой островок, единственный на всем пространстве Лемана; он неприметен, когда плывешь по озеру, но его можно легко различить из окон замка.

I

Взгляните на меня: я сед;
Но не от хилости и лет;
Не страх незапный в ночь одну
До срока дал мне седину.
Я сгорблен, лоб наморщен мой;
Но не труды, не хлад, не зной —
Тюрьма разрушила меня.
Лишенный сладостного дня,
Дыша без воздуха, в цепях,
Я медленно дряхлел и чах,
И жизнь казалась без конца.

Удел несчастного отца:
За веру смерть и стыд цепей,
Уделом стал и сыновей.
Нас было шесть — пяти уж нет.
Отец, страдалец с юных лет,
Погибший старцем на костре,
Два брата, падшие во пре,
Отдав на жертву честь и кровь,
Спасли души своей любовь.
Три заживо схоронены
На дне тюремной глубины —
И двух сожрала глубина;
Лишь я, развалина одна,
Себе на горе уцелел,
Чтоб их оплакивать удел.

II

На лоне вод стоит Шильон;
Там в подземелье семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брежжет свет,
Луч, ненароком с вышины
Упавший в трещину стены
И заронившийся во мглу.
И на сыром тюрьмы полу
Он светит тускло-одинок,
Как над болотом огонёк,
Во мраке веющий ночном.
Колонна каждая с кольцом;
И цепи в кольцах тех висят;
И тех цепей железо — яд;
Мне в члены вгрызлося оно;
Не будет век истреблено
Клеймо, надавленное им.
И день тяжел глазам моим,
Отвыкнувшим с толь давних лет
Глядеть на радующий свет;
И к воле я душой остыл
С тех пор, как брат последний был
Убит неволей предо мной,
И рядом с мертвым я, живой,
Терзался на полу тюрьмы.

III

Цепями теми были мы
К колоннам тем пригвождены,
Хоть вместе, но разлучены;
Мы шагу не могли ступить,
В глаза друг друга различить
Нам бледный мрак тюрьмы мешал.
Он нам лицо чужое дал —
И брат стал брату незнаком.
Была услада нам в одном:
Друг другу голос подавать,
Друг другу сердце пробуждать
Иль былью славной старины,
Иль звучной песнию войны —
Но скоро то же и одно
Во мгле тюрьмы истощено;
Наш голос страшно одичал;
Он хриплым отголоском стал
Глухой тюремныя стены;
Он не был звуком старины,
В те дни, подобно нам самим,
Могучим, вольным и живым.
Мечта ль?.. но голос их и мой
Всегда звучал мне, как чужой.

IV

Из нас троих я старший был;
Я жребий собственный забыл,
Дыша заботою одной,
Чтоб им не дать упасть душой.
Наш младший брат, любовь отца...
Увы! черты его лица
И глаз умильная краса,
Лазоревых как небеса,
Напоминали нашу мать.
Он был мне всё, и увядать
При мне был должен милый цвет,
Прекрасный, как тот дневный свет,
Который с неба мне светил,
В котором я на воле жил.
Как утро, был он чист и жив:
Умом младенчески-игрив,

Беспечно-весел сам с собой...
Но перед горестью чужой
Из голубых его очей
Бежали слезы как ручей.

V

Другой был столь же чист душой;
Но дух имел он боевой:
Могуч и крепок в цвете лет,
Рад вызвать к битве целый свет,
И в первый ряд на смерть готов...
Но без терпенья для оков.
И он от звука их завял.
Я чувствовал, как погибал,
Как медленно в печали гас
Наш брат, незримый нам, близ нас.
Он был стрелок, жилец холмов,
Гонитель вепрей и волков —
И гроб тюрьма ему была;
Неволи сила не снесла.

VI

Шильон Леманом окружён:
И вод его со всех сторон
Неизмерима глубина;
В двойную волны и стена
Тюрьму совокупились там;
Печальный свод, который нам
Могилой заживо служил,
Изрыт в скале подводной был;
И день и ночь была слышна
В него биющая волна
И шум над нашей головой
Струй, отшибаемых стеной.
Случалось — бурей до окна
Бывала взброшена волна,
И брызгов дождь нас окроплял;
Случалось — вихорь бушевал,
И содрогалася скала;
И с жадностью душа ждала,
Что рухнет и задавит нас;
Свободой был бы смертный час.

VII

Середний брат наш — я сказал —
Душой скорбел и увядал.
Уныл, угрюм, ожесточён,
От пищи отказался он:
Еда тюремная жестка;
Но для могучего стрелка
Нужду переносить легко.
Нам коз Альпийских молоко
Сменила смрадная вода;
А хлеб наш был, какой всегда —
С тех пор, как цепи созданы —
Слезами смачивать должны
Невольники в своих цепях.
Не от нужды скорбел и чах
Мой брат: равно завял бы он,
Когда б и негой окружён
Без воли был... зачем молчать?
Он умер... я ж ему подать
Руки не мог в последний час,
Не мог закрыть потухших глаз;
Вотще я цепи грыз и рвал —
Со мною рядом умирал
И умер брат мой, одинок;
Я близко был и был далёк.
Я слышать мог, как он дышал,
Как он дышать переставал,
Как вздрагивал в цепях своих
И как ужасно вдруг затих
Во глубине тюремной мглы...
Они, сняв с трупа кандалы,
Его без гроба погребли
В холодном лоне той земли,
На коей он невольник был.
Вотще я их в слезах молил,
Чтоб брату там могилу дать,
Где мог бы дневный луч сиять;
То мысль безумная была,
Но душу мне она зажгла:
Чтоб волен был хоть в гробе он.
«В темнице (мнил я) мертвых сон
Не тих...» Но был ответ слезам

Холодный смех; и брат мой там
В сырой земле тюрьмы зарыт,
И в головах его висит
Пук им оставленных цепей:
Убийц достойный мавзолей.

VIII

Но он — наш милый, лучший цвет,
Наш ангел с колыбельных лет,
Сокровище семьи родной,
Он — образ матери душой
И чистой прелестью лица,
Мечта любимая отца,
Он — для кого я жизнь щадил:
Чтоб он бодрей в неволе был,
Чтоб после мог и волен быть...
Увы! он долго мог сносить
С младенческою тишиной,
С терпеньем ясным жребий свой;
Не я ему — он для меня
Подпорой был... вдруг день от дня
Стал упадать, ослабевал,
Грустил, молчал и молча вял.
О боже! боже! страшно зреть,
Как силится преодолеть
Смерть человека... я видал,
Как ратник в битве погибал;
Я видел, как пловец тонул
С доской, к которой он прильнул
С надеждой гибнущей своей;
Я зрел, как издыхал злодей
С свирепой дикостью в чертах,
С богохульеньем на устах,
Пока их смерть не заперла:
Но *там* был страх — *здесь* скорбь была,
Болезнь глубокая души.
Смиренным ангелом, в тиши,
Он гас, столь кротко-молчалив,
Столь безнадежно-терпелив,
Столь грустно-томен, нежно-тих,

Без слез, лишь помня о своих
И обо мне... увы! он гас,
Как радуга, пленяя нас,
Прекрасно гаснет в небесах;
Ни вздоха скорби на устах;
Ни ропота на жребий свой;
Лишь слово изредка со мной
О наших прошлых временах,
О лучших будущего днях,
О упованьи... но, объят
Сей тратой, горшею из трат,
Я был в свирепом забытьи.
Вотще, кончаясь, он свои
Терзанья смертные скрывал...
Вдруг реже, трепетнее стал
Дышать, и вдруг умолкнул он...
Молчаньем страшным пробуждён,
Я вслушиваюсь... тишина!
Кричу, как бешеный... стена
Откликнулась... и умер гул!
Я цепь отчаянно рванул
И вырвал... к брату... брата нет!
Он на столбе — как вешний цвет,
Убитый хладом — предо мной
Висел с поникшей головой.
Я руку тихую поднял;
Я чувствовал, как исчезал
В ней след последней теплоты;
И, мнилось, были отняты
Все силы у души моей;
Всё страшно вдруг сперлося в ней;
Я дико по тюрьме бродил —
Но в ней покой ужасный был;
Лишь веял от стены сырой
Какой-то холод гробовой;
И, взор на мертвого вперив,
Я знал лишь смутно, что я жив.
О! сколько муки в знаньи том,
Когда мы тут же узнаём,
Что милому уже не быть.
И миг сей мог я пережить!
Не знаю — вера ль то была
Иль хладность к жизни жизнь спасла?

IX

Но что потом сбылось со мной,
Не помню... свет казался тьмой,
Тьма светом; воздух исчезал;
В оцепенении стоял,
Без памяти, без бытия,
Меж камней хладным камнем я;
И виделось, как в тяжком сне,
Всё бледным, темным, тусклым мне;
Всё в мутную слилося тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой.

X

Вдруг луч незапный посетил
Мой ум... то голос птички был.
Он умолкал; он снова пел;
И мнилось с неба он летел;
И был утешно-сладок он.
Им очарован, оживлён,
Заслушавшись, забылся я;
Но не надолго... мысль моя
Стезей привычною пошла;
И я очнулся... и была
Опять передо мной тюрьма,
Молчанье то же, та же тьма;
Как прежде, бледною струёй
Прокрадывался луч дневной

В стенную скважину ко мне...
Но там же, в свете, на стене
И мой певец воздушный был;
Он трепетал, он шевелил
Своим лазоревым крылом;
Он озарен был ясным днём;
Он пел приветно надо мной...
Как много было в песни той!
И всё то было про меня!
Ни разу до того я дня
Ему подобного не зрел;
Как я, казалось, он скорбел
О брате, и покинут был;
И он с любовью навестил
Меня тогда, как ни одним
Уж сердцем не был я любим;
И в сладость песнь его была:
Душа невольно ожила.
Но кто ж он сам был, мой певец?
Свободный ли небес жилец?
Или недавно из цепей,
По случаю к тюрьме моей,
Играя в небе, залетел
И о свободе мне пропел?
Скажу ль?.. Мне думалось порой,
Что у меня был не земной,
А райский гость; что братний дух
Порадовать мой взор и слух
Примчался птичкою с небес...
Но утешитель вдруг исчез;
Он улетел в сиянье дня...
Нет, нет, то не был брат... меня
Покинуть так не мог бы он,
Чтоб я, с ним дважды разлучён,
Остался вдвое одинок,
Как труп меж гробовых досок.

XI

Вдруг новое в судьбе моей:
К душе тюремных сторожей
Как будто жалость путь нашла;
Дотоле их душа была

Бесчувственней железъ моихъ;
И что разжалобило ихъ,
Что милость вымолило мне,
Не знаю... но опять къ стене
Уже прикованъ не былъ я;
Оборванная цепь моя
На шее билася моей;
И по тюрьме я вместе съ ней
Вдоль стенъ, кругомъ столбовъ бродилъ,
Не смея братнихъ лишь могилъ
Дотронуться моей ногой,
Чтобы последния земной
Святыни тамъ не оскорбить.

XII

И мне оковами прорыть
Ступени удалось въ стене;
Но воля не входила мне
И въ мысли... я былъ сирота,
Миръ сталъ чужой мне, жизнь пуста,
Съ тюрьмой я жизнь сдружилъ мою:
Въ тюрьме я всю свою семью
Всё, что знавалъ, всё, что любилъ,
Невозвратимо схоронилъ,
И въ области веселой дня
Никто ужъ не жилъ для меня;
Безъ места на пиру земномъ,
Я былъ бы лишний гость на нёмъ,
Какъ облако, при ясномъ дне
Потерянное въ вышине
И въ радостныхъ его лучахъ
Ненужное на небесахъ...
Но мне хотелось бросить взоръ
На красоту знакомыхъ горъ,
На ихъ утесы, ихъ леса,
На близкие къ нимъ небеса.

XIII

Я ихъ увиделъ — и оне
Все были те ж: на вышине
Вековъ создание — снега,
Подъ ними Альпы и луга,

И бездна озера у ног,
И Роны блещущий поток
Между зеленых берегов;
И слышен был мне шум ручьёв,
Бегущих, бьющих по скалам;
И по лазоревым водам
Сверкали ясны облака;
И быстрый парус челнока
Между небес и вод летел;
И хижины веселых сел,
И кровы светлых городов
Сквозь пар мелькали вдоль брегов...
И я приметил островок:
Прекрасен, свеж, но одинок
В пространстве был он голубом;
Цвели три дерева на нём;
И горный воздух веял там
По мураве и по цветам,
И воды были там живей,
И обвивалися нежней
Кругом родных брегов оне.
И видел я: к моей стене
Челнок с пловцами приставал,
Гостил у брега, отплывал
И, при свободном ветерке
Летя, скрывался вдалеке;
И в облаках орел играл,
И никогда я не видал
Его столь быстрым — то к окну
Спускался он, то в вышину
Взлетал — за ним душа рвалась;
И слезы новые из глаз
Пошли, и новая печаль
Мне сжала грудь... мне стало жаль
Моих покинутых цепей.
Когда ж на дно тюрьмы моей
Опять сойти я должен был —
Меня, казалось, обхватил
Холодный гроб, казалось, вновь
Моя последняя любовь,
Мой милый брат передо мной
Был взят несытою землёй;
Но как ни тяжко ныла грудь —

Чтоб от страданья отдохнуть,
Мне мрак тюрьмы отрадой был.

XIV

День приходил — день уходил —
Шли годы — я их не считал;
Я, мнилось, память потерял
О переменах на земли.
И люди наконец пришли
Мне волю бедную отдать.
За что и как? О том узнать
И не помыслил я — давно
Считать привык я заодно:
Без цепи ль я, в цепи ль я был,
Я безнадежность полюбил;
И им я холодно внимал,
И равнодушно цепь скидал,
И подземелье стало вдруг
Мне милой кровлей... там всё друг,
Всё однодомец было мой:
Паук темничный надо мной
Там мирно ткал в моем окне;
За резвой мышью при луне
Я там подсматривать любил;
Я к цепи руку приучил;
И... столь себе неверны мы!..
Когда за дверь своей тюрьмы
На волю я перешагнул —
Я о тюрьме своей вздохнул.

ПЕРЧАТКА

Перед своим зверинцем,
С баронами, с наследным принцем,
Король Франциск сидел;
С высокого балкона он глядел
На поприще, сраженья ожидая;
За королем, обворожая
Цветущей прелестию взгляд,
Придворных дам являлся пышный ряд.

Король дал знак рукою —
Со стуком растворилась дверь:
И грозный зверь
С огромной головою,
Косматый лев
Выходит;
Кругом глаза угрюмо водит;
И вот, всё оглядев,
Наморщил лоб с осанкой горделивой,
Пошевелил густою гривой,
И потянулся, и зевнул,
И лег. Король опять рукой махнул —
Затвор железной двери грянул,
И смелый тигр из-за решетки прянул;
Но видит льва, робеет и ревет,
Себя хвостом по ребрам бьет,
И крадется, косяся взглядом,
И лижет морду языком,
И, обошедши льва кругом,
Рычит и с ним ложится рядом.
И в третий раз король махнул рукой —
Два барса дружною четой
В один прыжок над тигром очутились;
Но он удар им тяжкой лапой дал,
А лев с рыканьем встал...
Они смирились,

Оскалив зубы, отошли,
И зарычали, и легли.

И гости ждут, чтоб битва началася.
Вдруг женская с балкона сорвалася
Перчатка... все глядят за ней...
Она упала меж зверей.
Тогда на рыцаря Делоржа с лицемерной
И колкою улыбкою глядит
Его красавица и говорит:
«Когда меня, мой рыцарь верной,
Ты любишь так, как говоришь,
Ты мне перчатку возвратишь».

Делорж, не отвечав ни слова,
К зверям идет,
Перчатку смело он берет
И возвращается к собранью снова.

У рыцарей и дам при дерзости такой
От страха сердце помутилось;
А витязь молодой,
Как будто ничего с ним не случилось,
Спокойно всходит на балкон;
Рукоплесканьем встречен он;
Его приветствуют красавицыны взгляды...
Но, холодно приняв привет ее очей,
В лицо перчатку ей
Он бросил, и сказал: «Не требую награды».

МУРАВЕЙНИКЪ,

ЛИТТЕРАТУРНЫЕ ЛИСТЫ,

ИЗДАВАЕМЫЕ

НЕИЗВѢСТНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
НЕУЧЕНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Beschäftigung, die nie ermattet,
Die langsam schafft, doch nie zerstört,
Die zu dem Bau der Ewigkeiten
Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht,
Doch von der grossen Schuld der Zeiten
Minuten, Tage, Jahre streicht.

SHILLER.

1831.

Титульный лист журнала Муравейник

СУД В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

(отрывок)

I

Уж день прохладно вечерел,
И свод лазоревый алел;
На нем сверкали облака;
Дыханьем свежим ветерка
Был воздух сладко растворён;
Играя, вея, морщил он
Пурпурно-блещущий залив;
И, белый парус распустив,
Заливом тем ладья плыла;
Из Витби инокинь несла,
По легким прыгая зыбям,
Она-к Кутбертовым брегам.
Летит веселая ладья;
Покрыта палуба ея
Большим узорчатым ковром;
Резной, высокий стул на нем
С подушкой бархатной стоит;
И мать-игуменья сидит
На стуле в помыслах святых;
С ней пять монахинь молодых.

II

Впервой покинув душный плен
Печальных монастырских стен,
Как птички в вольной вышине,
По гладкой палубе оне
Играют, резвятся, шалят...
Всё веселит их, как ребят:
Той шаткий парус страшен был,
Когда им ветер шевелил,

И он, надувшися, гремел;
Крестилась та, когда белел,
Катясь к ладье, кипучий вал,
Ее ловил и подымал
На свой изгибистый хребет;
Ту веселил зеленый цвет
Морской чудесной глубины;
Когда ж из пенистой волны,
Как черная незапно тень,
Пред ней выскакивал тюлень,
Бросалась с криком прочь она
И долго, трепетна, бледна,
Читала шопотом псалом;
У той был резвым ветерком
Покров развеян головной,
Густою, шелковой струёй
Лились на плечи волоса,
И груди тайная краса
Мелькала ярко меж власов,
И девственный поймать покров
Ее заботилась рука,
А взор стерег исподтишка,
Не любовался ль кто за ней
Заветной прелестью грудей.

III

Игуменья порою той
Вкушала с важностью покой,
В подушках нежась пуховых,
И на монахинь молодых
Смотрела с ласковым лицом.
Она вступила в божий дом
Во цвете первых детских лет,
Не оглянулася на свет
И, жизнь навеки затворя
В безмолвии монастыря,
По слуху знала издали
О треволнениях земли,
О том, что радость, что любовь
Смущают ум, волнуют кровь,
И с непроснувшейся душой
Достигла старости святой,

Сердечных смут не испытав;
Тяжелый инокинь устав
Смиренно, строго сохранять,
Души спасения искать
Блаженной Гильды по следам,
Служить ее честным мощам,
И день и ночь в молитве быть.
И день и ночь огонь хранить
Лампад, горящих у икон:
В таких заботах проведён
Был век ее. Богатый вклад
На обновление оград
Монастыря дала она;
Часовня Гильды убрана
Была на славу от нее:
Сияло пышное шитье
Там на покрове гробовом,
И обложенный жемчугом
Был вылит гроб из серебра;
И много делала добра
Она убогим и больным,
И возвращался пилигрим
От стен ее монастыря,
Хваля небесного царя.
Имела важный вид она,
Была худа, была бледна;
Был величав высокий рост;
Лицо являло строгий пост,
И покаянье тмило взор.
Хотя в ней с самых давних пор
Была лишь к иночеству страсть,
Хоть строго данную ей власть
В монастыре она блюла,
Но для смиренных сестр была
Она лишь ласковая мать:
Свободно было им дышать
В своей келейной тишине,
И мать-игуменью оне
Любили детски всей душой.
Куда ж той позднею порой
Через залив плыла она?
Была в Линдфарн приглашена
Она с игуменьей другой;

И там их ждал аббат святой
Кутбертова монастыря,
Чтобы, собором сотворя
Кровавый суд, проклятье дать
Отступнице, дерзнувшей снять
С себя монашества обет
И, Сатане продав за свет
Все блага кельи и креста,
Забыть спасителя Христа.

IV

Ладья вдоль берега летит,
И берег весь назад бежит;
Мелькают мимо их очей
В сияньи западных лучей:
Там за́мок на скале крутой
И бездна пены под скалой
От расшибаемых валов;
Там башня, сторож берегов,
Густым одетая плющом;
Там холм, увенчанный селом;
Там золото цветущих нив;
Там зеленеющий залив
В тени зеленых берегов;
Там божий храм, среди дерёв
Блестящий яркой белизной.
И остров наконец святой
С Кутбертовым монастырем,
Облитый вечера огнем,
Громадою багряных скал
Из вод вдали пред ними встал,
И, приближаясь, тихо рос,
И вдруг над их главой вознёс
Свой брег крутой со всех сторон.
И остров, и не остров он;
Два раза в день морской отлив,
Песок подводный обнажив,
Противный брег сливает с ним:
Тогда поклонник пилигрим
На богомолье по пескам
Пешком идет в Кутбертов храм;
Два раза в день морской прилив,

Его от тверди отделив,
Стирает силою воды
С песка поклонников следы. —
Нес ветер к берегу ладью;
На самом берега краю
Стоял Кутбертов древний дом,
И волны пенились кругом.

V

Стоит то здание давно,
Саксонов памятник, оно
Меж скал крутых крутой скалой
Восходит грозно над водой;
Все стены страшной толщины
Из грубых камней сложены;
Зубцы, как горы на стенах;
На низких тягостных столбах
Лежит огромный храма свод;
Кругом идет широкий ход,
Являя бесконечный ряд
Сплетенных ветвями аркад;
И крепки башни на углах
Стоят, как стражи на часах.
Вотще их крепость превозмочь
Пыталась вражеская мочь
Жестоких нехристей датчан;
Вотще волнами океан
Всечасно их разит, дробит;
Святое здание стоит
Недвижимо с давнишних пор;
Морских разбойников напор,
Набеги хлада, бурь, валов
И силу грозную годов
Перетерпев, как встарину,
Оно морскую глубину
Своей громадою гнетёт;
Лишь кое-где растреснул свод,
Да в нише лик разбит святой,
Да мох растет везде седой,
Да стен углы оточены
Упорным трением волны.

VI

В ладье монахини плывут;
Приближась к берегу, поют
Святую Гильды песнь оне;
Их голос в поздней тишине,
Как бы сходящий с вышины,
Слиясь с гармонией волны,
По небу звонко пробежал;
И с брега хор им отвечал,
И вышел из святых ворот
С хоругвями, крестами ход
Навстречу инокинь честных;
И возвестил явленье их
Колоколов согласный звон,
И был он звучно повторён
Отзывом ближних, дальних скал,
И весь народ на брег созвал.
С ладьи игуменья сошла,
Благословенье всем дала
И, подпираясь костылём,
Пошла в святой Кутбертов дом
Во след хоругвей и крестов.

VII

Им стол в трапезнице готов;
Садятся ужинать; потом
Обширный монастырский дом
Толпой осматривать идут;
Смеются, резвятся, поют;
Заходят в кельи, в древний храм,
Творят поклоны образам
И молятся мощам святым...
Но вечер холодом сырым
И резкий с моря ветерок
Собраться нудят всех в кружок
К огню, хозяек и гостей;
Жужжат, лепечут; как ручей,
Веселый льется разговор;
И наконец меж ними спор
О том заходит, чей святой
Своею жизнию земной

И боле славы заслужил,
И боле небу угодил?

VIII

«Святая Гильда (говорят
Монахини из Витби) вряд
Отдаст ли первенство кому?
Известна ж боле потому
Ее обитель с давних дней,
Что три барона знатных ей
Служить вассалами должны;
Угодницей осуждены
Когда-то были Брюс, Герберт
И Перси; суд сей был простерт
На их потомство до конца
Всего их рода: чернеца
Они дерзнули умертвить.
С тех пор должны к нам приходить
Три старших в роде каждый год,
В день вознесенья, и народ
Тут видит, как игумен их
Становит рядом у честных
Мощей угодницы святой,
Как над склоненной их главой
Прочтет псалом, как наконец
С словами: *всё простил чернец!*
Им разрешение даёт;
Тогда *аминь!* гласит народ.
К нам повесть древняя дошла
О том, как некогда жила
У нас саксонская княжна,
Как наша вся была полна
Округа ядовитых змей,
Как Гильда, вняв мольбам своей
Любимицы святой княжны,
Явилась, как превращены
Все змеи в камень, как с тех пор
Находят в недре наших гор
Окаменелых много змей.
Еще же древность нам об ней
Сказание передала:
Как раз во гневе прокляла

Она пролетных журавлей,
И как с тех пор до наших дней,
Едва на Витби налетит
Журавль, застонет, закричит,
Перевернется, упадет
И чудной смертью отдает
Угоднице блаженной честь».

IX

«А наш Кутберт? Не перечесть
Его чудес. Теперь покой
Нашел уж гроб его святой;
Но прежде... что он претерпел!
От датских хищников сгорел
Линдфарн, приют с давнишних дней
Честных угодника мощей;
Монахи гроб его спасли
И с гробом странствовать пошли,
Из земли в землю, по полям,
Лесам, болотам и горам;
Семь лет в молитве и трудах,
С тяжелым гробом на плечах,
Они скиталися; в Мельрос
Их напоследок бог принёс;
Мельрос Кутберт живой любил,
Но мертвый в нем не рассудил
Он для себя избрать приют,
И чудо совершилось тут:
Хоть тяжкий гроб из камня был,
Но от Мельроса вдруг поплыл
По Твиду он, как легкий чолн.
На юг теченьем быстрых волн
Его помчало; миновав
Тильмут и Риппон, в Вардилав,
Препон не встретя, наконец
Привел свой гроб святой пловец;
И выбрал он в жилище там
Святой, готический Дургам;
Но где святого погребли,
Ту тайну знают на земли
Лишь только трое; и когда
Которому из них чреда

Расстаться с жизнию придет,
Он на духу передает
Ее другому; тот молчит
Дотоль, пока не разрешит
Его молчанья смертный час.
И мало ль чудесами нас
Святой угодник изумлял?
На нашу Англию напал
Король шотландский, злой тиран;
Пришла с ним рать галвегиан,
Неистовых, как море их;
Он рыцарей привел своих,
Разбойников, залитых в сталь;
Он весь подвигнул Тевьотдаль;
Но рать его костьми легла;
Для нас Кутбертова была
Хоругвь спасением от бед.
Им ободрен был и Альфред
На поражение датчан;
Пред ним впервой и сам Норман
Завоеватель страх узнал
И из Нортумбрии бежал».

X

Монахини из Витби тут
Сестрам Линдфарнским задают
С усмешкою вопрос такой:
«А правда ли, что ваш святой
По свету бродит кузнецом?
Что он огромным молотком
По тяжкой наковальне бьет
И им жемчужины кует?
Что на работу ходит он,
Туманной рясой облачён?
Что на приморской он скале,
Чернее мглы, стоит во мгле?
И что, покуда молот бьет,
Он ветер на море зовет?
И что в то время рыбаки
Уводят в пристань челноки,
Боясь, чтоб бурею ночной
Не утопил их ваш святой?»

Сестер Линдфарнских оскорбил
Такой вопрос; ответ их был:
«Пустого много бредит свет;
Об этом здесь и слуху нет;
Кутберт, блаженный наш отец,
Честной угодник, не кузнец».

XI

Так весело перед огнём
Шел о житейском, о святом
Между монахинь разговор.
А близко был иной собор,
И суд иной происходил.
Под зданьем монастырским был
Тайник — страшней темницы нет;
Король Кольвульф, покинув свет,
Жил произвольным мертвецом
В глубоком подземелье том.
Сперва в монастыре оно
Смиренья кельей названо;
Потом в ужасной келье той,
Куда ни разу луч дневной,
Ни воздух божий не входил,
Прелат Сексгельм определил
Кладбищу осужденных быть;
Но наконец там хоронить
Не мертвых стали, а живых;
О бедственной судьбине их
Молчал неведомый тайник;
И суд, и казнь, и жертвы крик —
Всё жадно поглощалось им;
А если случаем каким
Невнятный стон из глубины
И доходил до вышины,
Никто из внемлющих не знал,
Кто, где и от чего стенал;
Шептали только меж собой,
Что там, глубоко под землей,
Во гробе мучится мертвец,
Свершивший дней своих конец
Без покаяния во зле,
И непрощенный на земле.

XII

Хотя в монастыре о том
Заклепе казни роковом
И сохранилася молва,
Но где он был? Один иль два
Монаха знали то, да сам
Отец аббат; и к тем местам
Ему лишь с ними доступ был;
С повязкой на глазах входил
За жертвой сам палач туда,
В час совершения суда.
Там зрелся тесный, тяжкий свод;
Глубоко, ниже внешних вод,
Был выдолблен в утесе он;
Весь гробовыми замощен
Плитами пол неровный был;
И ряд покинутых могил
С полуистертою резьбой,
Полузатоптанных землёй,
Являлся там; от мокроты
Скопляясь, капли с высоты
На камни падали; их звук
Однообразно тих, как стук
Ночного маятника, был;
И бледно, трепетно светил,
Пуская дым, борясь со мглой,
Огонь в лампаде гробовой,
Висевшей тяжко на цепях;
И тускло на сырых стенах,
Покрытых плеснью как корой,
Свет, поглощенный темнотой,
Туманным отблеском лежал.
Он в подземелье озарял
Явленье страшное тогда.

XIII

Три совершителя суда
Сидели рядом за столом;
Пред ними разложен на нём
Устав бенедиктинцев был;
И, чуть во мгле сияя, лил

Мерцанье бледное ночник
На их со мглой слиянный лик.
Товарищ двум другим судьям,
Игуменья из Витби там
Являлась, и была сперва
Ее открыта голова;
Но скоро скорбь втеснилась ей
Во грудь, и слезы из очей
Невольно жалость извлекла,
И покрывалом облекла
Тогда лицо свое она.
С ней рядом, как мертвец бледна,
С суровой строгостью в чертах,
Обретшая в посте, в мольбах
Бесстрастье хладное одно
(В душе святошеством давно
Прямую святость уморя), —
Тильмутского монастыря
Приорша гордая была;
И ряса, черная как мгла,
Лежала на ее плечах;
И жизни не было в очах,
Черневших мутно без лучей
Из-под седых ее бровей.
Аббат Кутбертовой святой
Обители, монах седой,
Иссохнувший полумертвец
И уж с давнишних пор слепец,
Меж ними сгорбившись сидел;
Потухший взор его глядел
Вперед, ничем не привлечен,
И, грозной думой омрачен,
Ужасен бледный был старик,
Как каменный надгробный лик,
Во храме зримый в час ночной,
Немого праха страж немой.
Пред ними жертва их стоит:
На голове ее лежит
Лицо скрывающий покров;
Видна на белой рясе кровь;
И на столе положены
Свидетели ее вины:
Лампада, четки и кинжал.

По знаку данному, сорвал
Монах с лица ее покров;
И кудри черных волосов
Упали тучей по плечам.
Приорши строгия очам
Был узницы противен вид;
С насмешкой злобною глядит
В лицо преступницы она,
И казнь ее уж решена.

XIV

Но кто же узница была?
Сестра Матильда. Лишь сошла
Та роковая полночь, мглой
Окутавшись как пеленой,
Тильмутская обитель вся
Вдруг замолчала; погася
Лампады в кельях, сестры в них
Все затворились; пуст и тих
Стал монастырь; лишь главный вход
Святых обители ворот
Не заперт и свободен был.
На колокольне час пробил.
Лампаду и кинжал берет
И в платье мертвеца идет
Матильда смело в ворота;
Пред нею ночь и пустота;
Обитель сном глубоким спит;
Над церковью луна стоит
И сыплет на дорогу свет;
И виден на дороге след
В густой пыли копыт и ног;
И слышен ей далекий скок...
Она с волненьем в даль глядит;
Но там ночной туман лежит;
Всё тише, тише слышен скок;
Лишь по дороге ветерок
Полночный ходит, да луна
Сияет с неба. Вот она
Минуты две подождала;
Потом с молитвою пошла
Вперед — не встретится ли с ним?

И долго шла путем пустым;
Но всё желанной встречи нет.
Вот наконец и дневный свет,
И на небе зажглась заря...
И вдруг от стен монастыря
Послышался набатный звон;
Всю огласил окрестность он.
Что ей начать? Куда уйти?
Среди открытого пути,
Окаменев, она стоит;
И страшно колокол гудит;
И вот за ней погоня вслед;
И ей нигде приюта нет;
И вот настигнута она,
И в монастырь увлечена,
И скрыта заживо под спуд;
И ждет ее кровавый суд.

XV

Перед судилищем она
Стоит, почти умерщвлена
Терзаньем близкого конца;
И бледность мертвая лица
Была видней, была страшней
От черноты ее кудрей,
Двойною пышною волной
Обливших лик ее младой.
Оцепенев стоит она;
Глава на грудь наклонена;
И если б мутный луч в глазах
И содрогание в грудях
Не изменяли ей порой,
За лик бездушный восковой
Могла б быть принята она:
Так бездыханна, так бледна,
С таким безжизненным лицом,
Таким безгласным мертвецом
Она ждала судьбы своей
От непрощающих судей.
И казни страх ей весь открыт:
В стене, как темный гроб, прорыт
Глубокий, низкий, тесный вход;

Тому, кто раз в тот гроб войдет,
Назад не выйти никогда;
Коренья, в черепке вода,
Краюшка хлеба с ночником
Уже готовы в гробе том;
И с дымным факелом в руках,
На заступ опершись, монах,
Палач подземный, перед ним,
Безгласен, мрачен, недвижим,
С покровом на лице стоит;
И грудой на полу лежит
Гробокопательный снаряд:
Кирпич, кирка, известка, млат.
Слепой игумен с места встал
И руку тощую поднял,
И узницу благословил...
И в землю факел свой вонзил,
И к жертве подошел монах;
И уж она в его руках
Трепещет, борется, кричит,
И, сладив с ней, уже тащит,
Бесчувственный на крик и плач,
Ее живую в гроб палач...

XVI

Сто ступеней наверх вели;
Из тайника судьи пошли,
И вид их был свирепо дик;
И глухо жалкий, томный крик
Из глубины их провожал;
И страх шаги их ускорял;
И глуше становился стон;
И наконец... умолкнул он.
И скоро вольный воздух им
Своим дыханием живым
Стесненны груди оживил.
Уж час ночного бденья был,
И в храме пели. И во храм
Они пошли; но им и там
Сквозь набожный поющих лик
Всё слышался подземный крик.
Когда ж во храме хор отпел,

Ударить в колокол велел
Аббат душе на упокой...
Протяжный глас в тиши ночной
Раздался — из глубокой мглы
Ему Нортумбрии скалы
Откликнулись; услыша звон,
В Брамбурге селянин сквозь сон
С подушки голову поднял,
Молиться об умершем стал,
Недомолился и заснул;
Им пробужденный, помянул
Усопшего святой чернец,
Варквортской пустыни жилец;
В Шевьотскую залегший сень,
Вскочил испуганный олень,
По ветру ноздри распустил,
И чутко ухом шевелил,
И поглядел по сторонам
И снова лег... и снова там
Всё, что смутил минутный звон,
В глубокий погрузилось сон.

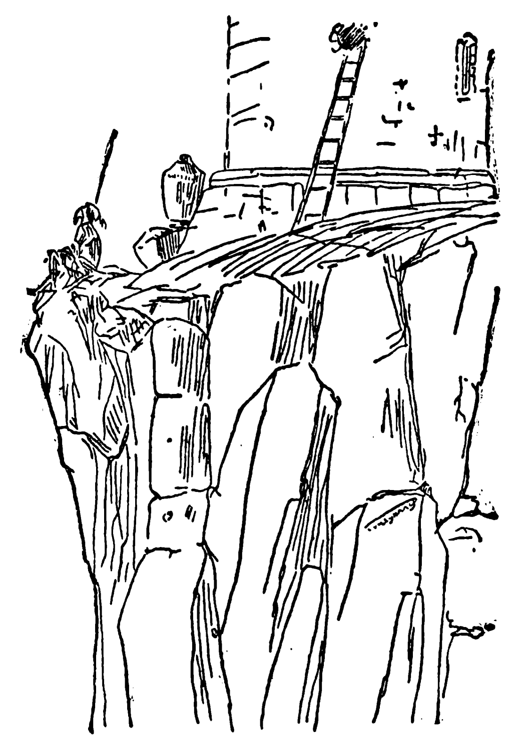


Рисунок В. А. Жуковского

СКАЗКИ

СКАЗКА
О ЦАРЕ БЕРЕНДЕЕ, О СЫНЕ ЕГО ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ, О ХИТРОСТЯХ КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО И О ПРЕМУДРОСТИ МАРЬИ-ЦАРЕВНЫ, КОЩЕЕВОЙ ДОЧЕРИ

Жил-был царь Берендей *до колен борода*. Уж три года
Был он женат, и жил в согласьи с женою; но всё им
Бог детей не давал, и было царю то прискорбно.
Нужда случилась царю осмотреть свое государство;
Он простился с царицей и восемь месяцев ровно
Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, когда он,
К царской столице своей подъезжая, на поле чистом
В знойный день отдохнуть рассудил; разбили палатку;
Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось
Выпить студеной воды. Но поле было безводно...
Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился
Сам объехать всё поле: авось попадется на счастье
Где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь. Поспешно
Спрянув с коня, заглянул он в него: он полон водою
Вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик
Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик — не тут-то
Было; ковшик прочь от руки. За янтарную ручку
Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает
Ковшик; но ручка, проворно виляя и вправо и влево,
Только что дразнит царя и никак не дается.
Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб ковшик
Стал на место, хвать его разом справа и слева —
Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка,
нырнул он
Прямо на дно колодца, и снова потом на поверхность
Выплыл, как будто ни в чем не бывал. Постой же! (подумал
Царь Берендей) я напьюсь без тебя, и, недолго сбираясь,
Жадно прильнул он губами к воде, и струю ключевую
Начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула
Вся его борода. Напившися вдоволь, поднять он

Голову хочет... ан нет, погоди! не пускают; и кто-то
Царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца,
Силится он оторваться, трясет, вертит головою —
Держат его да и только. «Кто там? пустите!» — кричит он.
Нет ответа; лишь страшная смотрит со дна образина:
Два огромные глаза горят, как два изумруда;
Рот, разинутый, чудным смехом смеется; два ряда
Крупных жемчужин светятся в нем, и язык, меж зубами
Выставясь, дразнит царя; а в бороду впутались крепко
Вместо пальцев клешни. И вот наконец сиповатый
Голос сказал из воды: «Не трудися, царь, понапрасну;
Я тебя не пущу. Если же хочешь на волю,
Дай мне то, что есть у тебя, и чего ты не знаешь».
Царь подумал: чего ж я не знаю? я, кажется, знаю
Всё! И он отвечал образине: «Изволь, я согласен». —
«Ладно! — опять сиповатый послышался голос: — смотри же,
Слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа».
С этим словом исчезли клешни; образина пропала.
Честную выручив бороду, царь отряхнулся, как гоголь,
Всех придворных обрызгал, и все царю поклонились.
Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало ли ехал,
Только уж вот он близко столицы; на встречу толпами
Сыплет народ, и пушки палят, и на всех колокольнях
Звон. И царь подъезжает к своим златоверхим палатам —
Там царица стоит на крыльце и ждет; и с царицей
Рядом первый министр; на руках он своих парчевую
Держит подушку; на ней же младенец, прекрасный как светлый
Месяц, в пеленках копышется. Царь догадался и ахнул.
«Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый
Демон, меня!» Так он подумал и горько, горько заплакал;
Все удивились, но слова никто не промолвил. Младенца
На руки взявши, царь Берендей любовался им долго,
Сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку и, горе
Скрыв про себя, попрежнему царствовать начал. О тайне
Царской никто не узнал; но все примечали, что крепко
Царь был печален — он всё дожидался: вот придут за сыном;
Днем он покоя не знал, и сна не ведал он ночью.
Время однако текло, а никто не являлся. Царевич
Рос не по дням — по часам; и сделался чудо-красавец.
Вот наконец и царь Берендей о том, что случилось,
Вовсе забыл... но другие не так забывчивы были.

Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую
Чащу заехал один. Он смотрит: всё дико; поляна;
Черные сосны кругом; на поляне дуплистая липа.
Вдруг зашумело в дупле; он глядит: вылезает оттуда
Чудный какой-то старик, с бородою зеленой, с глазами
Также зелеными. «Здравствуй, Иван-царевич,— сказал он, —
Долго тебя дожидалися мы; пора бы нас вспомнить».—
«Кто ты?» — царевич спросил. «Об этом после; теперь же
Вот что ты сделай: отцу своему, царю Берендею,
Мой поклон отнеси, да скажи от меня: не пора ли,
Царь Берендей, должок заплатить? Уж давно миновалось
Время. Он сам остальное поймет. До свиданья». — И с этим
Словом исчез бородатый старик. Иван же царевич
В крепкой думе поехал обратно из темного леса.
Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит.
«Батюшка царь-государь,— говорит он,— со мною случилось
Чудо». И он рассказал о том, что видел и слышал.
Царь Берендей побледнел, как мертвец. «Беда, мой сердечный
Друг, Иван-царевич! — воскликнул он, горько заплакав.—
Видно, пришло нам расстаться!..» И страшную тайну о данной
Клятве сыну открыл он. «Не плачь, не крушися, родитель, —
Так отвечал Иван-царевич, — беда не велика.
Дай мне коня; я поеду; а ты меня дожидайся;
Тайну держи про себя, чтоб о ней здесь никто не проведал,
Даже сама государыня-матушка. Если ж назад я
К вам по прошествии целого года не буду, тогда уж
Знайте, что нет на свете меня». Снарядили, как должно,
В путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые
Латы, меч и коня вороного; царица с мощами
Крест на шею надела ему; отпели молебен;
Нежно потом обнялися, поплакали... с богом. Поехал
В путь Иван-царевич. Что-то с ним будет? Уж едет
День он, другой и третий; в исходе четвертого — солнце
Только успело зайти — подъезжает он к озеру; гладко
Озеро то, как стекло; вода наровне с берегами;
Всё в окрестности пусто; румяным вечерним сияньем
Воды покрытые гаснут, и в них отразился зеленый
Берег и частый тростник — и всё как будто бы дремлет;
Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха в струйках
Светлых не слышно. Иван-царевич смотрит, и что же

Видит он? Тридцать хохлатых, сереньких уточек подле
Берега плавают; рядом тридцать белых сорочек
Подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль
Слез Иван-царевич с коня; высокой травою
Скрытый, подполз, и одну из белых сорочек тихонько
Взял; потом угнездился в кусте дожидаться, что будет.
Уточки плавают, плещутся в струйках, играют, ныряют...
Вот наконец, поиграв, понырят, поплескавшись, подплыли
К берегу; двадцать девять из них, побежав с перевалкой
К белым сорочкам, оземь ударились, все обратились
В красных девиц, нарядились, порхнули и разом исчезли.
Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея,
Взад и вперед одна-одинешенька с жалобным криком
Около берега бьется; с робостью вытянув шейку,
Смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова присядет...
Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит
К ней из-за кустика; глядь, а она ему человечьим
Голосом вслух говорит: «Иван-царевич, отдай мне
Платье мое, я сама тебе пригожуся». Он с нею
Спорить не стал, положил на травку сорочку и, скромно
Прочь отошедши, стал за кустом. Вспорхнула на травку
Уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? Девица
В белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна
Так, что ни в сказке сказать, ни пером описать, и, краснея,
Руку ему подает и, потупив стыдливые очи,
Голосом звонким, как струны, ему говорит: «Благодарствуй,
Добрый Иван-царевич, за то, что меня ты послушал;
Тем ты себе самому услужил, но и мною доволен
Будешь: я дочь Кощея бессмертного, Марья-царевна;
Тридцать нас у него дочерей молодых. Подземельным
Царством владеет Кощей. Он давно уж тебя поджидает
В гости и очень сердит; но ты не пекись, не заботься,
Сделай лишь то, что я тебе присоветую. Слушай:
Только завидишь Кощея-царя, упади на колена,
Прямо к нему поползи; затопает он — не пугайся;
Станет ругаться — не слушай; ползи да и только; что после
Будет, увидишь; теперь пора нам». И Марья-царевна
В землю ударила маленькой ножкой своей; расступилась
Тотчас земля, и они вместе в подземное царство спустились.
Видят дворец Кощея бессмертного; высечен был он
Весь из карбункула камня, и ярче небесного солнца
Всё под землей освещал. Иван-царевич отважно
Входит: Кощей сидит на престоле в светлой короне;

Блещут глаза, как два изумруда; руки с клешнями.
Только завидел его вдалеке, тотчас на колени
Стал Иван-царевич. Кощей же затопал; сверкнуло
Страшно в зеленых глазах, и так закричал он, что своды
Царства подземного дрогнули. Слово Марьи-царевны
Вспомня, пополз на корачках Иван-царевич к престолу;
Царь шумит, а царевич ползет да ползет. Напоследок
Стало царю и смешно: «Добро ты, проказник, — сказал он, —
Если тебе удалося меня рассмешить, то с тобою
Ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим
К нам в подземельное царство; но знай, за твое ослушанье
Должен ты нам отслужить три службы; сочтемся мы завтра;
Ныне уж поздно; поди». Тут два придворных проворно
Под руки взяли Ивана-царевича очень учтиво,
С ним пошли в покой, отведенный ему, отворили
Дверь, поклонилися царевичу в пояс, ушли, и остался
Там он один. Беззаботно он лег на постелю, и скоро
Сном глубоким заснул. На другой день рано по утру
Царь Кощей к себе Ивана-царевича кликнул:
«Ну, Иван-царевич, — сказал он, — теперь мы посмотрим,
Что-то искусен ты делать? Изволь, например, нам построить
Нынешней ночью дворец: чтоб кровля была золотая,
Стены из мрамора, окна хрустальные, вкруг регулярный
Сад, и в саду пруды с карасями; если построишь
Этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь;
Если же нет, то прошу не пенять... головы не удержишь!» —
«Ах ты, Кощей окаянный, — Иван-царевич подумал, —
Вот что затеял, смотри пожалуй!» С тяжелой кручиной
Он возвратился к себе, и сидит пригорюнясь; уж вечер;
Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку,
Бьется об стекла — и слышит он голос: впусти! Отворил он
Дверку окошка, пчелка влетела и вдруг обернулась
Марьей-царевной. «Здравствуй, Иван-царевич, о чем ты
Так призадумался?» — «Нехотя будешь задумчив, — сказал
он. —
Батюшка твой до моей головы добирается». — «Что же
Сделать решился ты?» — «Что? Ничего. Пускай его снимет
Голову; двух смертей не видать, одной не минуешь». —
«Нет, мой милый Иван-царевич, не должно терять нам
Бодрости. То ли беда? Беда впереди; не печалься;
Утро вечера, знаешь ты сам, мудренее: ложися
Спать; а завтра поранее встань; уж дворец твой построен
Будет; ты ж только ходи с молотком да постукивай в стену».

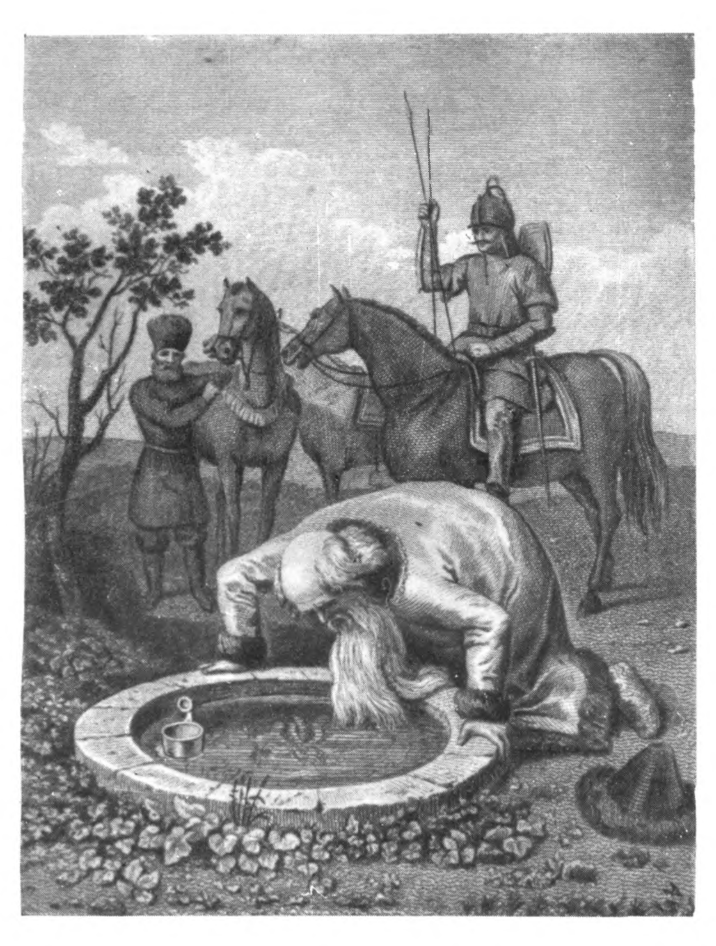
Так всё и сделалось. Утром ни свет, ни заря, из каморки
Вышел Иван-царевич... глядит, а дворец уж построен,
Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей изумился;
Верить не хочет глазам. «Да ты хитрец не на шутку,—
Так он сказал Ивану-царевичу;—вижу, ты ловок,
На руку; вот мы посмотрим, так же ли будешь догадлив.
Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных царевен.
Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты будешь
Три раза мимо пройти, и в третий мне раз без ошибки
Младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать; не узнаешь —
С плеч голова. Поди».— «Уж выдумал, чучела, мудрость,—
Думал Иван-царевич, сидя под окном.— Не узнать мне
Марью-царевну... какая ж тут трудность?» — «А трудность такая,—
Молвила Марья-царевна, пчелкой влетевши,— что если
Я не вступлюся, то быть беде неминуемой. Всех нас
Тридцать сестер, и все на одно мы лицо; и такое
Сходство меж нами, что сам отец наш только по платью
Может нас различать».— «Ну что же мне делать?» — «А вот что:
Буду я та, у которой на правой щеке ты заметишь
Мошку. Смотри же, будь осторожен, вглядись хорошенько,
Сделать ошибку легко. До свиданья». И пчелка исчезла.
Вот на другой день опять Ивана-царевича кличет
Царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаком
Платье рядом стоят, потупив глаза. «Ну, искусник,—
Молвил Кощей,— изволь-ка пройтиться три раза мимо
Этих красавиц, да в третий раз потрудись указать нам
Марью-царевну». Пошел Иван-царевич; глядит он
В оба глаза: уж подлинно сходство! И вот он проходит
В первый раз — мошки нет; проходит в другой раз — всё мошки
Нет; проходит в третий, и видит — крадется мошка,
Чуть заметно, по свежей щеке, а щека-то под нею
Так и горит; загорелось и в нем, и с трепещущим сердцем:
«Вот она, Марья-царевна!» — сказал он Кощею, подавши
Руку красавице с мошкой. «Э! Э! да тут, примечаю,
Что-то нечисто,— Кощей проворчал, на царевича с сердцем
Выпучив оба зеленые глаза.— Правда, узнал ты
Марью-царевну: но как узнал? Вот тут-то и хитрость;
Верно с грехом пополам. Погоди же, теперь доберуся
Я до тебя. Часа через три ты опять к нам пожалуй;
Рады мы гостю, а ты нам свою премудрость на деле

Здесь покажи: зажгу я соломенку; ты же, покуда
Будет гореть та соломенка, здесь, не трогаясь с места,
Сшей мне пару сапог с оторочкой; не диво; да только
Знай наперед: не сошьешь — долой голова; до свиданья».
Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчелка
Марья-царевна уж там. «Отчего опять так задумчив,
Милый Иван-царевич?» — спросила она. «Поневоле
Будешь задумчив, — он ей отвечал. — Отец твой затеял
Новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой;
Разве какой я сапожник? Я царский сын; я не хуже
Родом его. Кощей он бессмертный! видали мы много
Этих бессмертных». — «Иван-царевич, да что же ты будешь
Делать?» — «Что мне тут делать? Шить сапогов я не стану.
Снимет он голову — чорт с ним, с собакой! какая мне нужда!» —
«Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и невеста;
Я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасемся
Или вместе погибнем. Нам должно бежать: уж другого
Способа нет». Так сказав, на окошко Марья-царевна
Плюнула; слюнки в минуту примерзли к стеклу; из каморки
Вышла она потом с Иваном-царевичем вместе,
Двери ключом заперла и ключ далеко зашвырнула.
За руки взявшись потом, они поднялися и мигом
Там очутились, откуда сошли в подземельное царство:
То же озеро, низкий берег, муравчатый, свежий
Луг, и, видят, по лугу свежему бодро гуляет
Конь Ивана-царевича. Только почуял могучий
Конь седока своего, как заржал, заплясал и помчался
Прямо к нему и, примчавшись, как вкопанный в землю,
Стал перед ним. Иван-царевич, не думая долго,
Сел на коня, царевна за ним, и пустились стрелою.
Царь Кощей в назначенный час посылает придворных
Слуг доложить Ивану-царевичу: что-де так долго
Мешкать изволите? Царь дожидается. Слуги приходят;
Заперты двери. Стук! стук! и вот из-за двери им слюнки,
Словно как сам Иван-царевич, ответствуют: *буду*.
Этот ответ придворные слуги относят к Кощею;
Ждать-подождать, царевич нейдет; посылает в другой раз
Тех же послов рассержённый Кощей, и та же всё песня:
Буду; а нет никого. — Взбесился Кощей. «Насмехаться,
Что ли, он вздумал? Бегите же; дверь разломать и в минуту
За ворот к нам притащить неучтивца!» Бросились слуги...
Двери разломаны... вот тебе раз; никого там, а слюнки

Так и хохочут. Кощей едва от злости не лопнул.
«Ах! он вор окаянный! люди! люди! скорее
Все в погоню за ним!.. я всех перевешаю, если
Он убежит!..» Помчалась погоня... «Мне слышится топот», —
Шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна, прижавшись
Жаркою грудью к нему. Он слезает с коня и, припавши
Ухом к земле, говорит ей: скачут и близко. — «Так медлить
Нечего», — Марья-царевна сказала, и в ту же минуту
Сделалась речкой сама, Иван-царевич железным
Мостиком, черным вороном конь, а большая дорога
На три дороги разбилась за мостиком. Быстро погоня
Скачет по свежему следу; но к речке примчавшися, стали
В пень Кощеевы слуги: след до мостика виден;
Дале ж и след пропадает, и делится на три дорога.
Нечего делать, назад! Воротились разумники. Страшно
Царь Кощей разозлился, о их неудаче услышав.
«Черти! ведь мостик и речка были они! догадаться
Можно бы вам, дуралеям! Назад! чтоб был непременно
Здесь он!..» Опять помчалась погоня... «Мне слышится топот», —
Шепчет опять Ивану-царевичу Марья-царевна.
Слез он с седла и, припавши ухом к земле, говорит ей:
Скачут и близко. И в ту же минуту Марья-царевна
Вместе с Иваном-царевичем, с ними и конь их, дремучим
Сделались лесом; в лесу том дорожек, тропинок числа нет;
По лесу ж, кажется, конь с двумя седоками несется.
Вот по свежему следу гонцы примчалися к лесу;
Видят в лесу скакунов и пустились вдогонку за ними.
Лес же раскинулся вплоть до входа в Кощеево царство.
Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет да скачет;
Кажется, близко; ну только б схватить; ан нет, не дается.
Глядь! очутились они у входа в Кощеево царство,
В самом том месте, откуда пустились в погоню; и скрылось
Всё: ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками
Снова явились к Кощею они. Как цепная собака,
Начал метаться Кощей. «Вот я ж его плута! коня мне!
Сам поеду, увидим мы, как от меня отвертится!»
Снова Ивану-царевичу Марья-царевна тихонько
Шепчет: «Мне слышится топот»; и снова он ей отвечает:
Скачут и близко. «Беда нам! Ведь это Кощей, мой родитель
Сам; но у первой церкви граница его государства;

Далее ж церкви скакать он никак не посмеет. Подай мне
Крест твой с мощами». Послушавшись Марьи-царевны, снимает
С шеи свой крест золотой Иван-царевич, и в руки
Ей подает, и в минуту она обратилася в церковь,
Он в монаха, а конь в колокольню — и в ту же минуту
С свитою к церкви Кощей прискакал. «Не видал ли прохожих,
Старец честной?» — он спросил у монаха. «Сейчас проезжали
Здесь Иван-царевич с Марьей-царевной; входили
В церковь они — святым помолились, да мне приказали
Свечку поставить за здравье твое и тебе поклониться,
Если ко мне ты заедешь». — «Чтоб шею сломить им проклятым!» —
Крикнул Кощей и, коня повернув, как безумный, помчался
С свитой назад, а примчавшись домой, пересек беспощадно
Всех до единого слуг. Иван же царевич с своею
Марьей-царевной поехали дале, уже не боясь
Боле погони. Вот они едут шажком; уж склонялось
Солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед ними
Город прекрасный. Ивану-царевичу смерть захотелось
В этот город заехать. «Иван-царевич, — сказала
Марья-царевна, — не езди; недаром вещее сердце
Ноет во мне: беда приключится». — «Чего ты боишься,
Марья-царевна? Заедем туда на минуту; посмотрим
Город, потом и назад». — «Заехать нетрудно; да трудно
Выехать будет. Но быть так! ступай, а я здесь останусь
Белым камнем лежать у дороги; смотри же, мой милый,
Будь осторожен: царь и царица и дочь их царевна
Выдут навстречу тебе, и с ними прекрасный младенец
Будет; младенца того не целуй: поцелуешь, забудешь
Тотчас меня; тогда и я не останусь на свете,
С горя умру, и умру от тебя. Вот здесь у дороги
Буду тебя дожидаться я три дни; когда же на третий
День не придешь... но прости, поезжай». — И в город поехал,
С нею простяся, Иван-царевич один. У дороги
Белым камнем осталася Марья-царевна. Проходит
День, проходит другой, напоследок проходит и третий —
Нет Ивана-царевича. Бедная Марья-царевна!
Он не исполнил ее наставленья: в городе вышли
Встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна;
Выбежал с ними прекрасный младенец, мальчик-кудряшка,

Живчик, глазенки как ясные звезды; и бросился прямо
В руки Ивану-царевичу; он же его красотою
Так был пленен, что, ум потерявши, в горячие щеки
Начал его целовать; и в эту минуту затмилась
Память его, и он позабыл о Марье-царевне.
Горе взяло ее. «Ты покинул меня, так и жить мне
Незачем боле». И в то же мгновенье из белого камня
Марья-царевна в лазоревый цвет полевой превратилась.
«Здесь у дороги останусь, авось мимоходом затопчет
Кто-нибудь в землю меня», — сказала она, и росинки
Слез на листках голубых заблистали. Дорогой в то время
Шел старик; он цветок голубой у дороги увидел;
Нежной его красотою пленясь, осторожно он вырыл
С корнем его, и в избушку свою перенес, и в корытце
Там посадил и полил водой, и за милым цветочком
Начал ухаживать. Что же случилось? С той самой минуты
Всё не по-старому стало в избушке; чудесное что-то
Начало деяться в ней: проснется старик — а в избушке
Всё уж, как надобно, прибрано; нет нигде ни пылинки.
В полдень придет он домой — а обед уж состряпан и чистой
Скатертью стол уж накрыт: садися, и ешь на здоровье.
Он дивился, не знал, что подумать; ему напоследок
Стало и страшно, и он у одной ворожейки старушки
Начал совета просить, что делать. «А вот что ты сделай, —
Так отвечала ему ворожейка: — встань ты до первой
Ранней зари, пока петухи не пропели, и в оба
Глаза гляди: что начнет в избушке твоей шевелиться,
То ты вот этим платком и накрой. Что будет, увидишь».
Целую ночь напролет старик пролежал на постеле,
Глаз не смыкая. Заря занялася, и стало в избушке
Видно, и видит он вдруг, что цветок голубой встрепенулся,
С тонкого стебля спорхнул, и начал летать по избушке;
Всё между тем по местам становилось, повсюду сметалась
Пыль, и огонь разгорался в печурке. Проворно с постели
Прянул старик и накрыл цветочек платком, и явилась
Вдруг пред глазами его красавица Марья-царевна.
«Что ты сделал? — сказала она: — зачем возвратил ты
Жизнь мне мою? Жених мой, Иван-царевич прекрасный,
Бросил меня, и я им забыта». — «Иван твой царевич
Женится нынче. Уж свадебный пир приготовлен, и гости
Съехались все». Заплакала горько Марья-царевна;
Слезы потом отерла; потом, в сарафан нарядившись,
В город крестьянкой пошла. Приходит на царскую кухню;



Гравюра К. Брюллова К «Сказке о царе Берендее»

Бегают там повара в колпаках и фартуках белых;
Шум, возня, стукотня. Вот Марья царевна, приближась
К старшему повару, с видом умильным и сладким, как флейта,
Голосом молвила: «Повар, голубчик, послушай, позволь мне
Свадебный спечь пирог для Ивана-царевича». Повар,
Занятый делом, с досады хотел огрызнуться; но слово
Замерло вдруг у него на губах, когда он увидел
Марью-царевну; и ей отвечал он с приветливым взглядом:
«В добрый час, девица-красавица; всё, что угодно,
Делай; Ивану-царевичу сам поднесу я пирог твой».
Вот пирог испечен; а званые гости, как должно,
Все уж сидят за столом и пируют. Услужливый повар
Важно огромный пирог на узорном серебряном блюде
Ставит на стол перед самым Иваном-царевичем; гости
Все удивились, увидя пирог. Но лишь только верхушку
Срезал с него Иван-царевич — новое чудо!
Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда.
Голубь по́ столу ходит; голубка за ним, и воркует:
«Голубь, мой голубь, постой, не беги; обо мне ты забудешь
Так, как Иван-царевич забыл о Марье-царевне!»
Ахнул Иван-царевич, то слово голубки услышав;
Он вскочил, как безумный, и кинулся в дверь, а за дверью
Марья-царевна стоит уж и ждет. У крыльца же
Конь вороной с нетерпенья, оседланный, взнузданный, пляшет.
Нечего медлить; поехал Иван-царевич с своею
Марьей-царевной; едут, да едут, и вот приезжают
В царство царя Берендея они. И царь и царица
Приняли их с весельем таким, что такого веселья
Видом не видано, слыхом не слыхано. Долго не стали
Думать, честным пирком, да за свадебку; съехались гости,
Свадьбу сыграли; я там был, там мед я и пиво
Пил; по усам текло, да в рот не попало; и всё тут.

СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА

Жил-был добрый царь Матвей;
Жил с царицею своей
Он в согласьи много лет;
А детей всё нет, как нет.
Раз царица на лугу,
На зеленом берегу
Ручейка была одна;
Горько плакала она.
Вдруг, глядит, ползет к ней рак;
Он сказал царице так:
«Мне тебя, царица, жаль:
Но забудь свою печаль;
Понесешь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь». —
«Благодарствуй, добрый рак;
Не ждала тебя никак...»
Но уж рак уполз в ручей,
Не слыхав ее речей.
Он конечно был пророк;
Что сказал, сбылося в срок:
Дочь царица родила.
Дочь прекрасна так была,
Что ни в сказке рассказать,
Ни пером не описать.
Вот царем Матвеем пир
Знатный дан на целый мир;
И на пир веселый тот
Царь одиннадцать зовёт
Чародеек молодых;
Было ж всех двенадцать их;
Но двенадцатой одной,
Хромоногой, старой, злой,
Царь на праздник не позвал.
Отчего ж так оплошал

Наш разумный царь Матвей?
Было то обидно ей.
Так, но есть причина тут:
У царя двенадцать блюд
Драгоценных, золотых
Было в царских кладовых;
Приготовили обед;
А двенадцатого нет
(Кем украдено оно,
Знать об этом не дано).
«Что ж тут делать? — царь сказал, —
Так и быть!» И не послал
Он на пир старухи звать.
Собралися пировать
Гостьи, званные царём;
Пили, ели, а потом,
Хлебосольного царя
За прием благодаря,
Стали дочь его дарить:
«Будешь в золоте ходить;
Будешь чудо красоты;
Будешь всем на радость ты
Благонравна и тиха;
Дам красавца жениха
Я тебе, мое дитя;
Жизнь твоя пройдет, шутя,
Меж знакомых и родных...»
Словом, десять молодых
Чародеек, одарив
Так дитя наперерыв,
Удалились; в свой черед
И последняя идет;
Но еще она сказать
Не успела слова — глядь!
А незваная стоит
Над царевной и ворчит:
«На пиру я не была,
Но подарок принесла:
На шестнадцатом году
Повстречаешь ты беду;
В этом возрасте своём
Руку ты веретеном
Оцарапаешь, мой свет,

И умреть во цвете лет!»
Проворчавши так, тотчас
Ведьма скрылася из глаз;
Но оставшаяся там
Речь домолвила: «Не дам
Без пути ругаться ей
Над царевною моей;
Будет то не смерть, а сон;
Триста лет продлится он;
Срок назначенный пройдет,
И царевна оживет;
Будешь долго в свете жить;
Будут внуки веселить
Вместе с нею мать, отца
До земного их конца».
Скрылась гостья. Царь грустит;
Он не ест, не пьет, не спит:
Как от смерти дочь спасти?
И, беду чтоб отвести,
Он дает такой указ:
«Запрещается от нас
В нашем царстве сеять лен,
Прясть, сучить, чтоб веретен
Духу не было в домах:
Чтоб скорей, как можно, прях
Всех из царства выслать вон».
Царь, издав такой закон,
Начал пить и есть и спать,
Начал жить да поживать,
Как дотоле, без забот.
Дни проходят; дочь растёт;
Расцвела, как майский цвет;
Вот уж ей пятнадцать лет...
Что-то, что-то будет с ней!
Раз с царицею своей
Царь отправился гулять;
Но с собой царевну взять
Не случилось им; она
Вдруг соскучилась одна
В душной горнице сидеть
И на свет в окно глядеть.
Дай, сказала наконец,
Осмотрю я наш дворец.

По дворцу она пошла:
Пышных комнат нет числа;
Всем любуется она;
Вот, глядит, отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Всходит вверх, и видит там
Старушоночка сидит;
Гребень под носом торчит;
Старушоночка прядет
И за пряжею поет:
«Веретенцо, не ленись;
Пряжа тонкая, не рвись;
Скоро будет в добрый час
Гостья жданая у нас».
Гостья жданая вошла;
Пряха, молча, подала
В руки ей веретено;
Та взяла, и вмиг оно
Укололо руку ей...
Всё исчезло из очей;
На нее находит сон;
Вместе с ней объемлет он
Весь огромный царский дом;
Всё утихнуло кругом;
Возвращаясь во дворец,
На крыльце ее отец
Пошатнулся и зевнул,
И с царицею заснул;
Свита вся за ними спит;
Стража царская стоит
Под ружьем в глубоком сне,
И на спящем спит коне
Перед ней хорунжий сам;
Неподвижно по стенам
Мухи сонные сидят;
У ворот собаки спят;
В стойлах, головы склонив,
Пышны гривы опустив,
Кони корму не едят,
Кони сном глубоким спят;
Повар спит перед огнем;

И огонь, объятый сном,
Не пылает, не горит,
Сонным пламенем стоит;
И не тронется над ним,
Свившись клубом, сонный дым;
И окрестность со дворцом
Вся объята мертвым сном;
И покрыл окрестность бор;
Из терновника забор
Дикий бор тот окружил;
Он навек загородил
К дому царскому пути:
Долго, долго не найти
Никому туда следа —
И приблизиться беда!
Птица там не пролетит,
Близко зверь не пробежит,
Даже облака небес
На дремучий, темный лес
Не навеет ветерок.
Вот уж полный век протёк;
Словно не жил царь Матвей —
Так из памяти людей
Он изгладился давно;
Знали только то одно,
Что средь бора дом стоит,
Что царевна в доме спит,
Что проспать ей триста лет,
Что теперь к ней следу нет.
Много было смельчаков
(По сказанью стариков),
В лес брались они сходить,
Чтоб царевну разбудить;
Даже бились об заклад,
И ходили — но назад
Не пришел никто. С тех пор
В неприступный, страшный бор
Ни старик, ни молодой
За царевной ни ногой.
Время ж всё текло, текло;
Вот и триста лет прошло.
Что ж случилося? В один
День весенний, царский сын,

Забавляясь ловлей, там
По долинам, по полям
С свитой ловчих разъезжал.
Вот от свиты он отстал;
И у бора вдруг один
Очутился царский сын.
Бор, он видит, темен, дик.
С ним встречается старик.
С стариком он в разговор:
«Расскажи про этот бор
Мне, старинушка честной?»
Покачавши головой,
Всё старик тут рассказал,
Что от дедов он слыхал
О чудесном боре том:
Как богатый царский дом
В нем давным-давно стоит,
Как царевна в доме спит,
Как ее чудесен сон,
Как три века длится он,
Как во сне царевна ждет,
Что спаситель к ней придет;
Как опасны в лес пути,
Как пыталася дойти
До царевны молодёжь,
Как со всяким то ж да то ж
Приключалось: попадал
В лес, да там и погибал.
Был детина удалой
Царский сын; от сказки той
Вспыхнул он, как от огня;
Шпоры втиснул он в коня;
Прянул конь от острых шпор
И стрелой помчался в бор,
И в одно мгновенье там.
Что ж явилося очам
Сына царского? Забор,
Ограждавший темный бор,
Не терновник уж густой,
Но кустарник молодой;
Блещут розы по кустам;
Перед витязем он сам
Расступился, как живой;

В лес въезжает витязь мой:
Всё свежо, красно пред ним;
По цветочкам молодым
Пляшут, блещут мотыльки;
Светлой змейкой ручейки
Вьются, пенятся, журчат;
Птицы прыгают, шумят
В густоте ветвей живых;
Лес душист, прохладен, тих,
И ничто не страшно в нём.
Едет гладким он путем
Час, другой; вот наконец
Перед ним стоит дворец,
Зданье — чудо старины;
Ворота отворены;
В ворота въезжает он;
На дворе встречает он
Тьму людей, и каждый спит:
Тот, как вкопанный, сидит;
Тот, не двигаясь, идет;
Тот стоит, раскрывши рот,
Сном пресекся разговор,
И в устах молчит с тех пор
Недоконченная речь;
Тот, вздремав, когда-то лечь
Собрался, но не успел:
Сон *волшебный* овладел
Прежде сна *простого* им;
И три века недвижим,
Не стоит он, не лежит
И, упасть готовый, спит.
Изумлён и поражён
Царский сын. Проходит он
Между сонными к дворцу;
Приближается к крыльцу;
По широким ступеням
Хочет вверх итти; но там
На ступенях царь лежит
И с царицей вместе спит.
Путь наверх загорожён.
Как же быть? подумал он,
Где пробраться во дворец?
Но решился наконец,

И, молитву сотворя,
Он шагнул через царя.
Весь дворец обходит он;
Пышно всё, но всюду сон,
Гробовая тишина.
Вдруг глядит: отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба: по ступеням
Он взошел. И что же там?
Вся душа его кипит,
Перед ним царевна спит.
Как дитя лежит она,
Распылалася от сна;
Молод цвет ее ланит;
Меж ресницами блестит
Пламя сонное очей;
Ночи темныя темней,
Заплетенные косой
Кудри черной полосой
Обвилися кругом чела;
Грудь, как свежий снег, бела;
На воздушный, тонкий стан
Брошен легкий сарафан;
Губки алые горят;
Руки белые лежат
На трепещущих грудях;
Сжаты в легких сапожках
Ножки чудо красотой.
Видом прелести такой
Отуманен, распалён,
Неподвижно смотрит он;
Неподвижно спит она.
Что ж разрушит силу сна?
Вот, чтоб душу насладить,
Чтоб хоть мало утолить
Жадность пламенных очей,
На колени ставши, к ней
Он приблизился лицом:
Распалительным огнем
Жарко рдеющих ланит
И дыханьем уст облит,
Он души не удержал

И ее поцеловал.
Вмиг проснулася она;
И за нею вмиг от сна
Поднялося всё кругом;
Царь, царица, царский дом;
Снова говор, крик, возня;
Всё, как было; словно дня
Не прошло с тех пор, как в сон
Весь тот край был погружён.
Царь на лестницу идет;
Нагулявшися, ведет
Он царицу в их покой;
Сзади свита вся толпой;
Стражи ружьями стучат,
Мухи стаями летят;
Приворотный лает пёс;
На конюшне свой овёс
Доедает добрый конь;
Повар дует на огонь,
И треща огонь горит,
И струею дым бежит;
Всё бывалое: один
Небывалый царский сын.
Он с царевной наконец
Сходит сверху; мать, отец
Принялись их обнимать.
Что ж осталось досказать?
Свадьба, пир, и я там был,
И вино на свадьбе пил;
По усам вино бежало,
В рот же капли не попало.

ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК

(ОТРЫВОК)

Слушайте: я расскажу вам, друзья, про мышей и лягушек.
Сказка ложь, а песня быль, говорят нам; но в этой
Сказке моей найдется и правда. Милости ж просим
Тех, кто охотник в досужный часок пошутить, посмеяться,
Сказки послушать; а тех, кто любит смотреть исподлобья,
Всякую шутку считая за грех, мы просим покорно
К нам не ходить, и дома сидеть, да высиживать скуку.

Было прекрасное майское утро. Квакун двадесятый,
Царь знаменитой породы, властитель ближней трясины,
Вышел из мокрой столицы своей, окруженный блестящей
Свитой придворных. Вприпрыжку они взобрались на
пригорок.
Сочной травою покрытый, и там, на кочке усевшись,
Царь приказал из толпы его окружавших почетных
Стражей вызвать бойцов, чтоб его, царя, забавляли
Боем кулачным. Вышли бойцы; началося; уж много
Было лягушечьих морд царю в угожденье разбито;
Царь хохотал; от смеха придворная квакала свита
Вслед за его величеством; солнце взошло уж на полдень.
Вдруг из кустов молодец в прекрасной беленькой шубке
С тоненьким хвостиком, острым, как стрелка, на
тоненьких ножках
Выскочил; следом за ним четыре таких же, но в шубах
Дымного цвета. Рысцой они подбежали к болоту.
Белая шубка, носик в болото уткнув и поднявши
Правую ножку, начал воду тянуть, и, казалось,
Был для него тот напиток приятнее меда; головку
Часто он вверх подымал, и вода с усастого рыльца
Мелким бисером падала; вдоволь напившись и лапкой
Рыльце обтерши, сказал он: «Какое раздолье студеной
Выпить воды, утомившись от зноя! Теперь понимаю
То, что чувствовал Дарий, когда он, в бегстве из мутной



Встреча царя лягушек с мышами



Военный совет мышей



Битва мышей и лягушек

Бог Зевс пугает озверевших мышей громом

Лужи напившись, сказал: я не знаю вкуснее напитка!»
Эти слова одна из лягушек подслушала; тотчас
Скачет она с донесеньем к царю: из леса-де вышли
Пять каких-то зверков, с усами турецкими, уши
Длинные, хвостики острые, лапки как руки; в осоку
Все они побежали и царскую воду в болоте
Пьют. А кто и откуда они, неизвестно. С десятком
Стражей Квакун посылает хорунжего Пышку, проведать,
Кто незваные гости; когда неприятели, взять их,
Если дадутся, когда же соседи, пришедшие с миром,
Дружески их пригласить к царю на беседу. Сошедши
Пышка с холма и увидя гостей, в минуту узнал их:
«Это мыши; неважное дело! Но мне не случалось
Белых меж ними видать, и это мне чудно. Смотрите ж, —
Спутникам тут он сказал, — никого не обидеть. Я с ними
Сам на словах объяснюся. Увидим, что скажет мне белый».
Белый меж тем с удивленьем великим смотрел,
приподнявши
Уши, на скачущих прямо к нему с пригорка лягушек;
Слуги его хотели бежать, но он удержал их,
Выступил бодро вперед и ждал скакунов; и как скоро
Пышка с своими к болоту приблизился: «Здравствуй,
почтенный
Воин, — сказал он ему, — прошу не взыскать, что без спросу
Вашей воды напился я; мы все от охоты устали;
В это же время здесь никого не нашлось; благодарны
Очень мы вам за прекрасный напиток; и сами готовы
Равным добром за ваше добро заплатить: благодарность
Есть добродетель возвышенных душ». Удивленный такою
Умною речью, ответствовал Пышка: «Милости просим
К нам, благородные гости. Наш царь, о прибытии вашем
Сведав, весьма любопытен узнать: откуда вы родом,
Кто вы, и как вас зовут. Я послан сюда пригласить вас
С ним на беседу. Рады мы очень, что вам показалась
Наша по вкусу вода: а платы не требуем; воду
Создал господь для всех на потребу, как воздух и солнце»
Белая шубка учтиво ответствовал: «Царская воля
Будет исполнена; рад я к его величеству с вами
Вместе пойти, но только сухим путем, не водою;
Плавать я не умею; я царский сын и наследник
Царства мышиного». В это мгновенье, спустившись с
пригорка,
Царь Квакун со свитой своей приближался. Царевич

Белая шубка, увидя царя с такою толпою,
Несколько струсил, ибо не ведал, доброе ль, злое ль
Было у них на уме. Квакун отличался зеленым
Платьем, глаза на выкат сверкали как звезды, и пузом
Громко он, прядая, шлёпал. Царевич Белая шубка,
Вспомнивши кто он, робость свою победил. Величаво
Он поклонился царю Квакуну. А царь благосклонно,
Лапку подавши ему, сказал: «Любезному гостю
Очень мы рады; садись, отдохни; ты из дальнего, верно,
Края, ибо до сих пор тебя нам видать не случалось».
Белая шубка, царю поклоняся опять, на зеленой
Травке уселся с ним рядом; а царь продолжал: «Расскажи нам,
Кто ты? кто твой отец? кто мать? и откуда пришел к нам?
Здесь мы тебя угостим дружелюбно, когда, не таяся,
Правду всю скажешь: я царь и много имею богатства;
Будет нам сладко почтить дорогого гостя дарами». —
«Нет никакой мне причины, — ответствовал Белая шубка, —
Царь-государь, утаивать истину. Сам я породы
Царской, весьма на земле знаменитой. Отец мой из дома
Древних воинственных Бубликов, царь Долгохвост Иринарий
Третий; владеет пятью чердаками, наследием славных
Предков, но область свою он сам расширил войнами:
Три подполья, один амбар и две трети ветчинни
Он покорил, победивши соседних царей; а в супруги
Взявши царевну Прасковью-Пискунью белую шкурку,
Целый овин получил он за нею в приданое. В свете
Нет подобного царства. Я сын царя Долгохвоста,
Петр Долгохвост, по прозванию *Хват*. Был я воспитан
В нашем столичном подполье премудрым Онуфрием-крысой.
Мастер я рыться в муке, таскать орехи; вскребаюсь
В сыр и множество книг уж изгрыз, любя просвещенье.
Хватом же прозван я вот за какое смелое дело:
Раз случилось, что множество нас молодых мышеняток
Бегало по полю взапуски; я, как шальной, раззадорясь,
Всπрыгнул сразбегу на льва, отдыхавшего в поле, и в пышной
Гриве запутался; лев проснулся и лапой огромной
Стиснул меня; я подумал, что буду раздавлен, как мошка.
С духом собравшись, я высунул нос из-под лапы;
«Лев-государь, — ему я сказал, — мне и в мысль не входило
Милость твою оскорбить; пощади, не губи; неровен час,

Сам я тебе пригожуся». Лев улыбнулся (конечно,
Он уж покушать успел) и сказал мне: «Ты, вижу, забавник.
Льву услужить ты задумал. Добро, мы посмотрим, какую
Милость окажешь ты нам? Ступай». Тогда он раздвинул
Лапу; а я давай бог ноги; но вот что случилось:
Дня не прошло, как все мы испуганы были в подпольях
Наших львиным рыканьем: смутилась, как будто от бури,
Вся сторона; я не струсил; выбежал в поле, и что же
В поле увидел? Царь Лев, запутавшись в крепких тенетах,
Мечется, бьется, как бешеный; кровью глаза налилися;
Лапами рвет он веревки, зубами грызет их; и было
Всё то напрасно; лишь боле себя он запутывал. «Видишь,
Лев-государь, — сказал я ему, — что и я пригодился.
Будь спокоен; в минуту тебя мы избавим». И тотчас
Созвал я дюжину ловких мышат; принялись мы работать
Зубом; узлы перегрызли тенет, и лев распутлялся.
Важно кивнув головою косматой и нас допустивши
К царской лапе своей, он гриву расправил, ударил
Сильным хвостом по бедрам и в три прыжка очутился
В ближнем лесу, где вмиг и пропал. По этому делу
Прозван я *Хватом*, и славу свою поддержать я стараюсь;
Страшного нет для меня ничего; я знаю, что смелым
Бог владеет. Но должно, однако, признаться, что всюду
Здесь мы встречаем опасность; так бог уж землю устроил.
Всё здесь воюет: с травою Овца, с Овцою голодный
Волк, Собака с Волком, с Собакой Медведь, а с Медведем
Лев; Человек же и Льва, и Медведя, и всех побеждает.
Так и у нас, отважных Мышей, есть много опасных
Сильных гонителей: Совы, Ласточки, Кошки, а всех их
Злее козни людские. И тяжко подчас нам приходит.
Я, однако, спокоен; я помню, что мне мой наставник
Мудрый, крыса Онуфрий, твердил: беды нас смиренью
Учат. С верой такою ничто не беда. Я доволен
Тем, что имею: счастию рад, а в несчастьи не хмурюсь».
Царь Квакун со вниманием слушал Петра Долгохвоста.
«Гость дорогой, — сказал он ему, — признаюсь откровенно:
Столь разумные речи меня в изумленье приводят.
Мудрость такая в такие цветущие лета! Мне сладко
Слушать тебя: и приятность, и польза! Теперь опиши мне
То, что случилось когда с мышиным вашим народом,
Что от врагов вы терпели, и с кем, когда воевали». —
«Должен я прежде о том рассказать, какие нам козни
Строит наш хитрый, двуногий злодей, Человек. Он ужасно

Жаден; он хочет всю землю заграбить один, и с Мышами
В вечной вражде. Не исчислить всех выдумок хитрых, какими
Наше он племя избыть замышляет. Вот, например, он
Домик затеял построить: два входа, широкий и узкий;
Узкий заделан решеткой, широкий с подъемною дверью.
Домик он этот поставил у самого входа в подполье.
Нам же сдуру на мысли взбрело, что, поладить
С нами желая, для нас учредил он гостиницу. Жирный
Кус ветчины там висел и манил нас; вот целый десяток
Смелых охотников вызвались: в домик забраться, без платы
В нем отобедать, и верные вести принесть нам.
Входят они, но только что начали дружно висячий
Кус ветчины тормошить, как подъемная дверь с превеликим
Стуком упала и всех их захлопнула. Тут поразило
Страшное зрелище нас: увидели мы, как злодеи
Наших героев таскали за хвост и в воду бросали.
Все они пали жертвой любви к ветчине и к отчизне.
Было нечто и хуже. Двуногий злодей наготовил
Множество вкусных для нас пирожков и расклал их,
Словно как добрый, по всем закоулкам. Народ наш
Очень доверчив и ветрен; мы лакомки; бросилась жадно
Вся молодежь на добычу. Но что же случилось? Об этом
Вспомнить, мороз подирает по коже. Открылся в подполье
Мор: отравой злодей угостил нас. Как будто шальные
С пиру пришли удальцы: глаза навыкат, разинув
Рты, умирая от жажды, взад и вперед по подполью
Бегали с писком они, родных, друзей и знакомых
Боле не зная в лицо; наконец, утомясь, обессилев,
Все попадали мертвые, лапками вверх; запустела
Целая область от этой беды; от ужасного смрада
Трупов ушли мы в другое подполье, и край наш родимый
Надолго был обезмышен. Но главное бедствие наше
Ныне в том, что губитель двуногий крепко сдружился
Нам ко вреду с Сибирским котом, Федотом Мурлыкой.
Кошачий род давно враждует с мышиным. Но этот
Хитрый Котище Федот Мурлыка для нас наказанье
Божие. Вот как я с ним познакомился. Глупым мышенком
Был я еще и не знал ничего. И мне захотелось
Высунуть нос из подполья. Но Мать царица Прасковья
С крысой Онуфрием крепко-накрепко мне запретили
Норку мою покидать; но я не послушался, в щелку
Выглянул: вижу камнем выстланный двор; освещало

Солнце его, и окна огромного дома светились;
Птицы летали и пели. Глаза у меня разбежались.
Выйти не смея, смотрю я из щелки и вижу на дальнем
Крае двора зверок усастый, сизая шкурка,
Розовый нос, зеленые глазки, пушистые уши,
Тихо сидит и за птичками смотрит; а хвостик, как змейка,
Так и виляет. Потом он своею бархатной лапкой
Начал усастое рыльце себе умывать. Облилося
Радостью сердце мое, и я уж сбирался покинуть
Щелку, чтоб с милым зверком познакомиться. Вдруг
зашумело
Что-то вблизи; оглянувшись, так я и обмер. Какой-то
Страшный урод ко мне подходил; широко шагая,
Черные ноги свои подымал он, и когти кривые
С острыми шпорами были на них; на уродливой шее
Длинные косы висели змеями; нос крючковатый;
Под носом трясся какой-то мохнатый мешок, и как будто
Красный с зубчатой верхушкой колпак, с головы
перегнувшись,
По носу бился, а сзади какие-то длинные крючья,
Разного цвета, торчали снопом. Не успел я от страха
В память притти, как с обоих боков поднялись у урода
Словно как парусы, начали хлопать, и он, раздвоивши
Острый нос свой, так заорал, что меня как дубиной
Треснуло. Как прибежал я назад в подполье, не помню.
Крыса Онуфрий, услышав о том, что случилось со мною,
Так и ахнул. «Тебя помиловал бог, — он сказал мне: —
Свечку ты должен поставить уроду, который так кстати
Криком своим тебя испугал; ведь это наш добрый
Сторож петух; он горлан и с своими большой забияка;
Нам же, мышам, он приносит и пользу: когда закричит он,
Знаем мы все, что проснулися наши враги; а приятель,
Так обольстивший тебя своей лицемерною харей,
Был не иной кто, как наш злодей записной, объедало
Кот Мурлыка: хорош бы ты был, когда бы с знакомством
К этому плуту подъехал: тебя б он порядком погладил
Бархатной лапкой своею; будь же вперед осторожен».
Долго рассказывать мне об этом проклятом Мурлыке;
Каждый день от него у нас недочет. Расскажу я
Только то, что случилось недавно. Разнесся в подполье
Слух, что Мурлыку повесили. Наши лазутчики сами
Видели это глазами своими. Вскружилось подполье;
Шум, беготня, пискотня, скаканье, кувырканье, пляска, —

Словом, мы все одурели, и сам мой Онуфрий премудрый
С радости так напился, что подрался с царицей и в драке
Хвост у нее откусил, за что был и высечен больно.
Что же случилось потом? Не разведавши дела порядком,
Вздумали мы кота погребать, и надгробное слово
Тотчас поспело. Его сочинил поэт наш подпольный
Клим, по прозванию Бешеный Хвост; такое прозванье
Дали ему за то, что, стихи читая, всегда он
В меру вилял хвостом, и хвост как маятник стукал.
Всё изготовив, отправились мы на поминки к Мурлыке;
Вылезло множество нас из подполья; глядим мы, и вправду
Кот Мурлыка в ветчинне висит на бревне, и повешен
За ноги, мордою вниз; оскалены зубы; как палка
Вытянут весь; и спина и хвост, и передние лапы
Словно как мерзлые; оба глаза глядят не моргая.
Все запищали мы хором: «Повешен Мурлыка! повешен
Кот окаянный; довольно ты, кот, погулял; погуляем
Нынче и мы». И шесть смельчаков тотчас взобралися
Вверх по бревну, чтоб Мурлыкины лапы распутать; но лапы
Сами держались, когтями вцепившись в бревно; а веревки
Не было там никакой, и лишь только к ним прикоснулись
Наши ребята, как вдруг распустилися когти, и на пол
Хлопнулся кот, как мешок. Мы все по углам разбежались
В страхе, и смотрим, что будет. Мурлыка лежит и не дышит,
Ус не тронется, глаз не моргнет; мертвец — да и только.
Вот, ободрясь, из углов мы к нему подступать понемногу
Начали; кто посмелее, тот дернет за хвост, да и тягу
Даст от него; тот лапкой ему погрозит; тот подразнит
Сзади его языком; а кто еще посмелее,
Тот, подкравшись, хвостом в носу у него пощекочет.
Кот ни с места, как пень. «Берегитесь, — тогда нам сказала
Старая мышь Степанида, которой Мурлыкины когти
Были знакомы (у ней он весь зад ободрал и насилу
Как-то она от него уплела), — берегитесь: Мурлыка
Старый мошеник; ведь он висел без веревки, а это
Знак не добрый; и шкурка цела у него». То услыша,
Громко мы все засмеялись. «Смейтесь, чтоб после не
плакать, —
Мышь Степанида сказала опять, — а я не товарищ
Вам». И поспешно, созвав мышеняток своих, убралася
С ними в подполье она. А мы принялись, как шальные,
Прыгать, скакать и кота тормошить. Наконец поуставши,
Все мы уселись в кружок перед мордой его, и поэт наш

Клим, по прозванию Бешеный Хвост, на Мурлыкино пузо
Взлезши, начал оттуда читать нам надгробное слово,
Мы же при каждом стихе хохотать. И вот что прочел он:
«Жил Мурлыка; был Мурлыка кот Сибирский,
Рост богатырский, сизая шкурка, усы как у турка;
Был он бешен, на краже помешан, за то и повешен,
Радуйся, наше подполье!..» Но только успел проповедник
Это слово промолвить, как вдруг наш покойник очнулся.
Мы бежать... Куда ты! пошла ужасная травля.
Двадцать из нас осталось на месте, а раненых втрое
Более было. Тот воротился с ободранным пузом,
Тот без уха, другой с отъеденной мордой; иному
Хвост был оторван; у многих так страшно искусаны были
Спины, что шкурки мотались как тряпки; царицу Прасковью
Чуть успели в нору уволочь за задние лапки;
Царь Иринарий спасся с рубцом на носу; но премудрый
Крыса Онуфрий с Климом-поэтом достались Мурлыке
Прежде других на обед. Так кончился пир наш бедою.

. . . .

ТЮЛЬПАННОЕ ДЕРЕВО

Однажды жил, не знаю где, богатый
И добрый человек. Он был женат
И всей душой любил свою жену;
Но не было у них детей, и это
Их сокрушало, и они молились,
Чтобы господь благословил их брак;
И к господу молитва их достигла.
Был сад кругом их дома; на поляне
Там дерево тюльпанное росло.
Под этим деревом однажды (это
Случилось в зимний день) жена сидела
И с яблока румяного ножом
Снимала кожу; вдруг ей острый нож
Легонько палец оцарапал; кровь
Пурпурной каплею на белый снег
Упала; тяжело вздохнув, она
Подумала: «О! если б бог нам дал
Дитя, румяное, как эта кровь,
И белое, как этот чистый снег!»
И только что она сказала это, в сердце
Ее как будто что зашевелилось,
Как будто из него утешный голос
Шепнул ей: сбудется. Пошла в раздумьи
Домой. Проходит месяц — снег растаял;
Другой проходит — всё в лугах и рощах
Зазеленело; третий месяц миновался —
Цветы покрыли землю, как ковер;
Прошел четвертый — все в лесу деревья
Срослись в один зеленый свод, и птицы
В густых ветвях запели голосисто,
И с ними весь широкий лес запел.
Когда же пятый месяц был в исходе —
Под дерево тюльпанное она
Пришла; оно так сладко, так свежо

Благоухало, что ее душа
Глубокою, неведомой тоскою
Была проникнута; когда шестой
Свершился месяц — стали наливаться
Плоды и созревать; она же стала
Задумчивей и тише; наступает
Седьмой — и часто, часто под своим
Тюльпанным деревом она одна
Сидит, и плачет, и ее томит
Предчувствие тяжелое; настал
Осьмой — она в конце его больная
Слегла в постелю и сказала мужу
В слезах: когда умру, похорони
Меня под деревом тюльпанным; месяц
Девятый кончился — и родился
У ней сынок, как кровь румяный, белый
Как снег; она ж обрадовалась так,
Что умерла. И муж похоронил
Ее в саду под деревом тюльпанным,
И горько плакал он об ней; и целый
Проплакал год; и начала печаль
В нем утихать; и наконец утихла
Совсем; и он женился на другой
Жене, и скоро с нею прижил дочь.
Но не была ничем жена вторая
На первую похожа; в дом его
Не принесла она с собою счастья.
Когда она на дочь свою родную
Смотрела, в ней смеялася душа;
Когда ж глаза на сироту, на сына
Другой жены невольно обращала,
В ней сердце злилось; он как будто ей
И жить мешал; а хитрый искуситель
Против него нашептывал всечасно
Ей злые замыслы. В слезах и в горе
Сиротка рос, и ни одной минуты
Веселой в доме не было ему.
Однажды мать была в своей каморке,
И перед ней стоял сундук открытый
С тяжелой, кованой железом кровлей
И с острым нутряным замком; сундук
Был полон яблок. Тут сказала ей
Марлиночка (так называли дочь):

«Дай яблочко, родная, мне». — «Возьми», —
Ей отвечала мать. «И братцу дай», —
Прибавила Марлиночка. Сначала
Нахмурилася мать; но враг лукавый
Вдруг что-то ей шепнул; она сказала:
«Марлиночка, поди теперь отсюда;
Обоим вам по яблочку я дам,
Когда твой брат воротится домой»
(А из окна уж видела она,
Что мальчик шел, и чудилося ей,
Что будто на нее с ним вместе злое
Шло искушенье); кованый сундук
Закрыв, она глаза на двери дико
Уставила; когда ж их отворил
Малютка и вошел, ее лицо
Белее стало полотна; поспешно
Она ему дрожащим и глухим
Сказала голосом: «Вынь для себя
И для Марлиночки из сундука
Два яблока». При этом слове ей
Почудилось, что кто-то подле громко
Захохотал. А мальчик, на нее
Взглянув, спросил: «Зачем ты на меня
Так страшно смотришь?» — «Выбирай скорее!» —
Она, поднявши кровлю сундука,
Ему сказала, и ее глаза
Сверкнули острым блеском. Мальчик робко
За яблоком нагнулся головой
В сундук. Тут ей лукавый враг шепнул:
Скорей! И кровлею она тяжелой
Захлопнула сундук, и голова
Малютки, как ножом, была железным
Отрезана замком и, отскочивши,
Упала в яблоки. Холодной дрожью
Злодейку обдало. «Что делать мне?» —
Подумала она, смотря на страшный
Захлопнутый сундук. И вот она
Из шкапа шелковый платок достала,
И, голову отрезанную к шее
Приставив, тем платком их обвила
Так плотно, что приметить ничего
Не можно было; и потом она
Перед дверями мертвого на стул

(Дав в руки яблоко ему и к стенке
Его спиной придвинув) посадила;
И, наконец, как будто не была
Ни в чем, пошла на кухню стряпать. Вдруг
Марлиночка в испуге прибежала
И шепчет: «Посмотри туда; там братец
Сидит в дверях на стуле; он так бел;
И держит яблоко в руке; но сам
Не ест; когда ж его я попросила,
Чтоб дал мне яблоко, не отвечал
Ни слова, не взглянул; мне стало страшно»
На то сказала мать: «Поди к нему
И попроси в другой раз; если ж он
Опять ни слова отвечать не будет
И на тебя не взглянет, подери
Его покрепче за ухо; он спит».
Марлиночка пошла, и видит: братец
Сидит в дверях на стуле, бел как снег;
Не шевелится, не глядит и держит,
Как прежде, яблоко в руках, но сам
Его не ест. Марлиночка подходит
И говорит: «Дай яблочка мне, братец».
Ответа нет. Тут за ухо она
Тихонько братца дернула; и вдруг
От плеч его отпала голова
И покатилась. С криком прибежала
Марлиночка на кухню. «Ах! родная,
Беда! беда! я братца моего
Убила! голову оторвала
Я братцу». И бедняжка заливалась
Слезами и кричала криком. Ей
Сказала мать: «Марлиночка, уж горю
Не пособить; нам надобно скорей
Его прибрать, пока не воротился
Домой отец; возьми и отнеси
Его покуда в сад и спрячь там; завтра
Его сама в овраг я брошу; волки
Его съедят, и косточек никто
Не сыщет; перестань же плакать, делай,
Что я велю». — Марлиночка пошла;
Она, широкой белой простынею
Обвивши тело, отнесла его,
Рыдая, в сад; и там его тихонько

Под деревом тюльпанным положила
На свежий дерн, который покрывал
Могилку матери его. И что же?
Могилка вдруг раскрылася, и тело
Взяла, и снова дерн зазеленел
На ней, и расцвели на ней цветы,
И из цветов вдруг выпорхнула птичка,
И весело запела, и взвилась
Под облака и в облаках пропала.
Марлиночка сперва оторопела;
Потом (как будто кто в ее душе
Печаль заговорил) ей стало вдруг
Легко — пошла домой и никому
О бывшем с нею не сказала. Скоро
Пришел домой отец. Не видя сына,
Спросил он с беспокойством: где он? Мать,
Вся помертвев, поспешно отвечала:
«Ранехонько ушел он со двора
И всё еще не возвращался». Было
Уж заполдень; была пора обедать,
И накрывать на стол хозяйка стала.
Марлиночка ж сидела в уголку,
Не шевелясь и молча; день был светлый,
Ни облачка на небе не бродило,
И тихо блеск полуденного солнца
Лежал на зелени дерев; и было
Повсюду всё спокойно. Той порою
Спорхнувшая с могилы братца птичка
Летала, да летала. Вот она
На кустик села под окошком дома,
Где золотых дел мастер жил. Она
Расправив крылышки, запела громко:
«Зла мачеха зарезала меня;
Отец родной не ведает о том;
Сестрица же Марлиночка меня
Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».
Услышав это, золотых дел мастер
В окошко выглянул; он так пленился
Прекрасной птичкою, что закричал:
«Пропой еще раз, милая пичужка». —
«Я даром дважды петь не стану, — птичка
Сказала: — подари цепочку мне,

И запою». Услышав это, мастер
Богатую ей бросил из окна
Цепочку. Правой лапкою схвативши
Цепочку ту, свою запела песню
Звучней, чем прежде, птичка; и допевши,
Спорхнула с кустика с своей добычей
И полетела далее, и скоро
На кровлю домика, где жил башмачник,
Спустилася и там опять запела:
«Зла мачеха зарезала меня:
Отец родной не ведает о том;
Сестрица же Марлиночка меня
Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».
Башмачник в это время у окна
Шил башмаки; услышав песню, он
Работу бросил, выбежал на двор,
И видит, что сидит на кровле птичка
Чудесной красоты. «Ах птичка, птичка, —
Сказал башмачник, — как же ты прекрасно
Поешь. Нельзя ль еще раз ту же песню
Пропеть?» — «Я даром дважды не пою, —
Сказала птичка, — дай мне пару детских
Сафьянных башмаков». Башмачник тотчас
Ей вынес башмаки. И левой лапкой
Их взяв, свою опять запела песню
Звучней, чем прежде, птичка и, допевши,
Спорхнула с кровли с новою добычей
И полетела далее, и скоро
На мельницу, которая стояла
Над быстрой речкою, во глубине
Прохладныя долины, прилетела.
Был стук и шум от мельничных колес,
И с громом в ней молол огромный жернов;
И в воротах ее рубили двадцать
Работников дрова. На ветку липы,
Которая у мельничных ворот
Росла, спустилась птичка и запела:
«Зла мачеха зарезала меня»;
Один работник, то услышав, поднял
Глаза и перестал рубить дрова.
«Отец родной не ведает о том»;
Оставили еще работу двое.

«Сестрица же Марлиночка меня»;
Тут пятеро еще, глаза на липу
Оборотив, работать перестали.
«Близ матушки родной моей в саду»;
Еще тут восемь вслушалися в песню,
Остолбеневши, топоры они
На землю бросили и на певицу
Уставили глаза. Когда ж она
Умолкнула, последнее пропев:
«Под деревом тюльпанным погребла»;
Все двадцать разом кинулися к липе
И закричали: «Птичка, птичка, спой нам
Еще раз песенку твою». На это
Сказала птичка: «Дважды петь не стану
Я даром. Если же вы этот жернов
Дадите мне, я запою». — «Дадим,
Дадим»,— в один все голос закричали.
С трудом великим общей силой жернов
Подняв с земли, они его надели
На шею птичке; и она, как будто
В жемчужном ожерелье, отряхнувшись
И крылышки расправивши, запела
Звучней, чем прежде, и, допев, спорхнула
С зеленой ветки и умчалась быстро,
На шее жернов, в правой лапке цепь,
А в левой башмаки. И так она
На дерево тюльпанное в саду
Спустилась. Той порой отец сидел
Перед окном, попрежнему в углу
Марлиночка, а мать на стол сбирала.
«Как мне легко! — сказал отец: — как светел
И тепел майский день!» — «А мне, — сказала
Жена, — так тяжело, так душно!
Как будто бы сбирается гроза».
Марлиночка ж, прижавшись в уголок,
Не шевелилася, сидела молча,
И плакала. А птичка той порой,
На дереве тюльпанном отдохнувши,
Полетом тихим к дому полетела.
«Как на душе моей легко! — опять
Сказал отец, — как будто бы кого
Родного мне увидеть». — «Мне ж, — сказала
Жена, — так страшно! всё во мне дрожит;

И кровь по жилам льется, как огонь».—
Марлиночка ж ни слова; в уголку
Сидит, не шевелясь, и тихо плачет.
Вдруг птичка, к дому подлетев, запела:
«Зла мачеха зарезала меня».
Услышав это, мать в оцепененьи
Зажмурила глаза, заткнула уши,
Чтоб не видать и не слыхать; но в уши
Гудело ей, как будто шум грозы,
В зажмуренных глазах ее сверкало,
Как молния, и пот смертельный тело
Ее, как змей холодный, обвивал.
«Отец родной не ведает о том».
«Жена, — сказал отец, — смотри, какая
Там птичка! Как поет! а день так тих,
Так ясен и такой повсюду запах,
Что скажешь: вся земля в цветы оделась.
Пойду и посмотрю на эту птичку». —
«Останься, не ходи, — сказала в страхе
Жена. — Мне чудится, что весь наш дом
В огне». — Но он пошел. А птичка пела:
«Сестрица же Марлиночка меня
Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».
И в этот миг цепочка золотая
Упала перед ним. «Смотрите, — он
Сказал, — какой подарок дорогой
Мне птичка бросила». Тут не могла
Жена от страха устоять на месте
И начала, как в исступленьи, бегать
По горнице. Опять запела птичка:
«Зла мачеха зарезала меня» —
А мачеха бледнела и шептала:
«О, если б на меня упали горы,
Лишь только б этой песни не слыхать!»—
«Отец родной не ведает о том»—
Тут повалилася она на землю,
Как мертвая, как труп окостенелый.
«Сестрица же Марлиночка меня»—
Марлиночка, вскочив при этом с места,
Сказала: «Побегу, не даст ли птичка
Чего и мне?» И, выбежав, глазами
Она искала птички. Вдруг упали

Ей в руки башмаки. Она в ладоши
От радости захлопала. «Мне было
До этих пор так грустно, а теперь
Так стало весело, так живо!» —
«Нет, — простонала мать, — я не могу
Здесь оставаться; я задохнусь; сердце
Готово лопнуть». И она вскочила;
На голове ее стояли дыбом,
Как пламень, волосы; и ей казалось,
Что всё кругом ее валилось. В двери
Она в безумьи кинулась... но только
Ступила за порог, тяжелый жернов
Бух! .. — и ее как будто не бывало.
На месте же, где казнь над ней свершилась,
Столбом огонь поднялся из земли.
Когда ж исчез огонь, живой явился
Там братец; и Марлиночка к нему
На шею кинулась. Отец же долго
Искал жены глазами; но ее
Он не нашел. Потом все трое сели,
Усердно богу помолясь, за стол;
Но за столом никто не ел, и все
Молчали; и у всех на сердце было
Спокойно, как бывает всякий раз,
Когда оно почувствует живей
Присутствие невидимого бога.

КОТ В САПОГАХ

Жил мельник. Жил он, жил, и умер,
Оставивши своим трем сыновьям
В наследство мельницу, осла, кота
И... только. Мельницу взял старший сын,
Осла взял средний; а меньшому дали
Кота. И был он крепко недоволен
Своим участком. «Братья, — рассуждал он, —
Сложившись, будут без нужды; а я,
Изжаривши кота и съев, и сделав
Из шкурки муфту, чем потом начну
Хлеб добывать насущный?» Так он вслух,
С самим собою рассуждая, думал;
А Кот, тогда лежавший на печурке,
Разумное подслушав рассужденье,
Сказал ему: «Хозяин, не печалься;
Дай мне мешок, да сапоги, чтоб мог я
Ходить за дичью по болоту — сам
Тогда увидишь, что не так-то беден
Участок твой». Хотя и не совсем
Был убежден Котом своим хозяин,
Но уж не раз случалось замечать
Ему, как этот Кот искусно вел
Войну против мышей и крыс, какие
Выдумывал он хитрости, и как,
То, мертвым притворясь, висел на лапах,
Вниз головой, то пудрился мукой,
То прятался в трубу, то под кадушкой
Лежал, свернувшись в ком; а потому
И слов Кота не пропустил он мимо
Ушей. И подлинно, когда он дал
Коту мешок и нарядил его
В большие сапоги, на шею Кот
Мешок надел и вышел на охоту
В такое место, где, он ведал, много

Водилось кроликов. В мешок насыпав
Трухи, его на землю положил он;
А сам вблизи, как мертвый, растянулся,
И терпеливо ждал, чтобы какой невинный,
Неопытный в науке жизни кролик
Пожаловал к мешку покушать сладкой
Трухи. И он недолго ждал. Как раз .
Перед мешком его явился глупый,
Вертлявый, долгоухий кролик; он
Мешок понюхал, поморгал ноздрями,
Потом и влез в мешок; а Кот проворно
Мешок стянул снурком и без дальнейших
Приветствий гостя угостил по-свойски.
Победою довольный, во дворец
Пошел он к королю и приказал,
Чтобы об нем немедля доложили.
Велел ввести Кота в свой кабинет
Король. Вошед, он поклонился в пояс;
Потом сказал, потупив морду в землю:
«Я кролика, великий государь,
От моего принес вам господина,
Маркиза Карабаса (так он вздумал
Назвать хозяина); имеет честь
Он вашему величеству свое
Глубокое почтенье изъявить,
И просит вас принять его гостинец». —
«Скажи маркизу, — отвечал король, —
Что я его благодарю и что
Я очень им доволен». Королю
Откланявшися, Кот пошел домой.
Когда ж он шел через дворец, то все
Вставали перед ним и жали лапу
Ему с улыбкой, потому, что он
Был в кабинете принят королем
И с ним наедине (и уж конечно
О государственных делах) так долго
Беседовал. А Кот был так учтив,
Так обходителен, что все дивились
И думали, что жизнь свою провел
Он в лучшем обществе. Спустя немного
Отправился опять на ловлю Кот,
В густую рожь засел с своим мешком,
И там поймал двух жирных перепелок.

И их немедленно он к королю,
Как прежде кролика, отнес в гостинец
От своего маркиза Карабаса.
Охотник был король до перепелок;
Опять позвать велел он в кабинет
Кота и, перепелок сам принявши,
Благодарить маркиза Карабаса
Велел особенно. И так наш Кот
Недели три, четыре к королю
От имени маркиза Карабаса
Носил и кроликов и перепелок.
Вот он однажды сведал, что король
Сбирается прогуливаться в поле
С своею дочерью (а дочь была
Красавица, какой другой на свете
Никто не видывал), и что они
Поедут берегом реки. И он,
К хозяину поспешно прибежав,
Ему сказал: «Когда теперь меня
Послушаешься ты, то будешь разом
И счастлив и богат. Вся хитрость в том,
Чтоб ты сейчас пошел купаться в реку;
Что будет после, знаю я; а ты
Сиди себе в воде, да полоскайся,
Да ни о чем не хлопочи». Такой
Совет принять маркизу Карабасу
Не трудно было; день был жаркий; он
С охотою отправился к реке,
Влез в воду и сидел в воде по горло;
А в это время был король уж близко.
Вдруг начал Кот кричать: «Разбой! разбой!
Сюда, народ!» — «Что сделалось?» — подъехав,
Спросил король. «Маркиза Карабаса
Ограбили и бросили в реку;
Он тонет». Тут, по слову короля,
С ним бывшие придворные чины
Все кинулись ловить в воде маркиза.
А королю Кот на ухо шепнул:
«Я должен вашему величеству донесть,
Что бедный мой маркиз совсем раздет;
Разбойники все платье унесли»
(А платье сам мошенник спрятал в куст).
Король велел, чтобы один из бывших



В. А. Жуковский (1832)

С ним государственных министров снял
С себя мундир и дал его маркизу.
Министр тотчас разделся за кустом;
Маркиза же в его мундир одели,
И Кот его представил королю,
И королем был ласково он принят.
А так как он красавец был собою,
То и совсем не мудрено, что скоро
И дочери прекрасной королевской
Понравился. Богатый же мундир
(Хотя на нем и не совсем в обтяжку
Сидел он, потому что брюхо было
У королевского министра) вид
Ему отличный придавал. Короче,
Маркиз понравился; и сесть с собой
В коляску пригласил его король.
А сметливый наш Кот во все лопатки
Вперед бежать пустился. Вот увидел
Он на лугу широком косарей,
Сбиравших сено. Кот им закричал:
«Король проедет здесь; и если вы
Ему не скажете, что этот луг
Принадлежит маркизу Карабасу,
То он вас всех прикажет изрубить
На мелкие куски». Король, проехав,
Спросил: «Кому такой прекрасный луг
Принадлежит?» — «Маркизу Карабасу», —
Все закричали разом косари.
(В такой их страх привел проворный Кот).
«Богатые луга у вас, маркиз», —
Король заметил. А маркиз, смиренный
Принявши вид, ответствовал: «Луга
Изрядные». Тем временем поспешно
Вперед ушедший Кот увидел в поле
Жнецов: они в снопы вязали рожь.
«Жнецы, — сказал он, — едет близко наш
Король. Он спросит вас: чья рожь? И если
Не скажете ему вы, что она
Принадлежит маркизу Карабасу,
То он вас всех прикажет изрубить
На мелкие куски». Король проехал.
«Кому принадлежит здесь поле?» — он
Спросил жнецов. «Маркизу Карабасу»,

Жнецы ему с поклоном отвечали.
Король опять сказал: «Маркиз, у вас
Богатые поля». Маркиз на то
Попрежнему ответствовал смиренно:
«Изрядные». А Кот бежал вперед
И встречных всех учил, как королю
Им отвечать. Король был поражен
Богатствами маркиза Карабаса.
Вот наконец в великолепный замок
Кот прибежал. В том замке людоед
Волшебник жил; и Кот о нем уж знал
Всю подноготную; в минуту он
Смекнул, что делать: в замок смело
Вошед, он попросил у людоеда
Аудиенции; и людоед,
Приняв его, спросил: «Какую нужду
Вы, Кот, во мне имеете?» На это
Кот отвечал: «Почтенный людоед,
Давно слух носится, что будто вы
Умеете во всякий превращаться,
Какой задумаете, вид; хотел бы
Узнать я, подлинно ль такая мудрость
Дана вам?» — «Это правда; сами, Кот,
Увидите». И мигом он явился
Ужасным львом с густой, косматой гривой,
И острыми зубами. Кот при этом
Так струсил, что (хоть был и в сапогах)
В один прыжок под кровлей очутился.
А людоед, захохотавши, принял
Свой прежний вид и попросил Кота
К нему сойти. Спустившись с кровли, Кот
Сказал: «Хотелось бы, однако, знать мне,
Вы можете и в маленького зверя,
Вот, например, в мышенка превратиться?» —
«Могу, — сказал с усмешкой людоед, —
Что ж тут мудреного!» И он явился
Вдруг маленьким мышенком. Кот того
И ждал; он разом цап! и съел мышенка.
Король тем временем подъехал к замку,
Остановился и хотел узнать,
Чей был он. Кот же, рассчитавшись
С его владельцем, ждал уж у ворот
И в пояс кланялся и говорил:

«Не будет ли угодно, государь,
Пожаловать на перепутьи в замок
К маркизу Карабасу?» — «Как, маркиз, —
Спросил король, — и этот замок вам же
Принадлежит? Признаться, удивляюсь;
И будет мне приятно побывать в нем».
И приказал король своей коляске
К крыльцу подъехать; вышел из коляски;
Принцессе ж руку предложил маркиз;
И все пошли по лестнице высокой
В покои. Там в пространной галерее
Был стол накрыт и полдник приготовлен
(На этот полдник людоед позвал
Приятелей, но те, узнав, что в замке
Король был, не вошли, и все домой
Отправились). И, сев за стол роскошный,
Король велел маркизу сесть меж ним
И дочерью. И стали пировать.
Когда же в голове у короля
Вино позашумело, он маркизу
Сказал: «Хотите ли, маркиз, чтоб дочь
Мою за вас я выдал?» Честь такую
С неимоверной радостию принял
Маркиз. И свадьбу вмиг сыграли. Кот
Остался при дворе и был в чины
Произведен, и в бархатных являлся
В дни табельные сапогах. Он бросил
Ловить мышей, а если и ловил,
То это для того, чтобы немного
Себя развлечь и сплин, который нажил
Под старость при дворе, воспоминаньем
О светлых днях минувшего рассеять.

ПОВЕСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДВЕ БЫЛИ И ЕЩЕ ОДНА

День был ясен и тепел; к закату сходящее солнце
Ярко сияло на чистом лазоревом небе. Спокойно
Дедушка, солнцем согретый, сидел у ворот на скамейке;
Глядя на ласточек, быстро круживших в воздушном
пространстве,
Вслед за ними пускал он дымок из маленькой трубки:
Легкими кольцами дым подымался и, с воздухом слившись,
В нем пропадал. Маргарита, Луиза и Лотта за пряжей
Чинно сидели кругом; самопрялки жужжали, и тонкой
Струйкой нити вилися; Фриц работал, а Енни,
Вечный ленивец, играл на траве с курчавою шафкой.
Все молчали: как будто ангел тихий провеял.
«Дедушка, — Лотта сказала, — что ты примолк? Расскажи нам
Сказку; вечер ясный такой; нам весело будет
Слушать». — «Сказку? — старик проворчал, высыпая из
трубки
Пепел, — всё бы вам сказки! не лучше ль послушать вам
были?
Быль расскажу вам, и быль не одну, а две». — Опроставши
Трубку и снова набив ее табаком, из мошенки
Дедушка вынул огниво и, трут на кремень положивши,
Крепко ударил сталью в кремень; посыпались искры,
Трут загорелся, и трубка опять задымилась. Собравшись
С мыслями, дедушка так рассказывать с важностью начал:
«Дети, смотрите, как всё перед нами прекрасно, как
солнце,
Медленно с неба спускаясь, всё осыпает лучами;
Реин золотом льется; жатва как тихое море;
Холмы зеленые в свете вечернем горят; по дорогам
Шум и движенье; подняв паруса, нагруженные барки
Быстро бегут по водам; а наша приходская церковь...
Окна ее как огни меж темными липами блещут;
Вкруг мелькают кресты на кладбище, и в воздухе теплом
Птицы вьются, мошки блестящею пылью мелькают;

Весь он полон говором, пеньем, жужжаньем... прекрасен
Мир господень! сердцу так радостно, сладко и вольно!
Скажешь: где бы в этом прекрасном мире господнем
Быть несчастью? Ан нет! и не только несчастье —
злодейство
Место находит в нем. Видите ль там на высоком пригорке
Зàмок в обломках? Теперь по стенам расцветает зеленый
Плющ, и солнце его золотит, и звонкую песню беспечно,
Сидя в траве, на рожке там играет пастух. А на Рейне
Видите ль вы небольшой островок? Молодая из кленов
Роща на нем расцвела; под тенью ее разостлавши
Сети, рыбак готовит свой ужин, и дым голубою
Струйкой вьется по зелени темной. Взглянуть, так прекрасный
Рай. Ну слушайте ж: очень недавно, там на пригорке,
Близко развалин зàмка, стояла гостиница, чистый,
Светлый, просторный дом, под вывеской *черного вепря*.
В этой гостинице каждый прохожий в то время мог видеть
Бедную Эми. Подлинно бедная! дико потупив
Голову, в землю глаза неподвижно уставив, по целым
Дням сидела она перед дверью трактира на камне.
Плакать она не могла, но тяжко, тяжко вздыхала;
Жалоб никто от нее не слыхал, но боже мой! всякий,
Раз поглядевши ей бедной в лицо, узнавал, что на свете
Всё для нее миновалось: мертвою бледностью щеки
Были покрыты; глаза из глубоких впадин сверкали
Острым огнем; одежда была в беспорядке; как змеи,
Черные кудри по голым плечам раскиданы были.
Вечно молчала она и была тиха, как младенец;
Но порою, если случалось, что ветер просвищет,
Вдруг содрогалась, на что-то глаза упирала и, пальцем
Быстро туда указав, смеялась смехом безумным.
Бедная Эми! такою ль видали ее? Беззаботно
Жизнью бывало она веселилась, как вольная пташка.
Помню и я, и давнишние гости *черного вепря*,
Как нас радушной улыбкой и ласковым словом встречала
Эми, как весело шло угощенье. И все ей друзьями
Были в нашей округе. Кто веселость и живость
Всюду с собою приносил? Кого, как любимого гостя,
С криком вся молодежь встречала на праздниках? Эми.
Кто всегда так опрятно и чинно одет был? Кого наш
священник
Девушкам всем в образец представлял? Кто, шумя как
ребенок

Резвый на игрищах, был так набожно тих за молитвой?
Словом: кто бедным был друг, за больными ходил,
с огорченным
Плакал, с детьми играл, как дитя? Всё Эми, всё Эми.
Господи боже! она ли не стоила счастья! А вышло
Всё напротив. Она полюбила Бранда. Признаться,
Этот Бранд был молод, умен и красив; но худые
Слухи носились об нем; он с людьми недобрыми знался;
В церковь он не ходил; а в шинках, за картами, кто был
Первый? Бранд. Колдовством ли каким он понравился Эми,
Сам ли господь ей хотел послать на земле испытанье,
С тем, чтоб душа ее, здесь в страданьях очистившись,
прямо
В рай перешла — не знаю, но Эми была уж невестой
Бранда, и все жалели об ней. Ну послушайте ж: вечер
Был осенний и бурный, в гостинице *черного вепря*
Два сидели гостя; яркое пламя трещало в камине.
«Что за погода! — сказал один. — Не раздолье ль в такую
Бурю сидеть у огня и слушать, как ветер холодный
Рвется в оконницы?» — «Правда, — другой отвечал: — ни
за что бы
Я теперь отсюда не вышел; ужас, не буря.
Месяц на небе есть, а ночь так темна, что хоть оба
Выколи глаза; плохо тому, кто в дороге!» — «Желал бы
Знать я, найдется ль такой удалец, чтоб теперь в тот
старинный
За̀мок сходить? Он близко, шагов с три сотни, не боле;
Но, признаться, днем я не трус, а ночью в такое
Время пойти туда, где, быть может, в потемках
Гость из могилы встретит тебя — несогласен; с живыми
Сладить можно, а с мертвым и смелость не в пользу;
храбрися,
Сколько угодно душе, а что ты сделаешь, если
Вдруг пред тобою длинный, бледный, сухой, с костяными
Пальцами станет, и два ужасные глаза упрутся
Дико в тебя, и ты ни с места, как камень? А в этом
Замке, все знают, нечисто; и в тихую ночь там не тихо;
Что же в бурю, когда и мертвец повернется в могиле?» —
«Страшно, правда; а я об заклад побьюся, что наша
Эми не струсит и в замок одна-одинешенька сходит». —
«Бейся, пробьешь». — «Изволь, по рукам! ты слышала, Эми?
Хочешь ли новую шляпку выиграть к свадьбе? Сходи же
В замок, и ветку нам с клена, который между обломков

Там растет, принеси; я знаю, что ты не боишься
Мертвых и бредням не веришь. Согласна ли, Эми?» —
«Согласна, —
Эми сказала с усмешкой. — Бояться тут нечего, разве
Бури; а против ночных привидений защитой молитва».
С этим словом Эми пошла. Развалины были
Близко; но ветер выл и ревел; темнота гробовая
Все покрывала, и тучи, как черные горы, задвинув
Небо, страшно ворочались. Эми знакомой тропинкой
Входит без всякого страха в средину развалин;
Клен недалеко; вдруг ветер утих на минуту; и Эми
Слышит, что кто-то идет живой, а не мертвый; ей стало
Страшно... слушает... ветер снова поднялся и снова
Стих, и снова послышалось ей, что идут; в испуге
К груде развалин прижалася Эми. В это мгновенье
Ветром раздвинуло тучи, и месяц очистился. Что же
Эми увидела? Два человека — две черные тени —
Крадутся между обломков и тащат мертвое тело.
Ветер ударил сильней; с головы одного сорвалася
Шляпа и к Эминым прямо ногам прикатилась; а месяц
В ту минуту пропал и все опять потемнело.
«Стой! (послышался голос) шляпу ветром умчало». —
«После отыщешь: прежде окончим работу: зароем
Клад свой», — другой отвечал, и они удалились. Схвативши
Шляпу, стремглав пустилась к гостинице Эми. Бледнее
Смерти, в двери вбежала она и долго промолвить
Слова не в силах была; отдохнув, наконец рассказала
То, что ей в замке привиделось. «Вот обличитель
убийцам!» —
Шляпу поднявши, громко промолвила Эми; но тут же
В шляпу всмотрелась... «Ах!» и упала на пол без чувства:
Брандово имя стояло на шляпе. Мне нечего боле
Вам рассказывать. В этот миг помутился рассудок
Бедной Эми; господь милосердый недолго страдать ей
Дал на земле: ее отнесли на кладбище. Но долго
Видели столб с колесом на пригорке близ замка; прохожим
Он приводил на память и Бранда и бедную Эми.
Все исчезло теперь: и гостиницы нет; лишь могилка
Бедной Эми цветет, как цвела, и над нею спокойно».
Дедушка кончил и молча стал выколачивать трубку.
Внучки также молчали и с грустью смотрели на церковь:
Солнце играло на ней, и темные липы бросали
Тень на кладбище, где Эми давно покоилась в гробе. —

«Вот вам другая быль, — сказал, опять раскуривши
Трубку, старик. — Каспар был беден. К буйной, развратной
Жизни привык он, и сердце в нем сделалось камнем.
Но жадным
Оком смотрел на чужое богатство Каспар. На злодейство
Трудно ль решиться тому, кто шатается праздно, не помня
Бога? Так и случилось. Каспар на ночную добычу
Вышел. Вы видите остров на Рейне? Вдоль берега вьется
Против этого острова, мимо утеса, дорожка.
Там, у самой дорожки, под темным утесом, в ночное
Позднее время Каспар засел и ждал: не пройдет ли
Кто-нибудь мимо? Ночь прекрасна была; освещенный
Полной луной островок отражался в воде, и густые
Клены, глядясь в них, стояли тихо, как черные тени;
Всё покоилось... волны изредка в берег плескали,
В листьях журчало, и пел соловей. Но злодейским
Замыслом полный, Каспар не слыхал ничего; он иное
Жадным подслушивал ухом. И вот напоследок он слышит:
Кто-то идет по дороге; то был одинокий прохожий.
Выскочил, словно как зверь из берлоги, Каспар; и недолго
Длилась борьба между ними: бедный путник с тяжелым
Стоном упал на землю, зарезанный. Мертвое тело
В воду стащил Каспар и вымыл кровавые руки;
Брызнули волны, раздавшись под трупом, и снова слилися
В гладкую зыбь; всё стало попрежнему тихо, и сладко
Петь продолжал соловей. Каспар беззаботно с добычей
В путь свой пошел; свидетелей не было; совесть молчала.
Скоро истратил разбойник добытое кровью, и скоро
Голым стал он попрежнему. Годы прошли; об убийстве,
Кроме бога, никто не проведал; но слушайте дале.
Раз Каспар сидел за столом в гостинице. Входит
Старый знакомец его, арендарь Веньямин; он садится
Подле Каспара; он крепко, крепко задумчив; и вправду
Было о чем призадуматься: денно и нощно работал,
Честно жил Веньямин, а всё понапрасну: тяжелый
Крест достался ему: семью имел он большую;
Всех одень, напой, накорми... а чем? И вдобавок
Новое горе постигло его; жена от тяжелой
Скорби слегла в постель, и деньги пошли за лекарство;
Бог помог ей; но с той поры всё хуже, да хуже; и часто
Нечего есть; жена молчит, но тает, как свечка;
Дети криком кричат; наконец, остальное помещик
В доме силою взял, в уплату за долг, и из дома

Выгнать грозился. Эта беда с Веньямином случилась
Утром, а вечером он Каспара в гостинице встретил.
Рядом с ним он сидел у стола; оперши́сь на колено
Локтем, рукою закрывши глаза, молчал он, как мертвый.
«Что с тобой, Веньямин? — спросил Каспар. — Ты как будто
В воду опущен. Послушай, сосед, не распить ли нам вместе
Кружку вина? Веселее на сердце будет; отведай».
Кружку взял Веньямин и выпил. «Тяжко приходит
Жить, — сказал он. — Жена умирает, и хилые кости
Не на чем ей успокоить: злодеи последнюю взяли
Нынче постелю. А дети — господи-боже мой! лучше б
Им и мне в могилу. Помещик наш нынешней ночью
В замок свой пышный поедет, и там на мягких подушках,
Вкусно поужинав, сладко заснет... а я, воротяся
В дом мой, где голые стены, что найду там? Бездушный!
Я ли Христом да богом его не молил? У него ли
Мало добра?... Пускай же всевышний господь на судилище
страшном
Так же с ним немилостив будет, как он был со мною!»
Слушал Каспар и в душе веселился, как злой искуситель;
В кружку соседу вина подливал он и скоро зажег в нем
Кровь, и потом из гостиницы вышел с ним вместе. Уж было
Поздно. «Сосед, — Веньямину он тихо шепнул, — господин
твой
Нынешней ночью один в свой замок поедет; дорога
Близко, она пуста; а мщенье, знаешь ты, сладко».
Речью такой был сражен Веньямин; но тяжкая бедность,
Горе семьи, досада, хмель, темнота, обольщенье
Слов коварных... довольно, чтоб слабое сердце опутать.
Так ли, не так ли, но вот пошел Веньямин за Каспаром;
Против знакомого острова сели они под утесом,
Близко дороги, и ждут; ни один ни слова; не смеют
Вслух дышать и слушают молча. Их окружала
Тихая, темная ночь; звезд не сверкало на небе,
Лист едва шевелился, без ропота волны лилися,
Всё покоилось сладко, и пел соловей. Душа Веньямина
Вдруг согрелась: в ней совесть проснулась, и он
содрогнулся.
«Нечего ждать, — он сказал; — уж поздно; уйдем; не
придет он». —
«Будь терпелив, — злодей возразил: — пождем и дождемся.
Доле зато дожидаться его возвращенья придется
В зáмке жене: да будет напрасно ее нетерпенье».

Сердце от этих слов повернулось в груди Веньямина;
Вспомнил свою он жену и сказал: «Теперь прояснилась
Совесть моя; не поздно еще, не хочу оставаться!» —
«Что ты? — воскликнул Каспар. — Послушался совести;
бредит.
Ночь темна, река глубока, здесь место глухое;
Кто нас увидит?» Мороз подрал Веньямина по коже.
«Кто нас увидит? А разве нет свидетеля в небе?» —
«Сказки! здесь мы одни. В ночной темноте не приметит
Нас ни земной, ни небесный свидетель». Тут неоглядкой
Прочь от него побежал Веньямин. И в это мгновенье
Темное небо ярким, страшным лучом раздвоилось;
Все кругом могильная мгла покрывала; на том лишь
Месте, где спрятаться думал Каспар, было как в ясный
Полдень светло. И вот пред глазами его повторилось
Все, что он некогда тут совершил во мраке глубокой
Ночи один: он услышал шум от упавшего в воду
Трупа; он черный труп на волнах освещенных увидел;
Волны разинулись, труп нырнул в них, и все потемнело...
Дети, долго с тех пор под этим утесом, как дикий
Зверь, гнездился Каспар сумасшедший. Не ведал он кровли;
Был безобразен, лицо как кора, глаза как два угля,
Волосы клочьями, ногти на пальцах — как черные когти,
Вместо одежды гнилое тряпье; худой, изможденный,
Чахлый, все ребра наружу, он в страхе все жался к утесу,
Все как будто хотел в нем спрятаться, и все озирался
Смутно кругом; но порою вдруг выбегал и, на небо
Дико уставив глаза, шептал: «*Он видит, он видит*».
Дедушка, быль досказав, посмотрел усмехаясь на внучек.
«Что же вы так присмирели? — спросил он. — Видно
рассказ мой
Был не на шутку печален? Постойте ж, я кое-что вспомнил,
Что рассмешит вас и вместе научит. Слушайте. Часто
Мы на свою негодуем судьбу; а если рассудишь,
Как все на свете неверно, то сердцем смиришься и станешь
Бога за участь свою прославлять. Иному труднее
Опыт такой достается, иному легче. И вот как
Раз до премудрости этой, не умствуя много, а просто
Случаем странным, одною забавной ошибкой добрался
Бедный немецкий ремесленник. Был по какому-то делу
Он в Амстердаме, голландском городе; город богатый,
Пышный, зданья огромные, тьма кораблей; загляделся
Бедный мой Немец, глаза разбежались; вдруг он увидел

Дом, какого не снилось ему и во сне: до десятка
Труб, три жилья, зеркальные окна, ворота
С добрый сарай — удивленье! С смиренным поклоном
спросил он
Первого встречного: «Чей это дом, в котором так много
В окнах тюльпанов, нарциссов и роз?» Но видно прохожий
Или был занят, или столько же знал по-немецки,
Сколько тот по-голландски, то есть не знал ни полслова;
Как бы то ни было, *Каннитферштан!* отвечал он. А это
Каннитферштан есть голландское слово, иль лучше четыре
Слова, и значит оно: *не могу вас понять*. Простодушный
Немец напротив вздумал, что так назывался владелец
Дома, о коем он спрашивал. «Видно богат не на шутку
Этот *Каннитферштан*», — сказал про себя он, любуясь
Домом. Потом отправился дале. Приходит на пристань —
Новое диво: там кораблей числа нет; их мачты
Словно как лес. Закружилась его голова, и сначала
Он ничего не взвидел, так много увидел он разом;
Но наконец на огромный корабль обратил он вниманье.
Этот корабль недавно пришел из Ост-Индии; много
Вкруг суетилось людей: его выгружали. Как горы,
Были навалены тюки товаров: множество бочек
С сахаром, кофе, перцем, пшеном сарацинским. Разинув
Рот, с удивленьем глядел на товары наш Немец; и сведать
Крепко ему захотелось, чьи были они. У матроса,
Несшего тюк огромный, спросил он: «Как назывался
Тот господин, которому море столько сокровищ
Разом прислало?» Нахмурясь, матрос проворчал мимоходом:
Каннитферштан. «Опять! смотри пожалуй! Какой же
Этот *Каннитферштан* молодец! Мудрено ли построить
Дом с богатством таким и расставить в горшках золоченых
Столько тюльпанов, нарциссов и роз по окошкам?»
Пошел он
Медленным шагом назад, и задумался; горе
Взяло его, когда он размыслил, сколько богатых
В свете и как он беден. Но только что начал с собою
Он рассуждать, какое было бы счастье, когда б он
Сам был *Каннитферштан*, как вдруг перед ним —
погребенье.
Видит: четыре лошади в черных длинных попонах
Гроб на дрогах везут и тихо ступают, как будто
Зная, что мертвого с гробом в могилу навеки отвозят;
Вслед за гробом родные, друзья и знакомые, молча,

В трауре идут; вдали одиноко звонит погребальный
Колокол. Грустно стало ему, как всякой смиренной
Доброй душе, при виде мертвого тела; и, снявши
Набожно шляпу, молитву творя, проводил он глазами
Ход погребальный; потом подошел к одному из последних
Шедших за гробом, который в эту минуту был занят
Важным делом: рассчитывал, сколько прибыли чистой
Будет ему от продажи корицы и перцу; тихонько
Дернув его за кафтан, он спросил: «Конечно покойник
Был вам добрый приятель, что так вы задумались? Кто он?»
Каннитферштан! был короткий ответ. Покатилися слезы
Градом из глаз у честного Немца; сделалось тяжко
Сердцу его, а потом и легко; и вздохнувши сказал он:
«Бедный, бедный *Каннитферштан*! от такого богатства
Что осталось тебе? Не то же ль, что̀ рано иль поздно
Мне от моей останется бедности? Саван и тесный
Гроб». И в мыслях таких побрел он за телом, как будто
Сам был роднею покойнику; в церковь вошел за другими;
Там голландскую проповедь, в коей не понял ни слова,
Выслушал с чувством глубоким; потом, когда опустили
Каннитферштана в землю, заплакал; потом с облегченным
Сердцем пошел своею дорогой. И с тех пор, как скоро
Грусть посещала его и ему становилось досадно
Видеть счастье богатых людей, он всегда утешался,
Вспомнив о *Каннитферштане*, его несметном богатстве,
Пышном доме, большом корабле и тесной могиле.

МАТТЕО ФАЛЬКОНЕ

КОРСИКАНСКАЯ ПОВЕСТЬ

В кустах, которыми была покрыта
Долина Порто-Веккио, со всех
Сторон звучали голоса и часто
Гремели выстрелы; то был отряд
Рассыльных егерей; они ловили
Бандита старого Санпьеро; но,
Проворно меж кустов ныряя, в руки
Им не давался он, хотя навылет
Прострелен пулей был. И вот, на верх
Горы взбежав, он хижины достигнул,
В которой жил с своей семьей Маттео
Фальконе; но к несчастью в это время
Один лишь мальчик, сын его, был дома.
Он у ворот стоял и на долину
Смотрел, прислушиваясь к шуму. Вдруг
Из ближних выбежав кустов, Санпьеро
Бросается к нему и говорит:
«Спаси меня, я ранен, егеря
За мною гонятся, они уж близко!» —
«Да я один, отца нет дома; с ним
Ушла и мать». — «Что нужды! спрячь меня
Скорей». — «Да что отец на это скажет?» —
«Отец тебя похвалит; от меня ж
На память вот тебе монета». Мальчик,
Монету взявши, ввел на двор Санпьеро;
Он спрятался там в сено; Фортунато ж
(Так звали мальчика) проворно сеном
Его закрыл, и кровь втоптал в песок,
И вид спокойный принял. В этот миг
Вбежал на двор с своими Гамба (главный
Рассыльщик; он был родственник Маттео).
«Не попадался ли тебе Санпьеро? —
У мальчика спросил он; — верно здесь

Его ты видел». — «Нет, я спал». — «Ты лжешь;
Когда стреляют, спать нельзя». — «Да мой
Отец стреляет громче вас, а я
И тут не просыпаюсь». — «Отвечай же,
Куда ушел Саньпьеро? Ты его
Здесь видел; правду говори, не то
Тебе достанется». — «Попробуй тронуть
Меня хоть пальцем; мой отец Маттео
Фальконе, знаешь?» — «Твой отец тебя
За то, что лжешь ты, высечет». — «Ан нет,
Не высечет». — «Да где же твой отец?» —
«Он в лес пошел за дичью; видишь сам,
Что я один». К товарищам тогда
В недоуменьи обратившись, Гамба
Сказал: «Кровавый след привел нас прямо
Сюда; он верно здесь; но этот дом
Обыскивать не стану я; с Маттео
Фальконе ссориться опасно». Гамба
Стоял нахмурившись и тыкал в сено
Своим штыком, не думая, чтоб там
Саньпьеро спрятан был; а Фортунато,
Как будто без намеренья цепочкой
Часов его играя, неприметно
Его отвесть от места рокового
Старался. Гамба, вынув из кармана
Часы, сказал: «Я уж давно тебе
Подарок, Фортунато, приготовил.
Ведь у тебя до сих пор нет часов?» —
«Отец сказал, что мне их даст, как скоро
Двенадцать лет мне будет». — «А тебе
Теперь лишь только десять. Эта песня
Долга. Вот посмотри сюда, какие
Прекрасные часы». И он на солнце
Вертел их, и они сверкали ярко.
Глазами жадными за ними бегал
Встревоженный их блеском Фортунато...
Футляр с эмалью, стрелки золотые,
И голубой узорный циферблат...
«Ну что же, где Саньпьеро?» — «А часы
Ты дашь мне?» — «Дам». И Гамба поднял выше
Часы; как чаша роковых весов,
Над головой ребенка раза два
Шатнувшися, они остановились.

Он искушения не вынес; в нем
Вся внутренность зажглась; как в лихорадке,
Он задрожал, и, правую тихонько
Поднявши руку, вдруг, как зверь когтями,
Схватил часы, а левою рукою,
Закинув за спину ее, в молчаньи
На сено Гамбе указал. Без слов
Был кончен торг кровавый. Фортунато,
Добычу взяв, о проданной им жертве
Забыл. Санпьеро из-под сена тут же
Был вытащен; с презреньем поглядел он
На мальчика, и, в руки егерям
Отдавшися, сказал: «Друг Гамба, ты
Уж в этом мне конечно не откажешь:
Найди носилки, я итти не в силах;
Весь кровью изошел я; признаюсь,
Стрелять ты мастер, и в меня так ловко
Попал, что уж теперь со мной конец.
Но видеть мог ты также, что и я
Не промах». И о нем, как о родном
(Любя за храбрость и врага), они
Заботиться усердно принялися.
Ему хотел монету Фортунато
Отдать назад; но молча оттолкнул
Он мальчика, который, уронив
Монету, отошел краснея в угол.
Маттео, в это время возвращаясь
С женою из леса, гостей незваных
Увидел в хижине; поспешно он
Свое ружье на выстрел приготовил,
И подал знак жене, чтоб и она
С другим ружьем была готова. Смело
И осторожно он подходит. Гамба,
Его вдали узнавши, закричал:
«Маттео, это мы, друзья!» И тихо,
В его лицо всмотревшися, он дуло
Ружья нацеленного опустил.
«Маттео, — Гамба продолжал, к нему
Навстречу вышед, — мы лихого
Поймали зверя; но добыча эта
Нам дорого досталась; двое из наших
Легли». — «Кого?» — «Санпьеро, твоего
Приятеля; ведь он и у тебя

Украл двух коз». — «То правда: но большая
Семья у бедняка, а голод, знаешь,
Не свой брат». — «Вот стрелок! От нас бы верно
Он ускользнул, когда б не Фортунато,
Мальчишка твой помог нам». — «Фортунато!» —
Маттео вскрикнул. «Фортунато!» — мать
Со страхом повторила. «Да! Саньеро
Здесь в сено спрятался, а Фортунато
Его и выдал нам; за это все вы
Получите спасибо от начальства».
Холодным потом обдало Маттео;
Он в хижину вошел. Там егеря
Вкруг старика, который чуть дышал,
От раны изнемогши, суетились;
И, чтоб ему лежать покойней было,
Свои плащи постлали на носилки.
Не шевелясь и молча, он смотрел
На их работу; но как скоро шум
Услышал и, глаза подняв, увидел
В дверях стоящего Маттео, громко
Захохотал, и страшен был тот хохот,
Он плюнул на стену и, задыхаясь,
Глухим, осиплым голосом сказал:
«Будь проклят этот дом; Иуды здесь
Предатели живут». — Как полотно,
Маттео побледнел и кулаком
Себя ударил в лоб; он был, как мертвый;
Стоял безгласно. Вот уж старика
Уклали на носилки, понесли
Из хижины; вслед за другими Гамба,
Хозяину пожавши руку, вышел;
И вот уж все пропали за кустами...
Маттео ничего не замечал;
Он, губы стиснув, яростно и страшно
Смотрел на сына. Фортунато, робко
Подкравшися, хотел отцову руку
Поцеловать; Маттео взвизгнул: прочь!
У мальчика подрезалися ноги;
Не в силах был он убежать и бледный,
К стене прижавшись, плакал и дрожал.
«Моя ль в нем кровь?» — сверкнувши на жену
Глазами тигра, закричал Маттео?
«Ведь я жена твоя!» — она сказала,

Вся покраснев. «И он предатель!» Тут
Рыдающая мать, взглянув на сына,
Увидела часы. «Кто дал тебе их?» —
Она спросила. «Дядя Гамба». Вырвав
С свирепым бешенством из рук у сына
Часы, ударил оземь их Маттео,
И вдребезги они разбились. Долго
Потом, как будто в забытьи, стучал
Ружьем он в пол; потом, очнувшись, сыну
Сказал: «За мной!» И он пошел; за ним
Пошел и сын. Неся ружье подмышкой,
Он прямо путь направил к лесу. Мать,
Схватив его за полу платья: «Он
Твой сын! твой сын!» — кричала. Вырвав полу
Из рук ее, он прошептал: «А я
Его отец! пусти». Поцеловавши
С отчаяньем невыразимым сына
И руки судорожно сжав, в дверях
Осталась мать, чтобы хотя глазами
Их проводить; когда ж они из глаз
Вдали исчезли, плача и рыдая
Перед Мадонною она упала.
Маттео, в лес вошедши, на поляне,
Деревьями густыми окруженной,
Остановился. Землю он ружьем
Копнул; земля рыхла. «Стань на колени, —
Ребенку он сказал, — читай молитву».
Став на колени, мальчик руки поднял
К отцу и завизжал: «Отец, прости
Меня! не убивай меня, отец!» —
«Читай молитву!» — Мальчик, задыхаясь,
Пролепетал со страхом: *Отче наш*
И *богородицу*. «Ты кончил?» — «Нет,
Еще одну я знаю литанею;
Ее мне выучить отец Франческо
Велел». — «Она длинна, но с богом!» Дулом
Ружья подперши лоб, он руки сжал
И про себя за сыном повторил
Его молитву. Кончив литанею,
Сын замолчал. «Готов ты?» — «Ах отец,
Не убивай меня!» — «Готов ты?» — «Ах!
Прости меня, отец». — «Тебя простит
Всевышний бог»... И выстрел загремел.

От мертвого отворотив глаза,
Пошел назад Маттео. На ногах он
Был тверд; но жизни не было в его
Лице; с подпорой старости своей
И сердце он свое убил. Он шел
За заступом, чтобы могилу вырыть
И тело схоронить. Ему навстречу,
Услышав выстрел, кинулась жена:
«Мое дитя! наш сын! что сделал ты,
Маттео?» — «Долг свой. Там он на поляне
Лежит. По нем поминки будут; он
Как христианин, умер с покаяньем;
Господь его младенческую душу
Помилует и успокоит. Ты же,
Когда сберешься с силой, объяви
Паоло, зятю нашему, мою
Решительную волю, чтоб он ныне ж
К нам на житье с женой переселился».

ПОСЛАНИЯ

К ФИЛАЛЕТУ

Где ты, далекий друг? Когда прервем разлуку?
Когда простреть ко мне ласкающую руку?
Когда мне встретить твой душе понятный взгляд,
И сердцем отвечать на дружбы глас священной?..
Где вы, дни радостей? Придешь ли ты назад,
О время прежнее, о время незабвенно?
Или веселие навеки отцвело,
И счастие мое с протекшим протекло?..
Как часто о часах минувших я мечтаю!
Но чаще с сладостью конец воображаю,
Конец всему — души покой,
Конец желаниям, конец воспоминаньям,
Конец борению и с жизнью и с собой...
Ах! время, Филалет, свершиться ожиданьям.
Не знаю... но, мой друг, кончины сладкий час
Моей любимою мечтою становится;
Унылость тихая в душе моей хранится;
Во всем внимаю я знакомый смерти глас.
Зовет меня... зовет... куда зовет?.. не знаю;
Но я зовущему с волнением внимаю;
Я сердцем сопряжен с сей тайною страной,
Куда нас всех влечет судьба неодолима;
Томящейся душе невидимая зрима —
Повсюду вестники могилы предо мной.
Смотрю ли, как заря с закатом угасает —
Так, мнится, юноша цветущий исчезает;
Внимаю ли рогам пастушьим за горой
Иль ветра горного в дубраве трепетанью,
Иль тихому ручья в кустарнике журчанью,
Смотрю ль в туманну даль вечернею порой,
К клавиру ль преклонясь, гармонии внимаю —
Во всем печальных дней конец воображаю.
Иль предвещание в унынии моем?

Или судил мне рок, в весенни жизни годы,
    Сокрывшись в мраке гробовом,
Покинуть и поля и отческие воды,
И мир, где жизнь моя бесплодно расцвела?..
Скажу ль?.. Мне ужасов могила не являет;
И сердце с горестным желаньем ожидает,
Чтоб промысла рука обратно то взяла,
Чем я безрадостно в сем мире бременился,
Ту жизнь, в которой я столь мало насладился,
Которую давно надежда не златит.
К младенчеству ль душа прискорбная летит.
Считаю ль радости минувшего — как мало!
Нет! счастье к бытию меня не приучало;
Мой юношеский цвет без запаха отцвел.
Едва в душе своей для дружбы я созрел —
И что же!.. предо мной увядшего могила;
Душа, не воспылав, свой пламень угасила.
Любовь... но я в любви нашел одну мечту,
Безумца тяжкий сон, тоску без разделенья,
И невозвратное надежд уничтоженье.
Иссякшия души наполню ль пустоту?
Какое счастие мне в будущем известно?
Грядущее для нас протекшим лишь прелестно.
Мой друг, о нежный друг, когда нам не дано
В сем мире жить для тех, кем жизнь для нас священна,
Кем добродетель нам и слава драгоценна,
Почто ж, увы! почто судьбой запрещено
За счастье их отдать нам жизнь сию бесплодну?
Почто (дерзну ль спросить?) отъял у нас творец
Им жертвовать собой свободу превосходну?
С каким бы торжеством я встретил мой конец,
Когда б всех благ земных, всей жизни приношеньем
Я мог — о сладкий сон! — той счастье искупить,
С кем жребий не судил мне жизнь мою делить!..
Когда б стократными и скорбью и мученьем
За каждый миг ее блаженства я платил:
Тогда б, мой друг, я рай в сем мире находил
И дня как дара ждал, к страданью пробуждаясь;
Тогда, надеждою отрадною питаясь,
Что каждый жизни миг погибшия моей
Есть жертва тайная для блага милых дней,
Я б смерти звать не смел, страшился бы могилы.
О незабвенная, друг милый, вечно милый!

Почто, повергнувшись в слезах к твоим ногам,
Почто, лобзая их горящими устами,
От сердца не могу воскликнуть к небесам:
«Всё в жертву за нее! вся жизнь моя пред вами!»
Почто и небеса не могут внять мольбам?
О безрассудного напрасное моленье!
Где тот, кому дано святое наслажденье
За милых слезы лить, страдать и погибать?
Ах! если б мы могли в сей области изгнанья
Столь восхитительно презренну жизнь кончать —
Кто б небо оскорбил безумием роптанья!

К НИНЕ

О Нина, о Нина, сей пламень любви
Ужели с последним дыханьем угаснет?
Душа, отлетая в незнаемый край,
Ужели во прахе то чувство покинет,
Которым равнялась богам на земле?
Ужели в минуту боренья с кончиной —
Когда уж не буду горящей рукой
В слезах упоенья к трепещущей груди,
Восторженный, руку твою прижимать,
Когда прекратятся и сердца волненье,
И пламень ланитный — примета любви,
И тайныя страсти во взорах сиянье,
И тихие вздохи и сладкая скорбь,
И груди безвестным желаньем стесненье —
Ужели, о Нина, всем чувствам конец?
Ужели ни тени земного блаженства
С собою в обитель небес не возьмем?
Ах! с чем же предстанем ко трону Любови?
И то, что питало в нас пламень души.
Что было в сем мире предчувствием неба,
Ужели то бездна могилы пожрет?
Ах! самое небо мне будет изгнаньем,
Когда для бессмертья утрачу любовь;
И в области райской я буду печально
О прежнем, погибшем блаженстве мечтать;
Я с завистью буду — как бедный затворник
Во мраке темницы о нежной семье,
О прежних весельях родительской сени,
Прискорбный, тоскует, на цепи склонясь —
Смотреть, унывая, на милую землю.
Что в вечности будет заменой любви?
О! первыя встречи небесная сладость —
Как тайные, сердца созданья, мечты,
В единый слиявшись пленительный образ,
Являются смутной весельем душе —
Уныния прелесть, волненье надежды,

И радость, и трепет при встрече очей,
Ласкающий голос — души восхищенье,
Могущество тихих, таинственных слов,
Присутствия сладость, томленье разлуки,
Ужель невозвратно вас с жизнью терять?
Ужели, приближась к безмолвному гробу,
Где хладный, навеки бесчувственный прах
Горевшего прежде любовию сердца,
Мы будем напрасно и скорбью очей,
И прежде всесильным любви призываньем
В бесчувственном прахе любовь оживлять?
Ужель из-за гроба ответа не будет?
Ужель переживший один сохранит
То чувство, которым так сладко делился;
А прежний сопутник, кем в мире он жил,
С которым сливался тоской и блаженством,
Исчезнет за гробом, как утренний пар
С лучом, озлатившим его, исчезает,
Развеянный легким зефира крылом?..
О Нина, я внемлю таинственный голос:
Нет смерти, вещает, для нежной любви;
Возлюбленный образ, с душой неразлучный,
И в вечность за нею из мира летит —
Ей спутник до сладкой минуты свиданья.
О Нина, быть может, торжественный час,
Посланник разлуки, уже надо мною;
Ах! скоро, быть может, погаснет мой взор,
К тебе устремляясь с последним блистаньем;
С последнею лаской утихнет мой глас,
И сердце забудет свой сладостный трепет —
Не сетуй и верой себя услаждай,
Что чувства нетленны, что дух мой с тобою;
О сладость! о смертный, блаженнейший час!
С тобою, о Нина, теснейшим союзом
Он страстную душу мою сопряжет.
Спокойся, друг милый, и в самой разлуке
Я буду хранитель невидимый твой,
Невидимый взору, но видимый сердцу;
В часы испытанья и мрачной тоски,
Я в образе тихой, небесной надежды,
Беседуя скрытно с твоею душой,
В прискорбную буду вливать утешенье:
Под сумраком ночи, когда понесешь

Отраду в обитель недуга и скорби,
Я буду твой спутник, я буду с тобой
Делиться священным добра наслажденьем;
И в тихий, священный моления час,
Когда на коленях, с блистающим взором,
Ты будешь свой пламень к творцу воссылать,
Быть может, тоскуя о друге погибшем,
Я буду молитвы невинной души
Носить в умиленьи к небесному трону.
О друг незабвенный, тебя окружив
Невидимой тенью, всем тайным движеньям
Души твоей буду в весельи внимать;
Когда ты — пленившись потока журчаньем,
Иль блеском последним угаснего дня
(Как холмы объемлет задумчивый сумрак,
И, с бледным вечерним мерцаньем, в душе
О радостях прежних мечта воскресает),
Иль сладостным пеньем вдали соловья,
Иль веющим с луга душистым зефиром,
Несущим свирели далекия звук,
Иль стройным бряцаньем полуночной арфы —
Нежнейшую томность в душе ощутишь,
Исполнишься тихим, унылым мечтаньем
И, в мир сокровенный душою стремясь,
Присутствие бога, бессмертья награду,
И с милым свиданье в безвестной стране
Яснее постигнешь, с живейшею верой,
С живейшей надеждой от сердца вздохнешь....
Знай, Нина, что друга ты голос внимаешь,
Что он и в веселье и в тихой тоске
С твоею душою сливается тайно.
Мой друг, не страшися минуты конца:
Посланником мира, с лучом утешенья
Ко смертной постеле приникнув твоей,
Я буду игрою небесныя арфы
Последнюю муку твою услаждать;
Не вопли услышишь грозящия смерти,
Не ужас могилы узришь пред собой:
Но глас восхищенный, поющий свободу,
Но светлый ведущий к веселию путь
И прежнего друга, в восторге свиданья,
Манящего ясной улыбкой тебя.
О Нина, о Нина, бессмертье наш жребий.

К Б[ЛУДОВ]У

Веселого пути
Любезному желаю
Ко древнему Дунаю;
Забудь покой, лети
За русскими орлами;
Но в поле, под шатрами,
Друзей воспоминай
И сердцу милый край,
Где ждет тебя, уныла,
Твой друг, твоя Людмила,
Хранитель-ангел твой...
С крылатою мечтой
Проникни сокровенно
В чертог уединенной,
Где, с верною тоской,
С пылающей душой,
Она одна вздыхает,
И промысл умоляет:
Да будет твой покров
В обители врагов.
Смотри, как томны очи,
Как вид ее уныл;
Ей белый свет постыл;
Одна, во мраке ночи,
Сокрылась в терем свой;
Лампаду зажигает,
Письмо твое читает,
И робкою рукой
Ответ ко другу пишет,
Где в каждом слове дышет
Души ее печаль.
Лети в безвестну даль;
Твой гений над тобою;
Среди опасна бою

Его незримый щит
Тебя приосенит —
И мимо пролетит
Стрела ужасной Гелы.
Ах! скоро ль твой веселый
Возврат утешит вновь
И дружбу и любовь?..
Для скорби утоленья,
Податель благ, Зевес
Двум жителям небес
Минуты разлученья
Поверил искони.
«Да будут, рек, они,
Один — посол разлуки,
Свидания — другой!»
И в час сердечной муки,
Когда, рука с рукой,
В тоске безмолвной, други,
Любовники, супруги,
С последнею слезой,
В последнем лобызанье
Последнее прощанье
Друг другу отдают,
Мольбы из сердца льют,
И тихими стопами,
С поникшими главами,
В душе скрывая стон,
Идут, осиротелы,
В свой терем опустелый,
Сын Дия Абеон,
Задумчивый, бескрылой,
С улыбкою унылой,
С отрадой скорбных слез,
Спускается с небес,
Ведомый Адеоном,
Который тихим звоном
Волшебных струн своих
Льет в сердце упованье
На близкое свиданье.
Я вижу обоих:
Один с своей тоскою
И тихою слезою;
С надеждою другой.

Прости, мой друг нелестной!
Надолго ль? неизвестно.
Но верую душой
(И вера не обманет):
Желанный день настанет —
Мы свидимся с тобой.

Или... увы! незримо
Грядущее для нас!..
Быть может — в оный час,
Когда ты, невредимо
Свершив опасный путь,
Свободою вздохнуть
Придешь в стране родимой
С Людмилою своей —
Ты спросишь у друзей:
«Где скрылся друг любимой?»
И что ж тебе в ответ?
Его уж в мире нет...
Так, если в цвете лет
Меня возьмет могила,
И участь присудила,
Чтоб первый я исчез
Из милого мне круга —
Друзья, без скорбных слез
На прах взирайте друга.
Где светлою струей
Плескает в брег зеленый
Извивистый ручей,
Где сенистые клены
Сплетают из ветвей
Покров гостеприимный,
Лобзаясь с ветерком:
Туда — лишь над холмом
Луна сквозь облак дымный
При вечере блеснет,
И липа разольет
Окрест благоуханье —
Сберитесь, о друзья,
В мое воспоминанье.
Над вами буду я,
Древес под зыбкой сенью,
Невидимою тенью

Летать, рука с рукой
С утраченным Филоном.
Тогда вам тихим звоном
Покинутая мной
На юном клене лира
Пришельцев возвестит
Из таинственна мира,
И тихо пролетит
Задумчивость над вами;
Увидите сердцами
В незнаемой дали
Отечество желанно —
Приют обетованной
Для странников земли.

К БАТЮШКОВУ

Сын неги и веселья,
По Музе мне родной,
Приятность новоселья
Лечу вкусить с тобой;
Отдам поклон Пенату,
И милому собрату
В подарок пук стихов.
Увей же скромну хату
Венками из цветов;
Узорным покрывалом
Свой шаткий стол одень,
Вооружись фиалом,
Шампанского напень,
И стукнем в чашу чашей,
И выпьем всё до дна:
Будь верной Музе нашей
Дань первого вина.

Вхожу в твою обитель:
Здесь весел ты с собой,
И, лени друг, покой
Дверей твоих хранитель.
Всё ясно вкруг меня;
Закат румяный дня
Живее здесь играет
На зелени лугов,
И чище отражает
Здесь виды берегов
Источник тихоструйный;
Здесь кроток вихорь буйный;
Приятней сеяь листов
Зефиры здесь колышут,
И слаще негой дышут;
Укромный домик твой
Не златом — чистотой

И светлостью пленяют;
В окно твое влетает
Цветов приятный дух;
Террас, пред ним дерновый
Узорный полукруг;
Там ландыши перловы,
Там розовы кусты,
Тюльпан, нарцысс душистой,
И тубероза — чистой
Эмблема красоты,
С роскошным анемоном;
Едва приметным склоном
Твой сходит сад к реке;
Шумит невдалеке
Там мельница смиренна:
С колес жемчужна пена
И брызгов дым седой;
Мелькает над рекой
Веселая купальня,
И, гость из края дальня,
Уютный домик свой
Там швабский гусь спесивой
На острове под ивой,
Меж дикою крапивой
Беспечно заложил.

Так! здесь приют поэта:
Душа моя согрета
Влияньем горних сил,
И вся ничтожность света
В глазах моих, как сон...
Незримый Аполлон
Промчался надо мною;
Ликуй, мой друг-поэт.
Довольнее судьбою
Поэтов под луною
И не было и нет.
Их жизнь очарованье!
Ты помнишь ли преданье?
Разбить в уделы свет
Преемник древний Крона
Задумал искони.
«Делитесь!» — с горня трона

Бог людям рек. Они
Взроилися, как пчелы,
Шумящи по лугам —
И все уже уделы
Земные по рукам.
Смиренный земледелец
Взял труд и сельный плод,
Могущество — Владелец;
Купец равнину вод
Наморщил под рулями;
Взял откуп арендарь,
А пастырь душ — алтарь
И силу над умами.
«Будь каждый при своём
(Рек царь земли и ада);
Вы сейте, добры чада;
Мне жертвуйте плодом».
Но вот... с земли предела
Приходит и поэт;
Увы! ему удела
Нигде на свете нет;
К Зевесу он с мольбою;
«Отец и властелин,
За что забыт тобою
Любимейший твой сын?» —
«Не я виной забвенья.
Когда я мир делил,
В страну воображенья
Зачем ты уходил?» —
«Увы! я был с тобою
(В слезах сказал певец);
Величеством, красою
Небес твоих, отец,
Мои питались взоры;
Там пели дивны хоры;
Я сердце возносил
К делам твоим чудесным...
Но, ах! пленен небесным,
Земное позабыл». —
«Мой сын, уделы взяты;
Мне жаль твоей утраты;
Но рай перед тобой;
Согласен ли со мной

Делиться небесами?
Блаженствуя с богами,
Ты презришь мир земной».
С тех пор — необожатель
Подсолнечных сует —
Стал верный обитатель
Страны духов поэт,
Страны неоткровенной:
Туда непосвященной
Толпе дороги нет;
Там чудотворны боги
Веселые чертоги
Слияли из лучей,
В мерцающей долине,
Любимице своей
Фантазии — богине;
Ее *Природа* мать;
Беспечно ей играть
Дает она собою;
Но, радуясь игрою,
Велит ее хранить
Трем чадам первородным,
Чтоб прихотям свободным
Ее не заманить
В туманы заблуждений:
То с пламенником *Гений*,
Наука с свитком *Муз*,
И с легкою уздою
Очами зоркий *Вкус;*
С веселою сестрою
Согласные, они
Там нежными перстами
Вриют златые дни;
Всё их горит лучами;
Во всё дух жизни влит:
В потоке там журчит
Гармония Наяды:
Храним Сильваном лес;
Грудь юныя Дриады
Под коркою древес
Незримая пылает;
Зефир струи ласкает
И вьется вкруг лилей;

Нарцис глядит в ручей;
Среди прозрачной пены
Летучих облаков
Мелькает рог Селены,
И в сумраке лесов
Тоскует Филомела.
Хранят сего удела
Магической покой
Невинность — гений милый
С *Беспечностью* — сестрой:
И их улыбки силой
Ни *Скукою* унылой,
Ни мрачной *Суетой*,
Ни *Алчностью* угрюмой,
Ни *Мести* грозной думой,
Ни *Зависти* тоской
Там светлость не мрачится;
Там ясная таится,
Веселью верный друг,
Гордынею забыта,
Посредственность — Харита,
И их согласный круг
Одушевляем *Славой* —
Не той богиней бед,
Которая кровавой
Кладет венец побед
В дымящиеся длани
Свирепостию брани —
Но милою, живой,
Небесною сестрой
Небесныя *Надежды;*
Чужда порока, враг
Безумца и невежды,
Ее жилища праг
Ужасен недостойным;
Но тем душам спокойным,
Где чувство в простоте
Как тихий день сияет,
В могущей красоте
Она себя являет,
И, в них воспламенив
К великому порыв,
К прекрасному стремленье,

Ко благу страстный жар,
Им оставляет в дар:
Собою наслажденье.

Мой друг, и ты певец;
И твой участок лира;
И ты в мечтах жилец
Незнаемого мира...
В мечтах? Почто ж в мечтах?
Почто мы не с крылами,
И вольны лишь мечтами,
А наяву в цепях?
Почто сей тяжкий прах
С себя не можем ринуть,
И мир совсем покинуть,
И нам дороги нет
Из мрачного изгнанья
В страну очарованья?
Увы! мой друг... поэт,
Призраками богатый,
Беспечностью дитя —
Он мог бы жить, шутя;
Но горькие утраты
Живут и для него,
Хотя перед слепою
Богинею покою
Не тратит своего;
Хотя одной молвою,
Смотря на свет тайком,
В своем углу знаком
С бесславием тщеславных,
С печалями забавных
Фигляров-остряков,
И с мукою льстецов
Пред тронами ползущих
И с бешенством падущих
В изрытый ими ров —
Но те живейши раны,
Которые, как враны,
Вгрызаясь в глубь сердец,
В них радость истребляют
И жизнь их пожирают,
Их знает и певец.

Какими, друг, мечтами
Сберечь души покой,
Когда перед глазами,
Под дланью роковой,
Погибнет то, что мило,
И схваченный могилой
Исчезнет пред тобой
Души твоей родной;
А ты, осиротелой,
Дорогой опустелой
Ко гробу осужден
Один, снедая слезы,
Тащить свои железы?
И много ли замен
Нам даст мечта крылата
Тогда, как без возврата
Блаженство улетит,
С блаженством упованье,
И в сердце замолчит
Унывшее желанье;
И ты, как палачом
Преступник раздробленный,
И к плахе пригвожденный,
В бессилии своем
Еще быть должен зритель,
Как жребий-истребитель
Всё то, чем ты дышал,
Что, сердцем увлеченный,
В надежде восхищенной,
Своим уж называл,
Другому на пожранье
Отдаст в твоих глазах...
Тебе ж одно терзанье
Над гробом милых благ?

Но полно!.. Муза с нами;
Бессмертными богами
Не всем, мой друг, она
В сопутницы дана.
Кто слышал в час рожденья
Небесной девы глас,
В ком искра вдохновенья
С огнем души зажглась:

Тот верный от судьбины
Найдет здесь уголок.
В покрыты мглой пучины
Замчался мой челнок...
Но светит для унылой
Еще души моей
Поэзии светило.
Хоть прелестью лучей
Бунтующих зыбей
Оно не усмирило...
Но мгла озарена;
Но сладостным сияньем,
Как тайным упованьем,
Душа ободрена,
И милая мелькает
В дали моей Мечта...
Доколь, мой друг, пленяет
Добро и красота,
Доколь огнем священным
Душа еще полна,
И дверь растворена
Пред взором откровенным
В святой Природы храм,
Доколь Хариты нам
Веселые послушны:
Дотоль еще к бедам
Быть можем равнодушны.
О добрый Гений мой,
Последних благ спаситель
И жребия смиритель,
Да светит надо мной,
Во мгле путеводитель,
Твой, Муза, милый свет!

А ты, мой друг — поэт,
Храни твой дар бесценный;
То Весты огнь священный;
Пока он не угас —
Мы живы, невредимы,
И Рок неумолимый
Свой гром неотразимый
Бросает мимо нас.
Но пламень сей лишь в ясной

Душе неугасим.
Когда любовью страстной
Лишь то боготворим,
Что благо, что прекрасно;
Когда от наших лир
Льются жизни звуки,
Чарующие муки,
Сердцам дающи мир;
Когда мы песнопеньем
Несчастного дружим
С сокрытым провиденьем,
Жар славы пламеним
В душе, летящей к благу,
Стезю к убогих прагу
Являем богачам,
Не льстим земным богам,
И дочери стыдливой
Заботливая мать
Гармонии игривой
Сама велит внимать:
Тогда и дарованье
Во благо нам самим,
И мы не посрамим
Поэтов достоянья.
О друг! служенье Муз
Должно быть их достойно:
Лишь с добрым их союз.
Слияв в душе спокойной
Младенца чистоту
С величием свободы,
Боготворя природы
Простую красоту,
Лишь благам неизменным,
Певец — любимец мой,
Доступен будь душой;
Когда к дверям смиренным
Обители твоей
Придет, с толпою Фей
Желаний прихотливых,
Фортуна — враг счастливых:
Ты двери на замок;
Пускай толпа стучится;
Содом сей в уголок

Поэта не вместится,
Не вытеснив Харит.
Но если залетит
Веселий рой вертляный —
Дверь настежь, милый друг.
Пускай в их шумный круг
Войдут: и *Вакх* румяный,
Украшенный венком,
С состаревшим вином,
С наследственною кружкой,
И *Шутка* с погремушкой,
И *Пляски* шумный хор —
Им рад *Досуг* шутливый;
Они осклабят взор
Работы молчаливой.
Задумчивость подчас
Впускай в приют укромный:
Ее чуть слышный глас
И взор приятно-томный
Переливают в нас
Покой и услажденье;
Она уединенье
Собой животворит:
Она за дальни горы
Нас к милому стремит —
И радостные взоры,
Согласные с душой,
За синевой туманной
Встречаются с желанной
Возлюбленных мечтой;
Ее волшебной силой
В гармонии унылой
Осеннего листка
И в тихом ветерка
Вдоль рощи трепетаньи,
И в легком содроганьи
Дремавшия волны,
Как будто с вышины,
Спускается приятной
Минувшего привет,
И то, что невозвратно,
Чего навеки нет,
Опять животворится,

И тихо веют, мнится,
Над нашей головой
Воздушною толпой
Жильцы духовной сени
Невозвратимых тени.
Но, друг мой, приготовь
В обители смиренной
Ты терем отделенной:
Иметь постой бессменной
И *Дружба* и *Любовь*
Привыкли у поэта;
Лишась блестящих света
Отличий и даров,
Ему необходимо
Под свой пустынный кров
Всё то, что им любимо,
Собрать в единый круг;
С кем милая и друг,
Тот в угол свой забвенный
Обширныя вселенны
Всю прелесть уместил;
Он мир свой оградил
Забором огорода,
И вдаль за суетой
Не следует мечтой.
Посредственность, свобода,
Животворящий труд,
Веселие досуга
Близ милыя и друга,
И пенистый сосуд
В час вечера приятной
Под липой ароматной
С забвением сует,
Вот всё... Но, друг-поэт,
Любовь—святой хранитель,
Иль грозный истребитель
Душевной чистоты.
Отвергни сладострастья
Погибельны мечты,
И не восторгов—счастья
В прямой ищи любви;
Восторгов исступленье—
Минутное забвенье;

Отринь их, разорви
Лаис коварных узы;
Друзья стыдливых — Музы;
Во храм священный их
Прелестниц записных
Толпа войти страшится...
И что, мой друг, сравнится
С невинною красой?
При ней цветем душой!
Она, как ангел милой,
Одной явленья силой,
Могущая собой,
Вливает в сердце радость.
О скромных взоров сладость!
Движений тишина!
Стыдливое молчанье,
Где вся душа слышна!
Речей очарованье!
Беспечность простоты,
И прелесть без искусства,
Которая для чувства
Прекрасней красоты!
Их несказанной властью
Блаженнейшею страстью
Душа растворена;
Вкушает сладость рая;
Земное отвергая,
Небесного полна.

О друг! доколе младость
С мечтами не ушла,
И жизнь не отцвела,
Спеши любови сладость
Невинную вкусить.
Увы! пора любить
Умчится невозвратно;
Тогда — всему конец;
Но буйностью развратной
Испорченных сердец,
Мой друг, да не сквернится
Твой непорочный жар:
Любовь есть неба дар;
В ней жизни цвет хранится;

Кто любит, тот душой,
Как день весенний, ясен;
Его любви мечтой
Весь мир пред ним прекрасен...
Ах! в мире сем — *она*...
Ее святым полна
Присутствием природа,
С денницею со свода
Небес она летит,
Предвестник наслажденья,
И в смутном пробужденья
Блаженстве говорит:
Я в мире! я с тобою!
В тот час, как тишиною
Земля облечена,
В молчании вселенной
Одна обвороженной
Душе она слышна;
К устам твоим она
Касается дыханьем;
Ты слышишь с содроганьем
Знакомый звук речей,
Задумчивых очей
Встречаешь взор приятный,
И запах ароматный
Пленительных кудрей
Во грудь твою лиется,
И мыслишь: ангел вьется
Незримый над тобой.
При ней — задумчив, сладкой
Исполненный тоской,
Ты робок, лишь украдкой
Стремишь к ней томный взор:
В нем сердце вылетает;
Несмел твой разговор;
Твой ум не обретает
Ни мыслей, ни речей;
Задумчивость, молчанье,
И страстное мечтанье —
Язык души твоей;
Забыты все желанья;
Без чувства, без вниманья
К тому, что пред тобой,

Ты одинок с толпой;
Она — в сем слове милом
Вселенная твоя;
С ней розно — лишь в унылом
Мечтаньи бытия
Ты чувство заключаешь;
Всечасно улетаешь
Душою к тем краям,
Где ангел твой прелестной;
Твое блаженство там
За синевой небесной,
В туманной сей дали —
Там всё, что на земли
И мило и священно,
Вся жизнь, весь жребий твой.
Как призрак оживленной,
Мелькает пред тобой.
Живешь воспоминаньем:
Его очарованьем
Преображенный свет
Один везде являет
Душе твоей предмет.
Заря ли угасает,
Летит ли ветерок
От дремлющия рощи,
Или покровом нощи
Одеянный поток
В водах являет тени
Недвижных берегов,
И тихих рощей сени,
И темный ряд холмов —
Она перед тобою;
С природы красотою,
Совсем в душе слита
Любимая мечта.
Когда воспламененной
Ты мыслию летишь
К правителю вселенной,
Или обет творишь
Забыть стезю порока,
При всех изменах рока
Быть добрым и прямым,
И следовать святым

Урокам и веленьям
И тайным утешеньям
Лишь совести одной,
Когда, рассудка властью
Торжествовав над страстью,
Ты выше стал душой,
Иль сироте, убитой
Страданием, сокрытой
Благотворил рукой —
Кто, кто тогда с тобой?
Кто чувств твоих свидетель?
Она!.. твой друг, твоя
Невинность, добродетель.
Лишь счастием ея
Ты счастье измеряешь,
Лишь в нем соединяешь
Все блага бытия.
Любовь — себя забвенье!
Ты молишь провиденье,
Чтоб никогда тоской
Взор милый не затмился,
Чтоб грозный лишь с тобой
Суд рока совершился.
Лить слезы, жертвой быть
За ту, кем сердце жило,
Погибнув, жизни милой
Спокойствие купить —
Вот жребий драгоценный!
О друг! тогда для нас
И бедствия священны.
И пусть тот луч угас,
Которым украшался
Путь жизни пред тобой,
Пускай навек с мечтой
Блаженства ты расстался —
Своих лишенный благ,
Ты жив блаженством милой:
Как тихое светило,
Оно в твоих глазах
Меж тучами играет,

И дух не унывает
При сладостных лучах.

Прости ж, поэт бесценной.
Пускай живут с тобой,
В обители смиренной,
Посредственность, покой,
И Музы, и Хариты,
И Лары домовиты;
Ты к ним любовь питай,
Строй лиру для забавы,
И мимоходом Славы
Жилище посещай;
И благодать святая
Ее с тобою будь!
Но, с Музами играя,
Ты друга не забудь,
Который, отстранившись
От всех земных хлопот,
И матери забот
Фортуне поклонившись,
Куда глаза глядят,
Идет своей тропою
Беспечно за судьбою.
Хотя и не богат
Он милостями Счастья,
Но Муза от ненастья
Дала ему приют;
Туда не забредут
Ни хитрости разврата,
Ни света суеты;
Не зная нищеты,
Не знает он и злата;
Мечты — его народ:
Сбирает с них доход
Фантазия крылата.
Что ждет его вдали,
О том он забывает;
Давно не доверяет
Он счастью на земли.
Но, друг, куда б Судьбою
Он ни был приведен,
Всегда, везде душою

Он будет прилеплен
Лишь к жизни непорочной;
Таков к друзьям заочно,
Каков и на глазах —
Для них стихи кропает,
И быть таким желает,
Каким в своих стихах
Себя изображает.

ТУРГЕНЕВУ,
В ОТВЕТ НА ЕГО ПИСЬМО

Друг, отчего печален голос твой?
Ответствуй, брат, реши мое сомненье.
Иль он твоей судьбы изображенье?
Иль счастие простилось и с тобой?
С стеснением письмо твое читаю;
Увы! на нем уныния печать;
Чего не смел ты ясно мне сказать,
То всё, мой друг, я чувством понимаю.
Так! и на твой досталося удел;
Разрушен мир фантазии прелестной;
Ты в наготе, друг милый, жизнь узрел;
Что в бездне сей таилось, все известно —
И для тебя уж здесь обмана нет.
И, испытав, сколь сей изменчив свет,
С пленительным простившись ожиданьем,
На прошлы дни ты обращаешь взгляд
И без надежд живешь воспоминаньем.

О! не бывать минувшему назад!
Сколь весело промчалися те годы,
Когда мы все, товарищи-друзья,
Делили жизнь на лоне у Свободы!
Беспечные, мы в чувстве бытия,
Что было, есть и будет, заключали,
Грядущее надеждой украшали —
И радостным оно являлось нам.
Где время то, когда по вечерам
В веселый круг нас Музы собирали?
Нет и следов; исчезло всё — и сад,
И ветхий дом, где мы в осенний хлад
Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали.
Где время то, когда наш милый брат

Был с нами, был всех радостей душою?
Не он ли нас приятной остротою
И нежностью сердечной привлекал?
Не он ли нас тесней соединял?
Сколь был он прост, нескрытен в разговоре.
Как для друзей всю душу обнажал!
Как взор его во глубь сердец вникал!
Высокий дух пылал в сем быстром взоре.
Бывало, он, с отцом рука с рукой,
Входил в наш круг — и радость с ним являлась:
Старик при нем был юноша живой;
Его седин свобода не чуждалась...
О нет! он был милейший нам собрат;
Он отдыхал от жизни между нами,
От сердца дар его был каждый взгляд,
И он друзей не рознил с сыновьями...
Увы! их нет... мы ж каждый по тропам
Незнаемым за счастьем полетели,
Нам прошептал какой-то голос: *там*!
Но что? и где? и кто вожатый к цели?
Вдали сиял пленительный призрак —
Нас тайное к нему стремленье мчало;
Но опыт вдруг накинул покрывало
На нашу даль — и там один лишь мрак.
И верою к грядущему убоги,
Задумчиво глядим с полудороги
На спутников, отставших назади,
На милую Фантазию с мечтами...
Изменница! навек простилась с нами,
А всё еще твердит свое: *иди*!
Куда итти? что ждет нас в отдаленье?
Чему еще на свете веру дать?
И можно ль, друг, желание питать,
Когда для нас столь бедно исполненье?
Мы разными дорогами пошли:
Но что ж, куда они нас привели?
Всё к одному, что счастье — заблужденье.
Сравни, сравни себя с самим собой:
Где прежний ты, цветущий, жизни полный?
Бывало, всё — и солнце за горой,
И запах лип, и чуть шумящи волны,
И шорох нив, струимых ветерком,
И темный лес, склоненный над ручьём,

И пастыря в долине песнь простая —
Веселием всю душу растворяя,
С прелестною сливалося мечтой:
Вся жизни даль являлась пред тобой;
И ты, восторг предчувствием считая,
В событие надежду обращал.
Природа та ж... но где очарованье?
Ах! с нами, друг, и прежний мир пропал;
Пред опытом умолкло упованье;
Что в *оны дни* будило радость в нас,
То в нас *теперь* унылость пробуждает;
Во всем, во всем прискорбный слышен глас,
Что ничего нам жизнь не обещает.
И мы еще, мой друг, во цвете лет!
О беден, кто себя переживет!
Пред кем сей мир, столь некогда веселый,
Как отчий дом, ужасно опустелый:
Там в старину всё жило, всё цвело,
Там он играл младенцем в колыбели;
Но время всё оттуда унесло,
И с милыми веселья улетели;
Он их зовет... ему ответа нет;
В его глазах развалины унылы;
Один его минувшей жизни след:
Утраченных безмолвные могилы.

Неси ж туда, где наш отец и брат
Спокойным сном в приюте гроба спят,
Венки из роз, вино и ароматы;
Воздвигнем, друг, там памятник простой
Их бытия... и скорбной нашей траты.
Один исчез из области земной
В объятиях веселыя Надежды.
Увы! он зрел лишь юный жизни цвет;
С усилием его смыкались вежды;
Он сетовал, навек теряя свет —
Где милого столь много оставалось —
Что бытие так рано прекращалось.
Но он и в гроб Мечтой сопровожден!
Другой... старик!.. сколь был он изумлен
Тогда, как смерть, ошибкою ужасной,
Не над его одряхшей головой,
Над юностью обрушилась прекрасной!

Он не роптал; но с тихою тоской
Смотрел на праг покоя и могилы —
Увы! там ждал его сопутник милый;
Он мыслию, безмолвный пред судьбой,
Взывал к творцу: да пройдет чаша мимо!
Она прошла... и мы в сей край незримой
Летим душой за милыми вослед;
Но к нам от них желанной вести нет;
Лишь тайное живет в нас ожиданье...
Когда ж? когда?.. Друг милый, упованье!
Гробами их рубеж означен тот,
За коим нас свободы гений ждёт
С спокойствием, бесчувствием, забвеньем.
Пришед туда, о друг, с каким презреньем
Мы бросим взор на жизнь, на гнусный свет;
Где милое один минутный цвет;
Где доброму следов ко счастью нет;
Где мнение над совестью властитель;
Где всё, мой друг, иль жертва иль губитель!..
Дай руку, брат! как знать, куда наш путь
Нас приведет, и скоро ль он свершится,
И что еще во мгле судьбы таится —
Но дружба нам звездой отрады будь;
О прочем здесь останемся беспечны;
Нам счастья нет: зато и мы — не вечны.

К ВОЕЙКОВУ

Добро пожаловать, певец,
Товарищ-друг, хотя и льстец,
В смиренную обитель брата;
Поставь в мой угол посох свой,
И умиленною мольбой
Почти домашнего Пената.
Садись — вот кубок! в честь друзьям!
И сладкому воспоминанью,
И благотворному свиданью,
И нас хранившим небесам!

Ты был под знаменами славы;
Ты видел, друг, следы кровавы
На Русь нахлынувших врагов,
Их казнь, и ужас их побега;
Ты, строя свой бивак из снега,
Себя смиренью научал
И, хлеб водою запивая,
«Хвала, умеренность златая!»
С певцом Тибурским восклицал.
Ты видел Азии пределы;
Ты зрел ордынцев лютых край
И лишь обломки обгорелы
Там, где стоял Шери-Сарай,
Батыя древняя обитель;
Задумчивый развалин зритель,
Во днях минувших созерцал
Ты настоящего картину
И в них ужасную судьбину
Батыя новых дней читал.
В Сарепте зрелище иное:
Там братство христиан простое
Бесстрастием ограждено
От вредных сердцу заблуждений,

От милых сердцу наслаждений.
Там вечно *то же* и *одно*;
Всему свой час: труду, безделью;
И легкокрылому веселью
Порядок крылья там сковал.
Там, видя счастие в покое,
Ты все восторги отдавал
За нестрадание святое;
Ты зрел, как в тишине семей,
Хранимы сердцем матерей,
Там девы простотой счастливы,
А юноши трудолюбивы
От бурных спасены страстей
Рукой занятия целебной;
Ты зрел, как вшедши в божий храм,
Они смиренно к небесам
Возводят взор с мольбой хвалебной,
И служат сердцем божеству,
Отринув мрак предрассужденья...
Что уподобим торжеству,
Которым чудо искупленья
Они в восторге веры чтут?..
Всё тихо... полночь... нет движенья...
И в трепете благоговенья
Все братья той минуты ждут,
Когда им звон-благовеститель
Провозгласит: воскрес спаситель!..
И вдруг... во мгле... средь тишины,
Как будто с горней вышины
С трубою ангел-пробудитель,
Нисходит глас... алтарь горит,
И братья пали на колени,
И гимн торжественный гремит,
И се, идут в усопших сени,
О сердце трогающий вид!
Под тенью тополей, ветвистых
Берез, дубов и шелковиц,
Между тюльпанов, роз душистых,
Ряды являются гробниц:
Здесь старцев, там детей могила,
Там юношей, там дев младых —
И вера подле пепла их
Надежды факел воспалила...

Идут к возлюбленных гробам
С отрадной вестью воскресенья;
И всё — отверзтый, светлый храм,
Где, мнится, тайна искупленья
Свершается в сей самый час,
Торжественный поющих глас,
И братий на гробах лобзанье
(Принесших им воспоминанье
И жертву умиленных слез),
И тихое гробов молчанье,
И сприсутственных небес
Незримое с землей слиянье —
Всё живо, полно божества;
И верных братий торжества
Свидетели, из тайной сени
Исходят дружеские тени,
И их преображенный вид
На сладку песнь: *воскрес спаситель!* . .
Сердцам *воистину* гласит,
И самый гроб их говорит:
Воскреснем! жив наш искупитель! —
И сей оставивши предел,
Ты зрел, как Терек в быстром беге
Меж виноградников шумел,
Где часто, притаясь на бреге,
Чеченец иль Черкес сидел
Под буркой, с гибельным арканом;
И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой,
Как туча, Эльборус двуглавой.
Ужасною и величавой
Там всё блистает красотой:
Утесов мшистые громады,
Бегущи с ревом водопады
Во мрак пучин с гранитных скал;
Леса, которых сна от века
Ни стук секир, ни человека
Веселый глас не возмущал,
В которых сумрачные сени
Еще луч дневный не проник,
Где изредка одни олени,

Орла послышав грозный крик,
Теснясь в толпу, шумят ветвями,
И козы легкими ногами
Перебегают по скалам.
Там всё является очам
Великолепие творенья!
Но там — среди уединенья
Долин, таящихся в горах —
Гнездятся и Балкар, и Бах,
И Абазех, и Камукинец,
И Карбулак, и Абазинец,
И Чечереец, и Шапсук;
Пищаль, кольчуга, сабля, лук,
И конь — соратник быстроногий
Их и сокровища и боги;
Как серны, скачут по горам,
Бросают смерть из-за утеса;
Или, по топким берегам,
В траве высокой, в чаще леса
Рассыпавшись, добычи ждут.
Скалы свободы их приют;
Но дни в аулах их бредут
На костылях угрюмой лени;
Там жизнь их — сон; стеснясь в кружок,
И в братский с табаком горшок
Вонзивши чубуки, как тени,
В дыму клубящемся сидят
И об убийствах говорят,
Иль хвалят меткие пищали,
Из коих деды их стреляли;
Иль сабли на кремнях острят,
Готовясь на убийства новы.
Ты видел Дона берега;
Ты зрел, как он поил шелковы
Необозримые луга,
Одушевленны табунами;
Ты зрел, как тихими водами
Меж виноградными садами
Он, зеленея, протекал
И ясной влагой отражал
Брега, покрытые стадами,
Ряды стеснившихся стругов
И на склонении холмов

Донских богатырей станицы;
Ты часто слушал, как певицы
Родимый прославляют Дон,
Спокойствие станиц счастливых,
Вождей и коней их ретивых;
С смиреньем отдал ты поклон
Жилищу Вихря-Атамана
И из заветного стакана
Его здоровье на Цымле
Пил, окруженный стариками,
И витязи под сединами
Соотчичам в чужой земле
Ура! кричали за тобою.
Теперь ты случая рукою
В обитель брата приведен,
С ним вспомнишь призраки златые
Невозвратимых тех времен,
Когда мы — гости молодые
У милой Жизни на пиру —
Из полной чаши радость пили,
И *счастье наше*! говорили
В своем пророческом жару...
Мой друг, пророчество прелестно!
Когда же сбудется оно?
Еще вдали и неизвестно
Всё то, что нам здесь суждено...
А время мчится без возврата,
И жизнь-изменница за ним;
Один уходим за другим;
Друг, оглянись... еще нет брата.
Час от часу пустее свет;
Пустей дорога перед нами.

Но так и быть!.. здесь твой поэт
С смиренной Музою, с друзьями,
В смиренном уголке живет
И у моря погоды ждет.
И ты, мой друг, чтобы мечтою
Грядущее развеселить,
Спешишь волшебных струн игрою
В нем спящий гений пробудить;
И очарованный тобою,
Как за прозрачной пеленою,

Я вижу древни чудеса:
Вот наше солнышко-краса
Владимир князь с богатырями;
Вот Днепр кипит между скалами;
Вот златоверхий Киев град;
И бусурманов тьмы, как пруги,
Вокруг зубчатых стен кипят;
Сверкают шлемы и кольчуги;
От кликов, топота коней,
От стука палиц, свиста пращей
Далеко слышен гул дрожащий;
Вот, дивной облечен броней,
Добрыня богатырь могучий
И конь его Златокопыт;
Чрез степи и леса дремучи
Не скачет витязь, а летит,
Громя Зилантов и Полканов,
И ведьм, и чуд, и великанов;
И втайне девица-краса
За дальни степи и леса
Вослед ему летит душою;
Склоняся на руку главою,
На путь из терема глядит
И так в раздумьи говорит:
«О ветер, ветер! что ты вьешься?
Ты не от милого несешься,
Ты не принес веселья мне;
Играй с косаткой в вышине,
По поднебесью с облаками,
По синю морю с кораблями —
Стрелу пернатую отвей
От друга-радости моей».
Краса-девица ноет, плачет;
А друг по долам, холмам скачет,
Летя за тридевять земель;
Ему сыра земля постель;
Возглавье щит; ночлег дубрава;
Там бьется с Бабою-Ягой;
Там из ручья с живой водой,
Под стражей змея шестиглава,
Кувшином черпает златым;
Там машет дубом перед ним
Косматый людоед Дубыня;

Там заслоняет путь Горыня;
И вот внезапно занесён
В жилище чародеев он:
Пред ним чернеет лес ужасный!
Сияет блеск вдали прекрасный;
Чем ближе он — тем дале свет;
То тяжкий филина полет,
То вранов раздается рокот;
То слышится Русалки хохот;
То вдруг из-за седого пня
Выходит леший козлоногий;
И вдруг стоят пред ним чертоги,
Как будто слиты из огня —
Дворец волшебный царь-девицы;
Красою белые колпицы,
Двенадцать дев к нему идут
И песнь приветствия поют;
И он... Но что? куда мечтами
Я залетел тебе вослед —
Ты чародей, а не поэт;
Ты всемогущими струнами
Мой падший гений оживил...
И кто, скажи мне, научил
Тебя предречь осмью стихами
В сей книге с белыми листами
Весь сокровенный жребий мой?
Признаться ли?.. Смотрю с тоской,
С волнением непобедимым
На белые сии листы,
И мнится, перстом невидимым
Свои невидимы черты
На них Судьба уж написала.
Что б ни было... сей дар тебе
Отныне дружба завещала;
Она твоя... молись Судьбе,
Чтоб в ней наполнились страницы.
Когда, мой друг, тебе я сам
Ее в веселый час подам —
И ты прочтешь в ней небылицы,
За быль рассказанные мной:
То знай, что счастлив жребий мой,
Что под надзором провиденья,
Питаясь жизнью в тишине,

Вблизи всего, что мило мне,
Я на крылах воображенья,
Веселый *здесь*, в *тот* мир летал,
И что меня не покидал
Мой верный ангел вдохновенья...
Но, друг, быть может... как узнать?..
Она останется пустая,
И некогда рука чужая
Тебе должна ее отдать
В святой залог воспоминанья,
Увы! и в знак, что в жизни сей
Милейшие души моей
Не совершилися желанья,
Прими ее... и пожалей.

К КН. ВЯЗЕМСКОМУ И В. Л. ПУШКИНУ

Друзья, тот стихотворец — горе,
В ком без похвал восторга нет.
Хотеть, чтоб нас хвалил *весь свет*
Не то же ли, что выпить море?
Презренью бросим тот венец,
Который *всем* дается светом;
Иная слава нам предметом,
Иной награды ждет певец.
Почто на Фебов дар священный
Так безрассудно клеветать?
Могу ль поверить, чтоб страдать
Певец, от Музы вдохновенный,
Был должен боле, чем глупец,
Земли бесчувственный жилец,
С глухой и вялою душою,
Чем добровольной слепотою
Убивший всё, чем красен свет,
Завистник гения и славы?
Нет! жалобы твои неправы,
Друг Пушкин; счастлив, кто поэт;
Его блаженство прямо с неба;
Он им не делится с толпой:
Его судьи лишь чада Феба:
Ему ли с пламенной душой
Плоды святого вдохновенья
К ногам холодных повергать,
И на коленах ожидать
От недостойных одобренья?
Один, среди песков, Мемнон,
Седя с возвышенной главою,
Молчит — лишь гордою стопою
Касается ко праху он;
Но лишь денницы появленье
Вдали восток воспламенит —

СТИХОТВОРЕНІЯ

Василія Жуковскаго

Часть I.



Санктпетербургъ

1815

В восторге мрамор песнь гласит.
Таков поэт, друзья; презренье
В пыли таящимся душам!
Оставим их попрать стопам,
А взоры устремим к востоку.
Смотрите: неподвластный року,
И находя в себе самом
Покой, и честь, и наслажденья,
Муж праведный прямым путём
Идет — и терпит ли гоненья,
Избавлен ли от них судьбой —
Он сходен там и тут с собой;
Он благ без примеси не просит —
Нет! в лучший мир он переносит
Надежды лучшие свои.
Так и поэт, друзья мои;
Поэзия есть добродетель;
Наш гений лучший нам свидетель.
Здесь славы чистой не найдем —
На что ж искать? Перенесем
Свои надежды в мир потомства...
Увы! Димитрия творец
Не отличил простых сердец
От хитрых, полных вероломства.
Зачем он свой сплетать венец
Давал завистникам с друзьями?
Пусть Дружба нежными перстами
Из лавров сей венец свила —
В них Зависть терния вплела;
И торжествует: растерзали
Их иглы славное чело —
Простым сердцам смертельно зло:
Певец угаснул от печали.
Ах! если б мог достигнуть глас
Участия и удивленья
К душе, не снесшей оскорбленья,
И усладить ее на час!
Чувствительность его сразила;
Чувствительность, которой сила
Моины душу создала,
Певцу погибелью была.
Потомство грозное, отмщенья!..
А нам друзья, из отдаленья

Рассудок опытный велит
Смотреть на сцену, где гремит
Хвала — гул шумный и невнятный;
Подале от толпы судей!
Пока мы не смешались с ней,
Свобода друг нам благодатный;
Мы независимо, в тиши
Уютного уединенья,
Богаты ясностью души,
Поем для Муз, для наслажденья,
Для сердца верного друзей;
Для нас все обольщенья славы!
Рука завистников-судей
Душеубийственной отравы
В ее сосуд не подольет,
И злобы крик к нам не дойдет.
Страшись к той славе прикоснуться,
Которою прельщает Свет —
Обвитый розами скелет;
Любуйся издали, поэт,
Чтобы вблизи не ужаснуться.
Внимай избранным судиям:
Их приговор зерцало нам;
Их одобренье нам награда,
А порицание ограда
От убивающия дар
Надменной мысли совершенства.
Хвала воспламеняет жар;
Но нам не в ней искать блаженства —
В труде... О благотворный труд,
Души печальныя целитель
И счастия животворитель!
Что пред тобой ничтожный суд
Толпы, в решениях пристрастной,
И ветреной, и разногласной?
И тот же Карамзин, друзья,
Разимый злобой, несраженный,
И сладким лишь трудом блаженный,
Для нас пример и судия.
Спросите: для одной ли славы
Он вопрошает у веков,
Как были, как прошли державы,
И чадам подвиги отцов

На прахе древности являет
Нет! он о славе забывает
В минуту славного труда;
Он беззаботно ждет суда
От современников правдивых,
Не замечая и лица
Завистников несправедливых.
И им не разорвать венца,
Который взяло дарованье;
Их злоба — им одним страданье.
Но пусть и очаруют свет —
Собою счастливый поэт,
Твори, будь тверд; их зданья ломки;
А за тебя дадут ответ
Необольстимые потомки.

К КНЯЗЮ ВЯЗЕМСКОМУ

Нам славит древность Амфиона:
От струн его могущих звона
Воздвигся город сам собой...
Правдоподобно, хоть и чудно.
Что древнему поэту трудно?
А нынче?.. Нынче век иной.
И в наши бедственные леты
Не только лирами поэты
Не строят новых городов,
Но сами часто без домов,
Богатым платят песнопеньем
За скудный угол чердака,
И греются воображеньем
В виду пустого камелька.
О Амфион, благоговею!
Но, признаюсь, не сожалею,
Что дар твой: говорить стенам,
В наследство не достался нам.
Славнее говорить сердцам,
И пробуждать в них чувства пламень,
Чем оживлять бездушный камень,
И зданья лирой громоздить.

С тобой хочу я говорить,
Мой друг и брат по Аполлону;
Склонись к знакомой лиры звону;
Один в нас пламенеет жар;
Но мой удел на свете — струны,
А твой: и сладких песней дар
И пышные дары фортуны.
Послушай повести моей
(Здесь истина без украшенья):
Был пастырь образец смиренья;
От самых юношеских дней

Святого алтаря служитель,
Он чистой жизнью оправдал
Всё то, чем верных умилял
В христовом храме, как учитель;
Прихожан бедных тесный мир
Был подвигов его свидетель;
Невидимую добродетель
Его лишь тот, кто наг иль сир,
Иль обречен был униженью,
Вдруг узнавал по облегченью
Тяжелыя судьбы своей.
Ему науки были чужды —
И нет в излишнем знаньи нужды —
Он редкую между людей
В простой душе носил науку:
Страдальцу гибнущему руку
В благое время подавать.
Не знал он гордого искусства
Умы витийством поражать
И приводить в волненье чувства;
Но, друг, спроси у сироты:
Когда в одежде нищеты,
Потупя взоры торопливо,
Она стояла перед ним
С безмолвным бедствием своим,
Умел ли он красноречиво
В ней сердце к жизни оживлять,
И мир сей страшный украшать
Надеждою на провиденье?
Спроси, умел ли в страшный час,
Когда лишь смерти слышен глас,
Лишь смерти слышно приближенье,
Он с робкой говорить душой,
И, скрыв пред нею мир земной,
Являть пред нею мир небесный?
Как часто в угол неизвестный,
Где нищий с гладною семьей
От света и стыда скрывался,
Он неожиданный являлся
С святым даяньем богачей,
Растроганных его мольбою!..
Мой милый друг, его уж нет;
Судьба незапною рукою

Его в другой умчала свет,
Не дав свершить здесь полдороги;
Вдовы ж наследство: одр убогий,
На коем жизнь окончил он,
Да пепел хижины сгорелой,
Да плач семьи осиротелой...
Скажи, вотще ль их жалкий стон?
О нет! он, землю покидая,
За чад своих не трепетал,
Верней он в час последний знал,
Что их найдет рука святая
Неизменяющего нам;
Он добрым завещал сердцам
Сирот оставленных спасенье.
Сирот в семействе бога нет;
Исполним доброго завет,
И оправдаем провиденье.

ГОСУДАРЫНЕ В. К. АЛЕКСАНДРЕ ФЕДОРОВНЕ

НА РОЖДЕНИЕ В. К. АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

Изображу ль души смятенной чувство?
Могу ль найти согласный с ним язык?
Что лирный глас, и что певца искусство?..
Ты слышала сей милый, первый крик,
Младенческий привет существованью;
Ты зрела блеск проглянувших очей
И прелесть уст, открывшихся дыханью...
О! как дерзну я мыслию моей
Приблизиться к сим тайнам наслажденья?
Он пролетел, сей грозный час мученья;
Его сменил небесный гость Покой,
И тишина исполненной надежды;
И, первым сном сомкнув беспечны вежды,
Как ангел, спит твой сын перед тобой...
О матерь, кто, какой язык земной
Изобразит сие очарованье?
Что с жизнию прекрасного дано,
Что нам сулит в грядущем упованье,
Чем прошлое для нас озарено,
И темное к безвестному стремленье,
И ясное для сердца провиденье,
И что душа небесного досель
В самой себе неведомо скрывала —
То всё теперь без слов тебе сказала
Священная младенца колыбель.
Забуду ль миг, навеки незабвенный?..
Когда шепнул мне тихой вести глас,
Что наступил решительный твой час —
Безвестности волнением стесненный,
Я ободрить мой смутный дух спешил
На ясный день животворящим взглядом.
О! как сей взгляд мне душу усмирил!

Безоблачны, над пробужденным градом,
Как благодать, лежали небеса;
Их мирный блеск, младой зари краса,
Всходящая, как новая надежда;
Туманная, как таинство, одежда
Над красотой воскреснувшей Москвы;
Бесчисленны церквей ее главы,
Как алтари зажженные востоком,
И вечный Кремль, протекшим мимо Роком
Нетронутый свидетель божества,
И всюду глас святого торжества,
Как будто глас Москвы преображенной...
Всё, всё душе являло ободренной
Божественный спасения залог.
И с верою, что близко провиденье,
Я устремлял свой взор на тот чертог,
Где матери священное мученье
Свершалося, как жертва, в оный час...
Как выразить сей час невыразимый,
Когда еще сокрыто всё для нас,
Сей час, когда два ангела незримы,
Податели конца иль бытия,
Свидетели страдания безвластны,
Еще стоят в неведеньи, безгласны,
И робко ждут, что скажет судия,
Кому из двух невозвратимым словом
Иль жизнь иль смерть велит благовестить?..
О! что в сей час сбывалось там, под кровом
Царей, где миг был должен разрешить
Нам промысла намерение тайно,
Угадывать я мыслью не дерзал;
Но сладкий глас мне душу проникал:
«Здесь божий мир; ничто здесь не случайно».
И верила бестрепетно душа.
Меж тем, восход спокойно соверша,
Как ясный бог, горело солнце славой;
Из храмов глас молений вылетал;
И тишины исполнен величавой,
Торжественно державный Кремль стоял...
Казалось, всё с надеждой ожидало.
И в оный час пред мыслию моей
Минувшее безмолвно воскресало;
Сия река, свидетель давних дней,

Протекшая меж стольких поколений,
Спокойная меж стольких изменений,
Мне славною блистала стариной;
И образы великих привидений
Над ней, как дым, взлетали предо мной;
Мне чудилось: развертывая знамя,
На бой и честь скликал полки Донской;
Пожарский мчал, сквозь ужасы и пламя,
Свободу в Кремль по трупам поляков;
Среди дружин, хоругвей и крестов
Романов брал могущество державы;
Вводил полки бессмертья и Полтавы
Чудесный *Петр* в столицу за собой;
И праздновать звала *Екатерина*
Румянцева с вождями пред Москвой
Ужасный пир Кагула и Эвксина.
И, дальние лета перелетев,
Я мыслию ко близким устремился.
Давно ль, я мнил, горел здесь божий гнев?
Давно ли Кремль разорванный дымился?
Что зрели мы?.. Во прахе дом царей;
Бесславие разбитых алтарей;
Святилища, лишенные святыни;
И вся Москва, как гроб среди пустыни.
И что ж теперь?.. Стою на месте том,
Где сопостат ругался над Кремлём,
Зажженною любуяся Москвою —
И тишина святая надо мною;
Москва жива; в Кремле семья царя;
Народ, теснясь к ступеням алтаря,
На празднике великом воскресенья,
Смиренно ждет надежды совершенья,
Ждет милого пришельца в божий свет...
О! как у всех душа заликовала,
Когда Молва в громах Москве сказала
Исполненный создателя обет!
О! сладкий час, в надежде, в страхе жданный!
Гряди в наш мир, младенец, гость желанный!
Тебя узрев, коленопреклонен,
Младый отец пред матерью спасенной
В жару любви рыдает, слов лишен;
Перед твоей невинностью смиренной
Безмолвная праматерь слезы льет;

Уже Москва *своим* тебя зовет...
Но как понять, что в час сей непонятный
Сбылось с твоей, младая мать, душой?
О! для нее открылся мир иной.
Твое дитя, как вестник благодатный,
О лучшем ей сказало бытии;
Чистейшие зажглись в ней упованья;
Не для тебя теперь твои желанья,
Не о тебе днесь радости твои;
Младенчества обвитый пеленами,
Еще без слов, незрящими очами
В твоих очах любовь встречает он;
Как тишина, его прекрасен сон;
И жизни весть к нему не достигала...
Но уж Судьба свой суд об нем сказала;
Уже в ее святилище стоит
Ему испить назначенная чаша.
Что скрыто в ней, того надежда наша
Во тьме земной для нас не разрешит...
Но он рожден в великом граде славы,
На высоте воскресшего Кремля;
Здесь возмужал орел наш двоеглавый;
Кругом его и небо и земля,
Питавшие Россию в колыбели;
Здесь жизнь отцов великая была;
Здесь битвы их за честь и Русь кипели,
И здесь их прах могила приняла —
Обманет ли сие знаменованье?..
Прекрасное Россия упованье
Тебе в твоем младенце отдает.
Тебе его младенческие лета!
От их пелен ко входу с бури света
Пускай тебе вослед он перейдет
С душой, на все прекрасное готовой;
Наставленный: достойным счастья быть,
Великое с величием сносить,
Не трепетать, встречая рок суровый,
И быть в делах времен своих красой.
Лета пройдут, подвижник молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Он полетит в путь опыта и славы...
Да встретит он обильный честью век!
Да славного участник славный будет!

Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий: *человек*.
Жить для веков в величии народном,
Для блага *всех* — *свое* позабывать,
Лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать:
Вот правила царей великих внуку.
С тобой ему начать сию науку.
Теперь, едва проснувшийся душой,
Пред матерью, как будто пред Судьбой,
Беспечно он играет в колыбели,
И Радости младые прилетели
Ее покой прекрасный оживлять;
Житейское от ней еще далёко...
Храни ее, заботливая мать;
Твоя любовь — всевидящее око;
В твоей любви — святая благодать.

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О ЛУНЕ

ПОСЛАНИЕ К ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ МАРИИ ФЕДОРОВНЕ

Хотя и много я стихами
Писал про светлую луну;
Но я лишь тень ее одну
Моими бледными чертами
Неверно мог изобразить.
Здесь, государыня, пред вами
Осмелюсь вкратце повторить
Всё то, что ветреный мой гений,
Летучий невидимка, мне
В минуты светлых вдохновений
Шептал случайно о луне.

Когда с усопшим на коне
Скакала робкая *Людмила*,
Тогда в стихах моих луна
Неверным ей лучом светила;
По темным облакам она
Украдкою перебегала;
То вся была меж них видна,
То пряталась, то зажигала
Края волнующихся туч;
И изредка бродящий луч
Ужасным блеском отражался
На хладной белизне лица
И в тусклом взоре мертвеца.
Когда ж в санях с *Светланой* мчался
Другой известный нам мертвец,
Тогда кругом луны венец
Сквозь завес снежного тумана
Сиял на мутных небесах;
И с вещей робостью Светлана
В недвижных спутника очах

Искала взора и привета...
Но, взор на месяц устремив,
Был неприветно-молчалив
Пришелец из другого света. —
Я помню: рыцарь *Адельстан,*
Свершитель страшного обета,
Сквозь хладный вечера туман
По Рейну с сыном и женою
Плыл, озаряемый луною;
И очарованный челнок
По влаге волн, под небом ясным
Влеком был лебедем прекрасным;
Тогда роскошный ветерок,
Струи лаская, тихо веял
И парус пурпурный лелеял;
И, в небе плавая одна,
Сквозь сумрак тонкого ветрила
Сияньем трепетным луна
Пловцам задумчивым светила
И челнока игривый след,
И пышный лебедя хребет,
И цепь волшебную златила. —
Но есть еще челнок у нас;
Под бурею, в полночный час
Пловец неведомый с *Варвиком*
По грозно воющей реке
Однажды плыл в том челноке;
Сквозь рев воды, протяжным криком
Младенец их на помощь звал;
Ужасно вихорь тучи гнал,
И великанскими главами
Валы вставали над валами,
И всё гремело в темноте;
Тогда *рог месяца блестящий*
Прорезал тучи в высоте,
И, став над бездною кипящей,
Весь ужас бури осветил:
Засеребрилися вершины
Встающих, падающих волн...
И на скалу помчался чолн;
Среди сияющей пучины
На той скале Варвика ждал
Младенец — неизбежный мститель,

И руку сам невольно дал
Своей погибели губитель;
Младенца нет; Варвик исчез...
Вмиг ужас бури миновался;
И ясен посреди небес,
Вдруг успокоенных, остался
Над усмиренною рекой,
Как радость, месяц молодой. —
Когда ж невидимая сила
Без кормщика и без ветрила,
Вадима в третьем челноке
Стремила по Днепру-реке:
Над ним безоблачно сияло
В звездах величие небес;
Река, надводный темный лес,
Высокий берег — всё дремало;
И ярко полная луна
От горизонта подымалась,
И одичалая страна
Очам Вадимовым являлась...
Ему луна сквозь темный бор
Лампадой таинственной светит;
И всё, что изумленный взор
Младого путника ни встретит,
С его душою говорит
О чем-то горестно-ужасном,
О чем-то близком и прекрасном...
С невольной робостью он зрит
Пригорок, храм, могильный камень;
Над повалившимся крестом
Какой-то легкий веет пламень,
И сумрачен сидит на нём
Недвижный ворон, сторож ночи,
Туманные уставив очи
Неотвратимо на луну;
Он слышит: что-то тишину
Смутило; древний крест шатнулся,
И сонный ворон встрепенулся;
И кто-то бледной тенью встал,
Пошел ко храму, помолился...
Но храм пред ним не отворился,
И в отдаленьи он пропал,
Слиясь, как дым, с ночным туманом.

Памятникъ прямой дружбы

Vous en qui tant d'esprit abonde,
Tant de grace et tant de douceur,
Si ma place est dans votre coeur,
Elle est la premiere du monde

Voltaire

******



1806. 14 Октября.

Рисунок В. А. Жуковского в альбоме М. А. Протасовой

И дале трепетный Вадим;
И вдруг является пред ним
На холме светлым великаном
Пустынный зàмок; блеск луны
На стены сыплется, зубчаты;
В кудрявый мох облечены
Их неприступные раскаты;
Ворота заперты скалой;
И вот уже над головой
Луна, достигнув полуночи;
И видят путниковы очи
Двух дев: одна идет стеной,
Другая к ней идет на стену,
Друг другу руку подают,
Прощаются и врозь идут,
Свершив задумчивую смену...
Но то, как девы спасены,
Уж не касается луны. —
Еще была воспета мною
Одна прекрасная луна:
Когда пылàла пред Москвою
Святая Русская война —
В рядах отечественной рати,
Певец, по слуху знавший бой,
Стоял я с лирой боевой
И мщенье пел для ратных братий.
Я помню ночь: как бранный щит,
Луна в небесном рдела мраке;
Наш стан молчаньем был покрыт,
И ратник в лиственном биваке
Вооруженный мирно спал;
Лишь стражу стража окликал;
Костры дымились, пламенея,
И кое-где перед огнем,
На ярком пламени чернея,
Стоял Казак с своим конем,
Окутан буркою косматой;
Там острых копий ряд крылатой
В сияньи месяца сверкал;
Вблизи Уланов ряд лежал;
Над ними их дремали кони;
Там грозные сверкали брони;
Там пушек заряженных строй

Стоял с готовыми громами;
Стрелки, припав к ним головами,
Дремали, и под их рукой
Фитиль курился роковой;
И в отдаленьи полосами,
Слиянны с дымом облаков,
Биваки дымные врагов
На крае горизонта рдели;
Да кое-где вблизи, вдали,
Тела, забытые в пыли,
В ужасном образе чернели
На ярких месяца лучах...
И между тем на небесах,
Над грозным полем истребленья,
Ночные мирные виденья
Свершались мирно, как всегда:
Младая вечера звезда
Привычной прелестью пленяла;
Неизменяема сияла
Луна земле с небес родных,
Не зная ужасов земных;
И было тихо всё в природе,
Как там на отдаленном своде:
Спокойно лес благоухал,
И воды к берегам ласкались,
И берега в них отражались,
И ветерок равно порхал
Над благовонными цветами,
Над лоном трепетных зыбей,
Над бронями, над знаменами
И над безмолвными рядами
Объятых сном богатырей...
Творенье божие не знало
О человеческих бедах
И беззаботно ожидало,
Что ночь пройдет и в небесах
Опять засветится денница.
А Рок меж тем не засыпал; —
Над ратью, молча, он стоял;
Держала жребии десница;
И взор неизбежимый лица
Им обреченных замечал. —
Еще я много описал

Картин луны: то над гробами
Кладбища сельского она
Катится пó небу одна,
Сиянием неверным бродит
По дерну свежему холмов
И тени шаткие дерёв
На зелень бледную наводит,
Мелькает быстро по крестам,
В оконницах часовни блещет
И, внутрь ее закравшись, там
На золоте икон трепещет;
То вдруг, как в дыме, без лучей,
Когда встают с холмов туманы,
Задумчиво на дуб *Минваны*
Глядит, и, вея перед ней,
Четой слиянною две тени
Спускаются к любимой сени,
И шорох слышится в листах,
И пробуждается в струнах,
Перстáм невидимым послушных,
Знакомый глас друзей воздушных;
То вдруг на *взморье* — где волна
Плеская прыщет на каменья,
И где в тиши уединенья,
Воспоминанью предана,
Привыкла вслушиваться Дума
В гармонию ночного шума —
Она, *в величественный час*
Всемирного успокоенья,
Творит волшебные для глаз
На влаге дремлющей виденья;
Иль, тихо зыблясь, в ней горит,
Иль, раздробившись, закипит
С волнами дрогнувшей пучины.
Иль вдруг огромные морщины
По влаге ярко проведет,
Иль огненной змеей мелькнет,
Или под шлюпкою летящей
Забрызжет пеною блестящей...
Довольно; всё пересчитать
Мне трудно с Музою ленивой;
К тому ж ей долг велит правдивой
Вам, государыня, сказать,

Что сколько раз она со мною,
Скитаясь в сумраке ночей,
Ни замечала за луною:
Но всё до сей поры мы с ней
Луны такой не подглядели,
Какою на небе ночном,
В конце прошедшия недели,
Над чистым Павловским прудом
На колоннаде любовались;
Давно, давно не наслаждались
Мы тихим вечером таким;
Казалось всё преображенным;
По небесам уединенным,
Полупотухшим и пустым,
Ни облачка не пролетало;
Ни колыхания в листах;
Ни легкой струйки на водах;
Всё нежилось, всё померкало;
Лишь ярко звездочка одна,
Лампадою гостеприимной
На крае неба зажжена,
Мелькала нам сквозь запад дымной,
И светлым лебедем луна
По бледной синеве востока
Плыла, тиха и одинока;
Под усыпительным лучом
Всё предавалось усыпленью —
Лишь изредка пустым путём,
Своей сопутствуемый тенью,
Шел запоздалый пешеход,
Да сонной пташки содроганье,
Да легкий шум плеснувших вод
Смущали вечера молчанье.
В зерцало ровного пруда
Гляделось мирное светило,
И в лоне чистых вод тогда
Другое небо видно было
С такой же ясною луной,
С такой же тихой красотой;
Но иногда, едва бродящий,
Крылом неслышным ветерок
Дотронувшись до влаги спящей,
Слегка наморщивал поток:

Луна звездами рассыпалась;
И смутною во глубине
Тогда краса небес являлась,
Толь мирная на вышине...
Понятное знаменованье
Души в ее земном изгнанье:
Она небесного полна,
А всё земным возмущена.
Но как назвать очарованье,
Которым душу всю луна
Объемлет так непостижимо?
Ты скажешь: ангел невидимо
В ее лучах слетает к нам...
С какою вестью? Мы не знаем;
Но вестника мы понимаем;
Мы верим сладостным словам,
Невыражаемым, но внятным;
Летим неволею за ним
К тем благам сердца невозвратным,
К тем упованиям святым,
Которыми когда-то жили,
Когда с приветною Мечтой,
Еще не встретившись с Судьбой,
У ясной Младости гостили.
Как часто вдруг возвращено
Каким-то быстрым мановеньем
Всё улетевшее давно!
И видим мы воображеньем
Тот свежий луг, где мы цвели;
Даруем жизнь друзьям отжившим;
Былое кажется небывшим
И нас манящим издали;
И то, что *нашим* было прежде,
С чем мы простились навсегда,
Нам мнится *нашим*, как тогда,
И вверенным еще надежде...
Кто ж изъяснит нам, что она,
Сия волшебная луна,
Друг нашей ночи неизменный?
Не остров ли она блаженный
И не гостиница ль земли,
Где, навсегда простясь с землёю,
Душа слетается с душою,

Чтоб повидаться издали
С покинутой, но всё любимой
Их прежней жизни стороной?
Как с прага хижины родимой
Над брошенной своей клюкой
С утехой странник отдохнувший,
Глядит на путь, уже минувший,
И думает: «Там я страдал,
Там был уныл, там ободрялся,
Там утомленный отдыхал
И с новой силою сбирался».
Так наши, может быть, друзья
(В обетованное селенье
Переведенная семья)
Воспоминаний утешенье
Вкушают, глядя из луны
В пределы здешней стороны.
Здесь и для них была когда-то
Прелестна жизнь, как и для нас;
И их манил надежды глас,
И их испытывала тратой
Тогда им тайная рука
Разгаданного провиденья.
Здесь все их прежние волненья,
Чем жизнь прискорбна, чем сладка,
Любви счастливой упоенья,
Любви отверженной тоска,
Надежды смелость, трепет страха,
Высоких замыслов мечта,
Великость, слава, красота...
Всё стало бедной горстью праха;
И прежних темных, ясных лет
Один для них приметный след:
Тот уголок, в котором где-то,
Под легким дерном гробовым,
Спит сердце, некогда земным,
Смятенным пламенем согрето;
Да может быть в краю ином
Еще любовью незабытой
Их бытие и ныне слито,
Как прежде, с нашим бытиём;
И ныне с милыми родными
Они беседуют душой;

И, знавшись с тратами земными,
Деля их, не смущаясь ими,
Подчас утехой неземной
На сердце наше налетают
И сердцу тихо возвращают
Надежду, веру и покой.

К ИВ. ИВ. ДМИТРИЕВУ

Нет, не прошла, певец наш вечно-юный,
Твоя пора: твой гений бодр и свеж;
Ты пробудил давно молчавши струны,
И звуки нас пленили те ж.

Нет, никогда ничтожный прах забвенья
Твоим струнам коснуться не дерзнет;
Невидимо их Гений вдохновенья
Всегда крылатый стережет.

Державина струнам родные, пели
Они дела тех чудных прошлых лет,
Когда везде мы битвами гремели,
И битвам тем дивился свет.

Ты нам воспел как «буйные Титаны,
Смутившие Астреи нашей дни,
Ее орлом низринуты, попраны;
В прах! в прах! рекла... и где они?»

И ныне то ж, певец двух поколений,
Под сединой ты третьему поёшь
И нам, твоих питомцам вдохновений,
В час славы руку подаёшь.

Я помню дни — магически мечтою
Был для меня тогда разубран свет —
Тогда, явясь, сорвал передо мною
Покров с поэзии поэт.

С задумчивым, безмолвным умиленьем
Твой голос я подслушивал тогда,
И вопрошал судьбу мою с волненьем:
«Наступит ли и мне чреда?»

О! в эти дни, как райское виденье,
Был с нами *он*, теперь уж не земной,
Он, для меня живое провиденье,
Он, с юности товарищ твой.

О! как при нем всё сердце разгоралось!
Как он для нас всю землю украшал!
В младенческой душе его, казалось,
Небесный ангел обитал...

Лежит венец на мраморе могилы;
Ей молится России верный сын;
И будит в нем для дел прекрасных силы
Святое имя: Карамзин.

А ты цвети, певец, наш вдохновитель,
Младый душой под снегом старых дней;
И долго будь нам в старости учитель,
Как был во младости своей.

К К. М. С[ОКОВНИН]ОЙ

Протекших радостей уже не возвратить;
Но в самой скорби есть для сердца наслажденье.
Ужели всё мечта? Напрасно ль слезы лить?
Ужели наша жизнь есть только привиденье,
И трудная стезя к ничтожеству ведет?
Ах! нет, мой милый друг, не будем безнадежны;
Есть пристань верная, есть берег безмятежный;
Там всё погибшее пред нами оживет;
Незримая рука, простертая над нами,
Ведет нас к одному различными путями;
Блаженство наша *цель; когда* мы к ней придем —
Нам провидение сей тайны не открыло.
Но рано ль, поздно ли мы радостно вздохнем:
Надеждой *не вотще* нас небо одарило.

ДРУЖБА

Скатившись с горной высоты,
Лежал на прахе дуб, перунами разбитый;
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый...
О Дружба, это ты!

САФИПА ОДА

Блажен, кто близ тебя одним тобой пылает,
Кто прелестью твоих речей обворожен,
Кого твой ищет взор, улыбка восхищает, —
С богами он сравнен!

Когда ты предо мной, — в душе моей волненье,
В крови палящий огнь! в очах померкнул свет!
В трепещущей груди и скорбь и наслажденье!
Ни слов, ни чувства нет!

Лежу у милых ног, горю огнем желанья!
Блаженством страстныя тоски утомлена!
В слезах, вся трепещу, без силы, без дыханья!
И жизни лишена!

ИДИЛЛИЯ

Когда она была пастушкою простой,
Цвела невинностью, невинностью блистала,
Когда слыла в селе *девичьей красотой*
И кудри светлые цветами убирала —
Тогда ей нравились и пенистый ручей,
И луг, и сень лесов, и мир моей долины,
Где я пленял ее свирелию моей,
Где я так счастлив был присутствием Алины.
Теперь... теперь прости, души моей покой!
Алина гордая столицы украшенье;
Увы! окружена ласкателей толпой,
За лесть их отдала любви боготворенье,
За пышный злата блеск душистые цветы;
Свирели тихий звук Алину не прельщает;
Алина предпочла блаженству суеты;
Собою занята, меня в лицо не знает.

ЭПИТАФИЯ ЛИРИЧЕСКОМУ ПОЭТУ

Здесь кончил век Памфил, надутых од певец!
Сей грешный человек! — прости ему творец! —
По смерти жить сбирался! —
Но заживо скончался!

ЭПИГРАММЫ

1

«Ты драму, Фефил, написал?» —
«Да! как же удалась! как сыграна! не чаешь!
Хотя бы кто-нибудь для смеха просвистал!» —
«И! Фефил, Фефил! как свистать, когда зеваешь!»

2

Не знаю почему, по дружбе или так,
Папуре вздумалось меня визитом мучить;
Папура истинный чудак,
Скучает сам, чтоб мне наскучить!

3

Для Клима всё как дважды два!
Гораций, Ксенофон, Бова,
Лаланд и Гершель астрономы,
И Мирамонд и Мушенброк
Ему, как нос его, знакомы!
О всем кричит, во всем знаток!
Судить о музыке начните:
Наш Клим первейший музыкант,
О торге речь с ним заведите:
Он вмиг торгаш и фабрикант.
Чего в нем нет! Он метафизик,
Платоник, коновал, маляр,
Статистик, журналист, бочар,
Хирургус, проповедник, физик,
Поэт, каретник, то и то,
Клим, словом, всё, и Клим — ничто,

4

Трим счастия искал ползком и тихомолком;
Нашедши, — грудь вперед, нос вздернул, весь иной.
Кто втерся в чин лисой,
Тот в чине будет волком.

5

НОВОПОЖАЛОВАННЫЙ

«Приятель, отчего присел?» —
«Злодей корону на меня надел!» —
«Что ж! я не вижу в этом зла!» —
«Ох, тяжела!»

6

Барма, нашед Фому, чуть жива, на отходе,
«Скорее, — закричал, — изволь мне долг платить.
Уж завтраков теперь не будешь мне сулить!» —
«Ох! брат, хоть умереть ты дай мне на свободе!» —
«Вот, право, хорошо: хочу я посмотреть,
Как ты, не заплатив, изволишь умереть!»

РАССТРОЙКА СЕМЕЙСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ

Жил муж в согласии с женой,
И в доме их ничто покоя не смущало!
Ребенок, моська, кот, сурок и чиж ручной
В таком ладу, какого не бывало,
И в самом Ноевом ковчеге никогда!
Но вот беда!
Случился праздник! муж хлебнул и в спор с женою!
Что ж вышло? За язык вступилася рука!
Супруг супруге дал щелчка!
Жена сечь сына, сын бить моську, моська с бою
Душить и мять кота, кот лапою сурка,
Сурок перекусил чижу с досады шею.

Нередко целый край один глупец смущал!
И в наказание могущему злодею
Нередко без вины бессильный погибал.

МОЯ БОГИНЯ

Какую бессмертную
Венчать предпочтительно
Пред всеми богинями
Олимпа надзвездного?
Не спорю с питомцами
Разборчивой мудрости,
Учеными, строгими;
Но свежей гирляндою
Венчаю веселую,
Крылатую, милую,
Всегда разновидную,
Всегда животворную,
Любимицу Зевсову,
Богиню-Фантазию.

Ей дал он те вымыслы,
Те сны благотворные,
Которыми в области
Олимпа надзвездного,
С амврозией, с нектаром
Подчас утешается
Он в скуке бессмертия;
Лелея с усмешкою
На персях родительских,
Ее величает он
Богинею-радостью.

То в утреннем вояньи
С лилейною веткою,
Одетая ризою,
Сотканной из нежного
Денницы сияния,
По долу душистому,
По холмам муравчатым,
По облакам утренним

Малиновкой носится;
На ландыш, на лилию,
На цвет-незабудочку,
На травку дубравную
Спускается пчелкою;
Устами пчелиными
Впиваяся в листики,
Пьет росу медвяную;
То, кудри с небрежностью
По ветру развеявши,
Во взоре уныние,
Тоской отуманена,
Глава наклоненная,
Сидит на крутой скале
И смотрит в мечтании
На море пустынное,
И любит прислушивать,
Как волны плескаются,
О камни дробимые;
То внемлет, задумавшись,
Как ветер полуночный
Порой подымается,
Шумит над дубравою,
Качает вершинами
Дерев сеннолиственных;
То в сумраке вечера
(Когда златорогая
Луна из-за облака
Над рощею выглянет
И, сливши дрожащий луч
С вечерними тенями,
Оденет и лес и дол
Туманным сиянием)
Играет с Наядами
По гладкой поверхности
Потока дубравного,
И, струек с журчанием
Мешая гармонию
Волшебного шопота,
Наводит задумчивость,
Дремоту и легкий сон;
Иль, быстро с зефирами
По дремлющим лилиям,

Гвоздикам узорчатым,
Фиалкам и ландышам
Порхая, питается
Душистым дыханием
Цветов, ожемчуженных
Росинками светлыми;
Иль с сонмами гениев,
Воздушною цепию
Вияся, развиваяся,
В мерцании месяца,
Невидима-видима,
По облакам носится
И, к роще спустившеся,
Играет листочками
Осины трепещущей. —

Прославим создателя
Могущего, древнего,
Зевеса, пославшего
Нам радость-Фантазию;
В сей жизни, где радости
Прямые — луч молнии,
Он дал нам в ней счастие,
Всегда неизменное,
Супругу веселую,
Красой вечно-юную,
И с нею нас цепию
Сопряг нераздельною.
«Да будешь, — сказал он ей, —
И в счастьи, и в горести,
Им верная спутница,
Утеха, прибежище».

Другие творения,
С очами незрящими,
В слепых наслаждениях,
С печалями смутными,
Гнетомые бременем
Нужды непреклонныя,
Начавшись, кончаются
В кругу, ограниченном
Чертой настоящего,
Минутною жизнию;

Но мы, отличенные
Зевесовой благостью!..
Он дал нам сопутницу,
Игривую, нежную,
Летунью, искусницу
На милые вымыслы,
Причудницу резвую,
Любимую дщерь свою
Богиню-Фантазию!
Ласкайте прелестную;
Кажите внимание
Ко всем ее прихотям,
Невинным, младенческим!
Пускай почитается
Над вами владычицей
И дома хозяйкою;
Чтоб вотчиму старому,
Брюзгливцу суровому,
Рассудку, не вздумалось
Ее переучивать,
Пугать укоризнами
И мучить уроками.

Я знаю сестру ее,
Степенную, тихую...
Мой друг утешительный,
Тогда лишь простись со мной,
Когда из очей моих
Луч жизни сокроется;
Тогда лишь покинь меня,
Причина всех добрых дел,
Источник великого,
Нам твердость и мужество,
И силу дающая,
Надежда отрадная!..

К ДЕЛИЮ

Умерен, Делий, будь в печали
И в счастии неослеплен:
На миг нам жизнь бессмертны
дали;
Всем путь к Тенару проложен.
Хотя б забавы нас томили,
Хотя б токайское вино
Мы, нежася на дерне, пили —
Умрем: так Днем суждено.
Неси ж сюда, где тополь с ивой
Из ветвий соплетают кров,
Где вьется ручеек игривой
Среди излучистых брегов,
Вино и масти ароматны,
И розы, дышущие миг.
О Делий, годы невозвратны:
Играй — пока нить дней твоих
У черной Парки под перстами;
Ударит час — всему конец;
Тогда, прости и луг с стадами,
И твой из юных роз венец,
И соловья приятны трели
В лесу вечернею порой,
И звук пастушеской свирели,
И дом, и садик над рекой,
Где мы, при факеле Дианы,
Вокруг дернового стола,
Стучим стаканами в стаканы
И пьем из чистого стекла
В вине печалей всех забвенье;
Играй — таков есть мой совет;
Не годы жизнь, а наслажденье;
Кто счастье знал, тот жил сто лет;

Пусть быстрым, лишь бы светлым, током
Промчатся дни чрез жизни луг;
Пусть смерть зайдет к нам ненароком,
Как добрый, но *нежданый* друг.

МОЯ ТАЙНА

Вам чудно, отчего во всю я жизнь мою
Так весел? — Вот секрет: *вчера* дарю забвенью,
Покою — *ныне* отдаю,
А *завтра* — провиденью!

К НЕЙ

Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою!

Лиры нет для тебя!
Что песни? Отзыв неверный
Поздной молвы об тебе!

Если бы сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!

Прелесть жизни твоей,
Сей образ чистый, священный, —
В сердце — как тайну, ношу.

Я могу лишь любить,
Сказать же, как ты любима,
Может лишь вечность одна!

К ФИЛОНУ

Блажен, о Филон, кто Харитам-богиням жертвы приносит.
Как светлые дни легкокрылого мая в блеске весеннем,
Как волны ручья, озаренны улыбкой юного утра,
Дни его легким полетом летят.

И полный фиал, освященный устами дев полногрудых,
И лира, в кругу окриляемых пляской Фавнов звеняща,
Да будут от нас, до нисхода в пределы тайного мира,
Грациям, девам стыдливости, дар.

И горе тому, кто Харитам противен; низкие мысли
Его от земли не восходят к Олимпу; бог песнопенья
И нежный Эрот с ним враждуют; напрасно лиру он строит:
Жизни в упорных не будет струнах.

К САМОМУ СЕБЕ

Ты унываешь о днях, невозвратно протекших,
Горестной мыслью, тоской безнадежной их призывая —
Будь настоящее твой утешительный гений!
Веря ему, свой день проводи безмятежно!
Легким полетом несутся дни быстрые жизни!
Только успеем достигнуть до полныя зрелости мыслей,
Только увидим достойную цель пред очами —
Всё уж для нас прошло, как мечта сновиденья,
Призрак фантазии, то представляющей взору
Луг, испещренный цветами, веселые хо́лмы, долины;
То пролетающей в мрачной одежде печали
Дикую степь, леса и ужасные бездны.
Следуй же *мудрым*! всегда неизменный душою,
Что посылает судьба, принимай и не сетуй! Безумно
Скорбью бесплодной о благе навеки погибшем
То отвергать, что нам предлагает минута!

УЕДИНЕНИЕ

(отрывок)

Дружись с *Уединеньем!*
Изнежен наслажденьем,
Сын света незнаком
С сим добрым божеством,
Ни труженик унылый,
Безмолвный раб могилы,
Презревший божий свет
Степной Анахорет.
Ужасным привиденьем
Пред их воображеньем
Является оно:
Как тьмой облечено
Одеждою печальной
И к урне погребальной
Приникшее челом;
И в сумраке кругом,
Объят безмолвной думой,
Совет его угрюмой:
С толпой видений *Страх*,
Унылое *Молчанье*,
И мрачное *Мечтанье*
С безумием в очах,
И душ холодных мука,
Губитель жизни, *Скука*...
О! вид совсем иной
Для тех оно приемлет,
Кто зову сердца внемлет
И с мирною душой,
Младенец простотой,
Вслед промысла стремится,
Ни света, ни людей
Угрюмо не дичится,
Но счастья жизни сей

От них не ожидает,
А в сердце заключает
Прямой источник благ.
С улыбкой на устах,
На дружественном лоне
Подруги-*Тишины*,
В сиянии весны,
Простертое на троне
Из лилий молодых,
Как райское виденье,
Себя являет их
Очам *Уединенье.*
Вблизи под сенью мирт
Кружится рой *Харит*,
И пляску соглашает
С струнами *Аонид;*
Смотря на них, смягчает
Наука строгий вид,
При ней сын размышленья
С веселым взглядом *Труд* —
В руке его сосуд
Счастливого забвенья
Сразивших душу бед
И радостей минувших,
И сердце обманувших
Разрушенных надежд;
Там зрится *Отдых* ясный,
Труда веселый друг,
И сладостный *Досуг*,
И три сестры, прекрасны,
Как юная весна:
Вчера — воспоминанье
И *Ныне* — тишина,
И *Завтра* — упованье;
Сидят рука с рукой,
Та с розой молодой,
Та с розой облетелой;
А та, мечтой веселой
Стремяся к небесам,
В их тайну проникает
И радуясь сливает
Неведомое нам
В магическое *там.*

К ТУРГЕНЕВУ

В ОТВЕТ НА СТИХИ, ПРИСЛАННЫЕ ИМ ВМЕСТО ПИСЬМА:

Nei giorni tuoi felici.
Ricordati di me!

В *день счастья* вспомнить о тебе —
На что такое, друг, желанье?
На что нам поверять судьбе
Священное воспоминанье?
Когда б любовь к тебе моя
Моим лишь счастьем измерялась,
И им лишь в сердце оживлялась —
Сколь беден ею был бы я!
Нет, нет, мой брат, мой друг-хранитель;
Воспоминанием иным
Плачу тебе: я *вечно* с ним;
Оно мой верный утешитель!
Во дни печали ты со мной;
И, ободряемый тобой,
Еще я жизнь не презираю;
О, что бы ни было — я знаю,
Где мне прибежище обресть,
Куда любовь свою принесть,
И где любовь не изменится,
И где нежнейшее хранится
Участие в судьбе моей.
Дождусь иль нет *счастливых дней* —
О том, мой милый друг, ни слова;
Каким бы я ни шел путем —
Всё ты мне спутником-вождем;
Со мной до камня гробового,
Не изменяяся, иди;
Одна мольба: не упреди.

ТЕОН И ЭСХИН

Эсхин возвращался к Пенатам своим,
К брегам благовонным Алфея.
Он долго по свету за счастьем бродил —
Но счастье, как тень, убегало.

И роскошь, и слава, и Вакх, и Эрот —
Лишь сердце они изнурили;
Цвет жизни был сорван; увяла душа;
В ней скука сменила надежду.

Уж взорам его тихоструйный Алфей
В цветущих брегах открывался;
Пред ним оживились минувшие дни,
Давно улетевшая младость...

Всё те ж берега и поля и холмы,
И то же прекрасное небо;
Но где ж озарявшая некогда их
Волшебным сияньем Надежда?

Жилища Теонова ищет Эсхин.
Теон, при домашних Пенатах,
В желаниях скромный, без пышных надежд,
Остался на бреге Алфея.

Близ места, где в море втекает Алфей,
Под сенью олив и платанов,
Смиренную хижину видит Эсхин —
То было жилище Теона.

С безоблачных солнце сходило небес,
И тихое море горело;
На хижину сыпался розовый блеск,
И мирты окрестны алели.

Из белого мрамора гроб невдали,
Обсаженный миртами, зрелся;
Душистые розы и гибкий ясмин
Ветвями над ним соплетались.

На праге сидел в размышленьи Теон,
Смотря на багряное море —
Вдруг видит Эсхина, и вмиг узнает
Сопутника юныя жизни.

«Да благостно взглянет хранитель-Зевес
На мирный возврат твой к Пенатам!»
С блистающим радостью взором Теон
Сказал, обнимая Эсхина.

И взгляд на него любопытный вперил —
Лицо его скорбно и мрачно.
На друга внимательно смотрит Эсхин —
Взор друга прискорбен, но ясен.

«Когда я с тобой разлучался, Теон,
Надежда сулила мне счастье;
Но опыт иное мне в жизни явил:
Надежда лукавый предатель.

Скажи, о Теон, твой задумчивый взгляд
Не ту же ль судьбу возвещает?
Ужель и тебя посетила печаль
При мирных домашних Пенатах?»

Теон указал, воздыхая на гроб...
«Эсхин, вот безмолвный свидетель,
Что боги для счастья послали нам жизнь —
Но с нею печаль неразлучна.

О! нет, не ропщу на Зевесов закон:
И жизнь и вселенна прекрасны.
Не в радостях быстрых, не в ложных мечтах
Я видел земное блаженство.

Что может разрушить в минуту судьба,
Эсхин, то на свете не наше;
Но сердца нетленные блага: любовь
И сладость возвышенных мыслей.

Вот счастье; о друг мой, оно не мечта.
Эсхин, я любил и был счастлив;
Любовью моя освятилась душа,
И жизнь в красоте мне предстала.

При блеске возвышенных мыслей я зрел
Яснее великость творенья;
Я верил, что путь мой лежит по земле
К прекрасной, возвышенной цели.

Увы! я любил... и ее уже нет!
Но счастье, вдвоем столь живое,
Навеки ль исчезло? И прежние дни
Вотще ли столь были прелестны?

О! нет: никогда не погибнет их след;
Для сердца прошедшее вечно.
Страданье в разлуке есть та же любовь;
Над сердцем утрата бессильна.

И скорбь о погибшем не есть ли, Эсхин,
Обет неизменной надежды:
Что где-то в знакомой, но тайной стране,
Погибшее нам возвратится?

Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг,
Уже одиноким не будет...
Ах! свет, где *она* предо мною цвела —
Он тот же: все *ею* он полон.

По той же дороге стремлюся один
И к той же возвышенной цели,
К которой так бодро стремился вдвоем —
Сих уз не разрушит могила.

Сей мыслью высокой украшена жизнь;
Я взором смотрю благодарным
На землю, где столько рассыпано благ,
На полное славы творенье.

Спокойно смотрю я с земли рубежа
На сторону лучшия жизни;
Сей сладкой надеждою мир озарен,
Как небо сияньем Авроры.

С сей сладкой надеждой я выше судьбы,
И жизнь мне земная священна;
При мысли великой, что я *человек*,
Всегда возвышаюсь душою.

А этот безмолвный, таинственный гроб...
О друг мой, он верный свидетель,
Что лучшее в жизни еще впереди,
Что *верно* желанное будет;

Сей гроб затворенная к счастию дверь;
Отворится... жду и надеюсь!
За ним ожидает сопутник меня,
На миг мне явившийся в жизни.

О друг мой, искав изменяющих благ,
Искав наслаждений минутных,
Ты верные блага утратил свои —
Ты жизнь презирать научился.

С сим гибельным чувством ужасен и свет;
Дай руку: близ верного друга,
С природой и жизнью опять примирись;
О! верь мне, прекрасна вселенна.

Всё небо нам дало, мой друг, с бытием:
Всё в жизни к великому средство;
И горесть и радость — всё к цели одной:
Хвала жизнедавцу-Зевесу!»

СМЕРТЬ

То сказано глупцом и признано глупцами,
Что будто смерть для нас творит ужасным свет!
Пока на свете *мы*, она еще не с нами;
Когда пришла *она*, то нас на свете нет!

БЕСПОЛЕЗНАЯ СКРОМНОСТЬ

Демид, под одою своей, боясь Зоила,
Ты имени не подписал!
Но глупость за тебя к ней руку приложила;
И свет тебя узнал!

Кто слез на хлеб свой не ронял,
Кто близ одра, как близ могилы,
В ночи, бессонный, не рыдал,—
Тот вас не знает, вышни силы!

На жизнь мы брошены от вас!
И вы ж, дав знаться нам с Виною,
Страданью выдаете нас,
Вину преследуете Мздою.

НА ПЕРВОЕ ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРЕСТОЛА БОНАПАРТЕ

СТИХИ, ПЕТЫЕ НА ПРАЗДНИКЕ, ДАННОМ В С. ПЕТЕРБУРГЕ АНГЛИЙСКИМ ПОСЛОМ ЛОРДОМ КАТКАРТОМ

Сей день есть день суда и мщенья!
Сей грозный день земле явил
Непобедимость провиденья,
И гордых силу пристыдил.

Где тот, пред кем гроза не смела
Валов покорных воздымать,
Когда ладья его летела
С фортуной к берегу пристать?

К стопам рабов бросал он троны,
Срывал с царей красу порфир,
Сдвигал народы в легионы
И мыслил весь заграбить мир.

И где он?.. Мир его не знает!
Забыт разбитый истукан!
Лишь пред изгнанником зияет
Неумолимый океан.

И всё, что рушил он, природа
Уже красою облекла,
И по следам его свобода
С дарами жизни протекла!

И честь тому — кто, верный чести,
Свободе меч свой посвятил,
Кто в грозную минуту мести
Лишь благодатию отмстил.

Так! честь ему: и мир вселенной,
И царские в венцах главы,

И блеск Лютеции спасенной,
И прах низринутой Москвы!

О нем молитва Альбиона
Одна сынов его с мольбой:
«Чтоб долго был красой он трона
И человечества красой!»

ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ

Дети, овсяный кисель на столе; читайте молитву;
Смирно сидеть, не марать рукавов и к горшку не соваться;
Кушайте: всякой нам дар совершен и даяние благо;
Кушайте, светы мои, на здоровье; господь вас помилуй.
В поле отец посеял овес и весной заскородил.
Вот господь-бог сказал: поди домой, не заботься;
Я не засну; без тебя он взойдет, расцветет и созреет.
Слушайте ж, дети: в каждом зернышке тихо и смирно
Спит невидимкой малютка-зародыш. Долго он, долго
Спит, как в люльке, не ест, и не пьет, и не пикнет, доколе
В рыхлую землю его не положат и в ней не согреют.
Вот он лежит в борозде, и малютке тепло под землею;
Вот тихомолком проснулся, взглянул и сосет, как младенец,
Сок из родного зерна, и растет, и невидимо зреет;
Вот уполз из пелен, молодой корешок пробуравил;
Роется в глубь, и корма ищет в земле, и находит.
Что же?.. Вдруг скучно и тесно в потемках... «Как бы проведать.
Что там, на белом свете, творится?»... Тайком, боязливо
Выглянул он из земли... Ах! Царь мой небесный, как любо!
Смотришь — господь-бог ангела шлет к нему с неба:
«Дай росинку ему и скажи от создателя: здравствуй».
Пьет он... ах! как же малюточке сладко, свежо и свободно.
Рядится красное солнышко; вот нарядилось, умылось,
На горы вышло с своим рукодельем; идет по небесной
Светлой дороге; прилежно работая, смотрит на землю,
Словно как мать на дитя, и малютке с небес улыбнулось,
Так улыбнулось, что все корешки молодые взыграли.
«Доброе солнышко, даром вельможа, а всякому ласка!»
В чем же его рукоделье? Точи́т облачко дождевое.
Смотришь: посмеркло; вдруг каплет; вдруг полилось, зашумело.
Жадно зародышек пьет; но подул ветерок — он обсохнул.

«Нет (говорит он), теперь уж под землю меня не заманят.
Что мне в потемках? здесь я останусь; пусть будет, что
будет».
Кушайте, светы мои, на здоровье; господь вас помилуй.
Ждет и малюточку тяжкое время: темные тучи
День и ночь на небе стоят, и прячется солнце;
Снег и мятель на горах, и град с гололедицей в поле.
Ах! мой бедный зародышек, как же он зябнет! как ноет!
Что с ним будет? земля заперлась и негде взять пищи.
«Где же (он думает) красное солнышко? Что не выходит?
Или боится замерзнуть? Иль и его нет на свете?
Ах! зачем покидал я родимое зернушко? дома
Было мне лучше; сидеть бы в приютном тепле под землею».
Детушки, так-то бывает на свете; и вам доведется
Вчуже, меж злыми, чужими людьми, с трудом добывая
Хлеб свой насущный, сквозь слезы сказать в одинокой
печали:
«Худо мне; лучше бы дома сидеть у родимой за печкой...»
Бог вас утешит, друзья; всему есть конец; веселее
Будет и вам, как былиночке. Слушайте: в ясный день
майский
Свежесть повеяла... солнышко яркое на горы вышло,
Смотрит: где наш зародышек? что с ним? и крошку целует.
Вот он ожил опять и себя от веселья не помнит.
Мало-по-малу оделись поля муравой и цветами;
Вишня в саду зацвела, зеленеет и слива, и в поле
Гуще становится рожь, и ячмень, и пшеница и просо;
Наша былиночка думает: «Я назади не останусь!»
Кстати ль! листки распустила... кто так прекрасно
соткал их?
Вот стебелек показался... кто из жилочки в жилку
Чистую влагу провел от корня до маковки сочной?
Вот проглянул, налился и качается в воздухе колос...
Добрые люди, скажите: кто так искусно развесил
Почки по гибкому стеблю на тоненьких, шелковых нитях?
Ангелы! кто же другой? Они от былинки к былинке
По полю взад и вперед с благодатью небесной летают.
Вот уж и цветом нежный, зыбучий колосик осыпан;
Наша былинка стоит, как невеста в уборе венчальном.
Вот налилось и зерно и тихохонько зреет; былинка
Шепчет, качая в раздумьи головкой: я знаю, что будет.
Смотришь: слетаются мошки, жучки молодую поздравить,
Пляшут, толкутся кругом, припевают ей: *многие лета*;

В сумерки ж, только что мошки, жучки позаснут
и замолкнут,
Тащится в травке светляк с фонарем посветить ей
в потемках.
Кушайте, светы мои, на здоровье; господь вас помилуй.
Вот уж и троицын день миновался, и сено скосили;
Собраны вишни; в саду ни одной не осталося сливки;
Вот уж пожали и рожь, и ячмень и пшеницу, и просо;
Уж и на жниво сбирать босиком ребятишки сходились
Колос оброшенный; им помогла тихомолком и мышка.
Что-то былиночка делает? О! уж давно пополнела;
Много, много в ней зернушек; гнется и думает: «Полно;
Время мое миновалось; зачем мне одной оставаться
В поле пустом меж картофелем, пухлою репой и свеклой?»
Вот с серпами пришли и Иван, и Лука, и Дуняша;
Уж и мороз покусал им утром и вечером пальцы;
Вот и снопы уж сушили в овине; уж их молотили
С трех часов по утру до пяти пополудни на риге;
Вот и гнедко потащился на мельницу с возом тяжелым;
Начал жернов молоть; и зернушки стали мукою;
Вот молочка надоила от пестрой коровки родная
Полный горшочек; сварила кисель, чтоб детушкам кушать;
Детушки скушали; ложки обтерли, сказали: спасибо.

ЖАЛОБА ПАСТУХА

На ту знакомую гору
Сто раз я в день прихожу;
Стою, склоняся на посох,
И в дол с вершины гляжу.

Вздохнув, медлительным шагом
Иду вослед я овцам,
И часто, часто в долину
Схожу, не чувствуя сам.

Весь луг попрежнему полон
Младой цветов красоты;
Я рву их — сам же не знаю,
Кому отдать мне цветы.

Здесь часто в дождик и грозу
Стою, к земле пригвожден;
Всё жду, чтоб дверь отворилась...
Но то обманчивый сон.

Над милой хижинкой светит,
Видаю, радуга мне...
К чему? Она удалилась!
Она в чужой стороне!

Она всё дале! всё дале!
И скоро слух замолчит!
Бегите ж, овцы, бегите!
Здесь горе душу томит!

ЛИСТОК

От дружной ветки отлученный,
Скажи, листок уединенный,
Куда летишь?.. «Не знаю сам;
Гроза разбила дуб родимый;
С тех пор, по долам, по горам
По воле случая носимый,
Стремлюсь, куда велит мне рок,
Куда на свете *всё* стремится,
Куда и лист лавровый мчится,
И легкий розовый листок».

ОТВЕТ КН. ВЯЗЕМСКОМУ НА ЕГО СТИХИ: ВОСПОМИНАНИЕ

Ты в утешители зовешь воспоминанье;
Глядишь без прелести на свет! —
И раззнакомилось с душой твоей желанье!
И веры к будущему нет!

О друг! в твоем мое мне сердце отозвалось:
Я понимаю твой удел!
И мне вожатым быть желанье отказалось,
И мой светильник побледнел!

Сменил блестящие мечтательного краски
Однообразной жизни свет!
Из-под обманчиво-смеющиися маски
Угрюмый выглянул скелет.

На что же, друг, хотеть призвать воспоминанье?
Мечты не дозовемся мы!
Без утоления пробудим лишь желанье;
На небо взглянем из тюрьмы!

НАДГРОБИЕ

И. П. и А. И. ТУРГЕНЕВЫМ

Судьба на место сем разрознила наш круг:
Здесь милый наш отец, здесь наш любимый друг;
Их разлучила смерть, и смерть соединила;
А нам в святой завет святая их могила:
«Их неутраченной любви не изменить;
Ту жизнь, где их уж нет, как с ними, совершить —
Чтоб быть достойными об них воспоминанья,
Чтоб встретить с торжеством великий час свиданья».

ЦВЕТ ЗАВЕТА

Мой милый цвет, былинка полевая,
Скорей покинь приют твой луговой:
Теперь тебя рука нашла родная;
Доселе ты с непышной красотой
Цвела в тиши, очей не привлекая
И путника не радуя собой;
Ты здесь была желанью неприметна,
Чужда любви и сердцу безответна.

Но для меня твой вид очарованье;
В твоих листах вся жизнь минувших лет;
В них милое цветет воспоминанье;
С них веет мне давнишнего привет;
Смотрю... и всё, что мило, на свиданье
С моей душой, к тебе, родимый цвет,
Воздушною слетелося толпою,
И прошлое воскресло предо мною.

И всех друзей душа моя узнала...
Но где ж они? На миг с путей земных
На север мой мечта вас прикликала,
Сопутников младенчества родных...
Вас жадная рука не удержала,
И голос ваш, пленив меня, затих.
О будь же вам заменою свиданья
Мой северный цветок воспоминанья!

Он вспомнит вам союза час священный,
Он возвратит вам прошлы времена...
О сладкий час! о вечер незабвенный!
Как божий рай, цвела там сторона;
Безоблачен был запад озаренный,
И свежая на землю тишина
Как ясное предчувствие сходила;
Природа вся с душою говорила.

И к нам тогда, как Гений, прилетало
За песнею веселой старины,
Прекрасное, что некогда бывало
Товарищем младенческой весны;
Отжившее нам снова оживало;
Минувших лет семьей окружены,
Всё лучшее мы зрели настоящим;
И время нам казалось нелетящим.

И *Верная* была незримо с нами...
Сии окрест волшебные места,
Сей тихий блеск заката за горами,
Сия небес вечерних чистота,
Сей мир души, согласный с небесами,
Со всем была, как таинство, слита
Ее душа, присутствием священным,
Невидимым, но сердцу откровенным.

И нас *ее* любовь благословляла;
И ободрял на благо тихий глас...
Друзья, тогда Судьба еще молчала
О жребиях, назначенных для нас;
Неизбранны, на дне ее фиала
Они еще таились в оный час;
Играли мы на тайном праге света...
Тогда был дан вам мною *цвет завета*.

И где же вы?.. Разрознен круг наш тесный;
Разлучена веселая семья;
Из области младенчества прелестной
Разведены мы в розные края...
Но розно ль мы? Повсюду в поднебесной,
О верные, далекие друзья,
Прекрасная всех благ земных примета,
Для нас цветет наш милый цвет завета.

Из северной, любовию избранной
И промыслом указанной страны
К вам ныне шлю мой дар обетованный;
Да скажет он друзьям моей весны,
Что выпал мне на часть удел желанный;
Что младости мечты совершены;
Что невотще доверенность к надежде,
И что *Теперь* пленительно, как *Прежде*.

Да скажет он, что в наш союз прекрасной
Еще один товарищ приведен...
На путь земной из люльки безопасной
Нам подает младую руку он;
Его лицо невинностию ясно,
И жизнь над ним как легкий веет сон;
Беспечному предав его веселью,
Судьба молчит над тихой колыбелью.

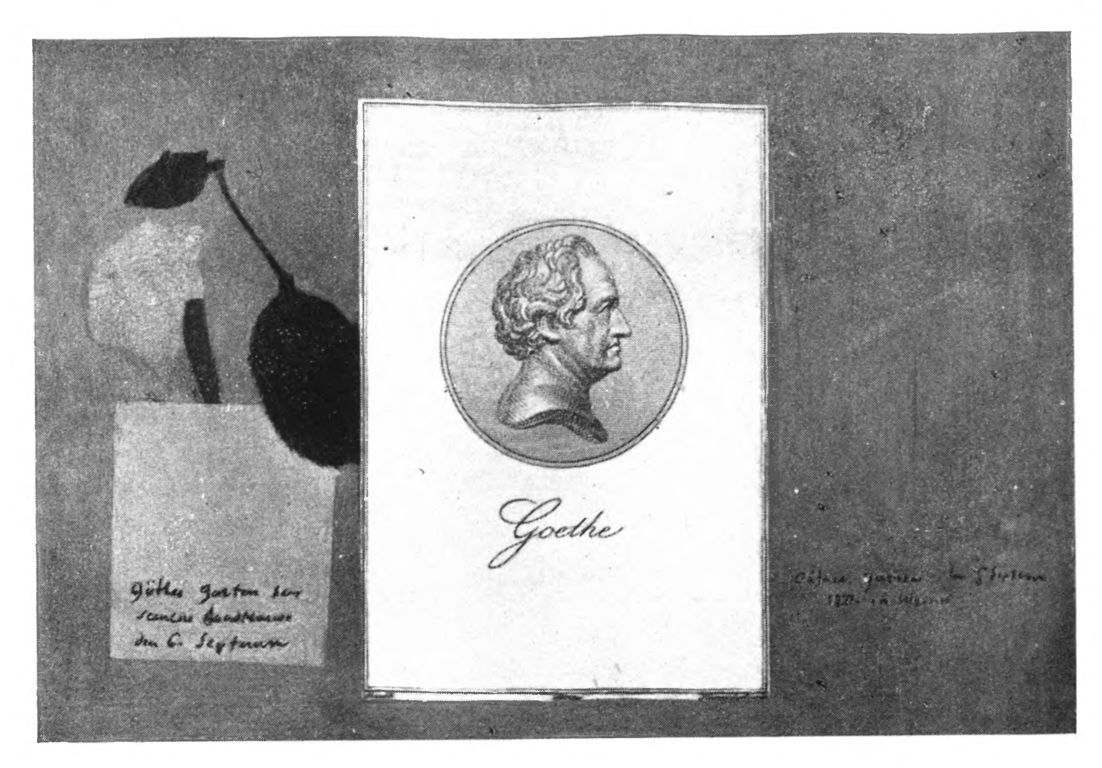
Но сладостным предчувствием теснится
На сердце мне грядущего мечта:
Младенчества веселый сон промчится,
Разоблачат житейское лета,
Огнем души сей взор воспламенится,
И мужески созреет красота;
Дойдут к нему возвышенные вести
О праотцах, о доблести, о чести...

О! да поймет он их знаменованье,
И жизнь его да будет им верна!
Да перейдет, как чистое преданье
Прекрасных дел, в другие времена!
Что б ни было судьбы обетованье,
Лишь благом будь она освящена!..
Вы ж, милые, товарища примите
И путь его земной благословите.

А ты, наш цвет, питомец скромный луга,
Символ любви и жизни молодой,
От севера, от запада, от юга,
Летай к друзьям желанною молвой;
Будь голосом, приветствующим друга;
Посол души, внимаемый душой,
О верный цвет, без слов беседуй с нами
О том, чего не выразить словами.

К ПОРТРЕТУ ГЕТЕ

Свободу смелую приняв себе в закон,
Всезрящей мыслию над миром он носился.
И в мире всё постигнул он —
И ничему не покорился.



Портрет Гете, подаренный им В. А. Жуковскому

НЕВЫРАЗИМОЕ

(отрывок)

Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва, едва одну ее черту
С усилием поймать удастся вдохновенью...
Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выраженью?..
Святые таинства, лишь сердце знает вас.
Не часто ли в величественный час
Вечернего земли преображенья —
Когда душа смятенная полна
Пророчеством великого виденья
И в беспредельное унесена —
Спирается в груди болезненное чувство,
Хотим прекрасное в полете удержать,
Ненареченному хотим названье дать —
И обессиленно безмолвствует искусство!
Что видимо очам — сей пламень облаков,
По небу тихому летящих,
Сие дрожанье вод блестящих,
Сии картины берегов
В пожаре пышного заката —
Сии столь *яркие черты* —
Легко их ловит мысль крылата,
И есть *слова* для их *блестящей* красоты.
Но то, что слито с сей блестящей красотою —
Сие столь смутное, волнующее нас,
Сей внемлемый одной душою
Обвороржающего глас,
Сие к далекому стремленье,

Сей миновавшего привет
(Как прилетевшее незапно дуновенье
От луга родины, где был когда-то цвет
Святая молодость, где жило упованье),
Сие шепнувшее душе воспоминанье
О милом радостном и скорбном старины.
Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие создателя в созданье —
Какой для них язык?.. Горé душа летит,
Всё необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание понятно говорит.

ТРИ ПУТНИКА

В свой край возвратяся из дальней земли,
Три путника в гости к старушке зашли.

«Прими, приюти нас на темную ночь;
Но где же красавица? Где твоя дочь?» —

«Принять, приютить вас готова, друзья;
Скончалась красавица дочка моя».

В светлице свеча пред иконой горит:
В светлице красавица в гробе лежит.

И первый, поднявши покров гробовой,
На мертвую смотрит с унылой душой:

«Ах! если б на свете еще ты жила,
Ты мною б отныне любима была».

Другой покрывало опять наложил,
И горько заплакал и взор опустил:

«Ах, милая, милая, ты ль умерла?
Ты мною так долго любима была».

Но третий опять покрывало поднял,
И мертвую в бледны уста целовал:

«Тебя я любил; мне тебя не забыть:
Тебя я и в вечности буду любить».

⟨ЛИРИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИЗ «ОРЛЕАНСКОЙ ДЕВЫ»⟩

Ах! почто за меч воинственный
Я мой посох отдала
И тобою, дуб таинственный,
Очарована была?
Мне, владычица, являла ты
Свет небесного лица;
И венец мне обещала ты...
Недостойна я венца.

Зрела я небес сияние,
Зрела ангелов в лучах...
Но души моей желание
Не живет на небесах.
Грозной силы повеление
Мне ль бессильной совершить?
Мне ли дать ожесточение
Сердцу, жадному любить?

Нет, из чистых небожителей
Избирай твоих свершителей;
С неприступных облаков
Призови твоих духов,
Безмятежных, не желающих,
Не скорбящих, не теряющих...
Деву с нежною душой
Да минует выбор твой.

Мне ль свирепствовать в сражении?
Мне ль решить судьбу царей?..
Я пасла в уединении
Стадо родины моей...
Бурный путь мне указала ты,
В дом царей меня ввела;
Но... лишь гибель мне послала ты...
Я ль сама то избрала?

ВОСПОМИНАНИЕ

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: *их нет*;
Но с благодарностию: *были*.

МОРЕ

ЭЛЕГИЯ

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твое необъятное лоно?
Чем дышит твоя напряженная грудь?
Иль тянет тебя из земныя неволи
Далекое, светлое небо к себе?..
Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто в присутствии чистом его;
Ты льешься его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горишь,
Ласкаешь его облака золотые
И радостно блещешь звездами его.
Когда же сбираются темные тучи,
Чтоб ясное небо отнять у тебя —
Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...
И мгла исчезает, и тучи уходят;
Но, полное прошлой тревоги своей,
Ты долго вздымаешь испуганны волны,
И сладостный блеск возвращенных небес
Не вовсе тебе тишину возвращает;
Обманчив твоей неподвижности вид:
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,
Ты, небом любуясь, дрожишь за него.

Я Музу юную, бывало,
Встречал в подлунной стороне,
И Вдохновение летало
С небес, незваное, ко мне;
На всё земное наводило
Животворящий луч оно —
И для меня в то время было
Жизнь и Поэзия одно.

Но дарователь песнопений
Меня давно не посещал;
Бывалых нет в душе видений,
И голос арфы замолчал.
Его желанного возврата
Дождаться ль мне когда опять?
Или навек моя утрата,
И вечно арфе не звучать?

Но всё, что от времен прекрасных,
Когда он мне доступен был,
Всё, что от милых темных, ясных
Минувших дней я сохранил —
Цветы мечты уединенной
И жизни лучшие цветы —
Кладу на твой алтарь священной,
О Гений чистой красоты!

Не знаю, светлых вдохновений
Когда воротится чреда —
Но ты знаком мне, чистый Гений!
И светит мне твоя звезда!
Пока еще ее сиянье
Душа умеет различать:
Не умерло очарованье!
Былое сбудется опять.

СМЕРТНЫЙ И БОГИ

Клеанту ум вскружил Платон.
Мечтал ежеминутно он
О той гармонии светил,
О коей мудрый говорил.
И стал Зевеса он молить:
Хотя минуту усладить
Его сим таинством небес!..
«Несчастный, — отвечал Зевес, —
О чем ты молишь? Смертным, вам
Внимать недолжно небесам,
Пока вы жители земли!»
Но он упорствовал. «*Внемли!*
Отец, тебя твой молит сын!»
И неба мощный властелин
Безумной просьбе уступил
И слух безумцу отворил:
И стал внимать он небесам,
Но что ж послышалося там?..
Земных громов стозвучный стук,
Всех молний свист, из мощных рук
Зевеса льющихся на нас,
Всех яростных орканов глас
Слабей жужжанья мошки был
Пред сей гармонией светил!
Он побледнел, он в прах упал.
«*О что ты мне услышать дал?*
То ль небеса твои, отец?..»
И рек Зевес: «Смирись, слепец!
И знай: доступное богам
Вовеки недоступно вам!
Ты слышишь бурю грозных сил...
А я — гармонию светил».

ДВЕ ЗАГАДКИ

I

Не человечьими руками
Жемчужный разноцветный мост
Из вод построен над водами,
Чудесный вид! огромный рост!
Раскинув паруса шумящи,
Не раз корабль под ним проплыл;
Но на хребет его блестящий
Еще никто не восходил!
Идешь к нему — он прочь стремится,
И в то же время недвижим;
С своим потоком он родится,
И вместе исчезает с ним.

II

На пажити необозримой,
Не убавляясь никогда,
Скитаются неисчислимо
Сереброрунные стада.
В рожок серебряный играет
Пастух, приставленный к стадам:
Он их в златую дверь впускает
И счет ведет им по ночам.
И недочета им не зная,
Пасет он их давно, давно;
Стада поит вода живая
И умирать им не дано.
Они одной дорогой бродят,
Под стражей пастырской руки,
И юноши их там находят,
Где находили старики;
У них есть вождь — *Овен* прекрасный
Их сторожит огромный *Пес*,
Есть *Лев* меж ними неопасный
И *Дева* — чудо из чудес.

РУССКАЯ ПЕСНЬ НА ВЗЯТИЕ ВАРШАВЫ

(НА ГОЛОС «ГРОМ ПОБЕДЫ РАЗДАВАЙСЯ!»)

Раздавайся гром победы!
Пойте песню старины:
Бились храбро наши деды;
Бьются храбро их сыны.

Пробуждай, вражда, измену!
Подымай знамена, бунт!
Не прорвать вам нашу стену,
Наш железный русский фрунт!

Мы под теми же орлами;
Те же с нами знамена;
Лях, бунтующий пред нами,
Помнит русских имена.

Где вы? где вы? Строем станьте!
Просит боя русский крик.
В стену слейтесь, тучей грянъте,
Грудь на грудь и штык на штык.

Нет врага... но здесь Варшава!
Развернися, русский стан!
Братья, слышите ли? Слава!
Бьет на приступ барабан.

С богом! Час ударил рока,
Час ожиданный давно.
Сбор гремит — а издалека
Русь кричит: *Бородино*!

Чу! как пламенные тромбы,
Поднялися и летят

Наши мстительные бомбы
На кипящий бунтом град.

Что нам ваши палисады!
Здесь не нужно лестниц нам!
Мы штыки вонзим в ограды
И взберемся по штыкам!

Спи во гробе, *Забалканский*!
Честь тебе! Стамбул дрожал!
Путь твой кончил *Эриванский*
И на грудь Варшавы стал.

«Эриванский! князь Варшавы!»
Клик один во всех устах.
О, как много русской славы
В сих волшебных именах!

За Араксом наши грани;
Арарата чудный плен,
И орлы средь Эривани,
И разгром варшавских стен

Спор решен! дана управа!
Пала бунта голова!
И святая наша слава,
Слава русская жива!

Соберитесь под знамена,
Братья, долг свой сотворя!
Возгласите славу трона
И поздравьте с ней царя.

На него надежна вера:
В мирный час — он в душу льет
Пламень чистого примера;
В час беды — он сам вперед!

Славу, взятую отцами,
Сбережет он царски нам,
И с своими сыновьями
Нашим даст ее сынам.

Плачь о себе: твое мы счастье схоронили;
Ее ж на родину из чужи проводили.
Не для земли *она* назначена была.
Прямая жизнь ее теперь лишь началася —
Она уйти от нас спешила и рвалася,
И здесь в свой краткий век два века прожила.
Высокая душа так много вдруг узнала,
Так много тайного небес вдруг поняла,
Что для нее земля темницей душной стала,
И смерть ей выкупом из тяжких уз была.
Но в миг святой, как дочь навек смежила вежды,
В отца проникнул вдруг день веры и надежды...

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАВЛУ ВАСИЛЬЕВИЧУ И АЛЕКСАНДРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ЖУКОВСКИМ

I. ПТИЧКА

Птичка летает,
Птичка играет,
Птичка поет;
Птичка летала,
Птичка играла,
Птички уж нет!
Где же ты, птичка?
Где ты, певичка?
В дальнем краю
Гнездышко вьешь ты;
Там и поешь ты
Песню свою.

II. КОТИК И КОЗЛИК

Там котик усатый
По садику бродит,
А козлик рогатый
За котиком ходит;
И лапочкой котик
Помадит свой ротик;
А козлик седою
Трясет бородою.

III. ЖАВОРОНОК

На солнце темный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий.
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.

Он голосисто с вышины
Поет, на солнышке сверкая:
Весна пришла к нам молодая,
Я здесь пою приход весны;

Здесь так легко мне, так радушно,
Так беспредельно, так воздушно;
Весь божий мир здесь вижу я,
И славит бога песнь моя!

IV. МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК

(СКАЗКА)

Жил маленький мальчик:
Был ростом он с пальчик,
Лицом был красавчик,
Как искры глазенки,
Как пух волосенки;
Он жил меж цветочков;
В тени их листочков
В жары отдыхал он,
И ночью там спал он;

С зарей просыпался,
Живой умывался
Росой, наряжался
В листочек атласной
Лилеи прекрасной;
Проворную пчелку
В свою одноколку
Из легкой скорлупки
Потом запрягал он,
И с пчелкой летал он,
И жадные губки
С ней вместе впивал он
В цветы луговые.
К нему золотые
Цикады слетались,
И с ним забавлялись,
Кружась с мотыльками,
Жужжа и порхая,
И ярко сверкая
На солнце крылами;

Ночною ж порою,
Когда темнотою
Земля покрывалась,
И в небе с луною
Одна за другою
Звезда зажигалась,
На луг благовонный
С лампадой зажженной
Лазурно-блестящий
К малютке являлся
Светляк; и сбирался
К нему в круговую
На пляску ночную
Рой альфов летучий;
Они — как бегучий
Источник волнами —
Шумели крылами,
Свивались, сплетались,
Проворно качались
На тонких былинках,
В перловых купались
На травке росинках,
Как искры сверкали
И шумно плясали
Пред ним до полночи.
Когда же на очи
Ему усыпленье,
Под пляску, под пенье,
Сходило — смолкали
И вмиг исчезали
Плясуньи ночные;
Тогда, под живые
Цветы угнездившись,
И в сон погрузившись,
Он спал под защитой
Их кровли, омытой
Росой, до восхода
Зари лучезарной
С границы янтарной
Небеснаго свода.
Так милый красавчик
Жил мальчик наш с пальчик...

. . . .

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛЕБЕДЬ

Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый,
Как же нелюдимо ты, отшельник хилый,
Здесь сидишь на лоне вод уединенных!
Спутников давнишних, прежней современных
Жизни, переживши, сетуя глубоко,
Их ты поминаешь думой одинокой!
Сумрачный пустынник, из уединенья
Ты на молодое смотришь поколенье
Грустными очами; прежнего единый
Брошенный обломок, в новый лебединый
Свет на пир веселый гость неприглашенный,
Ты вступить дичишься в круг неблагосклонный
Резвой молодежи. На водах широких,
На виду царевых теремов высоких,
Пред Чесменской гордо блещущей колонной,
Лебеди младые голубое лоно
Озера тревожат плаваньем, плесканьем,
Боем крыл могучих, белых шей купаньем;
День они встречают, звонко окликаясь;
В зеркале прозрачной влаги отражаясь,
Длинной вереницей, белым флотом стройно
Плавают в сияньи солнца по спокойной
Озера лазури; ночью ж меж звездами
В небе, повторенном тихими водами,
Облаком перловым, вод не зыбля, реют,
Иль двойною тенью, дремля, в них белеют;
А, когда гуляет месяц меж звездами,
Влагу расшибая сильными крылами,
В блеске волн, зажженных месячным сияньем,
Окруженны брызгов огненных сверканьем,
Кажутся волшебных призраков явленьем —
Племя молодое, полное кипеньем
Жизни своевольной. Ты ж, старик печальный,
Молодость их образ твой монументальный

Резвую пугает; он на них наводит
Скуку, и в приют твой ни один не входит
Гость из молодежи, ветрено летящей
Вслед за быстрым мигом жизни настоящей.
Но не сетуй, старец, пращур лебединый:
Ты родился в славный век Екатерины,
Был ее ласкаем царскою рукою, —
Памятников гордых битве под Чесмою,
Битве при Кагуле воздвиженье зрел ты;
С веком Александра тихо устарел ты;
И почти столетний, в веке Николая
Видишь, угасая, как вся Русь святая
Вкруг царевой силы, — вековой зеленый
Плющ вкруг силы дуба, — вьется, под короной
Царской, от окрестных бурь ища защиты.

Дни текли за днями. Лебедь позабытый
Таял одиноко; а младое племя
В шуме резвой жизни забывало время...
Раз среди их шума раздался чудесно
Голос, всю пронзивший бездну поднебесной;
Лебеди, услышав голос, присмирели,
И стремимы тайной силой, полетели
На́ голос: пред ними, вновь помолоделый,
Радостно вздымая перья груди белой,
Голову на шее гордо распрямленной
К небесам подъемля — весь воспламененный
Лебедь благородный дней Екатерины
Пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый!
А когда допел он — на небо взглянувши —
И крылами сильно дряхлыми взмахнувши —
К небу, как во время оное бывало,
Он с земли рванулся... и его не стало
В высоте... и навзничь с высоты упал он;
И прекрасен мертвый на хребте лежал он,
Широко раскинув крылья, как летящий,
В небеса вперяя взор уж негорящий.

НА СМЕРТЬ А[НДРЕЯ ТУРГЕНЕВА]

О друг мой! неужли твой гроб передо мною!
Того ль, несчастный я от рока ожидал?
Забывшись, я тебя бессмертным почитал!
Святая благодать предвечного с тобою!

Покойся, милый прах, твой сон завиден мне!
В сем мире, без тебя, с душою, благ лишенной!
Я буду странствовать, как в чуждой стороне,
Но долго ль слезы лить на пепел твой священный!

Ах! нет! пройдет и жизнь, ты будешь мой опять!
Во гробе нам судьбой назначено свиданье!
Надежда сладкая, приятно ожиданье!
С каким веселием я буду умирать!

К***

Увы! протек свинцовый год,
Год тяжкий горя, испытанья;
Но безрассудный, злобный рок
Не облегчил твои страданья.

Напрасно жалобной слезой
Смягчить старался провиденье!
Оно не тронулось мольбой
И не смягчило чувств томленье.

Как хладной осени рука
С опустошительной грозою
Лишает прелести цветка
Своей безжалостной косою, —

Так ты безжалостной судьбой
Лишен веселья в жизни бренной.
Цветок заблещет вновь весной,
Твое ж страданье неизменно!

⟨РОМАНС ИЗ «ДОН КИХОТА»⟩

Скупой сокровища скрывает;
Надменный гордые мечты,
Мудрец, питомец простоты,
Безвестно век свой провождает:
Любовь лишь тайны не хранит,
Амур ребенок, он шумит! —

Не смеяввериться надежде,
Хочу Темиры убегать!
Бегу, но — как растолковать! —
Еще я ближе к ней, чем прежде!
Амур всегда мне изменит!
Амур ребенок — он шумит!

Случайно ль скажут предо мною
Любезной имя — я вскричу,
И вдруг смешаюсь, замолчу,
И всё молчанием открою!
Амур всегда мне изменит,
Амур ребенок — он шумит!

Решусь ли обратившись — с нею
При людях я поговорить —
Язык откажется служить,
Глаза потуплю, покраснею!
Амур всегда мне изменит,
Амур ребенок — он шумит!

Что ж делать мне? — увы! не знаю! —
Свободен иль смущен мой вид,
Молчу иль нет — всё говорит,
Что я Темиру обожаю!
Амур всегда мне изменит!
Амур ребенок — он шумит!

ЭПИГРАММЫ

I

Сей камень над моей возлюбленной женой!
Ей там, мне здесь покой! —

II

«Скажи, чтоб там потише были! —
Кричал повытчику судья, —
Уже с десяток дел решили,
А ни единого из них не слышал я».

БРУТОВА СМЕРТЬ

Бомбастофил, творец трагических уродов,
Из смерти Брутовой трагедию создал.
«Не правда ли, мой друг, — Тиманту он сказал, —
Что этот Брут дойдет и до чужих народов?» —
«Избави бог! Твой Брут — примерный патриот —
В отечестве умрет!»

ЭПИГРАММА

НА ПРОСЛАВИТЕЛЯ РУССКИХ ГЕРОЕВ, В СОЧИНЕНИЯХ КОТОРОГО НЕТ НИ НАЧАЛА, НИ КОНЦА, НИ СВЯЗИ

Мирон схватил перо, надулся, пишет, пишет,
И под собой земли не слышит!
«Пожарский! Филарет! отечества отец!»
Поставил точку — и конец!

СВЕТЛАНЕ

Хочешь видеть жребий свой
В зеркале, Светлана?
Ты спросись с своей душой!
Скажет без обмана.
Что тебе здесь суждено!
Нам душа — зерцало!
Всё в ней, всё заключено,
Что нам обещало
Провиденье в жизни сей!
Милый друг, в душе твоей
Непорочной, ясной,
С восхищеньем вижу я,
Что *сходна* судьба твоя
С сей душой прекрасной!

Непорочность — спутник твой
И веселость — гений
Всюду будут пред тобой
С чашей наслаждений.
Лишь тому, в ком чувства нет,
Путь земной ужасен!
Счастье в нас, и божий свет
Нами лишь прекрасен.
Милый друг, спокойна будь,
Безопасен твой здесь путь:
Сердце твой хранитель!
Всё судьбою в нем дано:
Будет здесь тебе оно
К счастью предводитель!

ПИСЬМО К***

Я сам, мой друг, не понимаю,
Как можно редко так писать
К друзьям, которых обожаю,
Которым всё бы рад отдать!..
Подруга детских лет, с тобою
Бываю сердцем завсегда
И говорить люблю мечтою...
Но говорить пером — беда!
День почтовой есть день мученья!
Для моего воображенья
Враги — чернильница с пером!
Сидеть согнувшись за столом
И, чтоб открыть души движенья,
Перо в чернилы помакать,
Написанное ж засыпать
Скорей песком для сбереженья —
Всё это, признаюсь, мне ад!
Что ясно выражает взгляд
Иль голоса простые звуки,
То на бумаге, невпопад,
Для услаждения разлуки,
Должны в определенный день
Мы выражать пером!.. А лень,
А мрачное расположенье,
А сердца тяжкое стесненье
Всегда ль дают свободу нам
То мертвым поверять строкам,
Что в глубине души таится?
Неволи мысль моя страшится:
Я автор — но писать ленив!
Зато всегда, всегда болтлив,
Когда твои воображаю
Столь драгоценные черты,
И *сам себе* изображаю,

Сколь нежно мной любима ты!
Всегда, всегда разгорячаешь
Ты пламенной своей душой
И сердце и рассудок мой!
О сколь ты даром обладаешь
Быть милой для твоих друзей!
Когда письмо твое читаю,
Себя я лучшим ощущаю,
Довольней участью своей,
И будущих картина дней
Передо мной животворится,
И хоть на миг единый мнится,
Что в жизни *всё* имею я:
Любовь друзей — судьба моя.
Храни, о друг мой неизменный,
Сей для меня залог священный!
Пиши — когда же долго нет
Письма от твоего поэта,
Всё верь, что друг тебе поэт, —
И жди с терпением ответа!

1814, Генваря 4

ЭПИТАФИИ

МОТУ

Здесь Лакомкин лежит — он вечно жил по моде!
Зато и вечно должен был!
А заплатил
Один лишь долг — природе!..

ХРОМОМУ

Дамон покинул свет:
На гроб ему два слова:
Был хром и ковылял сто лет!
Довольно для хромова.

ГРАМОТЕЮ

Здесь Буквин-грамотей. Но что ж об нем сказать?
Был сердцем добр; имел смиренные желанья....
И чести правила старался соблюдать,
Как правила правописанья!

ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН?

Закон — на улице натянутый канат,
Чтоб останавливать прохожих средь дороги
Иль их сворачивать назад,
Или им путать ноги!
Но что ж? Напрасный труд! Никто назад нейдет!
Никто и подождать не хочет!
Кто ростом мал — тот вниз проскочит,
А кто велик — перешагнет.

ЛЮБОВНАЯ КАРУСЕЛЬ
ИЛИ ПЯТИЛЕТНИЕ
МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЕ СТРУЧЬЯ
СЕРДЕЧНОГО ЛЮБЛЕНИЯ

ТУЛЬСКАЯ БАЛЛАДА

В трактире тульском тишина,
   И на столе уж свечки,
Като на канапе одна,
   А Азбукин у печки!
Авдотья, Павлов Николай
   Тут с ними — нет лишь Анны.
«О, друг души моей, давай
   Играть с тобой в Татьяны!»
Като сказала так дружку —
   И милый приступает
И просит скромно табачку,
   И жгут крутой свивает.

Катошка милого комшит,
   А он комшит Катошку;
Сердца их тают — стол накрыт
   И подают окрошку.
Садятся рядом и едят
   Весьма, весьма прилежно.
За каждой ложкой поглядят
   В глаза друг другу нежно.
Едва возлюбленный чихнет —
   Катоша тотчас: *здравствуй*,
А он ей головой кивнет
   И нежно: *благодарствуй!*

Близ них Плезирка-пес кружит
   И моська ростом с лось!
Плезирка! милый говорит;
   Катоша кличет: *мось!*

И милому дает кольцо...
Но вдруг стучит карета —
И на трактирное крыльцо
Идет сестра Анета!
Заметьте: Павлов Николай
Давно уж провалился —
Анета входит невзначай —
И милый подавился!

«О милый! милый! что с тобой?» —
Катоша закричала.
«Так ничего, дружочек мой,
Мне в горло кость попала!»
Но то лишь выдумка — злодей!
Он струсил от Анеты!
Кольцо в глаза мелькнуло ей
И прочие конжеты!
И говорит: «Что за модель?
Извольте признаваться!»
Като в ответ: «Ложись в постель» —
И стала раздеваться...

Надела спальный свой чепец
И ватошник свой алой,
И скомкалася наконец
Совсем под одеяло!
Оттуда выставя носок,
Сказала: «Я пылаю!»
Анета ей в ответ: «Дружок,
Я вас благословляю!
Что счастье вам, то счастье мне!»
Като не улежала,
И бросилась на шею к ней, —
Авдотья заплясала.

А пламенный штабс-капитан
Лежал уже раздетый!
Авдотья в дверь, как в барабан,
Стучит и кличет: «Где ты?»
А он в ответ ей: «Виноват!» —
«Скорей!» — кричит Анета.
И он надел, как на парад,
Мундир, два эполета,

Кресты и шпагу нацепил —
Забыл лишь панталоны...
И важно двери растворил
И стал творить поклоны...

Какой же кончу я чертой?
Безделкой: многи лета!
Тебе, Василий! вам, Като,
Авдотья и Анета!
Веселье стало веселей;
Печальное забыто;
И дружба сделалась дружней;
И сердце всё открыто!
Кто наш — для счастья тот живи,
И в землю провиденью!
Ура! надежде и любви
И киселя терпенью!

ПЛАЧ О ПИНДАРЕ

БЫЛЬ

Однажды наш поэт Пестов,
Неутомимый ткач стихов
И Аполлонов жрец упрямый,
С какою-то ученой дамой
Сидел, о рифмах рассуждал,
Свои творенья величал, —
Лишь древних сравнивал с собою
И вздор свой клюквенной водою,
Кобенясь в креслах, запивал.
Коснулось до Пиндара слово!
Друзья! хотя совсем не ново,
Что славный был Пиндар поэт
И что он умер в тридцать лет,
Но им Пиндара жалко стало!
Пиндар великий! Грек! Певец!
Пиндар, высоких од творец!
Пиндар, каких и не бывало,
Который мог бы мало-мало
Еще не том, не три, не пять,
А десять томов написать, —
Зачем так рано он скончался?
Зачем еще он не остался
Пожить, попеть и побренчать?
С печали дама зарыдала,
С печали зарыдал поэт —
За что, за что судьба сослала
Пиндара к Стиксу в тридцать лет!
Лакей с метлою тут случился,
В слезах их видя, прослезился;
И в детской нянька стала выть;
Заплакал с нянькою ребенок;
Заплакал повар, поваренок;
Буфетчик, бросив чашки мыть,
Заголосил при самоваре;



А. А. Воейкова (Светлана)

В конюшне конюх зарыдал, —
И словом, целый дом стенал
О песнопевце, о Пиндаре.
Да, признаюся вам, друзья,
Едва и сам не плачу я.
Что ж вышло? Все так громко выли,
Что всё соседство взгомозили!
Бежит сосед к ним второпях
И вопит: «Что случилось?
О чем вы все в таких слезах?»
Пред ним всё горе объяснилось
В немногих жалобных словах.
«Да что за человек чудесный?
Откуда родом ваш Пиндар?
Каких он лет был? молод? стар?
И что о нем еще известно?
Какого чину? где служил?
Женат был? вдов? хотел жениться?
Чем умер? кто его лечил?
Имел ли время причаститься?
Иль вдруг свалил его удар?
И словом — кто таков Пиндар?»
Когда ж узнал он из ответа,
Что всё несчастье от поэта,
Который между греков жил,
Который в славны древни годы
Певал на скáчки греков оды,
Язычник, не католик был;
Что одами его пленялся,
Не понимая их, весь свет,
Что более трех тысяч лет,
Как он во младости скончался —
Поджав бока свои, сосед
Смеяться начал, да смеяться
Так, что от смеха надорваться!
И смотрим, за соседом вслед
Все — кучер, повар, поваренок,
Буфетчик, нянька и ребенок,
Лакей с метлой и сам поэт,
И дама — взапуски смеяться!
Хотел и рад бы удержаться,
Но признаюся вам, друзья,
Смеюсь за ними вслед и я!.

К ВОЕЙКОВУ

О Воейков! Видно нам
Помышлять об исправленье!
Если должно верить снам,
Скоро Пинда преставленье,
Скоро должно наступить!
Скоро, за летящим громом,
Аполлон придет судить
По стихам, а не по томам.

Нам известно с древних лет,
Сны, чудовищей явленья,
Грозно-пламенных комет,
Предвещали измененья
В муравейнике земном!
И всегда бывали правы
Сны в пророчестве своем.
В мире Феба те ж уставы!

Тьма страшилищ меж стихов,
Тьма чудес... дрожу от страху!
Зрел оберткой пирогов
Я недавно Андромаху.
Зрел, как некий Асмодей
Мазал, вид приняв лакея,
Грозной кистию своей
На заклейку окон Грея.

Зрел недавно, как Пиндар,
В воду огнь свой обративши,
Затушил в Москве пожар,
Всю дожечь ее грозивший.
Зрел, как Сафу бил голик,
Как Расин кряхтел под тестом,
Зрел окутанный парик
И Электрой и Орестом.

Зрел в ночи, как в высоте
Кто-то, грозный и унылый,
Избоченясь на коте
Ехал рысью; в шуйце вилы,
А в деснице грозный *Ик*;
По-славянски кот мяукал,
А внимающий старик
В такт с усмешкой иком тукал.

Сей скакун по небесам
Прокатился метеором;
Вдруг отверстый вижу храм,
И к нему идут собором
Феб и Музы... Что ж? О страх!
Феб в ужасных рукавицах,
В русской шапке и котах;
Кички на его сестрицах!

Старика ввели во храм.
При печальных Смехов ликах
В стихарях Амуры там
И Хариты в черевиках!
На престоле золотом
Старина сидит богиня;
Одесную Вкус с бельмом
Простофиля и розиня.

И как будто близ жены,
Поручив кота Эроту,
Сел старик близ старины,
Силясь скрыть свою перхоту.
И в гудок для пришлеца
Феб ударил с важным тоном,
И пустились *голубца*
Мельпомена с Купидоном.

Важно бил кадапс старик
И подмигивал старушке;
И его державный *Ик*
Перед ним лежал в кадушке.
Тут к престолу подошли
Стихотворцы для присяги;
Те подмышками несли
Расписные с квасом фляги;

Тот тащил кису морщин,
Тот прабабушкину мушку,
Тот старинных слов кувшин,
Тот *кавык* и *юсов* кружку,
Тот перину из бород,
Древле бритых в Петрограде;
Тот славянский перевод
Басен Дмитрева в окладе.

Все, воззрев на старину,
Персты вверх и ставши рядом:
«Брань и смерть Карамзину! —
Грянули, сверкая взглядом. —
Зубы грешнику порвем,
Осрамим хребет строптивый!
Зад во утро избием,
Нам обиды сотворивый!»

Вздрогнул я. Призрак исчез...
Что ж всё это предвещает?
Ах, мой друг, то глас небес!
Полно медлить... наступает
Аполлонов страшный суд,
Дни последние Парнаса!
Нас богини мщенья ждут...
Полно мучить нам Пегаса!

Не покаяться ли нам
В прегрешеньях потаенных?
Если верить старикам,
Муки Фебом осужденных
Неописанные, друг!
Поспешим же покаяньем,
Чтоб и нам за рифмы — крюк
Не был в аде воздаяньем.

Мук там бездна!.. Вот Хлыстов
Меж огромными ушами,
Как Тантал среди плодов,
С непрочтенными стихами.
Хочет их читать ушам,
Но лишь губы шевельнутся,
Чтобы дать простор стихам —
Уши разом все свернутся!

Вот на плечи стих взгрузив,
  На гору его волочит
Пустопузов, как Сизиф;
  Бьется, силится, хлопочет,
На верху горы вдовец —
  Здравый смысл торчит маяком;
Вот уж близко! вот конец!
  Вот дополз — и книзу раком!..

Вот Груздочкин траголюб
  Убирает лоб в морщины,
И *хитоном* свой тулуп
  В угожденье Прозерпины
Величает невпопад;
  Но хвастливость не у места;
Всех смешит его наряд,
  Даже Фурий и Ореста!

Полон треску и огня,
  И на смысл весьма убогий,
Вот на чахлого коня
  Лезет Фирс коротконогий.
Лишь уселся, конь распух,
  Ножки вверх — нет сил держаться;
Конь галопом; рыцарь — бух!
  Снова лезет, чтоб сорваться!..

Ах! покаемся, мой друг!
  Исповедь пол-исправленья!
Мы достойны этих мук!
  Я за ведьм, за привиденья,
За чертей, за мертвецов;
  Ты ж за то, что в переводе
Очутился из Садов
  Под капустой в огороде!..

LA GRANDE PENSÉE

Лягушке вздумалось: сём сделаюсь с быка,
Хотя и лопну я — да мысль-то велика!

МАКСИМ

Скажу вам сказку в добрый час!
Друзья, извольте все собраться!
Я рассмешу, наверно, вас —
Как скоро станете смеяться.

Жил-был Максим, он был не глуп;
Прекрасен так, что заглядеться!
Всегда он надевал тулуп —
Когда в тулуп хотел одеться.

Имел он очень скромный вид;
Был вежлив, не любил гордиться;
И лишь тогда бывал сердит —
Когда случалось рассердиться.

Максим за пятерых едал;
И более всего окрошку;
И рот уж верно раскрывал —
Когда в него совал он ложку.

Он был кухмистер, господа,
Такой, каких на свете мало, —
И без яиц уж никогда —
Его яичниц не бывало.

Красавиц восхищал Максим
Губами пухлыми своими;
Они, бывало, все за ним —
Когда гулял он перед ними.

Максим жениться рассудил,
Чтоб быть при случае рогатым;
Но он до тех пор холост был —
Пока не сделался женатым.

Осьмое чудо был Максим,
В оригинале и портрете;
Никто б не мог сравниться с ним —
Когда б он был один на свете.

Максим талантами блистал
И просвещения дарами;
И вечно прозой сочинял —
Когда не сочинял стихами.

Он жизнь свободную любил,
В деревню часто удалялся;
Когда же он в деревне жил —
То в городе не попадался.

Всегда учтивость сохранял,
Был обхождения простова;
Когда он в обществе молчал —
Тогда не говорил ни слова.

Он бегло по складам читал,
Читая, шевелил губами;
Когда же книгу в руки брал —
То вечно брал ее руками.

Однажды бодро поскакал
Он на коне по карусели,
И тут себя он показал —
Всем тем, кто на него смотрели.

Ни от кого не трепетал,
А к трусости не знал и следу;
И вечно тех он побеждал —
Над кем одерживал победу.

Он жив еще и проживет
На свете, сколько сам рассудит;
Когда ж, друзья, Максим умрет —
Тогда он, верно, жив не будет.

Пред судилище Миноса
Собралися для допроса
Подле стиксовых брегов
Души бледные скотов.

«Признавайтесь, как вы жили,
Много ль в свете вы грешили, —
Говорит им Судия. —
Начинай хоть ты, Свинья». —

«Я нисколько не грешила;
Не жалея морды, рыла
Я с подругами навоз;
Что ж худого тут, Минос?» —

«Я Петух, будильник ночи,
С крику выбился из мочи,
И свое кукареку
Приношу на Стикс-реку». —

«Я смиренная Корова;
Нраву я была простова;
Грех мой, право, не велик:
Ободрал меня мясник». —

«Я Индюшка-хлопотунья,
Вестовщица и крикунья;
У меня махровый нос;
Не прогневайся, Минос!» —

«Я домашняя Собака,
Родом Моська, забияка,
Кривоног, усат, курнос
И зовут меня Барбос». —

«Я Пичужка, вечно пела;
У эллинов Филомела,
Соловей у руссаков;
Нет за мной, Минос, грехов!» —

«Я, Минос, не очень грешен,
Я бывал с мышами бешен;
А с людьми бывал я плут;
Васька-кот меня зовут». —

«Ворон я, вещун и плакса;
Был я черен так, как вакса,
Каркал часто на беду;
Рад я каркать и в аду».

Царь Минос суровым взглядом
На зверей, стоящих рядом,
Страшно, страшно засверкал
И ни слова не сказал.

Там небеса и воды ясны!
Там песни птичек сладкогласны!
О родина! все дни твои прекрасны!
Где б ни был я, но всё с тобой
Душой.

Ты помнишь ли, как под горою,
Осеребряемый росою,
Белелся луч вечернею порою,
И тишина слетала в лес
С небес.

Ты помнишь ли наш пруд спокойный,
И тень от ив в час полдня знойный,
И над водой от стада гул нестройный,
И в лоне вод, как сквозь стекло,
Село?

Там на заре пичужка пела;
Даль озарялась и светлела;
Туда, туда душа моя летела:
Казалось сердцу и очам
Всё там!..

⟨ОТРЫВОК РЕЧИ В ЗАСЕДАНИИ «АРЗАМАСА»⟩

Братья — друзья Арзамасцы! Вы протокола послушать,
Верно, надеялись. Нет протокола! О чем протоколить!
Всё позабыл я, что было в прошедшем у нас заседаньи!
Всё! да и нечего помнить! С тех пор, как за ум мы
взялися,
Ум от нас отступился! Мы перестали смеяться —
Смех заступила зевота, чума окаянной *Беседы!*
Даром что эта *Беседа* давно околела — зараза
Всё еще в книжках *Беседы* осталась — и нет карантинов!
Кто-нибудь верно из нас, не натерпись *Опасным соседом*,
Голой рукой прикоснулся к «Чтеньям» в *Беседе* иль вытер,
Должной не взяв осторожности, свой анфедрон
рассужденьем
Деда седого о слоге седом — я не знаю! а знаю
Только, что мы ошалели! что лень, как короста,
Нас облепила! дело не любим! безделья ж бежим!
Мы написали законы; Зогельхен их переплел и скупился:
Восемь рублей и сорок копеек — и всё тут! Законы
Спят в своем переплете, как мощи в окованной раке!
Мы от них ожидаем чудес — но чудос не дождемся.

Между тем Реин усастый, нас взбаламутив, дал тягу
В Киев и там в Днепре утопил любовь к Арзамасу!
Реин давно замолчал, да и мы не очень воркуем!
Я *Светлана* в графах таблиц, как будто в тенетах
Скорчась сижу; *Асмодей*, распростившись с халатом
свободы,
Лезет в польское платье, поет мазурку и учит
Польскую азбуку; *Резвый Кот* всех умнее; мурлычет
Нежно: *люблю* и просится в церковь к налою; *Кассандра*,
Сочным бивстексом пленяся, коляску ставит на сани,
Скачет от русских метелей к британским туманам и гонит
Чолн Очарованный к квакерам за море; *Чу* в Цареграде
Стал не *Чу*, а чума, и молчит; *Ахилл*, по привычке,

Рыщет и места нигде не согреет; *Сверчок*, закопавшись
В щолку проказы, оттуда кричит как в стихах: я ленюся.
Арфа, всегда неизменная Арфа, молча жиреет!
Только один *Вот-я-вас* усердствует славе; к бессмертью
Скачет он на рысях; припряг в свою таратайку
Брата Кабуда к Пегасу, и сей осел вотъявасов
Скачет, свернувшись кольцом, как будто в *Опасном соседе*!
Вслед за Кабудом друзья! Перестанем лениться! быть худу!
Быть бычку на веревочке! быть Арзамасу Беседой!
Вы же, почтенный наш баснописец, вы нам доселе
Бывший прямым образцом и учителем русского слога,
Вы впервой заседающий с нами под знаменем гуся,
О, помолитесь за нас, погруженных бесстыдно в пакость
Беседы!
Да спадет с нас беседная пакость, как с гуся вода! Да
воскреснем.

⟨В АЛЬБОМ Е. Н. КАРАМЗИНОЙ⟩

Будь, милая, с тобой любовь небес святая;
Иди без трепета, в тебе — открытый свет!
Прекрасная душа! цвети, не увядая
Для светлыя души в сей жизни мрака нет!
Всё для души, сказал отец твой несравненный;
 В сих двух словах открыл нам ясно он
И тайну бытия и наших дел закон...
 Они тебе — на жизнь завет священный.

24 ноября, 1818

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В ИГРЕ, НАЗЫВАЕМОЙ «СЕКРЕТАРЬ»

I. ЗВЕЗДА И КОРАБЛЬ

Звезда небес плывет пучиною небесной,
Пучиной бурных волн — земной корабль плывет!
Кто по небу ведет звезду — нам неизвестно;
Но по морю корабль — звезда небес ведет!

II. БЫК И РОЗА

Задача трудная для бедного поэта?
У розы иглы есть, рога есть у быка —
Вот сходство. Разница ж: легко любви рука
Совьет из роз букет для милого предмета;
А из быков никак нельзя связать букета.

Взошла заря. Дыханием приятным
Сманила сон с моих она очей;
Из хижины за гостем благодатным
Я восходил на верх горы моей;
Жемчуг росы по травкам ароматным
Уже блистал младым огнем лучей,
И день взлетел, как гений светлокрылой!
И жизнью всё живому сердцу было.

Я восходил; вдруг тихо закурился
Туманный дым в долине над рекой;
Густел, редел, тянулся и клубился,
И вдруг взлетел крылатый надо мной,
И яркий день с ним в бледный сумрак слился,
Задернулась окрестность пеленой,
И влажною пустыней окруженный
Я в облаках исчез уединенный...

О дивной розе без шипов
Давно твердят в стихах и прозе;
Издревле молим мы богов
Открыть нам путь к чудесной розе:
Ее в далекой стороне
Цветущею воображаем;
На грозной мыслим вышине,
К которой доступ охраняем
Толпой драконов и духов,
Средь ужасов уединенья —
Таится роза без шипов;
Но то обман воображенья —
Очаровательный цветок
К нам близко! В райский уголок,
Где он в тиши благоухает,
Дракон путей не заграждает:
Его святилище хранит
Богиня-благость с ясным взором,
Приветливость сестра Харит —
С приятным, сладким разговором,
С обворожающим лицом —
И скромное Благотворенье
С тем очарованным жезлом,
Которого прикосновенье
Велит сквозь слез сиять очам
И сжатым горестью устам
Улыбку счастья возвращает.
Там невидимкой расцветает
Созданье лучшее богов —
Святая Роза без шипов.

⟨ГР. С. А. САМОЙЛОВОЙ⟩

Графиня, признаюсь, большой беды в том нет,
Что я, ваш павловский поэт,
На взморье с вами не катался,
А скромно в Колпине спасался
От искушения той прелести живой,
Которою непобедимо
Пленил бы душу мне вечернею порой
И вместе с вами зримый,
Под очарованной луной,
Безмолвный берег Монплезира.
Воскреснула б моя покинутая лира.
Но что бы сделалось с душой?
Не знаю! да и рад, признаться, что не знаю!
Здесь безопасно я всё то воображаю,
Что так прекрасно мне описано от вас:
Как полная луна, в величественный час
Всемирного успокоенья,
Над спящею морской равниною взошла
И в тихом блеске потекла
Среди священного небес уединенья;
С какою прелестью по дремлющим брегам
Со тьмою свет ее мешался,
Как он сквозь ветви лип на зелень пробирался
И ярко в темноте светился на корнях,
Как вы на камнях над водою
Сидели, трепетный подслушивая шум
Волны, дробимыя пред вашею ногою,
И как толпы крылатых дум
Летали в этот час над вашей головою...
Всё это вижу я и видеть не боюсь,
И даже в шлюпку к вам сажусь
Неустрашимою мечтою!
И мой беспечно взор летает по волнам:
Любуюсь, как они кругом руля играют;

Как прядают лучи по зыбким их верхам;
Как звучно веслами гребцы их расшибают;
Как брызги легкие взлетают жемчугом,
И, в воздухе блеснув, в паденьи угасают!..
  О мой приютный уголок!
Сей прелестью в тебе я мирно усладился!
Меня мой Гений спас. Графиня, страшный рок
Неизбежимо бы со мною совершился
В тот час, как изменил неверный вам платок.
  Забыв себя, за ним я бросился б в пучину
И утонул. И что ж? теперь бы ваш певец
Пугал на дне морском балладами *Ундину*,
  И сонный дядя *Студенец*,
Склонивши голову на влажную подушку,
  Зевал бы, слушая *Старушку*!
Платок, спасенный мной в подводной глубине,
Надводных прелестей не заменил бы мне!
Пускай бы всякий час я мог им любоваться,
Но все бы о земле грустил исподтишка!
Платок ваш очень мил, но сами вы, признаться,
  Милее вашего платка.
Но только ль?.. Может быть, подводные народы
(Которые в своей студёной глубине,
Не зная перемен роскошныя природы,
В однообразии, во скуке, и во сне
  Туманные проводят годы),
В моих руках увидя ваш платок,
Со всех сторон столпились бы в кружок
И стали б моему сокровищу дивиться,
И верно б вздумали сокровище отнять!
А я?.. Чтоб хитростью от силы защититься,
Чтоб шуткой чудаков чешуйчатых занять,
Я вызвал бы их всех играть со мною в жмурки.
Да самому себе глаза б и завязал!
Тогда бы для меня платок мой не пропал,
Зато бы все моря мой вызов взбунтовал!
Сплылось бы всё ко мне: из темныя конурки
Морской бы вышел рак, кобенясь, на клешнях;
Явились бы и кит с огромными усами,
И нильский крокодил в узорных чешуях,
И выдра, и мокой, сверкающий зубами,
И каракатица, и устрица с сельдями,
  Короче — океан вверх дном!

И начали б они кругом меня резвиться!
И щекотать меня, кто зубом, кто хвостом,
А я (чтобы с моим сокровищем-платком
    На миг один не разлучиться,
Чтоб не досталось мне глаза им завязать,
Ни каракатице, ни раку, ни мокою)
Для вида только бы на них махал рукою,
И не ловил бы их, а только что пугал!
И так — теперь легко дойти до заключенья —
        Я в жмурки бы играл
        До светопреставленья;
И разве только в час всех мертвых воскресенья,
Платок сорвавши с глаз, воскликнул бы:
поймал!

Ужасный жребий сей поэта миновал!
Платок ваш странствует по царству Аквилона.
Но знайте, для него не страшен Аквилон, —
И сух и невредим на влаге будет он!
Самим известно вам, поэта Ариона
Услужливый Дельфин донес до берегов,
Хотя грозилася на жизнь певца пучина!
И нынче внук того чудесного дельфина
Лелеет на спине красу земных платков!
    Пусть буря бездны колыхает,
Пусть рушит корабли и рвет их паруса,
Вокруг него ее свирепость утихает
И на него из туч сияют небеса
    Благотворящей теплотою;
Он скоро пышный Бельт покинет за собою,
И скоро донесут покорные валы
Его до тех краев, где треснули скалы
Перед могущею десницей Геркулеса,
Минует он брега старинного Гадеса,
И — слушайте ж теперь к чему назначил рок
    Непостоянный ваш платок! —
Благочестивая красавица-принцесса,
    Купаяся на взморье в летний жар,
        Его увидит, им пленится,
И ношу милую поднесть прекрасной в дар
Услужливый Дельфин в минуту согласится.

Но здесь неясное пред нами объяснится.
    Натуралист Бомар

В ученом словаре ученых уверяет,
Что никогда дельфинов не бывает
У петергофских берегов,
И что поэтому потерянных платков
Никак не может там ловить спина Дельфина!
И в самом деле это так!
Но знайте: наш Дельфин ведь не Дельфин — башмак!
Тот самый, что в Москве графиня Катерина
Петровна вздумала так важно утопить
При мне в большой придворной луже!
Но что же? Оттого Дельфин совсем не хуже,
Что счастие имел он башмаком служить
Ее сиятельству, и что угодно было
Так жестоко играть ей жизнью башмака!
Предназначение судьбы его хранило!
Башмак дельфином стал для вашего платка!

Воротимся ж к платку. Вы слышали, принцесса,
Красавица, у берегов Гадеса,
Купаяся на взморье в летний жар,
Его получит от Дельфина;
Красавицу с платком умчит в Алжир корсар;
Продаст ее паше, паша назначит в дар
Для императорова сына!
Сын императоров не варвар, а Герой,
Душой Малек-Адель, учтивей Солимана;
Принцесса же умом другая Роксолана
И точь-в-точь милая Матильда красотой!
Не трудно угадать, чем это всё решится!
Принцессой Деев сын пленится;
Принцесса в знак любви отдаст ему платок,
Руки ж ему отдать она не согласится,
Пока не будет им отвергнут лжепророк,
Пока он не крестится,
Не снимет с христиан невольничьих цепей,
И не предстанет ей
Геройской славой озаренный.
Алжирец храбрый наш терять не будет слов:
Он вмиг на всё готов —
Крестился, иго снял невольничьих оков
С плененных христиан, и кликнул клич военный:
Платок красавицы ко древку пригвожденный,
Стал гордым знаменем, предшествующим в бой,

И Африка зажглась священною войной:
Египет, Фец, Марок, Стамбул, страны Востока —
Всё завоевано крестившимся вождем,
И пала пред его карающим мечом
Империя пророка!
Свершив со славою святой любви завет,
Низринув алтари безумия во пламя
И богу покорив весь мусульманский свет,
Спешит герой принесть торжественное знамя,
То есть: *платок*, к ногам красавицы своей...
Не трудно угадать развязку!
Перевенчаются, велят созвать гостей;
Подымут пляску;
И счастливой чете
Воскликнут: многи лета!
А наш платок? Платок давно уж в высоте!
Взлетел на небеса и сделался комета,
Первостепенная меж всех других комет!
Ее влияние преобразует свет!
Настанут нам другие
Благословенны времена!
И будет на земле навек воцарена
Премудрость — а сказать по-гречески: *София*.

Теснятся все к тебе во храм,
И все с коленопреклоненьем
Тебе приносят фимиам,
Тебя гремящим славят пеньем;
Я одинок в углу стою,
Как жизнью, полон я тобою,
И жертву тайную мою
Я приношу тебе душою.

19 МАРТА 1823

Ты предо мною
Стояла тихо;
Твой взор унылый
Был полон чувств!
Он мне напомнил
О милом прошлом...
Он был последний
На здешнем свете.

Ты удалилась,
Как тихий ангел!
Твоя могила
Как рай спокойна!
Там все земные
Воспоминанья!
Там все земные
О небе мысли.

Звезды небес!
Тихая ночь!..

⟨ГР. А. Е. КОМАРОВСКОЙ⟩

Я свет не часто посещаю,
Но в свете вас когда встречаю,
Всегда любуюся на вас!
Для самых беспристрастных глаз
Вы Грация; люблю за вами,
Таясь в толпе, летать глазами,
Когда летите в вальсе вы,
Не прикасаяся к паркету;
Тогда не трудно головы
И не поэту и поэту
Лишиться надолго — и я
До сей поры не понимаю,
Как не потеряна моя.
Когда ж об вас воспоминаю,
Тогда пред мыслию стоит
Прелестно-милое виденье
И радует воображенье
И что-то сердцу говорит.
Харитой вас всегда являла
Мне постоянная мечта.
С последнего ж, признаться, бала
Картина сделалась не та.
Не в вихре вальса, не живою
Очаровательницей глаз
Воображаю нынче вас...
Но одинокою, хромою!
Всё вижу я, как вы тишком,
С блестящим свежестью лицом,
Наморщенным от мнимой боли,
Хромаете из доброй воли
И, опершися на костыль,
Для взора кажетесь милее,
Чем в те часы, когда как фея
Одушевляете кадриль.

Тому блаженства будет на год,
Кто съест полфунта винных ягод.

Был у меня товарищ,
Уж прямо брат родной.
Ударили тревогу,
С ним дружным шагом, в ногу
Пошли мы в жаркий бой.

Вдруг свистнула картеча...
Кого из нас двоих?
Меня промчалось мимо;
А он... лежит родимой
В крови у ног моих.

Пожать мне хочет руку...
Нельзя, кладу заряд.
В той жизни, друг, сочтемся;
И там, когда сойдемся,
Ты будь мне верный брат.

К ГЕТЕ

Творец великих вдохновений!
Я сохраню в душе моей
Очарование мгновений,
Столь счастливых в близи твоей!

Твое вечернее сиянье
Не о закате говорит!
Ты юноша среди созданья!
Твой гений, как творил, творит.

Я в сердце уношу надежду
Еще здесь встретиться с тобой:
Земле знакомую одежду
Не скоро скинет *гений* твой.

В далеком полуночном свете
Твоею Музою я жил,
И для меня мой *гений Гете*
Животворитель жизни был!

Почто судьба мне запретила
Тебя узреть в моей весне?
Тогда душа бы воспалила
Свой пламень на твоем огне.

Тогда б вокруг меня создался
Иной, чудесно-пышный свет;
Тогда б и обо мне остался
В потомстве слух: он был поэт!

ПРИНОШЕНИЕ

Тому, кто *Арфою* чудесный мир творит!
Кто таинства *покров* с Создания снимает,
Минувшее животворит,
И будущее предрешает!

СТРЕМЛЕНИЕ

Часто, при тихом сиянии месяца, полная тайной
Грусти, сижу я одна и вздыхаю и плачу, и душу
Вдруг обнимает мою содроганье блаженства; живая,
Свежая, чистая жизнь приливает к душе, и глазами
Вижу я то, что в гармонии струн лишь дотоле таилось.
Вижу незнаемый край, и мне сквозь лазурное небо
Светится издали радостно, ярко звезда упованья.

HOMER

Веки идут, и веки уходят, а песни Гомера
Всё раздаются, и вечен Гомеров венец.
Долго думав, природа вдруг создала и, создавши,
Молвила так: одного будет Гомера земле!

Поэт наш прав: Альбом — кладбище,
В нем племя легкое певцов
Под легкой пеленой стихов
Находит верное жилище.

И добровольным мертвецом,
Я, Феба чтитель недостойный,
Певец давно уже покойный
Спешу зарыться в ваш альбом.

Вот надпись: *старожил Московский,*
Мучитель струн, гроза ушей,
Певец чертей
Жуковский
В альбоме сем похоронен;
Уютным местом погребенья
Весьма, весьма доволен он
И не желает воскресенья.

⟨А. О. РОССЕТ-СМИРНОВОЙ⟩

Милостивая государыня Александра Иосифовна!

Честь имею препроводить с моим человеком
Федором к вашему превосходительству данную вами
Книгу мне для прочтенья, записки французской известной
Вам герцогини Абрантес. Признаться, прекрасная книжка!
Дело однако идет не об этом. Эту прекрасную книжку
Я спешу возвратить вам по двум причинам: во-первых,
Я уж ее прочитал; во-вторых, столь несчастно навлекши
Гнев на себя ваш своим непристойным вчера поведеньем,
Я не дерзаю более думать, чтоб было возможно
Мне, греховоднику, ваши удерживать книги. Прошу вас,
Именем дружбы, прислать мне, сделать
Милость мне, недостойному псу, и сказать мне, прошла ли
Ваша холера и что мне, собаке, свиной образине,
Надобно делать, чтоб грех свой проклятый загладить, и снова
Милость вашу к себе заслужить? О царь мой небесный!
Я на все решиться готов! Прикажете ль кожу
Дам содрать с своего благородного тела, чтоб сшить вам
Дюжину теплых калошей, дабы, гуляя по травке,
Ножек своих замочить не могли вы? Прикажете ль уши
Дам отрезать себе, чтоб в летнее время хлопушкой
Вам усердно служа, колотили они дерзновенных
Мух, досаждающих вам, недоступной, своею любовью
К вашему смуглому личику? Должно однако признаться:
Если я виноват, то не правы и вы. Согласитесь
Сами, было ль за что вам вчера всколыхаться, подобно
Бурному Черному морю? И сколько слов оскорбительных
с ваших
Уст, размалеванных богом любви, смертоносной картечью
Прямо на сердце мое налетело! И очи ваши, как русские
пушки,
Страшно палили, и я, как мятежный Поляк,был из вашей,
Мне благосклонной доныне, обители выгнан! Скажите ж,
Долго ль изгнанье продлится?.. Мне сон привиделся чудный!

Мне показалось, будто сам дьявол (чтоб чорт его побрал)
В лапы меня ухватил, да и в рот, да и начал, как репу,
Грызть и жевать — изжевал да и плюнул. Что же случилось?
Только что выплюнул дьявол меня — беда миновалась,
Стал попрежнему я Василий Андреич Жуковский,
Вместо дьявола был предо мной дьяволенок небесный...
Пользуюсь случаем сим, чтоб опять изъявить перед вами
Чувства глубокой, сердечной преданности, с коей пребуду
Вечно вашим покорным слугою *Василий Жуковский.*

Некогда Муз угостил у себя Геродот дружелюбно!
Каждая Муза ему книгу оставила в дар.

⟨ПУШКИН⟩

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:
что видишь?



Пушкин в гробу
Рисунок В. А. Жуковского из собрания А. Ф. Онегина

ЕРМОЛОВУ

Жизнь чудная его в потомство перейдет:
Делами славными она бессмертно дышет.
Захочет — о себе, как Тацит, он напишет,
И лихо летопись свою переплетет.

Ведая прошлое, видя грядущее, Скальд вдохновенный
Сладкие песни поет в вечнозеленом венце,
Он раздает лишь достойным награды рукой неподкупной —
Славный великий удел выпал ему на земле.
Силе волшебной возвышенных песней покорствуют гробы,
В самом прахе могил ими герои живут.

⟨ЕЛИСАВЕТЕ РЕЙТЕРН⟩

О, молю тебя, создатель,
Дай вблизи ее небесной,
Пред ее небесным взором
И гореть и умереть мне,
Как горит в немом блаженстве,
Тихо, ясно угасая,
Огнь смиренныя лампады
Пред небесною Мадонной.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

КАМОЭНС

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Действующие

Дон Лудвиг Камоэнс.
Дон Иозé Кеведо Кастель Бранка.
Васко, его сын.[1]
Смотритель главного госпиталя в Лиссабоне.

(1579)

I

Тесная горница в большом лазарете лиссабонском: стены голы; кое-где обвалилась штукатура; с одной стороны стол с бумагами и стул; с другой большие кресла и за ними, ближе к стене, полуизломанная кровать. На ней лежит Камоэнс и спит; к кровати прислонен меч; над изголовьем висит на стене лютня, покрытая пылью. С правой стороны дверь. — Входит дон Иозé Кеведо вместе с смотрителем госпиталя. У последнего за поясом связка ключей, подмышкой большая книга.

Иозé Кеведо, Смотритель госпиталя, Камоэнс.

Кеведо

Ой, ой, как высоко! Неужто выше
Еще нам подыматься!

Смотритель

Нет, пришли.

---

[1] Васко Мусинхо де Кеведо Кастель Бранка, по свидетельству знатоков португальской литературы, более всех других поэтов Португалии приблизился к Камоэнсу. Его эпическая поэма «Альфонс Африканский», в которой особенно замечательно изображение мучений Фердинанда и описание сражения Алькассарского, издана в 1611 году. *Прим. Сочин.*

Кеведо

Ну, слава богу! я почти задохся...
Так здесь он?

Смотритель

Здесь. Вот, сами посмотрите,
Что у меня записано в реестре:
Дон Лудвиг Камоэнс, десятый нумер —
И на двери *десятый нумер*; это он.

Кеведо

Ну, хорошо. Да разве боле ты
Об нем не знаешь?

Смотритель

Нет.

Кеведо

И никогда
Об нем не слыхивал, и не имеешь
Об нем понятия?

Смотритель

Какое тут
Понятие! Лишь был бы только нумер.
Что нам до имени, что нам до слухов?
Дон Лудвиг Камоэнс, десятый нумер —
И всё тут; так записано в реестре.

Кеведо

Ты человек, я вижу, аккуратный,
И книги у тебя в порядке...

(Осматривается)

Боже!
В какой тюрьме он заперт; как темно́,
Тесно́, нечисто! Стены голы; окна
С решетками и потолок так низок,
Что душно.

Смотритель

Здесь до сих пор сумасшедших
Держали: но ему так захотелось
Быть одному, а этот нумер был
Никем не занят — так его сюда я
И перевел.

Кведо

К безумным? поделом!
Ты поступил догадливо; я вижу,
Ты расторопный человек. Я всех бы
Проклятых этих стихотворцев запер
В дом сумасшедших. Тише! Кто лежит
Там на кровати? уж не он ли?

Смотритель

Он,
Синьйор; он спит... Я разбужу.

Кведо

Не трогай;
Я подожду, пока он сам проснется.

Смотритель

Так оставайтесь с богом здесь; а я
Пойду: есть дело...

Кведо

Хорошо, поди —
И вот тебе за труд.

Смотритель

Благодарю,
Синьйор.

(Уходит)

II

Иозé Кеведо и Камоэнс

Кеведо

И так, я наконец его
Нашел. Трудненько было мне сюда
Карабкаться, и рад я, что могу
Немного отдохнуть. Когда б не сын,
Моя нога сюда не забрела бы;
Да мой пострел совсем рехнулся; горе
Мне с ним великое; не знаю сам,
Что делать; с отвращеньем смотрит он
На наше ремесло и не проценты
Считает — стопы, да стихи плетет,
Да о венках лавровых беспрестанно
И сонный и несонный бредит. Денег
Ему не надобно; всё для него
Равно, богач ли он иль нищий; мне,
Отцу, не хочет подражать, а вслед
За Камоэнсом рвется... Вот тебе
Твой Камоэнс, твой образец: изволь
Им любоваться! здесь, в госпиталé
В отрепьи нищенском лежит с своими
Он лаврами, — седой, больной, иссохший, дряхлый,
Безглазый всеми брошенный, великий
Твой человек, твой славный Лузиады
Певец, сражавшийся перед Ораном
И перед Цейтою. Вот, полюбуйся;
Он в доме сумасшедших, позабыт
Людьми и всё имущество его —
Покрытый ржавчиною меч, да лютня
Без струн... Зачем он жил, и что он нажил?
Дон Лудвиг Камоэнс, десятый нумер,
И всё тут — так записано в реестре...
А я, над кем так часто он, бывало,
Смеялся, я, которого ослом,
Телячьей головой он называл,
Который нá вес продаю изюм,
Да виноград, да в добрые крузады
Мараведисы превращаю, я —
Я человек богатый, свеж, румян,
И пользуюсь всеобщим уваженьем;

Три дома у меня, и в море пять
Галер отправлено с моим товаром:
За славой он пошел, я за прибытком,
И вот, мы оба здесь. Пускай его
Мой сын увидит, и потом свой выбор
Пускай сам сделает. За тем-то я
Сюда и взлез; пускай расскажет сыну
Сам этот сумасброд, какому вздору
Пожертвовал он жизнию своею...
Он шевелится, охает, открыл
Глаза...

Камоэнс

Мой сон опять был на минуту;
То был не вечный сон, конец всему,
Не смерть, а только призрак смерти... Кто здесь?
Неужто человек? Здесь? Человек?
У Камоэнса?.. Кто ты, друг? Чего
Здесь ищешь? Ты ошибся...

Кведо

Нет, синьйор,
Я вас искал, и дело мне до вас.

Камоэнс

Ах да, я и забыл, что я пишу
Стихи! Вы, может быть, синьйор, хотите
Стихов на свадьбу иль на погребенье?
Иль слов для серенады?. Потрудитесь
Порыться там в бумагах на столе —
Там всякой всячины довольно. Я
Беру недорого. Реаля два
Не боле за пиесу.

Кведо

Нет, синьйор,
Не то...

Камоэнс

Так, может быть, хотите вы,
Чтоб я для вас особенные сделал

Стихи? Нет, государь мой, я не в силах:
Вы видите, я болен; я едва
Таскаю ноги.

(Встает и, опираясь на меч, переходит к креслам, в которые садится.)

Нет ни чувств, ни мыслей;
Что у меня найдется, тем и рад;
Извольте взять любое из запаса.

Кведо

Не за стихами я сюда пришел.
Всмотрись в мое лицо, дон Лудвиг; разве
Не узнаешь меня?

Камоэнс

Синьйор, простите,
Не узнаю.

Кведо

Не может быть; ты должен
Меня узнать.

Камоэнс

Не узнаю, синьйор.

Кведо

В Калвасе мы ходили вместе в школу.

Камоэнс

Мы?

Кведо

Да в Калвасе. Мы частенько там
Друг с другом и дирались, и порядком
Ты иногда отделывал меня.
Подумай — вспомнишь: мы знакомцы с детства.

Камоэнс

Синьйор, прошу вас не взыскать; я стар,
И голова моя слаба; никак
Не вспомню, кто вы.

Кведедо

Боже мой, но верно
Меня узнаешь ты, когда скажу,
Что я Иозе́ Кведедо Кастель Бранка,
Сын крестной матери твоей, Маркитты?

Камоэнс

Иозе́ Кведедо ты?

Кведедо

Да, я Иозе́
Кведедо — тот, которого, бывало,
Ты называл телячьей головою,
Которого так часто ты...

Камоэнс

Чего ж
Ты ищешь здесь, Иозе́ Кведедо?

Кведедо

Как
Чего? Хотелось мне тебя проведать,
Узнать, как поживаешь. Правду молвить,
Мне на тебя невесело смотреть.
Ты худ, как мертвый труп. А я — гляди,
Как раздобрел. Так всё идет на свете!
Кто на ногах — держись, чтоб не упасть.
Итти за счастьем скользко...

Камоэнс

Правда, скользко.

Кеведо

Вот ты теперь в нечистом лазарете,
Больной полумертвец, безглазый, нищий,
Оставленный...

Камоэнс

Зачем, Иозе́ Кеведо,
Считаешь ты на лбу моем морщины
И седины на голове моей,
Дрожащей от болезни?

Кеведо

Не сердися,
Друг, я хотел сказать, что времена
Переменяются, что вместе с ними
Переменяемся и мы. Теперь
Ты уж не тот красавчик, за которым
Так встарину все женщины гонялись,
С которым знать водила дружбу, — ты
Не прежний Камоэнс.

Камоэнс

Не прежний, правда!
Но пусть судьбой разрушена моя
Душа, пускай всё было то обман,
Чему я жизнь на жертву добровольно
Принес — поймешь ли это ты? Моим
Судьей быть может ли какой-нибудь
Кеведо?

Кеведо *(про себя)*

Вот еще! Как горд! когда б
Не сын, тебе я крылья бы ошиб.

(Вслух)

Твои слова уж чересчур суровы;
Другого я приема ожидал
От старого товарища. Но, правда,

Ты болен, иначе меня бы встретил
Ты дружелюбней. Нам о многом прошлом
Друг с другом можно поболтать. Ведь детство
Мы вместе провели; то было время
Веселое... Ты помнишь луг за школой,
Где мы, бывало, в мяч играли? Помнишь
Высокий вяз... кто выше взлезет? Ты
Всегда других опережал. А наша
Игра в охоту — кто олень, кто псарь,
А кто собаки... то-то было любо:
Вперед! крик, лай, визжанье, беготня...
Что? помнишь?

Камоэнс

Помню.

Кеведо

А походы наши
В соседний сад, и там осада яблонь,
И возвращение домой с добычей?
А иногда с садовником война
И отступленье?

Камоэнс

Да; то было время
Веселое! Мы были все народ
Неугомонный.

Кеведо

Да, лихое племя!
А наш крутой пригорок, на котором
Лежала груда камней? Он для нас
Был крепостью; ее мы брали штурмом,
И было много тут подбитых глаз
И желваков...

Камоэнс

Вот этот мой рубец

Остался мне на память об одном
Из наших подвигов тогдашних...

Кведо

Правду
Сказать, не раз могла потеха стоить
Нам дорого. Вот, например, морской
Поход наш по реке. Мы все устали
И воротились; ты ж один...

Камоэнс

Да, мне
Казалось, что вдали передо мной
Был новый, никогда еще никем
Не посещенный свет; во что б ни стало
К нему достигнуть я решился; сила
Теченья мне препятствовала долго
Мой замысел исполнить; наконец
Ее я одолел и вышел гордо
На завоеванный, желанный берег...
О, молодость! о, годы золотые!..

(Помолчав)

Дай руку мне! ты знаешь, мы с тобою
В то время не были друзьями: ты
Казался — но быть может не таков ты,
Каким тогда казался нам... Ну, дай же
Мне руку: в детстве ты со мной играл,
Со мной делил веселье; а теперь
Туманный вечер мой ты осветил
Воспоминанием прекрасной нашей
Зари... Я так один — хотя б ты был
И злейший враг мой, мне тебя теперь
Обнять от сердца должно...

(Обнимает его)

Кведо *(помолчав)*

Ну, скажи же,
Как жил ты, что с тобой происходило
С тех пор, как мы расстались? Мне отец

Велел науки кончить и покинуть
Калвас и в Фигуэру ехать. Там
Иная сказка началась: пришлося
Не об игре уж думать — о работе.

Камоэнс

Меня судьба перевела в Коимбру,
Святилище науки; там впервые
Услышал я Гомера; Мантуанский
Певец меня гармонией своей
Пленил, и прелесть красоты
Проникла душу мне; что в ней дотоле
Невидимо, неведомо хранилось,
То вдруг в чудесный образ облеклось;
Что было тьма, то стало свет, и жизнью
Затрепетало всё, что было мертвым;
И мне во грудь предчувствие чего-то
Невыразимого впилося...

Кеведо

Я,
Признаться, до наук охотник был
Плохой. Отец меня в сидельцы отдал
Знакомому купцу; и должно правду
Сказать, уж было у него чему
Понаучиться: он считать был мастер.
А ты?

Камоэнс

Промчались годы, в школе стало
Мне тесно; я последовал влеченью
Души — увидел Лиссабон, увидел
Блестящий двор и короля во славе
Державного могущества, и пышность
Его вельмож... Но я на это робко
Смотрел издалека и, ослепленный
Блистательной картиною, за призрак
Ее считал.

Кведо

Со мной случилось то же,
Точь-в-точь, когда на биржу в первый раз
Я заглянул и там увидел горы
Товаров...

Камоэнс

В это время встретил я
Ее... О, боже! как могу теперь,
Разрушенный полумертвец, снести
Воспоминание о том внезапном
Неизглаголанном преображеньи
Моей души!.. Она была прекрасна
Как бог в своей весне, животворящей
И небеса и землю!

Кведо

И со мной
Случилось точно то ж. У моего
Хозяина была одна лишь дочь,
Наследница всему его именью;
Именье ж накопил себе старик
Большое; мудрено ли, что мое
Заговорило сердце?

Камоэнс *(не слушая его)*

О, святая
Пора любви! Твое воспоминанье
И здесь, в моей темнице, на краю
Могилы, как дыхание весны,
Мне освежило душу. Как тогда
Всё было в мире отголоском звучным
Моей любви! каким сияньем райским
Блистала предо мной вся жизнь с своим
Страданием, блаженством, с настоящим,
Прошедшим, будущим!.. О, боже! боже!..

Кведо

Отцу я полюбился; он доволен
Был ловкостью моей в делах торговых

И дочери сказал, что за меня
Ее намерен выдать; дочь на то
Сказала: «воля ваша», и тогда же
Нас обручили...

Камоэнс

О, блажен, блажен,
Кому любви досталася награда!..
Мне не была назначена она.
Нас разлучили; в монастырской келье
Младые дни ее угасли; я
Был увлечен потоком жизни; в буре
Войны хотел я рыцарски погибнуть.
Сел на коня и бился под стенами
Марокко, был на штурме Цейты;
Из битвы вышел я полуслепым,
А смерть мне не далась.

Кеведо

Со мною было
Не лучше. Я с женой недолго пожил:
Бедняжка умерла родами... Сильно
По ней я горевал... Но мне наследство
Богатое оставила она,
И это наконец кое-как стало
Моей отрадой.

Камоэнс

Всё переживешь
На свете... Но забыть?.. Блажен, кто носит
В своей душе святую память, верность
Прекрасному минувшему! Моя
Душа ее во глубине своей,
Как чистую лампаду, засветила,
И в ней она поэзией горела.
И мне была поэзия отрадой:
Я помню час, великий час, меня
Всего пересоздавший. Я лежал
С повязкой на глазах в госпитале;

Тьма вкруг меня и тьма во мне...
И вдруг — сказать не знаю — подошло,
Иль нет, не подошло, а подлетело.
Иль нет, как будто божие с небес
Дыханье свеяло, — свежо, как утро,
И пламенно, как солнце, и отрадно,
Как слезы, и разительно, как гром,
И увлекательно, как звуки арфы —
И было то, как будто и во мне
И вне меня, и в глубь моей души
Оно вливалось, и волшебный круг
Меня тесней, теснее обнимал;
И унесен я был неодолимым
Могуществом далеко в высоту...
Я обеспамятел; когда ж пришел
В себя — то было первая моя
Живая песня. С той минуты чудной
Исчезла ночь во мне и вкруг меня;
Я не был уж один, я не был брошен;
Страданий чаша предо мной стояла,
Налитая целебным питием;
Моя душа на крыльях песнопенья
Взлетела к богу и нашла у бога
Утеху, свет, терпенье и замену.

Кведо

Мне посчастливилось; свое богатство
Удвоил я; потом ушестерил...
А ты как? Что потом с тобой случилось?

Камоэнс

Я в той земле, где схоронил ее,
Не мог остаться. Вслед за Гамой славный
Путь по морям я совершил, и там,
Под небом Индии, раздался звучно
В честь Португалии мой голос: он
Был повторен волнами Тайо; вдруг
Услышала Европа имя Гамы
И изумилась; до пределов Туле
Достигнул гром победный Лузиады.

Кведо

А много ль принесла тебе она?
У нас носился слух...

Камоэнс

Мне принесла
Гонение и ненависть она.
Великих предков я ничтожным внукам
Осмелился поставить в образец,
Я карлам указал на великанов —
И правда мне в погибель обратилась:
И то, что я любил, меня отвергло,
И что моей я песнею прославил,
Тем был я посрамлен — и был как враг
Я Португалией моей отринут...

(Помолчав)

Я муж, и жалобы я ненавижу;
Но всю насквозь мне душу эта рана
Прогрызла; никогда не заживет
Она, и вечно, вечно будет рвать
Меня, как в оный миг разорвала,
Когда отечество так беспощадно
От своего поэта отреклося.

Кведо

Ну, не крушись; забудь о прошлом; кто
Не ошибается в своих расчетах?
Теперь не удалось — удастся после.

Камоэнс

И для меня однажды солнце счастья
Блеснуло светлою зарей. Когда
Король наш Себастьян взошел на трон,
Его орлиный взор проник в мою
Тюрьму, с меня упала цепь, и свет
И жизнь возвращены мне были снова;
Опять весна в груди моей увядшей

Воскресла... но то было на минуту:
Всё погубил день битвы Алькассарской.
Король наш пал великой мысли жертвой —
И Португалия добычей стала
Филиппа... Страшный день! о, для чего
Я дожил до тебя!

Кеведо

Да, страшный день!
Уж нечего сказать! И с той поры
Всё хуже нам да хуже. Бог на нас
Прогневался. По крайней мере ты
Похвастать счастием не можешь.

Камоэнс

Солнце
Мое навек затмилось и печально
Туманен вечер мой. Забыт, покинут,
В болезни, в бедности я жду конца
На нищенской постели лазарета.
Один мне оставался друг — он был
Невольник; иногда я называл
Его в досаде черною собакой.
Но только что со мной простилось счастье,
Он сделался хранителем моим:
Он мне служил и для меня работал,
И отдавал свою дневную плату
На пищу мне. Когда ж болезнь меня
К постели приковала, день и ночь
Сидел он надо мной и утешал
Меня отрадными словами ласки,
И, сам больной, по улицам таскался
За подаянием для Камоэнса.
И наконец, свои истратив силы,
Без жалобы, без горя, за меня
Он умер — черная собака!.. Бог
То видел с небеси... Покойся, друг,
Последний друг мой на земле, в твоей
Святой могиле! там тебе приютно,
А на земле приюта не бывает

Кведо (*про себя*)

Теперь пора мне к делу приступить.

(*Ему*)

Сердечный друг, тебе удел нелегкий
Достался, нечего сказать! Ты славил
Отечество, и чем же заплатило
Оно тебе за славу? Нищетой.
С надеждами пошел ты в путь, а с чем
Пришел назад? Ровнёхонько ни с чем.
И вот теперь, при нашей поздней встрече,
Когда твою судьбу сравню с моею,
То, право, кажется — не осердися —
Что выбор мой сто раз благоразумней
Был твоего. Вот видишь, я богат;
По всем морям товар мой корабли
Развозят; а, бывало, на меня
Смотрел ты свысока. Сказать же правду,
Хоть лаврами я лба и не украсил,
Но, кажется, что нá вес мой барыш
Тяжеле твоего...

Камоэнс

Ты в барышах —
Не спорю. Но на свете много есть
Вещей возвышенных, не подлежащих
Ни мере, ни расчетам торгаша.
Лишь выгодой определять он может
Достоинство; заметь же это, друг:
Лавровый лист скупать ты нá вес можешь,
Но о венках лавровых не заботься.

Кведо (*про себя*)

Уж не смеется ль он над нашим званьем?..
Постой, уж попадись ко мне ты в руки,
Я отплачу тебе порядком. (*Ему*) Ты
Обиделся, я вижу; а в тебе
Я искренно участье принимаю.
Да я и с просьбою пришел; послушай,
Оставь ты лазарет свой, сделай дружбу,
Переселись ко мне; мой дом просторен;

Чужим найдется много места в нем,
Не только что друзьям. Ну, Камоэнс,
Не откажи мне; перейди в мой дом;
Ты у меня свободно отдохнешь
От прошлых бед, и мой избыток
Охотно я с тобою разделю...
Не слышишь, что ли, Камоэнс?

Камоэнс

Что? что
Ты говоришь? Меня к себе, в свой дом
Зовешь?

Кеведо

Да, да! К себе, в свой дом, тебя
Зову. Согласен ли?

Камоэнс

Жить у тебя?
Но, может быть, ты думаешь, Кеведо...
Нет, нет! твое намеренье, я в этом
Уверен, доброе — благодарю;
Но мне и здесь покойно: я доволен;
Нет нужды мне тебя теснить; да в этом
И радости не будет никакой:
О радостях давно мне и во сне
Не грезится.

Кеведо

Меня ты потеснишь?
Помилуй, что за мысль! Ты мне, напротив,
Полезен можешь быть; я от тебя
Жду помощи великой.

Камоэнс

От меня?
Ждешь помощи? И я могу тебе
Полезен быть? я? я? мечтатель жалкий,

Который никому и ни на что
Не нужен был на свете, и себя
Лишь только погубить умел? Кеведо,
Не шутишь ли?

Кеведо

Какая шутка! Сам
Ты рассуди; дал Бог мне сына — ну,
Уж нечего сказать, таких немного,
Каков мой Васко; он до этих пор
Был радостью моей, и я им хвастал,
И уж заране веселил себя
Надеждою, что он мое богатство,
Которому всему один наследник,
Удвоит, мне, как должно, подражая —
Ан нет, иначе вышло на поверку:
Отцовским званьем он пренебрегает,
В проклятые зарылся пергаменты,
Ударился в стихи, в поэты метит.

Камоэнс

Безумство! жалкий бред!

Кеведо

Я то же сам
Ему пою; да он не верит. Музы —
Ему отец и мать и всё земное
Его богатство.

Камоэнс

Так мечтают все
Они, но то обман...

Кеведо

Напрасно я
Увещевал его: он слов моих
И понимать не хочет. Видишь ли теперь,
Как много мне ты можешь быть полезен,
Дружище? Укажи ему на твой

Пример, пускай узнает он, как ты,
Его достойный образец, был щедро
От света награжден; пусть Камоэнса
Увидит он в госпитале, больного,
В презреньи, в нищете, быть может...

Камоэнс

Так
Пускай меня увидит он! Пришли
Его сюда; я вылечу его
От гибельной мечты. Слепец! безумец!
Ненужною доселе жизнь свою
Я почитал; теперь мне всё понятно:
Им пугалом должна служить она!

Кведо

Так ты его остережешь, спасешь?

Камоэнс

Остерегу, спасу... Пришли его
Сюда.

Кведо

Он недалёко; крылья имя
Твое придаст ему; через минуту
Он будет здесь; и вместе с ним в мой дом
Пожалует желанный гость — не правда ль?
Ты будешь, друг?

Камоэнс

Увидим.

Кведо

Ну, прости же,
Любезный. *(Про себя.)* Слава богу! всё как должно
Улажено. Лишь только б сына он
На путь наставил... сам же... что за дело
Мне до него!.. Пускай в госпитале
Околевает.

(Уходит.)

III

Камоэнс *(один)*

Я устал; все силы
Мои истощены; и жар и холод
Я чувствую; в глазах моих темнеет;
Уж не она ль? Не смерть ли, званый друг,
Ко мне подходит?.. *(Помолчав.)* Всех я схоронил;
Всё, что любил я, что меня любило,
Давно во гробе... Я стою один
Перед своей могилою, один...
И не протянет мне никто руки,
Чтобы помочь в нее сойти; свалюся
Туда, как чумный труп, рукой наемной
Толкнутый в общий гроб. Счастлив стократно
Простой поселянин! Трудом прилежным
Довольный, скромный, замыслов высоких
Не ведая, своей тропинкой он
Идет; когда же смертный час его
Наступит, он, в кругу своих, близ доброй
Жены, участницы всего, что было
И горького и радостного в жизни,
Среди детей, воспитанных с любовью,
Смиренно, тихо, ясно умирает;
И всеми он любим, и, с ним прощаясь,
Все плачут, и глаза ему родная
Рука при смерти зажимает. Я же?..
О, как меня всё обмануло! Я
Жил одинок и одинок умру...
Сокровищем она казалась мне
В тот час, когда нас буря окружала,
Когда корабль наш об утес в щепы
Расшибся — да, сокровищем тогда
Она, мое созданье, Лузиада
Казалась мне! и в море с Лузиадой
Я кинулся, и отдал на пожранье
Волнам всё, всё, и с гордым торжеством
На берег нищим вышел... спасена
Была, мое созданье, Лузиада!
Час роковой! погибельная песнь!
Погибельный венец, мне данный славой!
Для них от мирного, земного счастья
Отрекся я — и что ж от них осталось?

Разуверение во всем, что прежде
Я почитал высоким и прекрасным...

(Помолчав)

Мне холодно, и дрожь в моих костях:
Последняя минута Камоэнса —
И никого, чтоб вздох его принять!
В прошедшем ночь, в грядущем ночь; расстроен,
Разрушен гений; мужество и вера
Потрясены, и вся земная слава
Лежит в пыли... Что жизнь моя была?
Безумство, бешенство... он справедливо
Сказал: барыш мечтателя — мечта.

IV

Камоэнс и Васко Кеведо

Васко

Здесь, сказано, могу его найти...
Ах, вот он!.. это он!.. таким видал я
Его во сне... но только бодрым, смелым,
И молнии в глазах, и голова,
Поднятая торжественно и гордо...
Что нужды! Это он... Хотя и стар
И хил, но на лице его печать
Его великой песни.

Камоэнс

Кто тут?

Васко

Васко
Кеведо, сын знакомца твоего,
Иозé Кеведо...

Камоэнс

Ты?

Васко

Отец меня
Прислал сюда, дон Лудвиг, пригласить

Тебя в наш дом переселиться; там
Найдешь достойное тебя жилище
И дружбу... но не рано ль я пришел?

Камоэнс

Когда б промедлил час, пришел бы поздно.
Приближься, посмотри: уж надо мной
Летает ангел смерти; для меня
Всё миновалось; но прими совет
От умирающего Камоэнса
И сохрани его на пользу жизни...

Васко

Ты умираешь?. нет, не может быть,
Чтоб умер Камоэнс!

Камоэнс

Минуты, друг,
Нам дороги; послушай, сын мой, ты,
Я слышал от отца, служенью Муз
Жизнь посвятить свою желаешь... правду ль
Сказал он?

Васко

Правду, я клянуся богом!

Камоэнс

Одумайся; то выбор роковой;
Ты молод, и твоя душа, земного
Еще не ведая, стремится к небу,
И ты свое стремление зовешь
Любовию к поэзии, от неба
Исшедшей, как твоя душа. Но знай.
Любовь еще не сила; постигать
Не есть еще творить; а увлекаться
Стремлением к великому еще
Не есть великого достигнуть.

Васко

Знаю.

Камоэнс

Так загляни ж во глубину своей
Души, и что ее бы ни влекло —
Самонадеянность, иль просто детский
Позыв на подражанье, иль тревога
Кипучей младости, иль раздраженье
Излишне напряженных нерв — себя,
Мой друг, не ослепляй. Другие все
Искусства нам возможно приобресть
Наукою; поэта же творит —
Святейшее оставив про себя —
Природа; гении родятся сами;
Нисходит прямо с неба то, что к небу
Возносит нас.

Васко

Того, что происходит
Теперь во мне и что я сам такое,
Я изъяснить словами не могу.
Но выслушай мою простую повесть:
Ребенком тихим, книги лишь одни
Любя, я вырос, преданный мечтанью.
Мой взор был обращен во внутрь моей
Души; я внешнего не замечал;
Уединение имело голос,
Понятный для меня; и прелесть лунных
Ночей меня стремила в область тайны.
На путь отца смотрел я с отвращеньем;
Меня влекло неведомо к чему...
Вдруг раздалась чудесно Лузиада —
И стало всё во мне светло и ясно;
Сомненье кончилось, и выбирать
Уж нужды не было... *за ним, за ним!*
В моей душе гремело и пылало;
И каждое биенье сердца мне
Твердило то ж: *за ним, за ним!..* И власть,
Влекущая меня неодолима.
Теперь реши, поэт ли я иль нет?

Камоэнс

Свидетель бог! твои глаза блестят
Как у поэта; но послушай, друг,

Хотя б их блеск и правду говорил,
Остановись, не покидай смиренной
Тропы, протянутой перед тобою;
Судьба тебе добра желает; мне
Поверь, я дорогой купил ценой
Признание, что счастие земное
Не на пути поэта.

Васко

Дай его
Мне заслужить — и пусть оно погибнет.

Камоэнс

Слепец! тебя зовет надежда славы.
Но что она? и в чем ее награды?
Кто раздает их? и кому они
Даются? и не все ль ее дары
Обруганы завидующей злобой?
За них ли жизнь на жертву отдавать?
Лишь у гробов, которым уж никто
Завидовать не станет, иногда
Садит она свой лавр, дабы он цвел
Над тлением, которое когда-то
Здесь человеком было и страдало,
Нося торжественно на голове
Под лаврами пронзительные терны.
Но для того, кто в гробе спит, навеки
Бесчувственный для здешних благ и бед,
Не все ль равно — полынь ли над костями
Его растет иль лавр... Не вся ль тут слава?

Васко

Я молод, но уж мне видать случалось,
Как незаслуженно ее венец
Бесстыдная ничтожность похищала,
Ругаяся над скромно-молчаливым
Достоинством? Но для меня не счастье,
Не золото — скажу ли? — и не слава
Приманчивы...

Камоэнс

Не счастье и не слава?
Чего же ищешь ты?

Васко

О долго, долго
Хранил я про себя святую тайну!
Но посвященному, о Камоэнс,
Тебе я двери отворю в мое
Святилище, где я досель один
Доступному мне божеству молился.
Нет! нет! не счастия, не славы здесь
Ищу я: быть хочу крылом могучим,
Подъемлющим родные мне сердца
На высоту, зарей, победу дня
Предвозвещающей, великих дум
Воспламенителем, глаголом правды,
Лекарством душ, безверием крушимых,
И сторожем нетленной той завесы,
Которою пред нами горний мир
Задернут, чтоб порой для смертных глаз
Ее приподымать и святость жизни
Являть во всей ее красе небесной —
Вот долг поэта, вот мое призванье!

Камоэнс

О, молодость на крыльях серафимских!
Как мало ход житейского тебе
Понятен! возносить на небеса
Свинцовые их души, их слепые
Глаза воспламенять, глухонемых
Пленять гармонией!..

Васко

Что мне до них,
Бесчувственных жильцов земли иль дерзких
Губителей всего святого! Мне
Они чужие. Для чего творец
Такой им жалкий жребий избрал, это

Известно одному ему; он благ
И справедлив; обителей есть много
В дому отца — всем будет воздаянье.
Но для чего сюда он их послал —
О, это мне понятно. Здесь без них
Была ли бы для душ, покорных богу,
Возможна та святая брань, в которой
Мы на земле для неба созреваем?
Мы не за тем ли здесь, чтобы средь тяжких
Скорбей, гонений, видя торжество
Порока, силу зла, и слыша хохот
Бесстыдного разврата иль насмешку
Безверия, из этой бездны вынесть
В душе неоскверненной веру в бога?..
О Камоэнс! Поэзия небесной
Религии сестра земная; светлый
Маяк, самим создателем зажженный,
Чтоб мы во тьме житейских бурь не сбились
С пути. Поэт, на пламени его
Свой факел зажигай! Твои все братья
С тобою заодно засветят каждый
Хранительный свой огнь, и будут здесь
Они во всех странах и временах
Для всех племен звездами путевыми;
При блеске их, что б труженик земной
Ни испытал — душой он не падет,
И вера в лучшее в нем не погибнет.
О, Камоэнс! о, верь моим словам!
Еще во мне того, что в этот миг
Я чувствую, ни разу не бывало;
Бог языком младенческим моим
С тобою говорит: ты совершил
Свое святое назначенье, ты
Свой пламенник зажег неугасимо;
Мне в душу он проник, как божий луч;
И сколько он других согрел, утешил!
И пусть разрушено земное счастье,
Обмануты ласкавшие надежды
И чистые обруганы мечты...
Об них ли сетовать? Таков удел
Всего, всего прекрасного земного!
Но не умрет живая песнь твоя;
Во всех веках и поколеньях будут



В. А. Жуковский (1833)

Ей отвечать возвышенные души.
Ты жил и будешь жить для всех времен!
Прямой поэт, твое бессмертно слово!

Камоэнс

Его глаза сверкают, щеки рдеют;
Пророчески со мной он говорит;
От слов его вся внутренность моя
Трепещет; не самим ли богом прислан
Ко мне младенец этот?.. Ты, мой сын,
Лишь о грядущем мыслишь — оглянись
На настоящее и на меня,
Певца твоей великой Лузиады.
Смотри, как я, в нечистом лазарете,
Отечеством презренный и забытый
Людьми, кончаю жизнь на том одре,
Где за два дня издох в цепях безумный.
Таков в своих наградах свет: страшись
Моей стези; беги надежд поэта!

Васко

Бежать твоих надежд, твоей стези
Страшиться?.. Нет, бросаюсь на колени
Перед твоей страдальческой постелью,
На коей ты, как мученик смиренный,
Зришь небеса отверзтые, где ждет
Тебя твой бог, тебя не обманувший.
Благодарю тебя, о Камоэнс,
За всё, чем был ты для моей души!
И здесь со мной тебя благодарят
Все современники и всех времен
Грядущих верные друзья святыни,
Поклонники великого, твои
По чувству братья. Пусть людская злоба,
Презрение, насмешка, нищета
Достоинству в награду достаются —
Прекрасней лавра, мученик, твой терн!
И умереть в темнице лазарета
Верх славы... О судьба! дай в жизни мне
Быть Камоэнсом! дай, как он, быть светом
Отечества и века моего

Величием! — и все земные блага
Тебе я отдаю на жертву!

Камоэнс

О!
Клянусь моей последнею минутой
И всей моей блаженно-скорбной жизнью,
И всем святым, что я в душе хранил,
И всеми чистыми ее мечтами
Клянуся, ты назначен быть поэтом.
Не своелюбие, не тщетный призрак
Тебя влекут — тебя зовет сам бог;
К великому стремишься ты смиренно,
И ты дойдешь к нему — ты сердцем чист.

Васко

Дойду?.. О Камоэнс! ты ль это мне
Пророчишь?.. Повтори ж мне, буду ль я
Поэтом?

Камоэнс

Ты поэт! имей к себе
Доверенность, об этом часе помни;
И если некогда захочет взять
Судьба свое, и путь твой омрачится —
Подумай, что своим эфирным словом
Ты с Камоэнсовых очей туман
Печали свеял, что в последний час,
Обезнадеженный сомненьем, он
Твоей душой был вдохновлен, и снова
На пламени твоем свой прежний пламень
Зажег — и жизнь прославил, умирая.
О, помни, друг, об этом часе, помни
О той руке, уж смертью охлажденной,
Которая на звание поэта
Теперь тебя благословляет. Жизнь
Зовет на битву! с богом! воссияй
Прекрасным днем, денница молодая!
А Камоэнсово уж солнце село,
И смерть над ним покров свой расстилает...

Васко

Ты не умрешь. На имени твоем
Покоится бессмертье.

Камоэнс

Так, оно
На нем покоится. Его призыв
Я чувствую: я был поэт вполне.
Неправедно роптал я на страданье;
Мне в душу бог вложил его — он прав;
Страданием душа поэта зреет,
Страдание — святая благодать...
И здесь любил я истину святую,
И голос мой был голосом ее;
И не развеется, как прах ничтожный,
Жизнь вдохновенная моя; бессмертны
Мои мечты; их семена живые
Не пропадут на жатве поколений.
Пред господа могу предстать я смело.

Васко

Что, что с тобой?..

(В эту минуту совершается видение: над головою Камоэнса является дух в образе молодой девы, увенчанной лаврами, с сияющим крестом на груди. За нею яркий свет.)

Камоэнс

Оставь меня, мой сын!
Я чувствую, великий час мой близко...
Мой дух опять живой исполнен силы;
Меня зовет знакомый сердцу глас;
Передо мной исчезла тьма могилы,
И в небесах моих опять зажглась
Моя звезда, мой путеводец милый!..
О! ты ль? тебя ль час смертный мне отдал,
Моя любовь, мой светлый идеал?

Тебя, на рубеже земли и неба, снова
Преображенную я вижу пред собой;
Что здесь прекрасного, великого, святого.

Я вдохновенною угадывал мечтой,
Невыразимое для мысли и для слова,
То всё в мой смертный час прияло образ твой
И, с миром к моему приникнув изголовью.
Мне стало верою, надеждой и любовью.

Так, ты поэзия: тебя я узнаю;
У гроба я постиг твое знаменованье.
Благословляю жизнь тревожную мою!
Благословенно будь души моей страданье!
Смерть! смерть, великий дух! я слышу весть твою;
Меня всего твое проникнуло сиянье!

(Подает руку Васку, который падает на колени)

Мой сын, мой сын, будь тверд, душою не дремли!
Поэзия есть бог в святых мечтах земли.

(Умирает)

ЭПИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

УНДИНА

СТАРИННАЯ ПОВЕСТЬ

Бывали дни восторженных видений;
Моя душа поэзией цвела;
Ко мне летал с вестями чудный Гений;
Природа вся мне песнею была.

Оно прошло, то время золотое;
С природы снят магический венец;
Свет узнанный свое лицо земное
Разоблачил, и призракам конец.

Но о Мечте, как о весенней птичке,
Певавшей мне, с усладой помню я;
И Прелести явленьем по привычке
Любуется, как встарь, душа моя.

Здесь есть *одна* — жива как вдохновенье,
Как ясная надежда молода —
На душу мне ее одно явленье
Поэзию наводит завсегда...

Перед пустой когда-то колыбелью
Задумчиво-безмолвен я стоял.
«Кто обречен святому новоселью
Тобой в жильцы?» Судьбу я вопрошал.

И с первою блеснувшей мне денницей
Уж милый гость в той колыбели был;
Он в ней лежал под царской багряницей,
Прекрасен, тих, как божий ангел мил.

Года прошли — и мой расцвел младенец,
Прекрасен, тих, как божий ангел мил;

И мнится мне, что неба уроженец
Утехой в нем на землю прислан был.

Его-то я порою здесь встречаю,
Как чистую Поэзию мою;
Им иногда я душу воскрешаю;
При нем подчас, забывшись, и пою.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О ТОМ, КАК РЫЦАРЬ ПРИЕХАЛ В ХИЖИНУ РЫБАКА

Лет за пятьсот и поболе случилось, что в ясный, весенний
Вечер сидел перед дверью избушки своей престарелый,
Честный рыбак и починивал сеть. Сторона та, в которой
Жил он, была прекрасное место. Тот луг, где стояла
Хижина, длинной косою входил в широкое лоно
Моря: и можно было подумать, что берег душистый
В светлолазурные, чуднопрозрачные воды с любовью
Нежной теснился; что море, влажной, трепещущей грудью
Нежно прижавшись к нему и его обнимая, пленялось
Свежестью шелковой зелени, блеском цветов и прохладой
Темных сеней древесных. Правда, в краю том немного
Было людей: рыбак с женою и только; дремучий
Лес отделял полуостров от твердой земли. И ужасен
Был тот лес своей темнотой неприступной; и слухи
Страшные были об нем в народе; там было нечисто:
Злые духи гнездилися в нем и пугали прохожих
Так, что не смели и близко к нему подходить. Но смиренный,
Старый рыбак не боялся враждебных духов; на продажу
Рыбу носил он в город, лежавший за́ лесом; полон
Набожных мыслей, входил он в его глубину, и ни разу
Там ничего он не встретил, хранимый небесною силой.
Сидя беспечно в тот вечер за неводом, вдруг он услышал
Шум в лесу, как будто бы топот коня и железной
Брони звук; он слушает; шум приближается; робость
Им овладела, и всё, что до тех пор в ненастные ночи
Снилось ему о таинственном лесе, представилось разом
Мыслям его; особливо ж один великанского роста,
Белый, всегда головою странно кивающий. В темный
Лес он со страхом глядит, и ему показалось, что в самом
Деле сквозь черные ветви смотрит кивающий призрак.
Вспомнив однако, что всё никакой еще не случилось
С ним беды ни в лесу, ни в избушке, в которой так долго
Жил он с женою вдвоем, что нечистый над ними не властен,

Он ободрился, прочел молитву, и сделалось скоро
Даже ему и смешно, когда он увидел, какую
Шутку с ним глупая робость сыграла: кивающий образ
Был не что иное, как быстрый ручей, из средины
Леса бегущий и с пеной впадающий в озеро; шум же,
Слышанный им, был от рыцаря: шагом на белом
Бодром коне из чащи лесной он ехал и прямо
К хижине их приближался. Плащем пурпурным
Был покрыт его фиолетовый, золотом шитый,
Стройный колет; на бархатном черном барете вилися
Белые перья; висел у бедра на цепи драгоценной
Меч с золотой рукоятью искусной работы; а белый
Рыцарев конь был статен, силен и жив; он, копытом
Легким едва к луговой мураве прикасаясь, воздушной
Поступью шел и, сгибая красивую шею как лебедь,
Грыз узду, облитую пеной. Старик, пораженный
Видом статного рыцаря, невод покинул и, снявши
Шляпу, смотрел на него с приветной улыбкой. Приближась,
Рыцарь сказал: «Могу ль я с конем найти здесь на эту
Ночь убежище?» — «Милости просим, гость благородный;
Лучшим стойлом будет коню твоему наш зеленый
Луг, под кровлей ветвистых дерев; а вкусную пищу
Сам он найдет у себя под ногами; тебе ж мы охотно
Угол очистим в нашем убогом жилище и ужин
Скудный с тобою разделим». И рыцарь, кивнув головою,
Спрыгнул с коня, его разнуздал и по свежему лугу
Бегать пустил; потом сказал рыбаку: «Ты охотно,
Добрый старик, принимаешь меня, но когда б и не столько
Был ты сговорчив, то всё бы со мной не разделался нынче:
Море, вижу я, здесь перед нами, и дале дороги
Нет никакой; а вечером поздно в этот проклятый
Лес возвращаться, избави боже!» — «Не станем об этом
Слишком много теперь говорить», — сказал озираясь
Старый рыбак и в хижину ввел усталого гостя.
Там, перед ярким огнем, горевшим в камине и в чистой
Горнице трепетный блеск разливавшим, на стуле широком
С спинкой резною сидела жена рыбака пожилая.
Гостя увидев, старушка встала, ему поклонилась
Чинно и села опять, ему отдать не подумав
Место свое. Рыбак, засмеявшись, сказал: «Благородный
Рыцарь, прошу не взыскать, что хозяйка моя свой покойный
Стул для себя сберегла: у нас такой уж обычай;
Лучшее место всегда старикам уступается». — «Что ты,

Дедушка! — с кроткой усмешкой сказала хозяйка; — ведь гость наш
Верно такой же христов человек, как и мы, и придет ли,
Сам ты скажи, молодому на ум, чтоб ему уступали
Старые люди лучшее место. Садися, мой добрый
Рыцарь, на эту скамейку, — она продолжала, — да только
Тише сиди, не ворочайся, ножка одна ненадежна».
Рыцарь взял осторожно скамейку, придвинул к камину,
Сел, и сердцу его так стало приютно, как будто б
Был он у милых родных, возвратяся из чужи в отчизну.
Стали они разговаривать. Рыцарь разведать о страшном
Лесе хотел, но рыбак ночною порою боялся
Речь о нем заводить; зато о своей одинокой
Жизни и промысле трудном своем рассказывал много.
С жадностью слушали муж и жена, когда говорил им
Рыцарь о том, как в разных землях он бывал, как отцовский
Замок его у истоков Дуная стоит, как прекрасна
Та сторона; он прибавил: «Меня называют Гульбрандом,
Имя же замка Рингштеттен». — Но так говоря, не однажды
Рыцарь слышал какой-то шорох и плеск за окошком,
Точно как будто водой кто опрыскивал стекла снаружи.
Всякий раз с досадой нахмуривал брови, послышав плесканье,
Старый рыбак; но когда же как ливнем вдруг обдало стекла,
Так, что окно зазвенело и в горницу брызги влетели,
С сердцем вскочил он и крикнул в окошко с угрозой: «Ундина!
Полно проказничать; стыдно; в хижине гости». При этом
Слове стало там тихо, лишь изредка слышен был легкий
Шопот, как будто бы кто потихоньку смеялся. «Почтенный
Гость, не взыщи, — сказал рыбак, возвратившись на место: —
Может быть шалостей много еще ты увидишь, но злого
Умысла нет у нее. То наша дочка Ундина,
Только не дочка родная, а найденыш; сущий младенец,
Всё проказит, а будет ей лет уж осьмнадцать; но сердце
Самое доброе в ней». Покачав головою, старушка
Молвила: «Так говорить ты волен; когда ты усталый
С ловли приходишь домой, то тебе на досуге забавны
Эти проказы; но, с утра до вечера дома глаз-на-глаз
С нею пробыв, от нее не добиться путного слова —
Дело иное; уж тут и святой потеряет терпенье». —
«Полно, старуха, — рыбак отвечал; — ты бьешься с Ундиной,

Я с причудливым морем: ты знаешь, как часто мой невод
Портит оно и плотины мои размывает, а всё мне
Любо с ним; тоже и ты, хоть порою и охнешь, однако
Всё Ундиночку любишь. Не так ли?» — «Что правда, то правда;
Вовсе ее разлюбить уж нельзя», — кивнув головою,
Кротко сказала старушка. Вдруг растворилася настежь
Дверь; и в нее белокурая, легкая станом, с веселым
Смехом впорхнула Ундина, как что-то воздушное. «Где же
Гости, отец? Зачем ты меня обманул?» Но, увидя
Рыцаря, вдруг замолчала она, и глаза голубые,
Вспыхнув звездами под сумраком черных ресниц, устремились
Быстро на гостя, а он, изумленный чудным явленьем,
Был как вкопанный, жадно смотрел на нее и боялся
Взор отвести: он думал, что видит сон, и вглядеться
В образ прекрасный спешил, пока он не скрылся. Ундина
Долго смотрела, пурпурные губки раскрыв, как младенец;
Вдруг встрепенувшися резвою птичкой, она подбежала
К рыцарю, стала пред ним на колена и, цепью блестящей,
К коей привешен был меч, играя, сказала: «Прекрасный,
Милый гость, какою судьбой очутился ты в нашей
Хижине? Долго ты по́ свету должен был странствовать прежде,
Нежели к нам дорогу найти? Скажи, через лес наш
Как ты проехал?» Но он отвечать не успел; на Ундину
Крикнула с сердцем старушка: «Оставь в покое, Ундина,
Гостя; встань и возьмись за работу». Ундина, ни слова
Ей не сказавши в ответ, схватила скамейку и, севши
Подле Гульбранда с своим рукодельем, тихонько шепнула:
«Вот где я буду работать». Старик, притворясь, что не видит
Новой проказы ее, хотел продолжать; но Ундина
Речь перебила его: «У тебя я спросила, мой милый
Гость, откуда приехал ты к нам? Дождусь ли ответа?» —
«Из лесу прямо приехал я, прелесть моя». — «Расскажи же,
Как ты в лесу очутился и что в нем чудного видел?»
Трепет почувствовал рыцарь, вспомнив о лесе; невольно
Он обратил глаза на окошко, в которое кто-то
Белый, ему показалось, глядел; но было в окошке
Пусто, за стеклами ночь густая чернела. Собравшись
С духом, рассказ он готов был начать, но старик торопливо
Молвил ему: «Недоброе время теперь нам об лесе
Речь заводить; расскажешь нам завтра». Услышавши это,

С места вскочила Ундина, и глазки ее засверкали.
«Нынче, не завтра он должен рассказывать! нынче,
теперь же!» —
Вскрикнула с сердцем она и, бровки угрюмо нахмурив,
Топнула маленькой ножкою об пол; и в эту минуту
Так забавно мила и прелестна была, что в Гульбранде
Вспыхнуло сердце, и он еще боле пленился смешною,
Детской ее запальчивостью, нежели резвостью прежней.
Но рыбак, рассердясь не на шутку, причудницу начал
Крепко журить за ее упрямство и дерзкую вольность
С гостем. Старушка пристала к нему. Тут Ундина сказала:
«Если браниться хотите со мной, а того не хотите
Сделать, о чем я прошу, так прощайте ж; одни оставайтесь
В вашей скучной, дымной лачужке». С сими словами
Прыгнула в двери она и в минуту во мраке пропала.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О ТОМ, КАК УНДИНА В ПЕРВЫЙ РАЗ ЯВИЛАСЬ В ХИЖИНЕ РЫБАКА

Рыцарь вскочил, за ним и рыбак, и бросились оба
В дверь, чтоб ее удержать, но напрасно: Ундина так быстро
Скрылась, что даже было нельзя догадаться, в какую
Сторону вздумалось ей побежать. Испуганным взором
Рыцарь спросил рыбака: что делать? — «Уж это не в первый
Раз, — рыбак проворчал: — такими побегами часто
Нас забавляет она; теперь опять мне придется
Целую ночь напролет без сна проворочаться с боку
На бок на жесткой постеле моей: ведь мало ль, что может
Встретиться ночью!» — «Зачем же медлить? Пойдем поскорее
Сами за нею». — «Труд бесполезный; ты видишь, какая
Тьма на дворе: куда мы пойдем? И кто угадает,
Где она спряталась?» — «Будем, по крайней мере, — прибавил
Рыцарь, — хоть кликать ее». И кричать он начал: «Ундина!
Где ты, Ундина?» Старик покачал головою: «Как хочешь,
Рыцарь, кричи, она не откликнется нам, а уж верно
Где-нибудь близко сидит; еще ты не знаешь, какая
Это упрямица». Так говоря, старик с беспокойством
В темную ночь глядел и не мог утерпеть, чтоб туда же
Вслед за Гульбрандом не крикнуть: «Ундиночка! милая! где ты?»
Правду однако он предсказал: никакой там Ундины
Не было. Долго кричав понапрасну, они наконец возвратились
Оба в хижину; там уж было темно́, и старушка,
Менее мужа о том, что с Ундиной случится, заботясь,
Спать улеглась, и в камине огонь, догоревши, потухнул;
Только немногие уголья тлели, и синее пламя,
Изредка вспыхнув, трепещущий свет разливало и гасло.
Снова разведши огонь, рыбак наполнил большую
Кружку вином и поставил ее перед гостем. — «Мы оба,

Рыцарь, едва ли заснем; так не лучше ли будет, когда мы,
Вместо того чтоб в бессоннице жесткой рогожей
Грешное тело тереть, посидим у огня и за доброй
Кружкой вина о том и другом побеседуем? Как ты
Думаешь, добрый мой гость?» Гульбранд согласился
охотно.
Сесть принудив его на почетном оставленном стуле,
Честный старик поместился с ним рядом, и вот дружелюбно
Стали они разговаривать; только при каждом малейшем
Шорохе — стукнет ли что в окошко, и даже нередко
Просто без всякого стука и шороха — вдруг умолкали
Оба, и, палец поднявши, глаза неподвижно уставив
В двери, слушали, каждый шептал: идет! и не тут-то
Было; не шел никто; и, вздохнувши, они начинали
Снова свой разговор. «Расскажи мне, — сказал напоследок
Рыцарь, — как вам случилось найти Ундину?» — «А вот как
Это случилось, — рыбак отвечал: — тому уж двенадцать
Будет лет, как я с товаром моим через этот
Лес был должен отправиться в город; жену я оставил
Дома, как то бывало всегда, а в то время и нужно
Было ей дома остаться. Зачем, ты спросишь? Господь нам
В поздние наши лета даровал прекрасную дочку;
Как же было покинуть ее? Товар мой продавши,
Я возвращался домой, и, солгать не хочу, не случилось
Мне ничего, как и прежде, в лесу недоброго встретить;
Бог мне сопутствовал всякий раз, когда через этот
Страшный лес мне итти удавалось: а с ним и опасный
Путь неопасен». При этом слове старик с умиленным
Видом шапочку снял с головы и, руки сложивши,
В набожных мыслях минуты на две умолкнул; потом он
Шапочку снова надел и так продолжал: «Я с веселым
Сердцем домой возвращался, а дома ждало несчастье:
Вся в слезах навстречу ко мне жена прибежала.
«Царь небесный! что случилось? — я воскликнул. —
Где наша
Дочка?» — «Она у того, чье имя ты в эту минуту,
Бедный мой муж, призываешь», — жена отвечала. И, молча,
Горько заплакав, пошел я за нею в хижину; тела
Милой малютки моей я глазами искал там, но тела
Не было. Вот как это случилось: с нашим младенцем
Подле воды на траве жена спокойно сидела;
С ним в беззаботном весельи играла она; вдруг малютка
Сильно к воде протянулась, как будто чудесное что-то

В светлых приметя струях; и видит жена, что наш милый
Ангел смеется, ручонками что-то хватая; но в этот
Миг как будто какой невидимой силой швырнуло
В волны дитя, и в их глубине бедняжка пропала.
Долго я тела искал, но напрасно, нигде и приметы
Не было. Вот мы, на старости две сироты, в безотрадном
Горе сидели в тот вечер вдвоем у огня и молчали:
Если б и можно было от слез говорить, то не стало б
Духу; и так мы оба молчали, глаза устремивши
В тусклый огонь; как вдруг в дверях послышался легкий
Шорох; они растворились — и что же видим мы? Чудной
Прелести девочка, лет шести, в богатом уборе,
Нам улыбаясь как ангел, стоит на пороге. Сначала
Мы в изумленьи не знали, живой ли то был человечек
Или обманчивый призрак какой; но скоро приметил
Я, что вода с золотых кудрей и с платья малютки
Капала: я подумал, что верно младенец недавно
Был в воде, и что скорая помощь нужна. И, вздохнувши,
Так сказал я жене: «Никто не подумал спасти нам
Милое наше дитя; по крайней мере мы сами
Сделаем то для других, чего не могли нам другие
Сделать, и что на земле блаженством было бы нашим».
Мы раздели малютку, ее положили в постель, и напиться
Дали горячего ей; а она всё молчала, и только,
Светлонебесными глазками глядя на нас, улыбалась.
Скоро заснула она, и свежа, как цветочек весенний,
Утром проснулась; когда ж мы расспрашивать стали, откуда
Родом она и как попала к нам в хижину, толку
Не было в странных ответах ее никакого; и вот уж
Ровно двенадцать лет, как с нами живет, а добиться
Путного мы не могли от нее ничего; по рассказам
Вздорным ее подумать легко, что она к нам упала
Прямо с луны: о каких-то замках прозрачных, жемчужных
Гротах, коралловых рощах и разных других небылицах
Всё твердит и теперь, как твердила тогда; удалося
Выведать только одно, что, катаясь по морю в лодке
С матерью, в воду упала она, и что волны на здешний
Берег ее принесли, где она и очнулась... В сомненьи
Тяжком осталися мы: хотя и было не трудно
Нам решиться, на место родной потерянной дочки,
Взять чужую, нам данную богом самим; но не знали
Мы, крещена ли она иль нет? Сказать же об этом
Нам ничего не умела бедняжка, хотя и понятно

Было ей, что она жила по воле господней
В здешнем свете, хотя и была смиренно готова
Всё то исполнить, что с волей господней согласно.

И вот что
Мы в таком затрудненьи придумали вместе с женою:
Если она еще не была крещена, то не должно
Медлить минуты; а если уже крещена, то и дважды
Долг святой совершить не будет греха. Но какое
Дать ей имя? И в ум нам пришло, что ее Доротеей
Было б всего приличней назвать: мы слыхали, что

значит
Это имя *дар божий*, она же была милосердым
Господом богом дарована горести нашей в отраду.
Но об имени этом она и знать не хотела. «Ундиной
Звали меня отец мой и мать; хочу и остаться
Вечно Ундиной!» — Но было ли то христианское имя,
Мы не знали. И вот я пошел за священником в город;
Он согласился притти к нам; сначала имя Ундины
Было противно ему, как и нам; но наша малютка,
В платьице странном своем, была так чудесно красива,
Так ласкалась к нему и в то же время так мило,
Так забавно спорила с ним, что сам он не в силах
Был противиться ей — и ее окрестили Ундиной.
Сладостно было смотреть на нее в продолженье святого
Таинства: дикая резвость исчезла, и тихим, смиренным
Агнцем стояла она, как будто бы чувствуя, что с ней
В это время творилось. Но правду молвить, немало
С нею хлопот нам, и если бы всё рассказать мне...»

Но рыцарь
Тут перервал рыбака; он шепнул: «Послушай! послушай!
Что там?» Не раз уж во время рассказа был он встревожен
Шумом воды; но в эту минуту был явственно слышен
Рев потока, который бежал с возрастающей силой
Мимо хижины. Оба вскочили и бросились в двери;
В месячном свете открылося им, что ручей, выходящий
Из леса, сильно разлившись, ворочая камни, ломая
С треском деревья, в море бежал; и было всё небо,
Так же как море, взволновано; тучи горами катились
Мимо луны, поминутно ее заслоняя, и чудно
Вся окрестность под блеском и тьмой трепетала; при свисте
Вихря было внятно, как море свирепое голос
Свой воздымало, и как, скрыпя от вершины до корня,
Гнулись и шумно сшибались ветвями деревья. «Ундина!..

Царь мой небесный!.. Ундина!» — старик закричал; но ответа
Не было. Оба тогда побежали, забывши о буре,
Каждый своею дорогою к лесу, и громко при шуме
Ветра в ночной глубине раздавалось: Ундина! Ундина!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О ТОМ, КАК БЫЛА НАЙДЕНА УНДИНА

Странное что-то чувствовал рыцарь, скитаясь во мраке
Ночи, под шумом бури, один, в бесполезном исканьи:
Снова стало казаться ему, что Ундина лишь призрак,
В темном лесу его обманувший, была; и при свисте
Вихря, при громе воды, при треске деревьев, при чудном
Всей за минуту столь мирно-прекрасной страны
превращеньи,
Начал он думать, что море, луг, источник, рыбачья
Хижина, старый рыбак и всё, что с ним ни случилось,
Было обман; но жалобный крик старика, зовущий Ундину,
Всё ему издали слышался. Вот наконец очутился
Он на самом краю лесного ручья, который в разливе
Бурном своем бежал широкою, мутной рекою,
Так, что от леса отрезанный мыс, на котором стояла
Хижина, сделался островом. Боже! рыцарь подумал,
Что, когда Ундина отважилась в лес, и назад ей
Нет оттуда дороги, и там у злых привидений
Плачет она одна в темноте? От ужаса вскрикнув,
Он поспешно поднял с земли огромный дубовый,
Бурей оторванный сук, чтоб, держась за него, перебраться
В лес через воду. Хотя и сам он дрожал, вспоминая
Всё, что там видел прошедшим днем; хотя и казалось
В эту минуту ему, что стоял там, ровен с деревами,
Белый, слишком знакомый ему великан и, оскалив
Зубы, кивал ему головою — но самый сей ужас
Только что с бо́льшею силою влек его в лес: там Ундина
В страхе, одна, без защиты была. И вот уж ступил он
Смелой ногою в кипучую воду, как вдруг недалеко
Сладостный голос сказал: «Не ходи, не ходи, берегися
Злого потока; старик сердит и обманчив». Знакомы
Рыцарю были прелестные звуки; они замолчали;
Он же стоял в воде, озирался и слушал; но месяц
Темной задернуло тучей и волны быстро неслися,

Ноги его подмывая, и он, через силу держася,
Был как в чаду, и кружилась его голова; и глазами
Долго искав в темноте, наконец он воскликнул: «Ундина!
Ты ли? Где ты? Если не хочешь явиться, я бропусь
Сам в поток за тобой; откликнись; мне лучше погибнуть,
Нежели быть без тебя». — И глубже в воду пошел он.
Тот же голос и так же близко сказал: «Оглянися!»
В эту минуту вышел месяц из тучи, и рыцарь
В блеске его увидел Ундину. Был маленький остров
Подле берега быстрым разливом ручья образован;
Там, под навесом деревьев густых, в траве угнездившись,
Призраком светлым сидела Ундина. Было нетрудно
В этом месте поток перейти, и Гульбранд очутился
Вмиг близ Ундины на мягкой траве; она ж, приподнявшись,
Руки вкруг шеи его обвила и его поневоле
Рядом с собой посадила. «Теперь ты расскажешь мне, милый,
Повесть свою, — шепнула она; — мы одни; старики нас
Здесь не услышат и скучным своим ворчаньем не могут
Нам помешать; а эта густая, древесная кровля
Стоит их хижины дымной». — «Здесь рай, Ундина!»
воскликнул
Рыцарь, прижавши ко груди ее с поцелуем горячим.
В эту минуту рыбак, проискавши напрасно Ундину,
К месту тому подошел и увидел их с берега. «Рыцарь! —
Он закричал, — непохвальное дело ты делаешь; нами
Был ты доверчиво принят; а ты теперь, обнимаясь
С нашей дочкой, шепчешься с нею тайком, и оставил
В страхе меня старика одного по-пустому за нею
Бегать в потемках». — «Я сам, — ответствовал рыцарь, —
лишь только
В эту минуту встретился с нею». — «Тем лучше; скорее ж
Оба ко мне перейдите сюда на твердую землю».
Но Ундина о том не хотела и слышать; и лучше
В страшный лес она соглашалася с милым, прекрасным
Гостем пойти, чем в несносную хижину, где не хотели
Делать того, о чем просила она, и откуда
Рано иль поздно прекрасный гость удалится. Прижавшись
Крепко к нему, она гармонически, тихо запела:
«В душной долине волна печально трепещет и бьется;
Влившися в море, она из моря назад не польется».
Горько заплакал рыбак, услышав ту песню; ее же
Слезы его как будто не трогали; к рыцарю с детской
Лаской она прижималась. Но рыцарь сказал ей: «Ундина,



Иллюстрация к «Ундине» Лео Майделя

Разве не видишь, как плачет отец? Не упрямься ж; нам должно,
Должно к нему возвратиться». В немом изумленьи Ундина
Быстро свои голубые глаза на него устремила,
Кротко сказала потом: «Когда ты так думаешь, милый,
Я согласна». И с видом покорным, глаза опустивши,
Встала она; и, на руки взявши ее, безопасно
Рыцарь поток перешел. Старик со слезами на шею
Кинулся к ней и в радости был как дитя; прибежала
Скоро к ним и старушка; свою возвращенную дочку
Нежно они целовали; упреков не было; в добром
Сердце Ундины всё так же утихло, и их обнимала
С лаской сердечной она, просила прощенья, смеялась,
Плакала, милые все имена им давала. А утро
Тою порой занялось, и буря умолкла, и птицы
Начали петь на свежих, дождем ожемчуженных ветках;
Стало светло, и опять приступать принялася Ундина
К рыцарю с просьбой, чтоб начал рассказ свой. И так согласились
Завтрак принесть под деревья. Ундина проворно уселась
Подле Гульбрандовых ног на траве; другого же места
Выбрать никак не хотела; и рыцарь рассказывать начал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С РЫЦАРЕМ В ЛЕСУ

«Вот уж боле недели, как я в тот вольный имперский
Город, который лежит за вашим лесом, приехал;
Там был турнир, и рыцари копья ломали усердно.
Я не щадил ни себя, ни коня. Подошедши к ограде
Поля, дабы отдохнуть от веселой работы, я шлем свой
Снял и отдал его щитоносцу; и в эту минуту
Вижу на ближнем алтане девицу, в богатом уборе,
Чудной прелести. Это была молодая Бертальда —
Мне сказали — питомица знатного герцога, в ближнем
Замке живущего. Мне показалось, что с ласковым видом
Смотрит она на меня, и во мне загорелась двойная
Бодрость; усердно бился я прежде, но с этой минуты
Дело пошло уж иначе. А вечером с нею одною
Я танцовал; и так продолжалось во все остальные
Дни турнира». — В эту минуту почувствовал рыцарь
Сильную боль в опущенной левой руке; оглянувшись,
Видит он, что Ундина, жемчужными зубками стиснув
Палец ему, сердито нахмурила бровки и в глазках,
Ярко светившихся, бегали слезки; потом на Гульбранда
С грустным упреком взглянув, она ему погрозила
Пальцем; потом вздохнула, потом наклонила головку.
Рыцарь, смутившись, умолк на минуту; потом он рассказ свой
Так продолжал: «Бертальда прекрасна, нельзя не признаться;
Но чересчур уж горда и причудлива; мне во второй раз
Нравилась мене она, чем в первый, а в третий раз мене,
Чем во второй. Однако мне показалось, что боле
Всех других я замечен был ею, и это мне льстило.
Вот мне вздумалось в шутку ее попросить, чтоб перчатку
Мне свою подарила она. «Подарю, — отвечала
С гордой усмешкой Бертальда, — если осмелишься, рыцарь,
Съездить один в заколдованный лес наш, и верные вести
Мне принесешь о том, что в нем происходит». Перчатка
Мне дорога не была; но было бы рыцарю стыдно

Вызов такой от себя отклонить, и я согласился.
«Разве тебя не любила она?» — спросила Ундина.
«Я ей нравился, — рыцарь ответствовал, — так мне казалось». —
«О! так она сумасшедшая, — вскрикнула громко Ундина,
С радостным смехом захлопав в ладоши. — Кто ж не безумный
С милым себя разлучит и его добровольно в волшебный
Лес на опасное дело пошлет? От меня б не дождался
Этот лес такой неслыханной почести». — «Рано
Утром вчера, — продолжал Гульбранд, улыбнувшись Ундине, —
Я отправился в путь. Спокойно сияли деревья
В блеске зари, полосами лежавшем на зелени дерна;
Было свежо; благовонные листья так сладко шептались.
Всё так манило под сумрак прозрачный, что я поневоле
Злился на глупых людей, которым страшилища в райском
Месте таком могли померещиться. Въехал я в чащу;
Мало-по-малу всё стало пустынно и тихо; густея,
Лес предо мной и за мною сдвигался, как будто хватая
Тысячью рук волшебных меня. Опасаясь возвратный
Путь потерять, я коня удержал: посмотреть, высоко ли
Было солнце, хотел я; глаза подымаю и что же
Вижу? Черное что-то копышется в ветвях дубовых.
Я подумал, что то был медведь; обнажаю поспешно
Меч. Но вдруг человеческим голосом, диким, визгливым,
Мне закричали: «Ты кстати пожаловал; милости просим;
Мы уж и веток сухих наломали, чтоб было на чем нам
Вашу милость изжарить». Потом, с отвратительно-диким
Смехом оскаливши зубы, чудовище так зашумело
Ветвями дуба, что конь мой, шарахнувшись, бросился мимо
Вскачь, и я не успел разглядеть, какой там гнездился
Дьявол». При имени этом рыбак и старушка с молитвой
Перекрестились; Ундина ж тихонько шепнула: «Всего здесь
Лучше, по-моему, то, что ты не изжарен, мой милый
Рыцарь, и то, что ты с нами. Рассказывай далее». —
«Конь мой
Мчался, как бешеный, — рыцарь сказал; — им владеть не имел я
Силы; вдруг перед нами стремнина, и скачет со мной он
Прямо в нее; но в самое ж это мгновение кто-то
Длинный, огромный, седой, перерезавши нашу дорогу,
Вдруг перед диким конем повалился, и конь, отшатнувшись,

Стал и снова я им овладел. Озираюся — что же?
Мой спаситель был не седой великан, а блестящий
Пенный ручей, бежавший с холма». — «Благодарствую,
милый,
Добрый ручей», — закричала, захлопав в ладоши, Ундина.
Тяжко вздохнув и нахмурясь, рыбак покачал головою.
Рыцарь рассказывал дале: «Собрав повода, укрепился
Я на седле. Вдруг вижу, какой-то стоит человечек
Рядом с конем, отвратительный, грязный горбун, земляного
Цвета лицо, и нос огромный такой, что, казалось,
Был он длиною со все остальное тело урода.
Он хохотал, оскаливал зубы, шаркал ногами,
Гнулся в дугу. Я его оттолкнул и, коня повернувши,
Был готов пуститься в обратный путь (уж склонилось
Солнце, покуда я мчался, далеко за полдень); но карлик,
Прянув как кошка, дорогу коню заслонил. «Берегися, —
Я закричал, — раздавлю». Но урод, исковеркавшись снова,
Начал визжать: «Сперва заплати за работу; ты в пропасть
Вместе с конем бы слетел, когда бы не я подвернулся». —
«Лжешь ты, кривляка, — сказал я, — не ты, а этот источник
Нас сохранил от паденья. Но вот тебе деньги; оставь нас,
Дай дорогу». И бросив одну золотую монету
В шапку уроду, поехал я шибче; но снова явился
Рядом со мной он; я шпорю коня; конь скачет, но сбоку
Скачет и карлик, кривляясь, коверкаясь, с хохотом, с
визгом,
Высунув красный с локоть длиною язык. Чтоб скорее
С ним развязаться, бросаю опять золотую монету
В шапку ему; но, с хохотом диким оскаливши зубы,
Начал кричать он: «Поддельное золото! золота много
Есть у меня! погляди! полюбуйся!» — И в эту минуту
Мне показалось, что вдруг просветлела земная утроба;
Дерн изумрудом прозрачным сделался; взор мой свободно
Мог сквозь него проницать в глубину; и тогда мне
открылась
Область подземная Гномов: они гомозились, роились,
Комкались в клубы, вились, развивались, сгребали металлы,
Сыпали в кучи рубин и сапфир и смарагд, и пускали
Вихри песка золотого друг другу в глаза. Мой сопутник
Быстро метался то вниз, то вверх; и ему подавали
Слитки огромные золота; мне показав их со смехом,
Каждый он в бездну бросал, и, из пропасти в пропасть
со звоном

Падая, все в глубине исчезали. Тогда он монету,
Данную мною, швырнул с пронзительным хохотом в бездну;
Хохотом, шиканьем, свистом ему отвечали из бездны.
Вдруг взгомозилися все и, толпяся, толкаясь, полезли
Кверху, когтистые, пылью металлов покрытые пальцы
Все на меня растопорщив; вся пропасть, казалось, кипела
Куча за кучей, гуще и гуще, ближе и ближе...
Ужас меня одолел; дав шпоры коню, без оглядки
Я поскакал... и не знаю, долго ль скакал; но, очнувшись,
Вижу, что нет никого; привиденья исчезли; прохладно
Было в лесу, и вечер уже наступил. Сквозь деревья
Бледно мелькала тропинка, ведущая из лесу в город.
Въехать спешу я на эту тропинку; но что-то седое,
Зыбкое, дым не дым, туман не туман, поминутно
Вид свой меняя, стало меж ветвей и мне заслонило
Путь; я пытаюсь объехать его, но куда ни поеду,
Там и оно; рассердившись, скачу напролом; но навстречу
Прыщет мне пена, и ливнем холодным я обдан, и рвется
Конь мой назад; ослеплен, промочен до костей, я бросаюсь
Вправо и влево, но всё не могу попасть на тропинку,
Белый никак на нее не пускает меня. Попытаюсь
Ехать обратно — за мной по пятам он, но смирен и волю
Путь продолжать мне дает; но лишь только опять на тропинку
Взъеду — он тут, и опять заслоняет ее, и холодной
Пеной меня обдает. Наконец поневоле я выбрал
Ту дорогу, к которой меня он теснил так упорно;
Он унялся, но всё от меня не отстал, и за мною
Бледнотуманным столбом подвигался; когда же случалось
Мне оглянуться, то чудилось мне, что этот огромный
Столб с головой, что в меня упирались тускло и зорко
С чудным каким-то миганьем глаза, и кивала
Всякий раз голова, как будто меня понукая
Ехать вперед. Но порою мне просто казалось, что этот
Странный гонитель мой был лесной водопад. Наконец я,
Выехав из лесу, здесь очутился и встретился с вами,
Добрые люди. Тогда пропал и упрямый мой спутник». —
Рыцарь кончил рассказ свой. «Мы рады тебе, благородный
Гость наш, — сказал рыбак, — но пора и о том нам подумать,
Как бы тебе возвратиться в город». Ундина, услышав
Эти слова, начала про себя тихомолком смеяться
С видом довольным. То рыцарь заметив, сказал ей: «Ундина,
Разве ты рада разлуке со мною? Чему ты смеешься?» —

«Я уж знаю чему, — отвечала Ундина. — Отведай
Этот сердитый поток переплыть — верхом иль на лодке,
Как угодно — ан нет, не удастся! а морем... давно я
Знаю, что этого сделать нельзя; и отец недалеко
В море уходит с лодкой своею. Итак, оставайся
С нами, рад ли, не рад ли. Вот чему я смеюся».
Рыцарь с улыбкою встал, чтоб видеть, так ли то было,
Что говорила Ундина; встал и рыбак; а за ними
Вслед и она. И подлинно, всё опрокинуто было
Бурей в лесу; поток разлился и стал полуостров
Островом. Рыцарь не мог о возврате и думать, и должен
Был поневоле он ждать, пока в берега не вольется
Снова поток. Возвращаяся в хижину рядом с Ундиной,
Он ей шепнул: «Что скажешь, Ундиночка? Рада ль, что
с вами
Я остаюся?» — «Полно, полно, — она проворчала,
Бровки нахмурив, — не вздумай тебя укусить я за палец
Ты бы не то рассказал нам об этой несносной Бертальде»

ГЛАВА ПЯТАЯ

О ТОМ, КАК РЫЦАРЬ ЖИЛ У РЫБАКА В ХИЖИНЕ

Может быть, добрый читатель, тебе случалося в жизни,
Долго скитавшись туда и сюда, попадать на такое
Место, где было тебе хорошо, где живущая в каждом
Сердце любовь к домашнему быту, к семейному миру
С новою силой в тебе пробуждалась; и снова ты видел
Край родимый; и все обаяния младости, блага
Первой, чистой любви на могилах минувшего снова
В прежней красе расцветали, и ты говорил, отдыхая:
Здесь живется сладко, здесь сердцу будет приютно.
Вспомнив такую минуту, когда очарованной думой
Ты обнимал безъименное, тайное — счастье земное,
Ты, читатель, поймешь, что должен был чувствовать рыцарь,
Вдруг поселившись в этом пределе, далёко от света.
Часто он с радостью тайной смотрел, как поток, свирепея,
День ото дня расширялся, и остров всё дале и дале
В море входил, разлучаяся с твердой землею; казалось,
Мир кончался за ним. На сердце рыцаря стало
Тихо, светло и легко. Рыбак был мудрец простодушный;
Зная людей, изведав тревоги житейские, бывши
Ратником сам в молодых летах, на досуге он много
Мог рассказать про войну и про счастье, несчастье земное;
Словом, он был живая летопись; время без скуки
Шло в разговорах меж старцем отжившим и юношей,
полным
Пламенной жизни: мудрость смиренная, прямо из жизни
Взятая здравым рассудком и верою в бога, вливалась
В душу Гульбранда и в ней поселяла блаженную ясность.
Бодрый старик промышлял попрежнему рыбною ловлей;
Был не без дела и рыцарь: в хижине к счастью нашелся
Старый доспех рыбака, самострел; его починивши,
С ним ежедневно рыцарь ходил на охоту; а вечер
Вместе все перед ярким огнем проводили, и полный
Кубок тогда частенько постукивал в кубок: в запасе

Было вино и нередко с ним длилась беседа до поздней
Ночи. Но мирной сей жизни была душою Ундина.
В этом жилище, куда суеты не входили, каким-то
Райским виденьем сияла она: чистота херувима,
Резвость младенца, застенчивость девы, причудливость
Никсы,
Свежесть цветка, порхливость Сильфиды, изменчивость
струйки...
Словом, Ундина была несравненным, мучительно-милым,
Чудным созданьем; и прелесть ее проницала, томила
Душу Гульбранда, как прелесть весны, как волшебство
Звуков, когда мы так полны болезненно-сладкою думой.
Но вертлявый, проказливый нрав и смешные причуды
Ундины
Были подчас и докучливой мукой; зато и журили
Крепко ее старики; и тогда шалунья так мило
Дулась на них, так забавно ворчала; потом так сердечно
С ними, раскаясь, мирилась; потом проказила снова, и снова
Ей доставалось; и всё то было волшебною, тайной
Сетью, которою мало-по-малу опуталось сердце
Рыцаря. С нею он стал неразлучен; с каждою мыслью,
С каждым чувством слилась Ундина. Но, им обладая,
Той же силе она и сама покорялась; хотя в ней
Всё осталось попрежнему, резвость, причуды, упрямство,
Вздорные выдумки, детские шалости, взбалмошный хохот,
Но Ундина любила — любила беспечно, как любит
Птичка, летая средь чистого неба. Старик и старушка,
Видя Ундину и рыцаря вместе, невольно привыкли
Их почитать женихом и невестой. И рыцарю так же
Часто на мысль приходило, что в мир для него невозвратно
Вход загражден, что с людьми никогда уж ему не
встречаться.
Если ж случалось, что рыцарев конь, на свободе бродивший
По лугу, ржаньем своим его пробуждал и как будто
Спрашивал: скоро ли в битву? иль, если ему попадался
Брошенный щит на глаза, иль праздно на стенке висевший
Меч, ненароком сорвавшись с гвоздя, из ножен выдвигался
В звонком паденьи — дума о славе и подвигах бранных
Душу его шевелила. Но в этой тревоге себя он
Тем утешал, что возврат для него невозможен; к тому же
Мнилось ему, что Ундина была рождена не для низкой
Доли; и, словом, он верил, что всё то не случай, а божий
Промысел было. И так один за другим неприметно

Дни уходили, ясные, тихие. Но и в спокойном
Этом быту напоследок случилось расстройство: привыкли
Каждый вечер рыбак и рыцарь, отужинав, с полным
Кубком час другой проводить в разговоре радушном;
Вдруг недостало вина: запас рыбака небогатый
Вышел; а нового взять было негде. Наморщив
Лбы, сидели Гульбранд и рыбак за столом; а Ундина,
Глядя на них, умирала со смеху. Скучен и долог
Был тот вечер и рано все разошлись. На другой день
Около ужина вышла Ундина из хижины. «Вы мне
Оба несносны, — сказала она; — не хочу я на ваши
Длинные лица смотреть и слушать вашу зевоту».
С этим словом, захлопнула двери и скрылась. А вечер
Был ненастен, ветер шумел и море сердилось.
В страхе рыбак и рыцарь вскочили, вспомнив, как в первый
Раз они перепуганы были Ундиной. Но только
В двери за нею они собрались побежать, как Ундина
Им навстречу явилась сама. «За мною! за мною
Все! — закричала она, — гостинец прислало нам море;
Бочка и верно с вином лежит на песке». За Ундиной
Все пошли, и подлинно бочка нашлася; поспешно
Рыцарь, старик и с ними Ундина ее покатили
К хижине: буря сбиралась; сквозь сумерки было
Видно, как на море волны свои подымали седые
Головы, дождь вызывая из туч; и тучи бежали
Шибко и шумно, как будто грозяся напасть на идущих;
Вот уж начали сыпаться первые капли. Ундина
Вдруг повернула головку и, пальчик поднявши, сердито
Им погрозила туче и ей закричала: «Смотри ты,
Черная туча, не смей замочить нас; еще мы не дома».
С сердцем рыбак ей сказал: «Уймися, Ундина, грех!»

И, умолкнув,

Стала она про себя потихоньку смеяться. Однако
Засухо все добралися до места; но только успели
Бочку под кровлю поставить и вскрыть и отведать, какое
Было вино в ней, как дождь проливной зашумел, зашатались
С скрыпом деревья, и море дико завыло. Но бурю
В хижине скоро забыли; за полными кружками снова
Ум разогрелся и ожили шутки; и этой беседе
Прелесть двойную давал огонек, всегда столь приятный
В теплом приюте, при шуме ветра и моря, во время
Ночи ненастной. Но вдруг старик, как будто что вспомнив,
Стал задумчив; потом, помолчавши минуту, сказал он:

«Царь небесный, помилуй нас грешных! мы здесь на досуге
Шутим, за этим прекрасным вином веселяся; а бедный
Прежний хозяин его, быть может, погиб и, волнами
Брошенный бог весть куда, лишен погребенья». При этом
Слове Ундина с лукавой усмешкой подвинула кружку
К рыцарю. «Пей, не бойся», — она прошептала. Но рыцарь
За руку взял старика и воскликнул: «Я честью клянуся,
Если б могли мы его отыскать и спасти, то ночная
Буря помехою мне не была бы; с опасностью жизни
Я бы на помощь к нему побежал; зато обещаюсь,
Если когда возвращуся в край обитаемый, вдвое,
Втрое ему иль детям его заплатить за прекрасный
Этот напиток, который без воли его нам достался».
Добрый старик кивнул головою в знак одобренья;
В нем успокоилась совесть, и с бо́льшим вкусом он допил
Кружку. Но тут Ундина сказала Гульбранду: «Ты денег
Сколько угодно можешь за это вино рассорить; но бросаться
В воду и жизни своей не жалеть... вот это уж глупо —
Сказано было; а что же будет со мною, когда ты,
Милый, погибнешь? Не правда ль, не правда ль, ты лучше с Ундиной
Здесь останешься?» — «Правда, Ундиночка», — рыцарь с улыбкой
Ей отвечал. «Признайся ж, что глупо сказал ты; ведь каждый
Сам себе ближе; и что до других нам?..» Старушка, услышав
Это, тяжко вздохнула; а добрый рыбак, не стерпевши,
Начал кричать на Ундину: «У турков, у нехристей, что ли,
Выросла ты, прости мне, господи? Что за горячку
Снова ты нам говоришь, греховодница?» Вдруг замолчавши,
Робко Ундина прижалась к Гульбранду; потом прошептала:
«Что же такое сказала я им? Уж и ты не сердит ли,
Милый мой рыцарь?» Но рыцарь, пожавши ей руку, расправил
Кудри, упавшие кольцами ей на глаза, и ни слова
Ей не ответствовал: брань рыбака его оскорбила.
Так сидели все четверо, молча, нахмуривши брови;
Добрую четверть часа продолжалося это молчанье.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

О ТОМ, КАК РЫЦАРЬ ЖЕНИЛСЯ

Вдруг, шатнувшись, тихохонько стукнула дверь; и невольно
Вздрогнули все, как будто недоброе что-то почуя:
Страшный лес был близко, а к хижине доступ разливом
Был загражден человеку живому; кому же в такую
Позднюю пору зайти к ним? Они с беспокойством смотрели
Друг на друга. Снова послышался стук; и поспешно
Рыцарь схватился за меч. «Не поможет твой меч, —
сотворивши
Крест, рыбак прошептал, — когда здесь случается с нами
То, о чем и подумать боюсь я». Но в эту минуту
Прыгнула с места Ундина и в дверь закричала сердито:
«Кто там? Если то ваши проказы, духи земные,
Будет беда вам; мой дядя Струй вас порядком проучит».
Пуще прежнего все оробели, слова те услышав.
Друг на друга взглянули старик и старушка; а рыцарь
Встал и хотел уж Ундину спросить, но тут из-за двери
Голос сказал: «Я не дух, человек, христианин; впустите
Ради господа-бога меня». При этом поспешно Ундина
Дверь отперла и, подняв ночник, во внутренность темной
Ночи стала светить: престарелый священник стоял там.
Он, при виде Ундины, назад отступил, приведенный
В робость ее поразительной прелестью; в бедной лачужке
Встречу такой красоты он волшебством иль делом бесовским
Счел и воскликнул: «С нами господь и пречистая дева!» —
«Я не бес, — засмеявшись, сказала Ундина; — не бойся;
Милости просим, отец; войди, здесь добрые люди».
Патер вошел и ласково всем поклонился; приятен
Был он лицом; веселая кротость сияла во взорах.
Но по складкам длинного платья его, с распущённых
Белых волос и седой бороды катилися градом
Капли: его промочило дождем. В боковую каморку
Тотчас его отвели, чтоб раздеть; а старушка с Ундиной
Начали мокрое платье сушить на огне. С благодарным

Чувством услуги старик принимал; он, надев рыбаково
Верхнее платье, довольно потертое, вышел, и снова
Все за столом перед светлым камином уселись; старушка
Гостю сама уступила почетный стул, а Ундина
В ноги ему свою скамейку подвинула. Рыцарь,
То увидя, шепнул ей шутливое слово; но с важным
Видом она отвечала: «Он божий служитель; не должно
Этим шутить». Поужинав, добрым вином подкрепивши
Силы свои, священник рассказывать начал, каким он
Образом свой монастырь, лежащий близ моря, вчерашним
Утром покинул. «Я был к епископу нашему в город
Послан, — сказал он; — хотя и есть по изгибу залива
Путь, но морем ближе; и я с гребцами надежными лодку
Нанял; с богом мы съездили; нынче ж поутру в обратный
Поплыли путь; но сделался ветер противный; а к ночи
Буря — и буря, какой мне ни разу видать не случалось;
Ветром вырвало весла из рук у гребцов; беспомощно
Были мы преданы морю, которого волны как щепку
Наш челнок подымали с хребта на хребет; и несло нас
Прямо сюда; сквозь туман и сквозь пену чернел
в отдаленьи
Этот берег: уж были мы близко; но бедную лодку
Нашу так и кружило; вдруг поднялась и на нас повалилась
С страшным шумом большая волна; и сам я не знаю,
Лодку ль она опрокинула, я ли выпал из лодки,
Только я вдруг очутился в воде. Господь не дозволил
Мне погибнуть... я был принесен невредимо на этот
Остров». — «Да, остров, — сказал со вздохом рыбак; — но
давно ли
Был он твердой землею? Как же не скажешь, что море
С нашим потоком бурлит заодно?» — «И сам я подумал
Что-то подобное, — патер сказал; — когда я тащился
Берегом вашим впотьмах, предо мною мелькнула тропинка;
Я по ней и пошел; но эта тропинка исчезла
Вдруг перед лесом; ее перерезал поток. Тут сверкнул мне
В вашей хижине свет и тотчас сюда повернул я.
Слава господу богу! меня он спас, да и к добрым
Людям еще мне путь указал; но зато уж отныне
Кроме вас никого на земле не встречать мне; отныне
В этом углу весь мир для меня заключен». — «Почему же?» —
Рыцарь спросил. «Да кто ж, — ответствовал патер, —
узнает,
Скоро ли кончится эта война беспорядочных стихий?

Я же стар, и силы мои конечно иссякнут
Прежде, чем этот разлившийся бурный поток; да случиться
Может и то, что день ото дня всё шире и шире,
Глубже и глубже он делаться будет, и вы напоследок
Так далеко от земли отодвинетесь в море, что в людях
Даже и память об вас совсем пропадет; и тем легче
Может это случиться, что вас от земли заслоняет
Лес дремучий; поток же, я видел, так дик и порывист,
Так широк, что и крепкому судну не будет возможно
Силы его одолеть». — «Сохрани нас господь и помилуй», —
Крест сотворивши, сказала старушка. «Чего же хозяйка
Так испугалась? — рыбак возразил. — Не то же ли будет
С нами, что было? Чудное дело желанья людские!
Разве не всё одни мы здесь жили? Ни разу во столько
Лет не ходила ты дале опушки нашего леса.
Кроме меня старика и Ундины, кого ты видала?
Ныне же стало у нас и людно: господь бог послал нам
Добрых гостей на житье. Пускай совсем разлучится
Остров наш с твердой землею и люди о нас позабудут,
Нам же прибыль». — «Что правда, то правда, — сказала
старушка; —
Только, признаться, мне как-то страшно подумать, что вечно
Нам уж с людьми не сойтись, что земле навсегда мы
чужие».
То услыша, Ундина прижалася к рыцарю, жаркой
Ручкой стиснула руку ему, и, уставивши глазки,
Полные острых лучей, на него, нараспев прошептала:
«Ты останешься с нами, ты останешься с нами».
Рыцарь молчал; он был очарован каким-то виденьем;
Был глубоко в себя погружен и, Ундиной, желанным,
Найденным счастием жизни полный в душе, не расслушал
Слов Ундины, проказницы резвой, сидевшей с ним рядом;
Миг настал роковой: священник своими словами
Все сомненья решил; всё дале и дале за темный
Лес убегал обитаемый свет; а остров цветущий,
Где так сладко жилось, всё свежей, зеленей, всё приютней
Сердцу его становился — невеста, как чистая роза,
Там расцветала; и к ним как будто бы свыше был послан
Божий священник: то явно было не случай. К тому же
Рыцарь заметил, как строго старик поглядел на Ундину
В ту минуту, когда, позабыв о служителе церкви,
Так беззаботно она к нему приласкалась. Ундину
Сильной рукой обхвативши, рыцарь встал и воскликнул:

«Честный отец, мы жених и невеста; во имя господне
Благослови нас, если дадут позволение эти
Добрые люди». Рыбак и старушка весьма изумились.
Правда, им часто входило на мысль, что такая развязка
Рано иль поздно случиться должна; но об этом молчали
Даже друг с другом они; и в это мгновение было
Вовсе нежданным для них предложение рыцаря. Долго
Слова ему отвечать они не умели. Ундина ж
Вдруг присмирела, задумалась, глазки потупила в землю.
Тою порою священник, спросясь с стариком и старушкой,
Начал готовить венчальный обряд; старушка, очистив
Наскоро горницу ту, где жила с рыбаком, отыскала
Две восковые свечки, которые были во время
Оно на свадьбе ее зажжены; а рыцарь из звеньев
Цепи своей золотой отделил два кольца, чтоб с невестой
Было чем обручиться. Всё устроив, священник
Брачные свечи зажег и сказал жениху и невесте:
Дайте руку друг другу. Ундина, как будто проснувшись,
Робко взглянула на рыцаря, вся покраснела и, руку
Давши ему, стыдливо и трепетно стала с ним рядом.
Кончив венчальный обряд, новобрачных отец их духовный
Перекрестил; старики ж молодую жену и Гульбранда
Обняли с чувством родительским, громко рыдая. Но в этот
Миг священник сказал: «Вы странные люди! не сами ль
Вы говорили, что этот остров безлюден, что кроме
Вас четверых не живет никого здесь? А я в продолженье
Службы, всё видел, что кто-то в это окошко, в широком
Белом платье, седой и длинный, глядел; за дверями
Верно стоит и теперь он и ждет, чтоб впустили». —
«Спаси нас
Дева пречистая божия матерь», — сказала старушка;
Молча рыбак покачал головою; а рыцарь к окошку
Бросился: не было там никого; но что-то в потемках,
Видел он, белой струею мелькнуло и скрылось. «Отец мой,
Ты ошибся», — сказал он священнику. Все беззаботно
С этим словом кругом огонька попрежнему сели.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В СВАДЕБНЫЙ ВЕЧЕР

Смирно стояла Ундина во всё продолженье обряда;
Но лишь только он кончился, вдруг, как будто волшебной
Силой какой, что ни было в ней причуд и беспутных
Выдумок, всё забродило и вспенилось; вдруг принялася
Всех тормошить, старика, старушку и рыцаря, не был
Даже и сам священник оставлен в покое. Суровым
Словом хотела хозяйка шалунью унять, как бывало; но рыцарь
С значущим взглядом назвал ее *своею женою;*
Та замолчала. И сам он однако таким поведеньем
Не был доволен; но тут ни его увещанья, ни ласки
Ниже упреки, ничто помочь не могло. Унималась,
Правда, она на минуту, когда замечала досаду
Рыцаря: нежно тогда к нему прижимаясь, ручонкой
Милой своею трепала его по щеке и шептала
На ухо слово любви с небесной улыбкой; но снова
С первою взбалмошной мыслию то ж начиналось и пуще,
Нежели прежде. Священник сказал напоследок: «Ундина,
Резвость такая забавна, но в эту минуту приличней
Было бы вам, новобрачной, подумать о том, как с душою
Данного богом супруга свою сочетать христиански
Душу». — «Душу? — смеясь закричала Ундина. — Такое
Слово приятно звучит; но много ли в этом приятном
Звуке смысла? А если кому души не досталось,
Что тому делать? Еще сама я не знаю, была ли,
Есть ли душа у меня?» Оскорбленный глубоко, священник,
Строго взглянув на нее, замолчал; испугавшись, Ундина
С детским смиреньем к нему подошла и шепнула: «Послушай,
Добрый отец, не сердися, мне это так грустно, так грустно,
Что и сказать не могу я; не будь же со мною, незлобным,
Робким созданьем, так строг; напротив того, с снисхожденьем

Выслушай то, что хочу исповедать искренним сердцем».
Видно было, что тяжкая тайна лежала на сердце Ундины;
Что-то хотела сказать, но вдруг побледнела и горько,
Горько заплакала. Все на нее с любопытством смотрели;
Что творилося с нею, не ведал никто. Напоследок
Слезы обтерла она и священнику, в сильном волненьи
Сжавши руки, сказала: «Отец мой, не правда ль, ужасно
Душу живую иметь? И не лучше ль, скажи мне, не лучше ль
Вечно пробыть без души?..» Она замолчала, уставив
Острый, расстроенный взор на священника. Все поднялися
С мест, как будто дичася ее; не дождавшись ответа,
С тяжким вздохом, она продолжала: «Великое бремя,
Страшное бремя душа! при одном уж ее ожиданьи
Грусть и тоска терзают меня; а доныне мне было
Так легко, так свободно». Она опять зарыдала,
Скрыла в ладони лицо и, свою наклонивши головку,
Плакала горько, а светлые кудри, скатясь на прекрасный
Лоб и на жаркие щеки, повисли густым покрывалом.
С строгим лицом подошел к ней священник; «Ундина, —
сказал он, —
Именем господа бога тебе говорю: исповедуй
Душу свою перед нами, и, если таится в ней злое,
Бог милосерд, он помилует». Тихим, покорным младенцем
Стала она перед ним на колена и, руки сложивши,
Набожно к небу глаза подняла, и крестилась, и, имя
Божие славя, твердила, что не было зла никакого
В сердце ее. Священник сказал, обратяся к Гульбранду:
«Рыцарь, вам поверяю я ту, с которою ныне
Сам сочетал вас: душою она беспорочна, но много
Чудного в ней. Примите мой добрый совет: осторожность,
Твердость, любовь; остальное на власть милосердого бога
С верой оставьте». Сказав, новобрачных священник
Перекрестил и вышел; за ним рыбак и старушка,
Также крестясь и молитву читая, вышли. Ундина
Всё еще на коленах стояла в молчаньи; когда же
Все удалились, она потихоньку лицом обернулась
К рыцарю, кудри раздвинула, мало-по-малу, как будто
В чувство входя, головку свою подняла и уныло
Очи лазурные, полные слез, на него устремила.
«Милый, ты верно также покинешь меня, — прошептала
Робко она, — но чем же я бедная, чем виновата?»
Руки ее так призывно, так жарко к нему поднялися,
Взоры ее так похожи на небо прекрасное стали,

Голос ее так глубоко из сердца раздался, что рыцарь
Всё позабыл и в порыве любви протянул к ней объятья;
Вскрикнула, вспрыгнула, кинулась к милому в руки Ундина,
Грудью прильнула ко груди его и на ней онемела.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ДРУГОЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Свежий утренний луч разбудил новобрачных; блаженством
Ясные очи Ундины горели; а рыцарь в глубокой
Думе молчал про себя; всю ночь он видел какой-то
Странный, мучительный сон: всё снилось ему, что хотели
Бесы его обольстить под видом красавиц, что в змеев
Адских красавицы все перед ним обращались. Проснувшись
В страхе, он начал смотреть недоверчиво: тут ли Ундина?
Нет ли в ней какой перемены?.. Но было всё тихо,
Буря кончилась; полный месяц светил, и Ундина
Сном глубоким спала, положивши горячую щеку
На руку; вольно дышала она и сквозь сон, как журчанье,
Шопот невнятный бродил по жарко-раскрывшимся губкам.
Видом таким успокоенный, рыцарь заснул, но в другой раз
Тот же сон! наконец засияла заря и проснулися оба.
Сон рассказавши, рыцарь просил, чтоб Ундина простила
Страх безрассудный ему. Вздохнувши, прекрасную руку
С грустью она ему подала, и ни слова; но сладкий,
Полный глубокой любовию взгляд, какого дотоле
Рыцарь в лазоревых глазках ее не встречал, безответно
Выразил всё. С довольным сердцем он встал и к домашним
Вышел; все трое сидели, молча, на лицах их видно
Было, что тяжко тревожило их ожиданье развязки;
Видно было, что внутренно бога священник молил: да поможет
Им защититься от козней врага. Но как скоро явился
С ясным лицом новобрачный, то вмиг и у них просияли
Души и лица; рыбак и старушка заплакали; к небу
Взор благодарный пóднял священник. Потом и Ундина
Вышла; они хотели пойти к ней навстречу, но стали
Все неподвижны: так знакома и так незнакома
Им в красоте довершенной она показалась. Священник
Первый к ней подошел; но лишь только он руку, чтоб дать ей

Благословение, поднял, она ему поклонилась
В землю и стала прощенья просить в словах безрассудных,
Сказанных ею вчера; потом примолвила: «Добрый
Друг, помолись о спасеньи моей души многогрешной».
Вставши, она обняла стариков, и то, что сказала
Им, так было полно души, так было их слуху
Ново, и так далеко от всего, что прежде пленяло
В ней, не касаясь до сердца, что оба они, зарыдавши,
Стали молиться вслух и ее называли небесным
Ангелом, дочкой родною; она же с сердечным смиреньем
Их целовала; такой и осталась она с той минуты:
Кроткой, покорной женою, хозяйкой заботливой, в то же
Время девственно-чистым, божественно-милым созданьем.
Рыцарь, старик и старушка, давно уж привыкнув к
причудам
Детским ее, всё ждали, что снова она, как и прежде,
Станет проказить, но в этот раз они обманулись:
Ангелом тихим осталась Ундина. Священник, любуясь
Ею, воскликнул: «Радуйтесь, рыцарь; господь милосердый
Вам даровал чрез меня недостойного редкое счастье;
Будет добро вам и в здешней и в будущей жизни, когда вы
Чистым его сохраните. Господь помоги вам обоим».
Около вечера, с нежностью робкой Ундина, взявши
Гульбранда
За руку, тихо его повлекла за собою на вольный
Воздух. Безоблачно солнце садилось, светя на зеленый
Дерн сквозь чащу дерев, за которыми тихо горело
Море вдали. Во взорах жены молодой трепетало
Пламя любви, как роса на лазурных листках; но казалось
Грустная тайна уста ей смыкала, порой выражаясь
Вздохом невнятным. В молчаньи она вела за собою
Рыцаря дале; когда же с ней говорил он, ответа
Не было, взор один отвечал; но в этом сердечном
Взоре целое небо любви и смиренья лежало.
Так подошли напоследок они к лесному потоку...
Что же рыцарь увидел? Разлив уже миновался;
Мелким ручьем стремился поток. «Он исчезнет
К утру совсем, — сказала Ундина, скрывая рыданье; —
Завтра кончится всё, и тебе уж препятствия боле,
Милый, не будет отсель удалиться, как скоро захочешь». —
«Вместе с тобою, Ундиночка», — рыцарь ответствовал.
«Это
В воле твоей, — шепнула она, усмехаясь сквозь слезы. —

Друг, я знаю, что ты Ундиночку любишь. Она же
Всею душою твоя, и навек. Но, милый, послушай,
Перенеси меня на руках на этот зеленый
Остров; там приютней. Хотя и самой мне сквозь волны
Было б не трудно туда проскользнуть, но, друг, мне так
сладко
Быть на руках у тебя. И, если нам должно расстаться,
То хоть в последние счастьем земным подышу я
Здесь у тебя на груди». И растроган, встревожен,
Рыцарь Ундину на руки взял и понес через воду.
Было то место знакомо, то был островок, на котором
Встретился рыцарь с Ундиною в бурю. Ее опустил он
Тихо на шелковый дерн и хотел поместиться с ней рядом.
«Нет, не рядом со мной, а против меня ты садися,
Милый, — сказала она: — хочу я прежде, чем словом
Будешь ответствовать мне, твой ответ в непритворных
Взорах твоих заране угадывать. Слушай. Ты должен
Знать, уж на деле узнал ты, что есть на свете созданья,
Вам подобные видом, но с вами различного свойства.
Редко их видите вы. В огне живут Саламандры,
Чудные, резвые, легкие; в недрах земли, неприступных
Свету, водятся хитрые Гномы; в воздухе веют
Сильфы; лоно морей, озер и ручьев населяют
Духи веселые вод. Прекрасно и вольно живется
Там, под звонкокристальными сводами; небо и солнце
Светят сквозь них; и небесные звезды туда проницают;
Там на высоких деревьях коралловых пурпуром ярким,
Темным сапфиром блистают плоды; там гуляешь по мягким
Свежим песочным коврам, узорами раковин пестрых
Хитро украшенным; многое, бывшее чудом минувших
Лет, облеченное тайным серебряных вод покрывалом
Видится там в величавых развалинах: влага с любовью
Их объемлет и в мох и цветы водяные их рядит,
Пышным венцом тростника их седые главы обвивает.
Жители стран водяных обольстительно-милы, прекрасней
Самых людей. Случалось не раз, что рыбак, подглядевши
Деву морскую — когда, из воды подымаяся тайно,
Пела она и качалась на зыбкой волне — повергался
В хладную влагу за нею. Ундинами чудные эти
Девы слывут у людей. И, друг, ты теперь пред собою
В самом деле видишь Ундину». Гульбранд содрогнулся;
Холод по членам его пробежал; неподвижен, как камень,
Молча и дико смотрел он в лицо рассказчицы милой,

Сил не имея очей отвести. Покачав головою,
Грустно замолкла она, вздохнула, потом продолжала:
«Видом наружным мы то же, что люди, быть может и лучше,
Нежели люди; но с нами не то, что с людьми; покидая
Жизнь, мы вдруг пропадаем как призрак, и телом и духом
Гибнем вполне, и самый наш след исчезает; из праха
В лучшую жизнь переходите вы; а мы остаемся
Там, где жили, в воздухе, искре, волне и пылинке.
Нам души не дано; пока продолжается наше
Здесь бытие, нам стихии покорны; когда ж умираем,
В их переходим мы власть, и они нас вмиг истребляют;
Веселы мы и нас ничто не тревожит, как птичек
В роще, рыбок в воде, мотыльков на лугу благовонном.
Всё, однако, стремится возвыситься: так и отец мой,
Сильный царь в голубой глубине Средиземного моря,
Мне, любимой, единственной дочери, душу живую
Дать пожелал, хотя он и ведал, что с нею и горе
(Всех, одаренных душою, удел) меня не минует.
Но душа не иначе дана быть нам может, как только
Тесным союзом любви с человеком. И, милый, отныне
Я с душою навеки; тебе одному благодарна
Я за нее, и тебе ж благодарна останусь, когда ты
Жизнь не осудишь мою на вечное горе. Что будет
С бедной Ундиной, когда ты покинешь ее? Но обманом
Сердце твое сохранить она не хотела. Теперь ты
Знаешь всё, и, если меня оттолкнуть ты решился,
Сделай это теперь же: один перейди на противный
Берег; я брошуся в этот поток — он мой дядя; издавна
В нашем лесу он свободную, чудную жизнь, как пустынник,
Розно с родней и друзьями проводит. Он силен и многим
Старым рекам и могучим потокам союзник. Принес он
Некогда к жителям хижины здешней меня беззаботным,
Ясным, веселым младенцем; и он же ныне отсюда
В дом отца моего меня отнесет измененным, живую
Душу приявшим созданьем, любящей, скорбящей женою».
Дале она говорить не могла; пораженный, плененный,
Рыцарь ее обхватил, и на руки поднял, и вынес
На берег; там перед небом самим повторил он обет свой:
С ней неразлучно жить на земле и делить всё земное.
В сладком согласии, за руки взявшись, медлительным шагом
В хижину оба пошли. И Ундина, глубоко постигнув
Благо святое души, перестала жалеть о прозрачном
Море и влажных жилищах отцовского чудного царства.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О ТОМ, КАК РЫЦАРЬ И ЕГО МОЛОДАЯ ЖЕНА ОСТАВИЛИ ХИЖИНУ

Рыцарь, проснувшись с зарей на другой день, весьма удивился,
Видя, что подле него Ундины нет, и снова он начал
Думать, что всё, происшедшее с ним в последнее время,
Было мечта. Но в эту минуту Ундина явилась;
Севши к нему на постель, сказала она: «Я ходила
В лес проведать, исполнил ли дядя свое обещанье?
Всё исполнено; воды свои он собрал и снова
Лесом бежит одинок, невидим и задумчиво шепчет;
Всех водяных и воздушных друзей распустил он, и стало
Тихо в лесу, и всё в порядке попрежнему; можем,
Милый, отправиться в путь, как скоро захочешь».

С каким-то
Странным чувством, похожим на робость, слушал Ундину
Рыцарь: ее родные были ему не по сердцу.
Но Ундина своею тихою прелестью снова
Сладкий покой возвратила ему и, любуясь с ней вместе
Зеленью берега, так благовонно, свежо и прозрачно
Светлою влагой объятого, рыцарь сказал: «Для чего же
Так нам спешить отсюда, Ундина? Уж верно не встретим
Мы нигде толь мирного счастья, каким насладились
В этом краю; побудем же здесь; никто нас не гонит». —
«Что ты, мой друг, прикажешь, то и будет, — сказала с покорным
Видом Ундина; — но слушай: моим старикам разлучаться со мною
Тяжко и так, а они еще не знают Ундины,
Новой, нежной, любящей, смиренной Ундины; и всё им
Мнится еще, что смиренье мое не надежней покоя
Вод; и меня легко позабудут они, как весенний
Цвет, как быструю птичку, как светлое облако; дай же,
Милый, в тот миг, как навек на земле нам должно расстаться,

Скрыть мне от них тобой сотворенную, верную душу.
Если же долее здесь мы пробудем, то буду ль уметь я
Так притвориться, чтоб им моя не открылася тайна?»
Рыцарь был убежден, и вмиг собралися в дорогу;
Снова коня оседлали; священник вызвался с ними
В город итти через лес и с рыцарем вместе Ундине
Сесть помог на седло. Обнялися; расстались; Ундина
Плакала тихо, но горько; добрый рыбак и старушка
Выли голосом, глядя за нею вслед и как будто
Вдруг догадавшись, какое сокровище в эту минуту
В ней потеряли. В грустном молчаньи вперед подвигались
Путники. Гущи лесной уж достигли они, и прекрасно
Было видеть в зеленой тени, на разубранном пышно
Гордом коне, молодую, робкую всадницу, справа
Старого патера в белой одежде, а слева, в богатом
Пестром уборе, прекрасного рыцаря. Бережно чащей
Леса они пробиралися. Рыцарь одну лишь Ундину
Видел; Ундина же влажные очи свои в упоеньи
Новой души на него одного устремляла, и скоро
Тихий, немой разговор начался между ними из нежных
Взглядов и вздохов. Но вдруг он был прерван каким-то
Шопотом странным: шел рядом с священником кто-то
четвертый,
К ним недавно проставший. Он-то шептал. Как священник
Был он в белом платье, лицо закрывалось каким-то
Странным, широким покровом, которого складки, как
волны,
Падали с плеч и стан обвивали: и он беспрестанно
Их поправлял, закидывал нá руку полы, вертелся,
Прыгал; но это ему ни итти, ни болтать не мешало.
Вот что шептал он в ту минуту, когда молодые
Вслушались в речи его: «Уж давно, давно, преподобный,
В этом лесу я живу, как у вас говорится, монахом;
Правда, я не пощусь, не спасаюсь, а просто мне любо
Жить на воле в глуши и в этом белом, волнистом
Платье под тенью густою разгуливать. Часто и солнце
Чудно сверкает по складкам моим; а когда я кустами
Крадусь, бывает такой веселый шорох, что сердце
Прыгает...» — «Вы человек замечательный,— молвил
священник, —
Я бы желал покороче узнать вас». — «А ты кто,
когда уж
Дело у нас пошло на расспросы?» — сказал незнакомец.

«Патер Лаврентий, священник Мариинской Пустыни». —
«Дельно;
Я же, просто сказать, свободный лесной обыватель;
Имя мне Струй; ремесла не имею; волен, как птица;
Нет у меня господина; гуляю и всё тут. Однако
Нужно мне кое-что молвить вот этой красавице». С этим
Словом он прянул к Ундине, вдруг вырос, и подле
Уха ее очутилась его голова. Но Ундина
В страхе его оттолкнула, воскликнув: «Поди поскорее
Прочь; я более с вами не знаюсь». — «О! о! да какая ж
Замужем стала она спесивая! с нами роднею
Знаться не хочет! Да кто же, скажи мне, пожалуй, не я ли,
Дядя твой Струй, малютку тебя на спине из подводной
Области на берег здешний принес? Позабыла?» — «Оставь
нас,
Именем бога тебя умоляю, — сказала Ундина; —
Ты мне страшен; ты сделаешь то, что и муж мой дичиться
Станет меня, как скоро увидит с такою роднею».—
«Здесь я недаром; хочу проводить вас, иначе едва ли
Вам через лес удастся пройти безопасно. А этот
Патер уж знает меня; говорит он, что будто
Был я в лодке, когда он в воду упал; и конечно
Был я в лодке; я в эту лодку прянул волною,
Вырвал его из нее и нá берег вынес, чтоб свадьбу
Можно было сыграть вам». Ундина и рыцарь при этом
Слове взглянули на патера: шел он, как будто в глубокий
Сон погруженный, не слыша того, что вблизи говорилось.
«Вот и лесу конец, — сказала дяде Ундина, —
Помощь твоя теперь не нужна, оставь нас, простимся
С миром; исчезни». Струй рассердился; он сделал такую
Страшную харю, и так глазами сверкнул, что Ундина
Громко вскрикнула; рыцарь выхватил меч и хотел им
В голову Струя ударить, но меч по волнам водопада
С свистом хлеснул, и в воде как будто шипящий
Хохот раздался; рыцаря обдало пеной холодной.
Патер, вдруг очнувшись, сказал: «Я предвидел, что это
С нами случится, лесной водопад был так близко; и
всё мне
Мнилось до сих пор, что он живой человек и как будто
С нами шепчет». И подлинно рыцарю на ухо внятно
Вот что шептал водопад: «Ты смелый рыцарь, ты бодрый
Рыцарь; я силен, могуч; я быстр и гремуч; не сердиты
Волны мои; но люби ты, как очи свои, молодую,

Рыцарь, жену, как живую люблю я волну...» и волшебный
Шопот, как ропот волны, разлетевшейся в брызги, умолкнул.
Кончился лес и вышли в поле они: там имперский
Город лежал перед ними в лучах заходящего солнца.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

О ТОМ, КАК ОНИ ЖИЛИ В ИМПЕРСКОМ ГОРОДЕ

В этом имперском городе все почитали погибшим
Нашего рыцаря, все сожалели о нем, а Бертальда
Боле других; она себя признавала причиной
Смерти его, и совесть терзала ей сердце, и милый
Рыцарев образ глубоко в него впечатлен был печалью.
Вдруг он явился, живой и женатый, а с ним и свидетель
Брака его, отец Лаврентий; весь город нежданным
Чудом таким приведен был в волненье; прелесть Ундины
Всех поразила, и слух прошел, что в лесу из-под власти
Злого волшебника рыцарь избавил ее, что породы
Знатной она. Но на все вопросы людей любопытных
Рыцарь ответствовал глухо; патер же был на рассказы
Скуп, да и скоро в свой монастырь возвратился он; словом,
Мало-по-малу толки утихли; одной лишь Бертальде
Было грустно: скорбя о погибшем, она поневоле
Сердцем привыкла к нему и его *своим* называла.
Скоро однако она одолела себя; от природы
Было в ней доброе сердце, но чувство глубокое долго
В нем не могло сохраняться, и здесь легкомыслие было
Верным лекарством. Ундину ласкала она, а Ундине,
Простосердечной, доброй Ундине боле и боле
Нравилась милая, полная прелести сверстница. Часто
Ей говорила она: мы верно с тобою, Бертальда,
Как-нибудь были прежде знакомы, иль чудное что-то
Есть между нами; нельзя же, чтоб кто без причины, без сильной,
Тайной причины, мог так кому полюбиться, как ты мне
Вдруг полюбилася с первого взгляда. И в сердце Бертальды
Что-то подобное было, хотя его и смущала
Зависть порою. Но как бы то ни было, скоро друг с другом
Стали они неразлучны, как сестры родные. Но рыцарь
Был готов уж в замок Рингштеттен, к истокам Дуная

Ехать, и день разлуки, может быть вечной разлуки,
Был недалеко; Ундина грустила; и вот ей на мысли
Вдруг пришло, что Бертальду с собою в замок Рингштеттен
Могут они увести, что на то герцогиня и герцог
Верно по просьбе ее согласятся. Однажды об этом
Рыцарь, Ундина, Бертальда втроем рассуждали. Был теплый
Летний вечер, и темною площадью города вместе
Шли они; синее небо глубоко сияло звездами;
В окнах домов сверкали огни; перед ними ходили
Черные тени гуляющих; шум разговоров, слиянье
Музыки, пенья, хохота, крика детей наполняли
Чудным каким-то говором воздух, и он напоен был
Весь благовонием лип, вокруг городского фонтана
Густо насаженных. Здесь, от шумной толпы в отдаленьи,
Близ водоема стояли они, упиваясь прохладой
Брызжущих вод, их слушая шум и любуясь на влажный
Сноп фонтана, белевший сквозь сумрак, как веющий, легкий
Призрак; и их веселило, что так они в многолюдстве
Были одни, и всё, что при свете казалось столь трудным,
Сладилось само собой без труда в тишине миротворной
Ночи; и было для них решено, что Бертальда поедет
В замок Рингштеттен. Но в ту минуту, когда назначали
День отъезда они, подошел к ним, как будто из мрака
Вдруг родившийся, длинный, седой человек, поклонился
Чинно, потом кивнул головой Ундине, и что-то
На ухо ей прошептал. Ундина, нахмуривши бровки,
В сторону с ним отошла, и тогда начался между ними
Шопот на странном каком-то чужом языке; а Гульбранду
В мысли пришло, что он с незнакомцем где-то встречался;
Тщетно Бертальда его осыпала вопросами; рыцарь
Был как в чаду и всё с беспокойством смотрел на Ундину.
Вдруг Ундина захлопавши с радостным криком в ладоши,
Кинулась прочь и блаженством глазки сверкали; с досадой
Сморщивши лоб и седой покачав головой, незнакомец
Влез в водоем, где вмиг и пропал. Тут решилось сомненье
Рыцаря. «Что, Ундина, с тобой смотритель фонтанов
Здесь говорил?» — спросила Бертальда. С таинственным
видом
Ей головкой кивнула Ундина. «В твои имянины,
Послезавтра, ты это узнаешь, Бертальда, мой милый,
Милый друг; я тебя и твоих приглашаю на этот
Праздник к себе». Другого ответа не было. Скоро
После того они проводили Бертальду и с нею простились.

«Струй?» — спросил с содроганьем невольным рыцарь Ундину.
С ней оставшись один в темноте перед герцогским домом.
«Он, — отвечала Ундина; — премножество всякого вздора
Мне насказал; но, между прочим, открыл и такую,
Нехотя, тайну, что я себя не помню от счастья.
Если велишь мне всё рассказать сию же минуту,
Я исполню приказ твой; но, милый, Ундине большая
Радость была бы, когда б ей теперь промолчать ты позволил».
Рыцарь охотно на всё согласился, и можно ли было
В чем отказать Ундине, столь мило просящей? и сладко
Было в ту ночь засыпать ей; она, забываясь блаженным
Сном, потихоньку сама про себя с улыбкой шептала:
«Ах, Бертальда! как будет рада! какое нам счастье!»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ИМЯНИНАХ БЕРТАЛЬДЫ

Гости уж были давно за столом, и Бертальда, царица
Праздника, в золоте, перлах, цветах, подаренных друзьями
Ей в имянины, сидела на первом месте, Ундина
С правой руки, а рыцарь с левой. Обед уж кончался;
Подали сласти; дверь была отперта; в ней теснилось
Множество зрителей всякого званья; таков был старинный
Предков обычай: каждый праздник тогда почитался
Общим добром, и народ всегда пировал с господами.
Кубки с вином и закуски носили меж зрителей слуги;
Было шумно и весело; рыцарь Гульбранд и Бертальда
Глаз не сводили с Ундины; они с живым нетерпеньем
Ждали, чтоб тайну открыла она; но Ундина молчала:
Было заметно, что с сердца ее и с уст, озаренных
Ясной улыбкой, было готово что-то сорваться;
Но (как ребенок, любимый кусок свой к концу берегущий)
Всё молчала она, чтоб продлить для себя наслажденье.
Рыцарь смотрел на нее с неописанным чувством; Ундина
В детской своей простоте, с своим добродушием прелесть
Ангела божия в эту минуту имела. Вдруг гости
Стали ее убеждать, чтоб спела им песню. Сверкнули
Ярко ее прекрасные глазки; поспешно схватила
Цитру и вот какую песню тихо запела:
«Солнце сияет; море спокойно; к брегу с любовью
Воды теснятся. Что на душистой зелени брега
Светится, блещет? Цвет ли чудесный, посланный небом
Свежему лугу? Нет, светлоокий, ясный младенец
Там на зеленом дерне играет. Кто ты, откуда,
Милый младенец? Как очутился здесь на чужбине?
Ах! из отчизны был он украден морем коварным.
Бедный, чего ж ты между цветами с жадностью ищешь?
Цвет благовонный жив, но без сердца; он не услышит
Детского крика; он не заменит матери нежной.
Лучшего в жизни рано лишен ты, бедный младенец.

Мимо проехал с свитою герцог; в пышный свой замок
Взял он сиротку; там герцогиня благостным сердцем
Бедной сиротке мать заменила. Стала сиротка
Девою милой, радостью сердца, прелестью взоров;
Милую деву промысел божий щедро осыпал
Всем... но отдаст ли лучшее в жизни, мать и отца ей?» —
С грустной улыбкой цитру свою опустила Ундина;
Песня ее растрогала всех, а герцог с женою
Плакали. Герцог сказал: «Так точно случилось в то утро,
Милая наша сиротка Бертальда, когда милосердый
Бог наградил нас тобою; но права певица, не можем
Лучшего блага земного тебе возвратить мы, родную
Мать и родного отца». Ундина снова запела:
«Мать тоскует, бродит, кличет... нет ей ответа;
Ищет, ищет, что ж находит? дом опустелый.
О как мрачен, как ужасен дом опустелый,
Где дотоле днем и ночью, мать в упоеньи
Целовала, миловала дочку родную!
Будет снова заниматься ярко денница;
Придут снова дни весенни, благоуханны;
Но денница, дни весенни, благоуханны
Не утешат боле сердца матери бедной;
Всё ей чуждо; в целом свете нет ей отрады;
Невозвратно всё пропало с дочкой родною». —
«О Ундина! ради бога открой мне! ты знаешь,
Где отец мой и мать; ты этот, этот подарок
Мне приготовила. Где они? Здесь? Отвечай мне, Ундина».
Взор Бертальды, сверкая, летал по собранью; меж знатных,
С ними сидевших гостей выбирала он. Но Ундина
Вдруг залилася слезами, к толпе обратилась, рукою
Знак подала и воскликнула: «Где вы? явитесь,
Найденной дочери вашей, отец и мать!» Расступилась
С шумом толпа; из средины ее рыбак и старушка
Вышли; робко глаза устремили они на Ундину.
«Вот она, ваша родная дочь!» — закричала Ундина,
Им указав на Бертальду; и с громким рыданьем на шею
Бросились к ней старики; но Бертальда с пронзительным
криком
Их от себя оттолкнула; страх, изумленье, досада
Вдруг на лице ее отразились. Какой нестерпимый,
Тяжкий удар для ее надменной души, ожидавшей
Нового блеска с открытием знатных родителей! Кто же?
Кто же эти родители? Нищие!.. В эту минуту

В мысль ей пришло, что всё то придумано хитро Ундиной
С тем, чтоб унизить ее перед светом и рыцарем. «Злая
Ложь! обманщица! подкуп!» — вот что твердила Бертальда,
Гневно смотря на старушку, на мужа ее и Ундину.
«Господи-боже! — тихонько старушка шептала, — какое ж
Злое созданье стала она! а все-таки сердце
Чует мое, что она мне родная». Рыбак же, сложивши
Руки, молился, чтоб бог не карал их, послав им такую
Дочь; а Ундина, как ангел, вдруг утративший небо,
Бледная, в страхе незапном, не ведая, чтó с ней
Делалось, вся трепетала. «Опомнись, Бертальда! Бертальда,
Есть ли душа у тебя?» — она повторяла, стараясь
Доброе чувство в ней возбудить, но напрасно; Бертальда,
Точно была вне себя; она в исступленьи кричала
Криком; рыбак и старушка плакали горько, а гости,
Странным явленьем таким изумленные, начали шумно
Спорить, кто за Ундину, кто за Бертальду; в ужасный
Всё пришло беспорядок, и вот напоследок Ундина,
С чувством своей правоты, с благородством невинности
мирной,
Знак подала рукою, и все замолчали. Смиренно,
Тихо, но твердо сказала она: «Вы странные люди!
Что я вам сделала? Чем раздражила я вас? И за что вы
Так расстроили милый мой праздник? Ах боже! доныне
Я о ваших обычаях, вашем безумном, жестоком
Образе мыслей не знала, и их никогда не узнать мне.
Вижу, что всё безрассудно придумано мной; но причиной
Этому вы одни, а не я. Хотя здесь наружность
Вся на меня, но вы знайте: тó, что сказала я, правда.
Нет у меня доказательств; но я не обманщица, слышит
Бог правосудный меня; а всё, что здесь о Бертальде
Я говорила, было открыто мне тем, кто в морские
Волны младенцем ее заманил, потом на зеленый
Берег отнес, где ее и нашел знаменитый наш герцог». —
«Слышите ль? — громко вскричала Бертальда. — Она
чародейка,
Водится с злыми духами; сама при всех признается
В этом она». — «О нет, — Ундина воскликнула с чистым
Небом невинности в мирных очах, — никогда чародейкой
Я не была; мне неведомо адское зло». — «Так бесстыдно
Лжет и клевещет она. Ничем нельзя доказать ей
Здесь, что рыбак отец мне, а нищая мать. О! покинем
Этот дом и этот город, где я претерпела

Столько стыда».— «Нет, Бертальда,— ответствовал герцог,— отсюда
Я дотоле не выйду, пока не решится сомненье
Наше вполне». То слыша, старушка приблизилась робко
К герцогу, низко ему поклонилась и вот что сказала:
«Вы, государь, своим высоким герцогским словом
Вдруг на разум меня навели. Скажу вам, что если
Ваша питомица подлинно дочь нам, то должно, чтоб были
Три родимых пятна, как трилиственник видом, под правой
Мышкой ее и точно такие же три на подошве
Правой ноги. Позвольте, чтоб с нею я вышла». От этих
Слов побледнела Бертальда, а герцог велел герцогине
Выйти вместе с нею и взять с собою старушку.
Скоро назад возвратились они; герцогиня сказала:
«Правда правдой; всё то, что здесь объявила хозяйка
Наша, есть сущая истина: эти добрые люди
Точно отец и мать питомицы нашей Бертальды».
С этим словом герцог с женой и с Бертальдой и вместе
С ними, по воле герцога, старый рыбак и старушка
Вышли; гости, кто веря, кто нет, разошлись; а Ундина,
Горько, горько заплакав, упала в объятия мужа.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

О ТОМ, КАК РЫЦАРЬ И УНДИНА УЕХАЛИ ИЗ ИМПЕРСКОГО ГОРОДА

Рыцарь с глубоким чувством любви смотрел на Ундину.
Мною ль, он думал, дана ей душа иль нет, но прекрасней
Этой души не бывало на свете: она как небесный
Ангел. И слезы Ундины с нежнейшим участием друга
Он отирал, целуя ей очи, уста и ланиты.
Город имперский, который ей стал ненавистен, покинуть
Он решился немедля и всё велел приготовить
К скорому в замок Рингштеттен отъезду. И вот на другой
день
Рано поутру была подана к крыльцу их повозка;
Рыцарев конь и кони его провожатых за нею,
Взнузданы, прыгали, рыли копытами землю; уж рыцарь
Вышел с своей молодою женой и готов был ей руку
Дать, чтоб в повозку ее посадить; но в эту минуту
К ним подошла молодая девушка с неводом, в платье
Рыбной торговки. «Товар твой ненужен нам, мы
уезжаем»,—
Рыцарь сказал ей. Она заплакала взрыд и Бертальду
В эту минуту узнали Гульбранд и Ундина; поспешно
Вместе с нею они возвратилися в дом, и Бертальда
Им рассказала, как герцог вчерашним ее поведеньем
Был раздражен, как ее от себя отослал, подаривши
Ей большое приданое, как старик и старушка,
Также богато им одаренные, город того же
Вечера вместе покинули. «С ними хотела пойти я,—
Так продолжала Бертальда в слезах, — но старик, о котором
Все говорят, что он мой отец...» — «Он отец твой,
Бертальда,
Точно отец, — сказала Ундина; — ты помнишь, как ночью
К нам подошел седой человек, твой смотритель фонтанов:
Он-то мне всё и сказал; меня убеждал он, чтоб в замок
Наш Рингштеттен тебя не брала я с собой, и невольно
Тайна с его языка сорвалась...» — «Ну, отец мой, когда уж

Должен он быть мне отцом,— продолжала Бертальда,— сказал мне
Вот что: «Ты с нами не будешь до тех пор, пока не исправишь
Гордого сердца; осмелься одна через этот дремучий
Лес к нам пройти, тогда я поверю, что нашей роднею
Быть желаешь; но скинь богатый убор; рыбаковой
Дочерью к нам явися...» И я на всё уж решилась;
Что он велел, то и будет; меня несчастную целый
Свет оставил; и бедная дочь рыбака, я в убогой
Хижине жизнь безотрадную скрою и скоро умру там
С горести. Правда, лес волшебный меня устрашает,
Бродят там, слышно, духи, а я так пуглива; но что же
Делать мне? К вам же пришла я за тем, чтоб загладить вчерашний
Свой проступок признаньем вины. О! забудьте, простите.
Я и так уж несчастна безмерно; вспомните, чтó я
Утром вчерашним была, чтó была еще при начале
Вашего пира, и что я теперь...» Опустивши в ладони
Голову, плакала горько она, и меж пальцев бежали
Слезы. Вся так же в слезах, к ней на шею упала Ундина,
Долго безгласна была, напоследок сказала: «Ты с нами
В замок Рингштеттен поедешь; что прежде решили мы сделать,
То и сделаем; только ты будь со мной, как привыкла
Быть; говори мне попрежнему ты. Вот видишь ли? В детстве
Нас обменяли одну на другую; тогда уж мы были
Связаны тесно судьбою; сплетем же узел наш сами
Так, чтоб уже никогда никакой человеческой силе
Не было можно его разорвать. Теперь ты поедешь
С нами прямо в Рингштеттен; что ж после, как сестры родные,
Мы меж собою разделим, о том успеем, приехав
В замок, условиться». Это услышав, Бертальда взглянула
Робко на рыцаря; милой изгнанницы было не меньше
Жаль и ему; и, руку подавши ей, вот что сказал он:
«Вверьте себя беззаботно сердцу Ундины. А к вашим
Добрым родителям мы, по прибытии в замок, отправим
Тотчас гонца, чтоб знали они, что сделалось с вами».
Под руку взявши Бертальду, ее посадил он в повозку,
Рядом с нею Ундину, и бодро поехал за ними
Рысью и скоком. Повозка летела: скоро имперский

Город пропал далеко назади, с ним вместе пропало
Там и всё грустное прошлое; весело шла по прекрасной
Людной стране их дорога, и мало ли, долго ли длился
Путь их, но вот напоследок в один прекраснейший летний
Вечер они приехали в замок Рингштеттен. Был должен
Рыцарь заняться хозяйством своим; молодая ж хозяйка
Вместе с гостьей пошли осматривать замок. Построен
Был на крутой он горе посреди равнин благодатной
Швабии: вид из него был роскошный; и по валу вместе,
За руки взявшись, гуляли Ундина с Бертальдою; вдруг им
Встретился долгий, седой человек; Бертальде знакомы
Были черты; когда же Ундина, сердито нахмурясь,
Знак ему подала, чтоб он удалился, и скорым
Шагом, тряся головой, он пошел и пропал за кустами,
В мысли пришло ей, что то ночной, городской их знакомец
Был, смотритель фонтанов. «Не бойся, Бертальда,— сказала
Ей Ундина,— уж в этот раз твой несносный фонтанщик
Зла никакого не сделает нам». Тогда рассказала
Всё о себе Ундина: кто родом она, как Бертальду
Струй похитил и как к рыбакам попала Ундина
Вместо родной их дочери, словом, всё. И сначала
В ужас Бертальда пришла от такого рассказа; на сонный
Бред походил он; но скоро она убедилась, что было
Всё то правда и только дивилась тому, что в волшебной
Сказке, когда-то в детстве рассказанной ей, очутилась
Вдруг наяву, живая, сама; всё ей в Ундине
Стало чуждо; как будто бы дух бестелесный меж ними
Вдруг протеснился; ей сделалось страшно. Когда ж, возвратяся,
Рыцарь с нежностью обнял Ундину, то было понять ей
Трудно, как мог он ласкаться к такому созданью, в котором
(После того, что Бертальде сама рассказала Ундина)
Виделся ей не живой человек, а какой-то холодный
Призрак, что-то нездешнее, что-то чужое душе человека.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

О ТОМ, КАК ОНИ ЖИЛИ В ЗАМКЕ РИНГШТЕТТЕНЕ

Здесь мы с тобой остановимся, добрый читатель; прости мне
Если тебе о том, что после случилось, немного
Буду рассказывать; знаю, что можно бы было подробно
Мне описать, как мало-по-малу рыцарь наш сердцем
Стал от Ундины далек и близок к Бертальде, как стало
Сердце Бертальды ему отвечать и час от часу жарче
Тайной любовью к нему разгораться, как стали Ундины
Он и она дичиться и в ней существо, им чужое,
Видеть, как Ундина плакала, как пробуждали
Слезы ее заснувшую совесть Гульбранда, а прежней
В нем уж любви пробудить не могли, как либо порою
Жалость его к Ундине влекла, а ужас невольно
Прочь отталкивал, сердце ж стремило к Бертальде, созданью
С ним однородному... знаю, что это всё я умел бы,
Добрый читатель, порядком тебе рассказать; но позволь мне
Лучше о том позабыть, что так больно душе; испытали
Все мы неверность здешнего счастья; ты сам, вероятно.
Был им обманут, таков уж земной человеческий жребий.
Счастлив еще, когда при разделе житейского был ты
Сам назначен терпеть, а не мучить; на свете сем доля
Жертвы блаженней, чем доля губителя. Если сей лучший
Жребий был твой, читатель, то, может быть, слушая нашу
Повесть, ты вспомнишь и сам о своем миновавшем, и тихо
Милая грусть тебе через душу прокрадется, снова
То, что прошло, оживет, и ты слезу сожаленья
Бросишь опять на цветы, которыми так любовался
Прежде на грядках своих, давно уж растоптанных. Полно ж,
Полно об этом, читатель. Послушай, и с доброй Ундиной
То же сбылось, что и с нами со всеми: Ундина страдала.
Но и Гульбранд и Бертальда не были веселы. Всякий
Раз, когда Ундина хоть мало была несогласна
В чем с Бертальдой, последней казалось, что ревность
владела

Сердцем обиженной бедной жены; и мало-по-малу
Вид госпожи, причудливо-грубой и гордой, Бертальда
С ней приняла; Ундина с грустным незлобием, молча,
Всё сносила; а рыцарь всегда стоял за Бертальду.
Боле ж всего с недавнего времени вот что согласье
Жителей замка стало тревожить: Гульбранд и Бертальда
Начали вдруг на всех переходах, во всех закоулках
Замка встречать привиденья, о коих дотоле и слуху
Не было; белый, седой человек, в котором проказник
Дядя Струй Гульбрандом, смотритель фонтанов Бертальдой
Узнаны были, стал им повсюду обоим, Бертальде ж
Чаще, являться с угрозой, так, что Бертальда от страха
Стала больна и даже решилась бы замок покинуть,
Если б имела где угол какой для приюта; но честный
Наш рыбак на письмо Гульбранда, которым тогда же
Рыцарь его известил, что Бертальда едет в Рингштеттен,
Вот что ответствовал: «Я по воле господа-бога
Стал одинокий, бедный вдовец; скончалась старушка
Женка моя; хоть теперь мне дома и пусто, но лучше
Быть хочу я один, чем с Бертальдой; пускай остается
С вами, но только, чтоб не было худа какого Ундине
Милой моей от того; тогда ее прокляну я».
Так-то, сколько неволей, столько и волей, осталась
В замке Бертальда. Вот однажды случилось, что рыцарь
Выехал. Скликав дворовых людей, Ундина велела
Камень один огромный поднять и его на колодезь,
Бывший на самой средине двора, наложить. «Нам далеко
Будет ходить за водою», — заметили слуги. Но с грустным
Ласковым видом, с унылой улыбкой сказала Ундина:
«Дети, сама бы за вас я с охотою стала в кувшинах
Воду носить; но этот колодезь, поверьте мне, должно,
Должно закрыть нам, иль с нами случится большое
несчастье».
Всем служителям было приятно угодное сделать
Доброй своей госпоже; без дальних расспросов, огромный
Камень был поднят; и он, показалось, как будто бы доброй
Волей давшись им в руки, с земли поднялся, и как будто
Сам рванулся колодезь задвинуть. Но в эту минуту
К ним прибежала из замка Бертальда. «Не троньте
колодца, —
Громко она закричала; — его вода умываньем
Лучшим мне служит; его запереть никак не позволю».
Но Ундина с своим обычным смиреньем на этот

Раз осталася в воле своей непреклонна. «Я в здешнем
Замке хозяйка, — сказала она, улыбаясь прискорбно,—
Мне за всем наблюдать; и здесь мне приказывать может
Только рыцарь, мой муж и мой господин». —

«Посмотрите, —
С сердцем вскричала Бертальда, — подумать можно, что
этой
Бедной, невинной воде самой не хочется с божьим
Светом расстаться: как жалко она трепещет и бьется!»
В самом деле, чудно кипя и шипя, из-под камня
Ключ пробивался, как будто спеша убежать, и как будто
Что из него исторгнуться силой хотело. Тем с большей
Строгостью свой приказ повторила Ундина; охотно
Был он исполнен: Ундину любили, а гордость Бертальды
Всех от нее удаляла, и каждому было приятно
Той угодить, а этой сделать досаду; и камень
Крепко-накрепко устье колодца задвинул. Ундина
Тихо к нему подошла, над ним задумалась, что-то
Пальчиком нежным своим на нем написала, в молчаньи
Грустном потом посмотрела вокруг себя и, вздохнувши,
Медленным шагом в замок пошла. На камне ж остались
Видны какие-то странные знаки, которых дотоле
Не было там. Ввечеру, когда Гульбранд возвратился
В замок Рингштеттен, Бертальда ему в слезах рассказала
То, что случилось с колодцем. Сурово взглянул на Ундину
Рыцарь; она стояла, головку склоня и печально
В землю глаза опустив; но однако, собравшися с духом,
Вот что шепнула в ответ: «Всегда справедлив господин мой;
Он и раба не осудит, не выслушав; тем наипаче
Мне, законной жене, он позволит в свое оправданье
Слово сказать». — «Говори», — сердито ответствовал рыцарь.
«Я бы желала, чтоб был ты один»,— сказала Ундина.
«Нет, при ней!» — Гульбранд возразил, указав на Бертальду.
«Я исполню волю твою, — она продолжала; —
Но не требуй того, прошу, умоляю, не требуй».
Голос ее был так убедителен, очи так нежны,
Всё в ней являло такую покорность, что в сердце
Гульбранда
Солнечный луч минувших дней пробежал; он Ундину
Дружески за руку взял и в ближнюю горницу с нею
Вышел; и вот что ему сказала она: «Уж коварный
Дядя мой Струй довольно известен тебе; не один раз
встречался

Он с тобою здесь в замке; Бертальде же так он
Страшен, что может она умереть. Он бездушен, он просто
Отблеск стихийный наружного мира; что в жизни духовной
Здесь происходит, то вовсе чуждо ему; здесь глядит он
Только на внешность одну. Замечая, как ты недоволен
Мной иногда бываешь, как я, неразумный младенец,
Плачу, как в то же время Бертальду, случайно быть может,
Что-нибудь заставляет смеяться, в своем безрассудстве
Видит он то, чему здесь и признака нет, колобродит,
Злится и в наши дела незваный мешается; пользы
Нет от того никакой, что ему я грожу и гоняю
С сердцем отсюда его; он мне упрямый не верит;

в бездушной,

Бедной жизни своей, никогда не будет способен
Он постигнуть того, что в любви и страданье, и радость
Так пленительно сходны, так близко родня, что разрознить
Их никакая сила не может: с улыбкою слезы
Сладко сливаются, слезы рождают улыбку». И очи,
Полные слез, с улыбкой поднявши, она исподлобья
Робко смотрела Гульбранду в лицо; и всё трепетанье
Прежней любви он почувствовал в сердце; Ундина глубоко
То поняла, к нему прижалась нежней и в блаженстве
Радостных слез продолжала: «Когда словами не можно
Нам бестолкового дядю Струя унять, то затворим
Вход ему в замок; единственный путь, которым сюда он
Может свободно всегда проникать, есть этот колодезь;
Он с другими духами здешних источников в ссоре;
Царство ж его начинается ниже, вдоль по Дунаю.
Вот для чего я на камне, которым колодезь задвинут,
Знаки свои написала: они беспокойного дядю
Струя власти лишили, и он ни тебя, ни Бертальду
Боле не будет тревожить; он камня не сдвинет. Но людям
Это легко; ты можешь исполнить желанье Бертальды;
Но, поверь мне, она не знает, чего так упрямо
Требует; Струй на нее особенно злится. А если
Сбудется то, что он предсказал мне (хотя и без всякой
Мысли худой от тебя), то и сам ты, мой милый, не будешь
Вне опасности». Рыцарь, глубоко проникнутый в сердце
Великодушным поступком своей небесной Ундины,
Обнял ее с горячностью прежней любви. «Мы не тронем
Камня; отныне ж и всё, что ты когда ни прикажешь,
Будет в замке от всех, как теперь, исполняемо свято,
Друг мой Ундиночка». Так ей рыцарь сказал, и Ундина,

Руку целуя его в благодарность за милое, столько
Времени им позабытое слово любви, прошептала
Робко: «Милый мой друг, ты ныне со мной так безмерно
Милостив, ласков и добр, что еще об одном попрошу я.
Видишь ли? Ты для меня как светлое лето; в сильнейшем
Блеске своем оно иногда себя покрывает
Огненно-грозным венцом громовых облаков и владыкой,
Истинным богом земли нам является; точно таков ты
Кажешься мне, когда, на меня прогневан бывая,
Грозно сверкаешь, гремишь и взором и словом; и в этом,
Милый, твоя красота, хотя и случится порою
Мне безрассудной плакать; но слушай, друг мой: воздержен
Будь на водах от гневного слова со мною; единым
Словом таким меня передашь ты в волю подводных
Сродников; мстя за обиду их рода, они невозвратно
В море меня увлекут и там в продолжение целой
Жизни я буду под влажно-серебряным сводом в неволе
Плакать, и мне уж к тебе не притти; а если приду я...
Боже! то это будет и пуще тебе на погибель.
Нет, мой сладостный друг, избавь меня от такого
Бедствия». Рыцарь торжественно дал обещанье исполнить
Просьбу ее, и они с веселым лицом возвратились
В горницу, где их Бертальда ждала. Она уж успела
Слуг к колодцу послать, чтоб они, по первому знаку
Рыцаря, камень свалили с него. «Не трогайте камня, —
Холодно рыцарь сказал, — и помните все, что Ундина
В замке моем одна госпожа, что ее приказанья
Святы». При этом слове Бертальда, в лице изменившись,
Скрылась. Вот уж и ужина час наступил, а Бертальды
Не было. Рыцарь послал за нею, но, вместо Бертальды,
В спальне ее опустевшей нашли записку на имя
Рыцаря; вот что стояло в записке: «Вы приняли, рыцарь,
В дом свой меня, недостойную дочь рыбака, и о низком
Роде своем я безумно забыла; за то в наказанье
Доброю волей иду я к отцу рыбаку, чтоб, в убогой
Хижине скрывшись, о счастьи земном не мечтать;
наслаждайтесь
Долго им вместе с вашей прекрасной супругой». Ундина
Сильно была опечалена; рыцаря вслед за Бертальдой
Стала она посылать — ее убежденья однако
Были не нужны; он сам на то был готов. Но в какую
Сторону ехать за ней? Никто об этом не ведал.
Рыцарь сидел на коне и хотел уж свой путь наудачу

Выбрать, как вдруг явился пастух и сказал, что Бертальда
Встретилась с ним у входа Черной Долины; стрелою
Рыцарь пустился туда, не слыша того, что в окошко
Вслед за ним кричала Ундина: «Не езди! не езди,
Милый! постой! Гульбранд, берегися Черной Долины!
Стой! назад! иль, бога ради, позволь мне с собою
Ехать!..» Но рыцарь уж был далеко. Ундина поспешно
Села сама на коня и одна за ним поскакала.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

О ТОМ, КАК ОТЫСКАЛАСЬ БЕРТАЛЬДА

Эта долина, в то время слывшая Черной Долиной,
Очень близко была от замка, а как называют
Нынче ее, неизвестно; тогда ж поселяне ей имя
Черной дали за то, что глубоко средь диких утесов,
Елями густо заросших, лежала она, что кипучий,
Быстрый поток, на скалистом дне ущелья шумевший,
Черен меж елей бежал, и что небо нигде голубое
В мутные воды его не светило. В сумерки стало
Вдвое темней и ужасней меж елей и диких утесов.
Рыцарь с трудом пробирался вдоль берега; страшно
Было ему за Бертальду, и засветло встретиться с нею
Он торопился; по всем сторонам с напряженным вниманьем
Взор обращал он, и сердце в нем билось сильней; он со страхом
Думал: что будет с нею, если заблудится в этом
Диком месте, ночью, и в грозу, которая черной,
Тяжкой тучей идет на долину? Вдруг показалось
Белое что-то ему в потемках, на склоне утеса;
Он подумал, что было то платье Бертальды, и шпорить
Начал коня; но конь захрапел, уперся и, уши
Чутко подняв, не шел ни назад, ни вперед; чтоб напрасно не тратить
Времени, рыцарь спрыгнул с седла, к опрокинутой ветром
Ели коня привязал и пеший вперед пробираться
Начал кустами; он спотыкался; упорные ветви
Били его по лицу и как будто нарочно сплетались
Сетью, чтоб дале не мог он итти; он ломал их, а небо
Тою порою всё боле и боле мрачилось, и глухо
Гром гремел по горам, и всё кругом становилось
Странным таким, что он уж и робость чувствовать начал,
Глядя на белый образ, к которому ближе и ближе
Всё подходил и который лежал на земле неподвижно.
С духом собравшись, к нему наконец подступил он; сначала
Сучьями тихо потряс, мечом позвенел — никакого

Нет ответа. Бертальда! Бертальда! он начал сначала
Тихо, потом всё громче и громче кликать — ответа
Всё ему нет. Наконец закричал он так громко, что эхо
Вместе с ним закричало повсюду: Бертальда! — напрасно;
То же молчанье. Тогда он к ней наклонился; но, было
Так уж темнó, что, не могши пóд носом видеть, пригнулся
К самой земле он лицом, и в эту минуту сверкнула
Яркая молния; всё осветилось, и что же в блеске увидел
Рыцарь? Под самым лицом его отразилась из черной
Тьмы безобразно-свирепая харя, и голос осиплый
Взвыл: «Поцелуйся со мной, пастушок дорогой!» Приведенный
В ужас, кинулся рыцарь назад; но свирепáя харя
С визгом и хохотом кинулась вслед. «За чем ты? Куда ты?
Духи на воле! назад! убирайся! иль будешь ты нашим!»
Вот что выла она, и длинные руки хватали
Рыцаря. «Струй проклятый! (Гульбранд закричал
ободрившись)
Это твои проказы! постой, я тебя поцелую!»
Сильно он треснул по харе мечом; она разлетелась
В брызги, и рыцарь пеной, шипящей как хохот, был óблит
Весь с головы до ног; тогда объяснилося, с кем он
Дело имел. «Меня удержать он, я вижу, намерен, —
Рыцарь громко сказал; — он думает, я испугаюсь
Шуток бесовских его и Бертальду бедную брошу
Злому духу во власть. Он демон бездушный не знает,
Как всемогущ человек своей непреклонною волей!»
Сам он почувствовал истину слов сих; новая бодрость
В нем родилась, и как будто бы счастие с этой минуты
Стало с ним заодно: к своему коню возвратиться
Он еще не успел, как уж явственно, сделался слышен
Жалобный голос Бертальды, зовущей на помощь, сквозь
шумный
Ветер и говор грозы, подходившей час от часу ближе.
Он полетел на крик и увидел Бертальду. Из страшной
Черной Долины силяся выйти, она по крутому
Боку ее тащилася кверху; тут заступил ей
Рыцарь дорогу; и как ни твердо, в своей оскорбленной
Гордости, прежде решилась она на побег, но встретить
Гульбранда
Было ей радостно; ужас, испытанный ею в дороге,
Сердце ее усмирил, а светлая жизнь в безмятежном
Замке так ласково руки к ней простирала, что рыцарь
Тотчас ее за собою итти убедил. Но Бертальда

Силы почти не имела; Гульбранд с большим затрудненьем
Мог ее до коня своего довести; и помочь ей
Сесть на седло он хотел, чтоб, коня отвязав, за собою
Весть его в поводах; но конь, испуганный Струем,
Был как зверь: он злился, храпел, на дыбы подымался,
Задом и передом бил; Бертальде даже и близко
Было нельзя подойти. Пошли пешком: осторожно
Рыцарь спутницу под руку вел, а коня за собою
Силой тащил за узду; Бертальда едва подвигала
Ноги и, как ни боролась с собой, но усталость давила
Члены ее как свинец; а буря, удар за ударом
Грома, сверкание молнии, шум деревьев во мраке,
Злая игра привидений... словом, Бертальда, слияньем
Ужасов сих изнуренная, пала на землю; и в то же
Время рыцарев конь, как будто взбесившийся, начал
Снова метаться и рваться. Рыцарь, боясь, чтоб в Бертальду
Он не ударил, хотел от нее отойти; но Бертальда
С воплем его начала умолять, чтоб остался. На волю ж
Злого коня пустить он не смел: он боялся, что этот
Дикий зверь, набежав на лежащую, тяжким копытом
Грянет в нее; короче, на что решиться, что делать
Рыцарь не знал. И вдруг он обрадован был недалеким
Стуком колес: каменистой дорогой, он слышал, тащилась
Фура. Гульбранд закричал, чтоб им помогли; грубоватый
Голос мужский откликнулся; скоро в потемках мелькнули
Две огромные белые лошади, с ними погонщик
Роста огромного, в белом плаще; и фура покрыта
Белой холстиной была, как все повозки с товаром.
«Стойте, клячи!» — крикнул погонщик, и лошади стали.
Он подошел к Гульбранду, который с конем одичалым
Всё еще бился. «Я вижу в чем дело, — сказал он, — с моими
Белыми то же случилось, когда я в первый раз с возом
Этой долиной тащился; здесь гнездится какой-то
Бес водяной: он великий проказник, проезжим покоя
Нет от него; но мне удалося сведать словечко;
Дай-ка шепну я его упрямой этой лошадке
На ухо». — «Делай, что хочешь, но только скорее», —
воскликнул
Рыцарь, кипя нетерпеньем. Погонщик, как слабую ветку,
Вытянул шею коню, на дыбы вскочившему; что-то
В ухо ему шепнул, и как вкопанный стал он, лишь только
Жарко пыхтел и пар от него подымался. Не время
Было Гульбранду расспрашивать, как совершилося чудо;

Он убедил погонщика взять в повозку Бертальду,
Сам же хотел провожать ее на коне; но усталый
Конь едва шевелил ногами. «Садитесь-ка, рыцарь,
В фуру и вы, — погонщик сказал; — дорога отсюда
По́д гору будет; коня же привяжем сзади повозки».
Рыцарь сел с Бертальдою в фуру, коня привязали
Сзади, бичом захлопал погонщик, дернули дружно
Лошади, фура поехала. Было темно́; утихая,
Глухо вдали гремела гроза; в усладительно-мирном
Чувстве своей безопасности, в сладком покое, в волшебном
Мраке ночи, свободе речей благосклонном, меж ними
Скоро сердечный, живой разговор начался: в выраженьях
Ласковых рыцарь Бертальде пенял за побег. Торопливо,
Трепетным голосом, вся в волненьи Бертальда проступок
Свой извиняла, и речи ее таинственно-ясны
Были, как свет лампады, когда он во мраке от милой
Милому знак подает, что его ожидают. Рыцарь
Был в упоеньи. Но вдруг пробудил их погонщиков голос:
«Клячи, тяните живее! (кричал он) дружно! беда нам!»
Рыцарь поспешно из фуры выглянул — что ж он увидел?
Лошади, по брюхо в мутной воде, не шагали, а плыли;
Не было видно колес: они, как на мельнице, с шумом,
С пеной и с брызгами резали волны; погонщик на козлы
Взлез и правил стоймя, и был уж в воде по колено.
«Что за дорога такая? — спросил у погонщика рыцарь. —
Прямо идет в середину потока». — «Напротив! — погонщик
С смехом сказал: — поток идет в середину дороги;
Видите сами; это сущий потоп; мы пропали».
Подлинно, вся глубина долины кипела волнами;
Выше и выше они подымались. «Это злодей наш
Струй! утопить нас он хочет, — рыцарь воскликнул; —
товарищ,
Нет ли и против него у тебя какого словечка?» —
«Есть словечко, — погонщик сказал, — да надобно прежде
Сведать вам, кто я и как прозываюсь!» — «Не время загадки
Нам загадывать, — рыцарь сказал, — вода прибывает;
Имя твое здесь ненужно». — «А так-то ненужно, — погонщик
С диким хохотом гаркнул, — что, просим не гневаться, сам я
Струй!» — И ужасную харю свою он уставил в повозку...
Но повозка уж боле была не повозка, уж были
Лошади боле не лошади; всё разлетелось, расшиблось
В пену, в шипучую воду, и сам погонщик поднялся
Страшной волной на дыбы, и коня, который напрасно

Рвался и бился, умчал за собой в глубину, и ужасно
Начал снова расти и расти, и горой водяною
Вырос, и был уж готов на Бертальду и рыцаря, силой
Волн увлеченных, упасть, чтоб громадой своей задавить их...
Вдруг, сквозь шум, гармонически-сладостный голос раздался;
Вышел из облака месяц, и в свете его над долиной явился
Образ Ундины; она погрозила волнам — и, разбившись
Пылью, гора водяная, ворча и журча, убежала;
В блеске месяца мирно поток заструился; и белым
Голубем свеяла тихо Ундина в долину; и, руку
Рыцарю вместе с Бертальдой подав, на муравчатый берег
Их за собой увела; там они отдохнули; Ундинин
Конь был отдан Бертальде; за нею пешком потихоньку
Рыцарь с женою пошли; и так возвратились все в замок.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

О ТОМ, КАК ОНИ ЕЗДИЛИ В ВЕНУ

С этой поры, мой читатель, жилось покойно и мирно
В замке Рингштеттене. Рыцарь всё чувствовал боле и боле
Прелесть небесную доброго сердца Ундины, забывшей
Всё для спасенья соперницы. В доброй Ундине
Всякая память о прошлом исчезла: она беззаботным
Сердцем любила, и зная, что шла прямою дорогой,
Ясную в нем питала доверенность; всё в настоящем
Было ей радостно; в будущем всё улыбалось. Бертальда,
Снова ей с прежней любовью всю душу отдав, благодарной,
Кроткой и нежной являлась; короче, замок Рингштеттен
Стал обителью светлого счастья. Дни пролетали
Быстро за днями; зима наступила; зима миновалась;
Вот и весна с благовонно-зеленой своей муравою,
С светло-лазоревым небом своим улыбнулась веселым
Жителям замка; стало на сердце их радостно, стало и смутно.
Что ж тут дивиться, если, при виде, как в воздухе вешнем
Нитью вились журавли и легкие ласточки мчались,
Стало и их позывать в далекую даль. Раз случилось
Рыцарю вместе с женой и Бертальдой в прекрасное утро
Около светлых истоков Дуная гулять; им об этой
Славной реке он рассказывал много: как протекала
Пышным, широким потоком она по землям благодатным,
Как на ее берегах прекрасная Вена сияла,
Как по ней величаво ходили суда, как бежали
Мимо плывущих назад берега, услаждая их очи
Зрелищем пажитей, нив, городов и рыцарских замков.
«О! — сказала Бертальда, — как было бы весело съездить
В Вену водой...» но опомнясь, она покраснела и взоры
Робко потупила. Милым ее смущеньем Ундина
Тронувшись, руку ей подала, и в ней загорелось
Сильно желанье утешить подругу свою. «Да за чем же
Дело стало? — сказала она. — Ничто не мешает
Съездить нам в Вену». Бертальда запрыгала с радости. Вместе

Стали они учреждать поездку свою и заране
Тем, что представится им на пути, восхищались. И рыцарь
С ними был заодно; Ундине однако шепнул он:
«Вспомни о Струе; ведь он могуч на Дунае». — «Не бойся, —
С смехом сказала Ундина; — пускай он попробует сделать
Что-нибудь с нами; я тут! при мне уж никак колобродить
Он не посмеет». Ответом таким уничтожены были
Все затрудненья и с бодрым духом, с веселой надеждой
Стали готовиться в путь. Но скажите мне, добрые люди,
Всё ли сбывается так на земле, как надежда сулит нам?
Хитрая власть, стерегущая нас для погибели нашей,
Сладкие песни, чудные сказки подмеченной жертве
На ухо часто поет, чтоб ее убаюкать. Напротив,
Часто спасительный божий посланник громко и страшно
В двери наши стучится. Как бы то ни было, наши
Путники весело плыли в первые дни по Дунаю:
День ото дня река становилася шире и виды
Пышных ее берегов живописней. Но вдруг — и на самом
Чудно-прелестном месте — открыл свои нападенья
Бешеный Струй; то были сначала простые помехи
(Волны бурлили без ветра; ветер отвсюду, меняясь,
Дул и судно качал); но Ундина одною угрозой,
Словом сердитым одним на воздух и в воды смиряла
Силу врага; то было однако не надолго: снова
Он гомозился, и снова Ундина его унимала;
Словом, сказать, веселость дороги расстроилась — вовсе.
В то же время, гребцы, дивяся тому, что в глазах их
Делалось, между собою часто шептались; и скоро
Стали на всё с подозреньем посматривать; самые слуги
Рыцаря, чувствуя что-то недоброе, диким и робким
Взором следили господ; а Гульбранд, задумавшись грустно,
Сам про себя говорил: «Таково-то бывает, как скоро
Здесь неровные сходятся; худо, если вступает
В грешный союз земной человек с женой водяною».
Вот что однако себе в утешенье твердил он: «Ведь прежде
Сам я не ведал, кто она; правда, тяжко порою
Мне приходит от этой бесовской родни; но мое здесь
Горе, вина ж не моя». Хотя иногда и вливал он
Несколько бодрости в душу свою таким рассужденьем,
Но зато с другой стороны всё боле и боле
Против бедной Ундины был раздражаем. То слишком,
Слишком она понимала, и в смертную робость угрюмый
Рыцарев вид ее приводил. Утомленная страхом,

Горем и тщетной борьбой с необузданным Струем, присела
Под вечер к мачте она, и движение тихо плывущей
Лодки ее укачало: она погрузилась в глубокий
Сон. Но едва на мгновенье одно успели закрыться
Светлые глазки ее, как вдруг перед каждым из бывших
В лодке, в той стороне, куда он смотрел, появилась,
Вынырнув с шумом из вод, голова с растворенным зубастым
Ртом и кривлялась, выпучив страшно глаза. Закричали
Разом все; отразился на каждом лице одинакий
Ужас, и каждый в свою указывал сторону с криком:
«Здесь! сюда посмотри!» И из каждой волны создалася
Вдруг голова с ужасным лицом, и поверхность Дуная
Вся как будто бы прыгала, вся сверкала глазами,
Щелкала множеством зуб, хохотала, гремела, шипела,
Шикала. Крик разбудил Ундину, и вмиг при воззреньи
Гневном ее пропали страшилища все. Но рыцарь ужасно
Был раздражен; с умоляющим взглядом Ундина сказала:
«Ради бога, здесь на водах меня не брани ты».
Он умолкнул, сел и задумался. «Друг мой, — шепнула
Снова Ундина, — не лучше ль нам дале не ездить. Не лучше ль
В замок Рингштеттен обратно отправиться? В замке
Будем спокойны». — «И так, — проворчал нахмурившись рыцарь, —
В собственном доме своем осужден я жить, как невольник!
Только до тех пор и можно дышать мне, пока на колодце
Будет камень! Чтоб этой проклятой родне...» Но Ундина
Речь его перебила, с улыбкой ему наложивши
На губы руку. Опять замолчал он, вспомнив о данном
Им обещаньи Ундине. В эту минуту Бертальда,
В мыслях о том, что делалось с ними, сидела на крае
Лодки и в воды глядела; сама того не приметив,
С шеи своей она сняла ожерелье, подарок
Рыцаря; им водила она по поверхности ровных
Вод, любуясь, как будто сквозь сон, сверканьем жемчужных
Зерен в прозрачной, вечерним лучом орумяненной влаге.
Вдруг расступилась вода, и кто-то, огромную руку
Высунув, ею схватил ожерелье и быстро пропал с ним.
Вскрикнула громко Бертальда и хохот пронзительный грянул
Отзывом крика ее по водам. Тут более рыцарь
Гнева не мог удержать; он вскочил в исступленьи и в реку
Начал кричать, вызывая на битву с собой всех подводных

Демонов, Никс и Сирен; а Бертальда своим безутешным
Плачем о милой утрате и пуще его раздражала.
Тою порою Ундина, к реке наклонясь, окунула
Руку в прозрачные волны и что-то над ними шептала;
Но поминутно она прерывала свой шопот, Гульбранду
Голосом нежным твердя: «Мой милый, мой милый, подумай,
Где мы; брани их, как хочешь; со мной же ни слова; ни слова,
Ради бога, со мною одною; ты знаешь». И рыцарь,
Как ни был раздражен, но ее пощадил. Вдруг Ундина
Вынула влажную руку из вод, и в ней ожерелье
Было из чудных кораллов; своим очарованным блеском
Всех ослепило оно. Его подавая Бертальде,
«Вот что (сказала она) для тебя из реки мне прислали,
Друг мой, в замену потери твоей. Возьми же и полно
Плакать». Но рыцарь в бешенстве кинулся к ней, ожерелье
Вырвал, швырнул в Дунай и воскликнул: «Ты с ними
Всё еще водишь знакомство, лукавая тварь! пропади ты
Вместе с своими подарками, вместе с своею роднею!
Сгинь, чародейка, от нас, и оставь нас в покое!..» С рукою,
Всё еще поднятой вверх, как держала она ожерелье,
Бледная, страхом убитая, взор неподвижный, но полный
Слез устремив на Гульбранда, Ундина его слова роковые
Слушала; вдруг начала, как милый ребенок, который
Был без вины жестоко наказан, с тяжким рыданьем
Плакать, и вот что сказала потом истощенным от горя
Голосом: «Ах, мой сладостный друг мой, прости, ах, прости невозвратно!
Их не бойся; останься лишь верен, чтоб было мне можно
Зло от тебя отвратить. Но меня уводят; отсюда
Прочь мне должно на всю молодую жизнь... о мой милый,
Что ты сделал! ах, что ты сделал! о горе! о горе!..»
Тут из лодки быстро она в реку ускользнула:
В воду ль она погрузилась, сама ли водой разлилася,
В лодке никто не приметил; было и то и другое,
Было ни то, ни другое. Следа не оставив, в Дунае
Вся распустилась она; но долго мелкие струйки
Около судна шептали, журчали, рыдая; и вслух доходили
Внятно, как будто слова: «О горе! будь верен! о горе!..»
С жалобным криком рыцарь упал, и обморок сильный
Душу ему на минуту отвел от тяжелыя муки.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

О ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ СЛУЧИЛОСЬ С РЫЦАРЕМ

Как нам, читатель, сказать: к сожаленью иль к счастью, что наше
Горе земное не надолго? Здесь разумею я горе
Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
Горе, которое с милым, потерянным благом сливает
Нас воедино, которым утрата для нас не утрата,
Смерть вдвоем бытие, а жизнь порыв непрестанный
К той черте, за которую милое наше из мира
Прежде нас перешло. Есть, правда, много избранных
Душ на свете, в которых святая печаль, как свеча пред иконой,
Ярко горит, пока догорит; но она и для них уж
Всё не та под конец, какою была при начале,
Полная, чистая; много, много иного, чужого
Между утратою нашей и нами уже протеснилось;
Вот наконец и всю изменяемость здешнего в самой
Нашей печали мы видим... итак, скажу: к сожаленью,
Наше горе земное не надолго. Это и рыцарь
Также изведал — но к худу ль, к добру ль своему, мы увидим.
Он сначала только и мог, что плакать, так горько
Плакать, как плакала бедная, кроткая, ангел доброты, Ундина,
Стоя в лодке, когда он отнял у ней ожерелье,
Коим она всё поправить так мило хотела; потом он
Так же и руку вверх подымал, как Ундина, и снова
Плакал и весь изойти слезами хотел. И Бертальда
Вместе с ним плакала искренно, горько. Друг подле друга
В замке Рингштеттене тихо жили они, сохраняя
Свято память Ундины и вовсе почти позабывши
Прежнюю склонность. К тому же в это время случалось
Часто и то, что Гульбранда во сне посещала Ундина:
Грустно к постеле его подходила она и смотрела

Пристально в очи ему, и плакала молча, и тихо,
Тихо потом назад уходила, так, что, проснувшись,
Сам он наверно не знал, его ли, ее ли слезами
Были так влажны щеки его. Но вот напоследок
Эти сны об Ундине стали час от часу реже;
Стало на сердце рыцаря тише; в нем скорбь призаснула.
Но, быть может, что он для себя ничего и придумать
В жизни не мог бы иного, как только, чтоб память Ундины
Верно хранить и об ней горевать, когда б не явился
В замке наш честный, старый рыбак и не стал от Гульбранда
Требовать дочери. Сведав по слуху о том, что с Ундиной
Сделалось, доле терпеть он уже не хотел, чтоб Бертальда
В замке одном жила с неженатым. «Рада ль, не рада ль
Будет мне дочь, о том я теперь и знать не желаю, —
Он говорил, — но где о честном имени дело,
Там разбирать уж нельзя». С приходом его пробудилось
В рыцаре прежнее чувство, им позабытое вовсе
В горе по милой Ундине; притом же его ужаснула
Мысль: одному в опустевшем замке остаться. Но много
Против брака с Бертальдой отец говорил в возраженье:
«Точно ль Ундины на свете не было? Впрочем — на дне ли
Влажном Дуная тело ее неотпетым лежало,
Море ль его без приюта носило своими волнами —
Всё Бертальда отчасти ее безвременной, жалкой
Смерти причиной была, и великий грех заступить ей
Место бедной жены, от нее пострадавшей». Хоть это
Было и правда, но рыцарь стоял на своем; напоследок,
С ним согласившись, рыбак остался в замке. И тотчас
Был отправлен гонец за отцом Лаврентием с зовом
В замок Рингштеттен: Гульбранду хотелось, чтоб тот же, кем первый
Брак с Ундиной его в счастливые дни совершен был,
Ныне и с новой женою его сочетал. Но священник,
С страхом каким-то посланника выслушав, тотчас
В путь отправился; день и ночь, несмотря на усталость —
Было ль ненастье иль ясное время — он шел. «Помоги мне,
Господи, зло отвратить», — он молился. И вот напоследок
Вечером поздним одним он вступил на двор, осененный
Старыми липами, замка Рингштеттена. Рыцарь с невестой,
Веселы, рядом с ними рыбак, задумчив, под тенью
Лип сидели. Увидя отца Лаврентия, рыцарь
С радостным криком вскочил, и все его окружили.

Но священник был молчалив, прискорбен; хотел он
Рыцарю что-то сказать одному; но рыцарь, как будто
Весть худую предчувствуя, медлил вступить в особливый
С ним разговор. Священник сказал напоследок: «Таиться
Здесь мне не нужно; до всех вас касается то, что скажу я;
Слушайте ж, рыцарь. Точно ль уверены вы, что супруга
Ваша скончалась? Мне не верится это. Хоть много
Было разной молвы об ней самой и о роде
Чудном ее — что правда, что нет, я не знаю — но знаю
То, что она была добронравной, верной, смиренной,
Благочестивой женою; а вам я скажу, что с недавних
Пор она по ночам начала мне являться: приходит,
Плачет, ломает руки, вздыхает и всё говорит мне:
«Честный отец, удержи ты его; я жива; о, спаси ты
Тело ему! о спаси ты душу ему!..» И сначала
Сам я понять не умел, чего хотело виденье:
Вдруг посольство отсюда — и здесь я; но я не для брака
Здесь, для развода. Гульбранд, откажись от Бертальды;
Бертальда,
Рыцарь не может быть мужем тебе, им владеет другая.
Верьте мне, верьте, или ваш брак вам не будет на радость».
Рыцарь с досадою выслушал старца Лаврентия; долго
Спорили жарко они; напоследок патер с сердитым
Видом из замка ушел, не желая и ночи единой
В нем провести. Гульбранд, уверив себя, что священник
Был сумасброд и мечтатель, послал в монастырь, по
соседству
С замком лежащий, за патером; тот без труда согласился
Брак совершить, и день для обряда был тут же назначен.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

О ТОМ, КАК РЫЦАРЬ ВИДЕЛ СОН

Было время меж утра и ночи, когда на постеле
Рыцарь, сонный не сонный, лежал. Уже забываться
Начал он; вдруг перед ним невидимкой, ужасное что-то
Стало; и он очнулся, как будто услышав какой-то
Голос, шепнувший: к тебе подошел посетитель бесплотный,
Силиться стал он, чтоб вовсе проснуться; но вот он услышал
Снова: как будто над ним и под ним лебединые крылья
Веяли, волны журчали и пели; и он, утомленный,
В сладкой дремоте опять упал головой на подушку.
Вот наконец и подлинно сон овладел им; и начал
Видеть во сне он, что будто им слышанный шум лебединых
Крыльев крыльями стал, что будто его подхватили
Эти крылья и с ним над землей и водой полетели
С сладостным веяньем, с звонким стенанием. «Стон
лебединый!
Стон лебединый! (себе непрестанно твердил поневоле
Сонный рыцарь) — ведь он предвещает нам смерть».
И казаться
Стало ему, что под ним Средиземное море; и лебедь,
Слышалось, пел: расступись, озарись, Средиземное море.
Вниз посмотрел он: лазурные воды стали прозрачным,
Чистым кристаллом, и мог он насквозь до самого дна их
Видеть; и там он увидел Ундину; под светлым, кристальным
Сводом сидела она и плакала горько; и было уж много,
Много в ее лице перемены; не та уж Ундина
Это была, с которою, в прежнее время, так счастлив
Был он в замке Рингштеттене: очи, столь ясные прежде,
Были тусклы, щеки впалы, болезнен был образ.
Всё то рыцарь заметил; но ею самой он, казалось,
Не был замечен. И вот подошел к ней, рыцарь увидел,
Струй, как будто с упреком за то, что так безутешно
Плакала; тут Ундина с таким повелительным видом
Встала, что Струй перед нею как будто смутился. «Хотя я

Здесь под водами живу, — сказала она, — но с собою
Я принесла и душу живую; о чем же так горько
Плачу, того тебе никогда не понять; но блаженны
Слезы мои, как всё блаженно тому, кто имеет
Верную душу». Струй, покачав головою с сомненьем,
Начал о чем-то думать, потом сказал: «Ты, как хочешь,
Чванься своею живою душою, но всё ты под властью
Наших стихийных законов, и всё ты обязана строгий
Суд наш над ним совершить в ту минуту, когда он
Верность нарушит тебе и женится снова». — «Но в этот
Миг он еще вдовец, — отвечала Ундина, — и грустным
Сердцем любит меня». — «Вдовец, я не спорю, — со смехом
Струй отвечал; — но он и жених, а скоро и мужем
Будет; тогда уж ты, не прогневайся, с нашим посольством
Хочешь, не хочешь, пойдешь; а это посольство, сама ты
Знаешь какое — смерть». — «Но знаю и то, что не можно
В замок Рингштеттен войти мне, — сказала с улыбкой
Ундина; —
Камень лежит на колодце». — «А если он выйдет из
замка. —
Струй возразил. — А если велит он камень с колодца
Сдвинуть? Ведь он об этих безделках забыл». — «Для
того-то, —
С ясной сквозь слезы улыбкой сказала она, — и летает
Духом теперь он поверх Средиземного моря и слышит
Сонный всё то, что мы с тобой говорим; я нарочно
Это устроила так, чтоб он остерегся». Приметя
Рыцаря, Струй взбесился, топнул ногой, кувыркнулся
В волны и быстро уплыл, раздувшись от ярости китом.
Лебеди снова, со звоном, со стоном начали веять,
Начали реять; и снова рыцарю видеться стало,
Будто летит он, летит над горами, летит над водами,
Будто на замок Рингштеттен слетел, и будто проснулся.
Так и было: проснулся Гульбранд у себя на постеле.
В эту минуту вошел кастелян объявить, что близ замка
Встречен был патер Лаврентий, что он в лесу недалеко
Сделал себе из сучьев шалаш и в нем поселился. —
«Мне на вопрос, зачем он живет здесь, когда отказался
Рыцарев брак освятить, — отвечал он: — Разве одни лишь
Браки должны освящать мы? Другие нередко обряды
Нам совершать случается. Если не мог пригодиться
Я на одно, пригожусь на другое, и жду; пированье
Может легко перейти в горևванье. Итак, кто имеет

Очи, да видит; кто уши имеет, да слышит». В раздумьи
Долго рыцарь сидел, вспоминая свой сон и значенье
Слов отца Лаврентия силясь понять; но, пришедши
К милой невесте, он всё позабыл, разгулялся и снова
Сделался весел, и всё осталось попрежнему в замке.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

О ТОМ, КАК РЫЦАРЬ ПРАЗДНОВАЛ СВАДЬБУ

Если рассказывать мне, читатель, подробно, каков был
В замке Рингштеттене свадебный пир, то будет с тобою
То же, как если бы вдруг ты увидел множество всяких
Редких сокровищ, покрытых траурным флером, и в этом
Злую насмешку нашел над ничтожностью счастья земного.
Правда, в этот свадебный день ничего не случилось
Страшного в замке — духам водяным, уж это мы знаем,
Было проникнуть в него нельзя — но со всем тем наш
рыцарь,
Гости, рыбак и даже служители были все как-то
Смутны; казалося всем, что на празднике с ними кого-то
Главного нет, и что этим главным никто уж не мог быть
Кроме смиренной, ласковой, всеми любимой Ундины.
Всякий раз, когда отворялися двери, невольно
Все на них обращали глаза и ждали; когда же,
Вместо желанной, являлся иль с блюдом дворецкий, иль
ключник
С кубком вина благородного, каждый печально в тарелку
Взор опускал и сидел безгласен, как будто бы в грустной
Думе о прошлом. Всех веселее была молодая;
Но и ей самой как будто совестно было
В брачном зеленом венце, в жемчугах и в богатом
венчальном
Платье на первом месте сидеть, тогда, как Ундина
«Трупом, еще не отпетым, на дне Дуная лежала
Или носима была без приюта морскими волнами».
Эти отцовы слова и прежде мутили ей сердце;
Тут же они отзывались в ушах ее беспрестанно.
Рано гости оставили замок, и каждый с каким-то
Тяжким предчувствием. Рыцарь пошел к себе, молодая
Так же к себе — раздеваться. Кругом новобрачной
Были прислужницы. Вот, чтоб немного свои порассеять
Черные мысли, Бертальда велела подать дорогие

Перстни, жемчужные нитки и платья, рыцарем к свадьбе
Ей подаренные; стала примеривать то и другое.
Льстя ей, прислужницы вслух восхищались ее красотою;
С видом довольным слушая их, Бертальда смотрелась
В зеркало; вдруг сказала: «Ах! боже! какая досада!
Вот опять у меня на шее веснушки; а можно б
Тотчас согнать их; стоило б только водой из колодца
Нашего раз обтереться; ах! если б мне нынче ж хоть кружку
Этой воды достали!» — «О чем же тут думать?» сказала,
Бросившись в двери, одна из прислужниц. «Неужто успеет
Эта проказница камень поднять!» — с довольной усмешкой
Вслед за нею смотря, Бертальда подумала. Скоро
Сделался шум на дворе: с рычагами к колодцу бежали
Люди. Бертальда села подле окна и при ярком
Блеске полной луны, освещавшем двор замка, ей было
Видно всё, что делалось там. Работники дружно
Двинули камень, хотя иному из них и прискорбно
Было подумать, что им теперь надлежало разрушить
То, что было приказано сделать прежнею, доброй
Их госпожою; но труд был не так-то велик, как сначала
Думали; им изнутри колодца как будто какая
Сила камень поднять помогала. Дивясь, говорили
Между собою работники: можно подумать, что бьет там
Сильный ключ. И в самом деле с отверстия камень
Сам собой подымался; без всякой помоги, свободно
Сдвинулся он и, со стуком глухим откатясь, повалился.
Вдруг из колодца что-то, как будто белый прозрачный
Столб водяной, поднялося торжественно, тихо. Сначала
Подлинно бьющим ключом показалось оно, но, поднявшись
Выше, каким-то бледным, в белый покров облеченным
Женским образом стало. И плача, и жалобно руки
Вверх подымая, оно медлительно, шагом воздушным
Прямо к замку двигалось. В ужасе все отбежали
Прочь от колодца. Бертальда же, стоя в окне, цепенела,
Холодом страха облитая. Вот, когда поровнялся
С самым окошком идущий образ, сквозь покрывало
Он поглядел на Бертальду пронзительным оком, с тяжелым
Вздохом; и бледным лицом Ундины тогда показался
Образ Бертальде: мимо ее она, упинаясь,
Нехотя, медленно шла, как будто на суд. «Позовите
Рыцаря», — громко вскричала Бертальда. Но все в неподвижном

Страхе стояли на месте. Сама Бертальда, как будто
Собственным криком своим приведенная в ужас, умолкла.
Тою порою чудесная гостья приблизилась к двери
Замка, знакомую лестницу, ряд знакомых покоев
Тихо, молча, плача, прошла... о такою ль бывало
Здесь видали ее? В то время еще не раздетый
Рыцарь в уборной своей стоял перед зеркалом. Тусклый
Свет проливала свеча. Вдруг кто-то легонько
Стукнул в дверь... так точно, бывало, стучалась Ундина.
«Всё это призрак! (сказал он) пора мне в постелю».—
«В постеле
Будешь ты скоро, но только в холодной»,—шепнул
за дверями
Плачущий голос. И в зеркало рыцарь увидел, как двери
Тихо, тихо за ним растворились, как белая гостья
В них вошла, как чинно замóк заперла за собою.
«Камень с колодца сняли,—она промолвила тихо;—
Здесь я; и должен теперь умереть ты». Холод, по сердцу
Рыцаря вдруг пробежавший, почувствовать дал, что минута
Смерти настала. Зажавши руками глаза, он воскликнул:
«О, не дай мне в последний мой час обезуметь от страха!
Если ужасен твой вид, не снимай покрывала, и строгий
Суд соверши надо мной, мне лица твоего не являя».—
«Ах!—она отвечала,—разве еще раз увидеть,
Друг, не хочешь меня? Я прекрасна как прежде, как
в оный
День, когда твоею невестою стала».—«О, если б
Это правда была! (Гульбранд воскликнул), о, если б
Мне хоть один поцелуй от тебя! и пускай бы
В нем умереть!»—«Охотно, возлюбленный мой»,—
покрывало
Снявши, сказала она; и прекрасной Ундиною, прежней
Милой, любящей, любимой Ундиною первых, блаженных
Дней предстала. И он, трепеща от любви и от близкой
Смерти, склонился к ней в руки. С небесным она поцелуем
В руки его приняла, но из них уже не пустила
Боле его; а крепче, всё крепче к нему прижимаясь,
Плакала, плакала тихо, плакала долго, как будто
Выплакать душу хотела: и быстро, быстро лияся,
Слезы ее проникали рыцарю в очи, и с сладкой
Болью к нему заливалися в грудь, пока напоследок
В нем не пропало дыханье и он не упал из прекрасных
Рук Ундины бездушным трупом к себе на подушку.

«Я до смерти его уплакала», — встреченным ею
Людям за дверью сказала Ундина и тихим, воздушным
Шагом пó двору, мимо Бертальды, мимо стоявших
В страхе работников, прямо прошла к колодцу, безгласной,
Грустной тенью спустилась в его глубину и пропала.



В. А. Жуковский (1837)

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

О ТОМ, КАК РЫЦАРЬ БЫЛ ПОГРЕБЕН

Патер Лаврентий, услышав о том, как внезапно и чудно
Кончил жизнь владетель замка Рингштеттена, тотчас
В замке явился; и он, входя на двор, осененный
Липами, встретился там с монахом, недавно венчавшим
Рыцаря; в ужасе тот удалиться спешил. «Так и должно! —
Патер Лаврентий сказал, — теперь моя наступила
Очередь; мне помощник не нужен». Хотел он невесте,
Вдруг овдовевшей, отрадное слово сказать в подкрепленье;
Но Бертальда, ему не внимая, молчала угрюмо.
Старый рыбак молился и плакал, и, в горе смиряясь,
Думал: «Оно иначе и быть не могло — то господний
Суд»; и конечно Гульбрандова смерть никому не могла быть
Так тяжела, как именно той, которую с смертной
Вестью прислали к нему, отверженной, бедной Ундине.
Стали готовить обряд похоронный, как было прилично
Сану покойника: тело его положить надлежало
Подле церкви приходской, там, где были гробницы
Предков его, одаривших множеством вкладов богатых
Эту церковь. И щит и шлем уж лежали на кровле
Гроба, чтоб с ним опуститься в могилу, ибо наш рыцарь
Был последний в роде своем, который с ним вместе
Кончился весь. И ход печальный уже начинался;
Песнь погребальная к светло спокойной небесной лазури
Тихо всходила; с длинным крестом, во всем облаченьи
Патер Лаврентий шел впереди; за ним шла Бертальда
В горьких слезах, на дряхлую руку отца опираясь.
Вдруг посреди Бертальдиных женщин, одетых в глубокий
Траур и шедших в свите ее, заметили белый
Образ, в длинном, густом покрывале, тихо идущий,
Грустно потупивши голову. Страхом проникнут был каждый,
Шедший подле такого товарища; все сторонились,
Пятились, так, что порядок хода расстроился. Силой
Два смельчака хотели незваного из ряду вывесть;

Но, от них ускользнувши как легкая тень, он на прежнем
Месте явился опять и последовал тихо за гробом.
Вот напоследок он, мало-по-малу, меняяся местом
С теми, кто в страхе спешил от него удалиться, подле
Самой вдовы очутился; но ею сначала примечен
Не был, и сзади пошел смиренно-печальный. Достигнул
Ход до кладбища, и все обступили могилу. Тут в первый
Раз Бертальда незваного гостя увидела, в страхе
Стала она рукою махать, чтоб он удалился;
Но покровенный, кротко упорствуя, тряс головою,
Руки к ней простирал и как будто молил о пощаде.
Вспомнила тут невольно Бертальда Ундину, как руку
К ней она подняла на Дунае, когда ей хотела
Так добродушно подать ожерелье, и как под водами
Скрылась потом навсегда. Но в это мгновение подал
Знак отец Лаврентий, чтоб все умолкли. И стали
Гроб опускать в могилу, и мало-по-малу засыпан
Был он землею. Когда же совсем был набросан могильный
Холм, и читать последнюю начал молитву священник,
Стала вдова на колени, стали и все на колени,
В том числе и могильщики, кончивши насыпь. Когда же
Снова все встали... уж белый образ пропал; а на месте,
Где он стоял на коленах, сквозь травку сочился прозрачный
Ключ; серебристо виясь, он вперед пробирался, покуда
Всей не обвил могилы; тогда ручейком побежал он
Дале, и бросился в светлое озеро ближней долины.
Долго, долго спустя, про него тех мест поселяне
Чудную повесть любили прохожим рассказывать; долго,
Долго жило поверье у них, что ручей тот Ундина,
Добрая, верная, слитая с милым и в гробе Ундина.

НАЛЬ И ДАМАЯНТИ

ИНДЕЙСКАЯ ПОВЕСТЬ

В те дни, когда мы верим нашим снам
И видим в их несбыточности быль,
Я видел сон: казалось, будто я
Цветущею долиной Кашемира
Иду один; со всех сторон вздымались
Громады гор, и в глубине долины,
Как в изумрудном, до краев лазурью
Наполненном сосуде — небеса
Вечерние спокойно отражая —
Сияло озеро; по склону гор
От запада сходила на долину
Дорога, шла к востоку и вдали
Терялася, сливаясь с горизонтом.
Был вечер тих; всё вкруг меня молчало;
Лишь изредка над головой моей
Сияя голубь пролетал, и пели
Его волнующие воздух крылья.
Вдруг вдалеке послышались мне клики;
И вижу я: от запада идет
Блестящий ход; змеею бесконечной
В долину вьется он; и вдруг я слышу:
Играют марш торжественный; и сладкой
Моя душа наполнилася грустью.
Пока задумчиво я слушал, мимо
Прошел весь ход, и я лишь мог приметить
Там в высоте, над радостно шумящим
Народом, паланкин; как привиденье
Он мне блеснул в глаза; и в паланкине
Увидел я царевну молодую,
Невесту севера; и на меня
Она глаза склонила мимоходом;
И скрылось всё... когда же я очнулся,
Уж царствовала ночь и над долиной

Горели звезды; но в моей душе
Был светлый день; я чувствовал, что в ней
Свершилося как будто откровенье
Всего прекрасного, в одно живое
Лицо слиянного. — И вдруг мой сон
Переменился: я себя увидел
В царевом доме, и лицом к лицу
Предстало мне души моей виденье;
И мнилось мне, что годы пролетели
Мгновеньем надо мной, оставив мне
Воспоминание каких-то светлых
Времен, чего-то чудного, какой-то
Волшебной жизни. — И мой сон
Опять переменился: я увидел
Себя на берегу реки широкой;
Садилось солнце; тихо по водам
Суда сияя плыли, и за ними
Серебряный тянулся след; вблизи
В кустах светился домик; на пороге
Его дверей хозяйка молодая
С младенцем спящим на руках стояла...
И то была моя жена с моею
Малюткой дочерью... и я проснулся;
И милый сон мой стал блаженной былью.

И ныне тихо без волненья льется
Поток моей уединенной жизни.
Смотря в лицо подруги, данной богом
На освященье сердца моего,
Смотря, как спит сном ангела на лоне
У матери младенец мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тот покой,
Которого так жадно здесь мы ищем,
Но находя нигде; и слышу голос,
Земные все смиряющий тревоги:
Да не смущается твоя душа,
Он говорит мне, *веруй в бога, веруй*
В меня. Мне было суждено своею
Рукой на двух родных, земной судьбиной
Разрозненных могилах те слова
Спасителя святые написать;
И вот теперь на вечере моем
Рука жены и дочери рука

Еще на легкой жизненной странице
Их пишут для меня, дабы потом
На гробовой гостеприимный камень
Перенести в успокоенье скорби,
В воспоминание земного счастья,
В вознаграждение любви земныя
И жизни вечныя на упованье.

И в тихий мой приют, от всех забот
Житейского живой оградой сада
Отгороженный, друг минувших лет,
Поэзия ко мне порой приходит
Рассказами досуг мой веселить.
И жив в моей душе тот светлый образ,
Который так ее очаровал
Во время оно... Часто на краю
Небес, когда уж солнце село, видим
Мы облака; из-за пурпурных ярко
Выглядывают золотые, светлым
Вершинам гор подобные; и видит
Воображенье там как будто область
Иного мира. Так теперь созданьем
Мечты, какой-то областью воздушной
Лежит вдали минувшее мое;
И мнится мне, что благодатный образ,
Мной встреченный на жизненном пути,
Попрежнему оттуда мне сияет.
Но он уж *не один*, их *два*; и прежний
В короне, а другой в венке живом
Из белых роз, и с прежним сходен он
Как расцветающий с расцветшим цветом;
И на меня он светлый взор склоняет,
С такою же приветною улыбкой,
Как тот, когда его во сне я встретил.
И имя им одно. И ныне я
Тем милым именем последний цвет,
Поэзией мне данный, знаменую
В воспоминание всего, что было
Сокровищем тех светлых жизни лет,
И что теперь так сладостно чарует
Покой моей обвечеревшей жизни.

Дюссельдорф, 16/28 февраля 1843

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Жил был в Индии царь, по имени Наль. Виразены
Сильного сын, обладатель царства Нишадского, этот
Наль был славен делами, во младости мудр, и прекрасен.
Так, что в целом свете царя, подобного Налю,
Не было, нет и не будет: между другими царями
Он сиял, как сияет солнце между звездами.
Крепкий мышцею, светлый разумом, чтитель смиренный
Мудрых духовных мужей, глубоко проникнувший в тайный
Смысл писаний священных, жертв сожигатель усердный
В храмах богов, вождслений своих обуздатель, нечистым
Помыслам чуждый, любовь и тайная дума
Дев, гроза и ужас врагов, друзей упованье,
Опытный в трудной военной науке, искусный и смелый
Вождь, из лука дивный стрелок, наипаче же славный
Чудным искусством править конями — на них же он в сутки
Мог сто миль проскакать — таков был Наль; но и слабость
Также имел он великую: в кости играть был безмерно
Страстен. — В это же время владел Видарбинским обширным
Царством Бима, царь благодушный; он долго бездетен
Был и тяжко скорбел от того, и обет пред богами
Он произнес великий, чтоб боги его наградили
Сладким родительским счастьем; и боги ему даровали
Трех сыновей и дочь. Сыновья назывались: первый
Дáмас, Дáнтас другой, и Дáманас третий; á имя
Дочери было дано Дамаянти. Мальчики были
Живы и смелы; звездой красоты расцвела Дамаянти:
Прелесть ее прошла по земле чудесной молвою.
В доме отца, окруженная роем подружек, как будто
Свежим венком, сияла меж них Дамаянти, как роза
В пышной зелени листьев сияет, и в этом собраньи
Дев сверкала, как молния в туче небесной. Ни в здешнем
Свете, ни в мире бесплотных духов, ни в стране, где святые
Боги живут, никогда подобной красы не видали;

Очи ее могли бы привлечь и бессмертных на землю
С неба. Но как ни была Дамаянти прекрасна, не мене
Был прекрасен и Наль, подобный пламенно-нежной
Думе любви, облекшейся в образ телесный. И каждый
Час о великом царе Нишадской земли Дамаянти
Слышала, каждый час о звезде красоты благородной
Царь нишадский слышал; и цвет любви из живого
Семени слов меж ними, друг друга не знавшими, скоро
Вырос. Однажды Наль, безымянной болезнию сердца
Мучимый, в роще задумчив гулял; и вдруг он увидел
В воздухе белых гусей; распустив златоперые крылья,
Стаей летели они и громко кричали, и в рощу
Шумно спустились. Проворной рукой за крыло золотое
Наль схватил одного. Но ему сказал человечьим
Голосом Гусь: «Отпусти ты меня, государь, я за это
Службу тебе сослужу: о тебе Дамаянти прекрасной
Слово такое при случае молвлю, что только и будет
Думать она о Нале одном». То услыша, поспешно
Наль отпустил золотого Гуся. Вся стая помчалась
Прямо в Видарбу, и там опустилася с криком на царский
Луг, на котором в тот час Дамаянти гуляла. Увидев
Чудных птиц, начала Дамаянти с подружками бегать
Вслед за ними; а гуси, с места на место порхая,
Все рассыпались по лугу; с ними рассыпались также
Скоро и все подружки царевнины: вот Дамаянти
С Гусем одним осталась одна; и Гусь, приосанясь,
Вдруг сказал человеческим голосом ей: «Дамаянти,
В царстве Нишадском царствует Наль; и нет и не будет
Между людьми красавца такого. Когда бы его ты женою
Стала, то счастье твое вполне б совершилось; какой бы
Плод родился от союза с его красотою могучей
Нежной твоей красоты. Вас друг для друга послали
Боги на землю. Поверь тому, что тебе говорю я,
О тихонравная, сладкоприветная, чистая дева!
Много мы в странствиях наших лугов человеческих, много
Райских обителей неба видали; в стране великанов
Также нам быть довелось; но доныне еще, Дамаянти,
Встретить подобного Налю царя нам нигде не случилось:
Ты жемчужина дев, а Наль мужей драгоценный
Камень. О, если бы вы сочетались! тогда бы узрели
Мы на земле неземное». Так Гусь говорил. Дамаянти,
Слушая, радостно рдела; потом в ответ прошептала,
Вся побледнев от любви: «*Скажи ты то же и Налю*».

Быстро, быстро поднялся он, дважды рожденный, сначала
В виде яйца, потом из яйца, и в Нишадское царство
Прямо помчался и там рассказал о случившемся Налю.

II

После того, что сказал ей Гусь золотой, Дамаянти,
Словно как будто с собою расставшись, была беспрестанно
С Налем прекрасным. Объятая тайною думой, влачася
Шаткой, неверной стопою, как будто в каком расслабленьи,
То подымая к небу грустные очи, то в землю
Их потупляя, то с полною тяжкими вздохами грудью —
Временем щеки как жар, временем бледные, очи
Полные слез, засохшие губы и все в беспорядке
Мысли, как волосы — день и ночь Дамаянти вздыхала,
Слабая, томная; не было ей ни сна на постели,
Ниже покоя на месте ином; и, тая в болезни,
Пищи она ни питья принимать не хотела. Подружкам
Скоро стало заметно, что с их царевной прекрасной
Что-то случилось недоброе; скоро достигнул печальный
Слух и до Бимы царя, что дочь его Дамаянти
Свой покой потеряла. Как скоро об этом проведал
Царь, то он весьма опечалился. «Видно настало
Время любви для тебя, моя Дамаянти», — сказал он.
Вот и задумал Бима дать пир, чтоб отвсюду на выбор
Съехались к ней женихи. Гонцов разослал он по разным
Царствам Индейским: царей приглашать на праздник
в Видарбу.
Только к царям и царевичам весть об этом достигла,
Все снарядилися в путь; с востока и запада быстрый,
Шумный поток пути наводнил, наполняя всю землю
Смутным гулом слонов, коней, колесниц, и до неба
Пыль густую подъемля. Сияя богатством уборов,
Множеством ратников, блеском оружия, пышностью
броней,
Съехались гости в Видарбу; торжественно встретил их
Бима. —
В это время странствовать вышел глава и светило
Всех отшельников праведный старец Нерáда; избранный
Спутник его был Первáта блаженный. Из пыльного
мира
Темных гробов проникнул он в царство небесного света,
В оный предел, где сад веселий цветет, где великий

Властвует Индра. В светло-воздушные сени вступили
Оба странника; их приветствовал радостно Индра;
Им поклонясь и воздав им обоим приличную почесть,
Царь небесныя тверди спросил гостей о здоровьи
Их и целого света. «Владыка, — с поклоном Нера́да
Индре ответствовал: — божеской милостью вашей
здоровы
Мы, и весь свет наш здоров: благоденствуют люди и звери;
В каждой пылинке и в каждой былинке жизнь и веселье».
Слыша такой ответ Нера́ды, могучий правитель
Мира спросил: «Но где же мои любимцы, кровавых
Споров решители, крови своей проливатели в битвах,
Смерти презрители, храбрые мира защитники? Ими
Светлую область мою населять я люблю; но напрасно
Жду я на пир мой желанных гостей, не приходят
Гости мои уж давно. Скажи мне, святой, что случилось
С племенем храбрых?» На это ответствовал Индре
Нера́да:
«Я объясню, всемогущий, тебе, отчего так давно ты
Здесь никого не видишь из храбрых вождей: Дамаянти,
Дочь царя видарбинского Бимы, которой на свете
Нет ничего подобного, хочет по сердцу супруга
Выбрать, и все цари и царевичи едут в Видарбу;
Всякая ссора забыта, и вот почему так спокойна
Стала земля, почему и в твою светозарную область
Гости давно не приходят». Покуда их длилась беседа,
Прибыли к Индре его соучастники в миродержавстве,
Агнис, властитель огня, Варуна, воды повелитель,
Яма, бог-земледержец. Услышав сказанье Нера́ды,
Боги воскликнули с светлым лицом: «На выборе этом
Будем и мы». И на быстрых конях, предводимые
Индрой,
Боги пустились в Видарбу, куда все цари собирались.
Тою порою и Наль, любовью сгорая, лишь только
Сведал о съезде великом в Видарбе, на быстрых
Крыльях желанья помчался; нужды в конях не имел он.
Боги спустясь с высоты, на дороге увидели Наля:
Был красотою он светел, как день; и боги, пленяся
Той красотой, на него с изумленьем смотрели; четыре
Стихий властителя, в воздухе свой полет удержавши,
Вот что сказали: «Здравствуй, нишадец, войск истребитель,
Наль Пуньялока. Хочешь ли нам оказать ты услугу?
Нашим послом полномочным иди отсюда в Видарбу». —

III

«Всё исполню, — ответствовал Наль; и руки сложивши
В страхе невольном, с видом покорным спросил он их: —
кто вы,
Солнечным блеском одетые? С вестью какой повелите
Мне в Видарбу итти?» Ему ответствовал Индра:
«Знай, что мы боги бессмертные, сшедшие в мир для
прекрасной
Дочери Бимы царя Дамаянти, к которой отвсюду
Сходятся ныне земные цари; я Индра, властитель
Воздуха; это Агнис, огня повелитель могучий;
Это Варуна, двигатель вод, а это великий
Тверди земной основатель Яма. Знай же, что ныне
Наш ты посол, и вот что ты должен сказать Дамаянти:
«Ведай, царевна, что боги стихий — бог воздуха Индра,
Агнис огня, Варуна воды и Яма земли — к нам
С неба сошли, чтоб из них одного избрала ты в супруги!»
Руки сжав с умилением, Наль ответствовал Индре:
«Сам я за тем же в Видарбу иду; от других невозможно
Быть мне послом к Дамаянти; молю, от такого посольства,
Боги, избавьте меня». На то ответствовал Индра:
«Разве не ты, благородный нишадец, сказал нам: *исполню?*
Можешь ли слово нарушить? Иди ж и не смей отрицаться».
Наль отвечал с замешательством: «Как же дойду я к царевне?
Входы все заперты крепкою стражей». — «О том не
заботься, —
Боги сказали, — дойдешь свободно, иди без боязни».
Наль пошел, покоряся без ропота воле бессмертных.
Он во дворец свободно проникнул и там Дамаянти
Скоро увидел в кругу подружек; как с неба слетевший
Ангел, она прекрасна была, и прелесть любви окружала
Нежные члены ее, вожделенье любви пробуждая
В каждом сердце; и месяц и солнце не столь утешали
Светом своим, как ее пленительно-девственный образ.
Муку любви почувствовал Наль при виде волшебном
Стройного стана ее; но он пересилил стремленье
Силы мучительной. Все подружки царевны вскочили
С мест, изумленные входом нечаянным Наля; прекрасный
Образ его поразил их так, что им показалось
Небо отверзтым. Не смея его вопросить, меж собою
Тихо шептались они, повторяя: откуда пришел он?
Кто он? какой он породы? райской? земной? исполинской?
Так вопрошали друг друга они, ослепленные блеском

Наля, очей на него поднять не смея (столь боги
Прелесть его, уж и так не земную, блеском небесным
Вдруг возвеличили). В это мгновенье пред ним Дамаянти
С сердцевластительным взором, с улыбкой, чарующей душу,
Молча стояла, молча глядела и таяла тайным
Пламенем. «Кто ты? — она напоследок спросила. —
Кто ты, всё озаряющий, прелестью дышащий, душу
Радостной мукой объемлющий? Как ты проникнул в обитель
Царской дочери, всем затворенную, мимо царевой
Стражи, никем не замеченный? Кто ты? Какое ты носишь
Имя?» На этот вопрос видарбинской прекрасной царевны
Наль ответствовал: «Знай, Дамаянти, я Наль; я в Видарбу
Прислан, царевна, тебя известить, что великие боги
Индра, Агнис, Варуна и Яма спустились на землю
С неба за тем, чтоб из них одного избрала ты в супруги.
Их могуществом мог и сюда неприметно пройти я;
Зная теперь, зачем я здесь, видарбинская дева,
Сделай сама, что найдешь для себя и благим и приличным».

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Весть такую услышав, сначала богам Дамаянти
Сердцем смиренным свою принесла благодарность; с улыбкой
Налю сказала потом: «Не боги, а ты мой избранный
Светлый жених; я твоя, и всё, чем я обладаю,
Всё, что люблю я, каждое явное, тайное чувство
Сердца, все мысли, желанья, и жизнь и всё, мой прекрасный
Царь, владыка души, твое без остатка. Что белый
Гусь мне сказал, то сердце мое сокрушило; и были
Все цари и царевичи созваны мною на выбор
Только затем, чтоб привлечь и тебя: но ты уж заране
Избран; отдаться тебе поклялась я, и был ты
Здесь уж давно ожидаем; но только совсем для иного.
Сватайся ж сам за меня; тебе неприлично являться
Здесь послом от других; и знай, что, если тобою
Буду отвергнута я, от которой приемлешь ты ныне
Почесть такую, то всё мне смертию будет: вода ли,
Яд ли, огонь ли, веревка ли, всё мне равно; нестерпимо
Женскому сердцу в любви безответно признаться». На это
Наль видарбинской царевне ответствовал: «Как же ты
можешь
Вечным богам предпочесть обреченного смерти? Как можешь
С теми, от коих жизнь истекает, кем держится зданье
Мира, ставить меня на ряду, недостойного с прахом
Ног их сравниться? Идущий против воли бессмертных
Смерти навстречу идет. О пленительно-стройная дева!
Будь мне спасеньем, избравши небесное вместо земного.
Легкость чистых, беспыльно-эфирных одежд, неземные
Перлы, венки и повязки богов предпочти, и блаженствуй.
Что желанней тебе? Благовонный ли воздух? Огня ли
Жертвенный пыл? Живая ли влага воды? Иль твердыня
Вечной земли? Один, лазурно-воздушным пространством
Мир объемля, движеньем и светом его наполняет;
Искрою в каждой пылинке таяся, другой проникает

Всё, разрушая тела и духу даруя свободу;
Третий, кристальною цепию землю обвив и на зыбком
Пухе воды отдыхая, жемчужные нити вплетает
В кудри свои; четвертый дает живущему место,
Мертвому пристань и всё созданье на суд собирает —
Вот твои женихи, Дамаянти; богам ли бессмертным
Ты откажешь? Не делай того, послушайся друга».
С трепетом сердца и влагой печали затмивши сиянье
Светлых очей, отвечала ему Дамаянти: «Всесильны
Вечные боги; я чту их всем сердцем и им поклоняюсь
С верой; но ты мой жених; ты избран любовию; этой
Правды скрывать не хочу я». Так говоря, Дамаянти
Очи стыдливо склонила и руки прижала к дрожащим
Девственно-чистым грудям с умоляющим видом. Вздохнувши
Наль отвечал: «Не забудь, Дамаянти, что я пред тобою
В сане посла, нарушу ль святую доверенность? Буду ль
Ныне просить для себя того, что строго велит мне
Должность просить для других? Наступит мой час, и без страха
Стану за право свое. Ты сама об этом размысли,
Радость очей, видарбинская роза». Вздох утаивши,
Тихо в ответ Дамаянти шепнула: «О друг, мы согласны
В мыслях; ты путь прямой избери, чтоб упрека и тени
Пасть на тебя не могло. Приходи же, о ты, украшенье
Смертных людей, с богами ко мне на торжественный выбор;
Там в присутствии сильных властителей мира, тебя я
Выберу, царь благородный, тогда и ты пред богами
Правым и чистым останешься». Этот ответ видарбинской
Девы принявши, Наль возвратился в то место, где были
Собраны боги. Посла своего издалека увидя,
Миродержавцы спросили его с живым любопытством:
«Что ты скажешь? Какой ответ нам принес от царевны?»
Наль сказал: «Посланником вашим проник я в жилище
Царской дочери, мимо стражей, невидимый стражам,
Видимый только царевне одной; конечно то было
Так устроено вашею властью: с царевной нашел я
Много подруг; они вскочили, меня испугавшись;
Но Дамаянти, прекрасный светло смеющийся месяц,
В то мгновенье, как вашу волю, бессмертные боги,
Я объявлял ей, меня самого в затменьи рассудка
Выбрала. Вот что сказала в ответ мне царевна: «Пусть придут
Боги вместе с тобою ко мне на торжественный выбор;
Там, в присутствии сильных властителей мира, тебя я

Выберу, царь благородный; тогда и ты пред богами
Правым и чистым останешься». Ваша воля святая
Мною исполнена, вечные боги; теперь, умоляю,
Должность посла снимите с меня и свободу мне дайте».

II

Вот с наступлением дня пригласил царь Бима на выбор
Всех своих знаменитых гостей. Собралися в обширной
Царской палате цари и царевичи; взоры их жаркой
Жаждой любви пламенели; они прошли сквозь златые
Своды высоких дверей, как львы сквозь расселину; в блеске
Свежих душистых венков, в серьгах драгоценных сидели
Там величавые гости на пышных, упругих подушках;
Тесно их сонмище было, как львиная грива густая;
Полная ж ими палата казалась разинутым зевом
Тигра, полным зубов. И было тут чем любоваться:
Крепкие бедра, как будто столбы, литые из меди,
Сильные мышцы и плечи, как будто могучие дубы,
С гибкими пальцами руки, как змеи с пятью головами,
Гордые шеи, светлым гранитным зубцам на вершинах
Горных подобные, в блеске прекрасных, весельем горящих
Лиц и пышных волос и высоких бровей и огнистых
Глаз. И в собранье гостей вошла Дамаянти, чтоб ум их
Взглядом одним помутить, чтоб глаза и сердца их опутать
Сетью любви. И все к ней очами прильнули, как птицы
К клейкой охотничьей жерди. Долго кругом Дамаянти
Взор свой водила; но тот, кто один был и в сердце и мыслях,
Ей не являлся. Вдруг видит царевна пять одинаких
Образов; были они перед нею; то к ней приближались,
То от нее отходили; и каждый ей представлялся
Налем, как скоро глаза на него она обращала;
Мысли ее помутились. Она подумала: «Что мне
Делать? Как четырех богов отличу я от Наля?»
Взоры ее напрасно божественных знаков искали.
«Знаков, о коих дошли к нам издревле сказанья, не носит
Здесь на себе ни один из видимых мною», — царевна
Думала. Вот, наконец, по долгом с собой размышленьи,
Так решилась она: «К богам подойду я с молитвой;
Боги молитвы моей не отринут». И с верой смиренной,
Руки сложив и к грудям богомольно прижав их, царевна
Так сказала: «Боги бессмертные, боги святые,

Мною избранного, сердцем желанного мне покажите;
Если пред вами я делом и мыслию правду хранила,
Если молюся вам с теплою верою, если вы сами
Мне, уж избранного мною самою, в супруги избрали,
Если его я любить поклялася и если должны быть
Клятвы священны, то мне вы его покажите, благие
Боги, и знаки свои мне откройте, чтоб вас я почтила».
Столь сердечную жалобу слыша из уст Дамаянти,
Видя ее чистоту и любовь и покорность их воле,
Видя правдивость ее и кроткое сердце и светлый
Ум, согласились немедля ее желанье исполнить
Боги и приняли знаки свои. Тогда Дамаянти
Их во мгновенье узнала по зорко-спокойному оку,
Лицам беспотным, светло-нетленным венкам, недоступным
Пыли белым одеждам, бестенному телу и дивной
Легкости быстрых движений, с какою они перед нею
Веяли с места на место, земли не касаясь ногами.
Рядом с ними, полуотененный, в венке уж завядшем,
Пылью и потом покрытый, стоял на земле с помраченным,
Грустно потупленным взором задумчивый Наль. Дамаянти
Вызвала тотчас его из средины бессмертных и выбор
Свой изъявила обычным обрядом, смиренно коснувшись
Края одежды его и на кудри ему наложивши
Свежий душисто-блестящий венок. Совершился великий
Выбор; со всех сторон раздалися торжественно клики;
Все цари и царевичи, мужи святые и боги,
Выбор одобрив, воскликнули: *Слава*! счастливому Налю.
Он же, полный блаженства любви, своей нареченной,
Робко краснеющей, очи склонившей, дрожащей невесте
Так сказал с трепетанием сердца, но голосом твердым:
«Если могла при бессмертных богах ты смертного мужа
Так почтить, Дамаянти, то слушай: тебя я
Сам пред людьми и богами своею женой именую,
Весь на целую жизнь отдаюся тебе, и доколе
Будет дух жизни в теле моем, дотоле, о дева,
Роза Видарбы, я буду твоим; мое обещанье
С верой прими, на меня положись; отныне тебя я
Буду питать, защищать, и чтить и хранить, и останусь
Верен тебе всегда, во всем, и словом, и делом,
Радость и горе, богатство и бедность и всё неизменно
В жизни с тобой разделяя». Обет такой произнесши,
Светлый жених перед всеми своей лучезарной невесте
Дал целомудренно первый любви поцелуй; и друг другом

Долго в блаженстве немом любовались они; напоследок
Вспомнив, что боги близко, и царь и царевна перед ними
Пали с молитвой; и боги скрепили своей благодатью
Брак их; податели всякого блага, они даровали
Налю четыре великие силы: могучий властитель
Воздуха дал ему зоркость очей с способностью в каждом
Месте простор находить и везде освежаться прохладой;
Бог огня даровал обладанье огнем и возможность
Видеть без ужаса блеск мирозданья; правитель земныя
Тверди дал твердую поступь, чтоб был для него безопасен
Всякий путь по земле, и тонкий вкус для разбора
Пищи; владыка воды наградил могуществом воду
Всюду творить и цветы рождать единым желаньем.
Так одаривши царя, и царевне все четверо вместе
Дали одно обещанье: что брака их радостью будут
Сын, как отец, и дочь, как мать, прекрасные. Милость
Им изъявивши такую, боги сокрылись; за ними
Вслед и цари и царевичи, выбор невесты одобрив,
В путь обратный пустились. Царь Бима, увидя, что схлынул
Этот прилив гостей, устроил свадебный праздник.
Наль, сочетавшись с своею царевною, пробыл в Видарбе
Первые дни в весельи и в радости сладкой; потом он
В царство свое, блаженный, прославленный, с милой женою,
Честию жен, звездой красоты и любви, возвратился.
Там в благовонных рощах, в роскошных царских палатах
Он благоденствовал, тихо и сладостно каплю за каплей
Жизни из чаши одной выпивая с ней вместе, вкушая
Мир и свободу, в молитве, в забавах, в труде и покое,
Правду творя и на счастьи народном свое утверждая.

III

Боги, покинув Видарбу и в небо свое возвращаясь,
Встретили адского бога Калй. Провожаем Двепарой,
Странствовал он по земле. «Куда направляешь ты путь
свой?» —
Индра спросил. «В Видарбу, — Калй отвечал; — Дамаянти
Будет моею женою; мне в мысли пришло, что я должен
Ею быть выбран». С улыбкой ответствовал Индра: «Уж
выбор
Сделан; ты опоздал; при нас она поклялася
В верности Налю». Калй, услышав от Индры такую
Весть, воскликнул в кипении гнева: «Когда Дамаянти

Смертного мужа посмела богам предпочесть, то над нею
Страшно должна отмщена быть такая обида». На это
Боги света мрачным богам отвечали: «По воле
Нашей выбор свершился в Видарбе; и млад и прекрасен
Наль: лишь одною б, лишенною смысла, он мог быть не избран.
Он, непорочный, уставов святых постоянный блюститель,
Книг духовных внимательный чтец, своим правосудно
Правящий царством; он, у которого в доме усердно
Приняты с почестью, с сладко-душистыми жертвами боги;
Он, правдивый, твердый и кроткий, людьми и богами
Чтимый; он, строгий обетов хранитель, он, одаренный
Набожным сердцем, великой душою, смиреньем и силой;
Он, в котором терпенье, умеренность, благость в единый
Образ божественной прелести слиты... Калѝ, кто враждует
С праведным Налем, тот скройся в пропасти ада, на муку
Вечную». Так отвечав, удалилися боги на небо.
Видя богов удалившихся, с злобной усмешкой Двепаре
Молвил Калѝ: «Не прощу никогда я обиды; теперь же
В Наля вселюсь, чтоб его ненавистного ввергнуть в погибель;
Ты же, Двепара (ведь знаем давно мы, какой он горячий
В кости игрок), поселися в костях и будь мне помощник».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

С замыслом злобным своим притаился в обители царской
Наля коварный Калй. Он всё выжидал, чтоб удобный
Случай открылся ему совершить предприятое; шесть лет
Ждал он напрасно; в седьмой год предстал наконец
благосклонный
Случай: ко сну отходя, позабыл совершить очищенье
Царь, и в тело нечистое дух нечистый вселился.
В сердце Наля проникнул Калй, и святое жилище
Мирной невинности сделалось мутно от злых помышлений.
Был у Наля сводный брат Пушкáра. Далеко
Жил он в своем городке, небогатым участком довольный;
Хитрый Калй, овладевши сердцем смиренного Наля,
Вот что сказал в сновиденьи Пушкáре: «Возьми ты скорее
Кости, и к Налю иди, и игру о царстве Нишадском
С ним заведи, и будет твоим Нишадское царство;
Весь проиграется Наль». Пушкáра, прельщенный нечистым
Духом, взял кости, в которых уже скрывался Двепара,
К Налю явился и вызвал его на игру; загорелся
Бешеной страстию Наль, запрыгали кости и смертный
Бой начался; и царь, как безумный, ставил на кости
Всё: драгоценные камни, золото, утварь, одежды,
Замки и земли, и всё, одно за другим, ослепленный
Хитрым врагом, он проигрывал. Тщетно его Дамаянти
Бросить игру умоляла; ее он не слушал. Смутились
Все приближенные, все вельможи, весь двор, все граждане;
Вот Дамаянти слышит, что все они собралися
В царском дворце, чтоб царю объявить, как сильно
тревожит
Их злоключенье такое; и в горьких слезах Дамаянти
Так сказала царю: «В твоей обители весь твой
Верный нишадский народ собрался, и ждет и желает
Светлые очи увидеть твои; покажися, ответствуй
Им на любовь их вниманием царским». И слезы бежали

Быстро из глаз Дамаянти; но царь не внимал ей, враждебной
Силою мрачного духа объятый. И двор и граждане,
Видя, что Наль их моленья отверг, разошлись, помышляя
С горем глубоким и тяжким стыдом: *он боле не царь нам!*
Кости же тою порой, как живые, летали; всё жарче
Бой разгорался, и царь проигрывал с каждым ударом.

II

Видя, что муж от игры был совсем без ума, Дамаянти
Стала думать о том, каким бы средством от близкой,
Им обоим грозящей беды защититься; но трудным
Ей показалось спасенье; безумный Наль поминутно
Область за областью брату проигрывал. Вот Дамаянти
С горем сказала кормилице старой своей Врихазене,
Чтимой всеми в доме царевом, советнице умной:
«Друг мой, кормилица, слушай; ко мне собери поскорее
Всех советников царских; мне должно с ними исчислить,
Сколько богатства проиграно, что еще нам осталось».
Вот собралися советники; их повела Дамаянти
К Налю, который играл беспробудно. К нему приступила
С ними царица, и, плача, выслушать их умоляла.
Но очарованный Наль был глух и слеп и бесчувствен;
Он не взглянул на нее, не сказал ей ни слова,
Всё продолжал попрежнему с братом играть и стоявших
В горе и страхе пред ним вельмож не приметил. Утратив
Всю надежду, они с содроганьем оставили царский
Дом. Царица же долго в лицо безумному Налю
С страхом смертельным смотрела; а между тем роковые,
Налю враждебные, брату его благосклонные кости
Стуком своим беспрестанным и пуще ее ужасали.
«Слушай, кормилица (так наконец Дамаянти сказала
Верной свое Врихазене), беда наступила; скорее
Кликни Варшнею, правителя коней царевых». Когда же
К ней явился Варшнея, устами, сладчайшими меда,
Вот что ему Дамаянти сказала: «Варшнея, сопутник
Верный царя, послужи ему и теперь в наступившем
Бедствии: видишь, что каждый проигрыш с новой
Силой в нем страсть к игре разжигает, что кости как будто
Против него заодно с Пушка́рой; мой царь обезумлен
Духом враждебным, забыл о народе, о ближних, не внемлет

Даже и мне; всему причиною кости; в них скрыта
Адская сила, а сам он невинен. Послушай, мой добрый,
Верный Варшнея, исполни мое повеленье: всечасно
Жду со страхом и трепетом я, что царь мой погибнет,
Всё проиграв; но еще не проиграны царские кони
Быстролетучие; сядь в колесницу его и немедля,
Прежде, чем наша погибель вполне совершилась, в Видарбу
К Биме, отцу моему, детей отвези; поклонися
Сродникам всем и знакомым моим; когда же отдашь ты
Всё, и сироток моих, и царских коней с колесницей
Биме, тогда ты будешь волен иль остаться в Видарбе
Или итти в иную какую землю, куда ты
Сам пожелаешь». Варшнея, верный правитель царевых
Коней, выслушав то, что ему Дамаянти сказала,
Созвал советников царских; когда же и те согласились
С умным желаньем царицы, то, взяв детей, он поехал
С ними в Видарбу. Там, снявши детей с колесницы,
Отдал их Биме, потом родным и знакомым царицы
Всем от нее поклонился, потом, печалимый тяжкой
Участью Наля, пошел в свой путь, и, в Айоду пришедши,
В службу вступил к царю Ритуперну правителем коней.

III

Был уж далеко Варшнея, когда у несчастного Наля
Выиграл злой Пуска́ра всё царство. С насмешкою колкой
Брату сказал он: «Ты весь проигрался; посмотрим,
Что ты теперь поставишь на кости; одна Дамаянти
Только и есть у тебя; твое же добро остальное
Всё мое; отведаем счастья. Чьею женою
Быть должна Дамаянти, твоею или моею?»
Это услышав, Наль содрогнулся, вздохнул и ни слова
Не был в силах промолвить; но, мрачно взглянувши на брата,
Снял с себя все уборы и, только одно сохранивши
Бедное платье, нищий, ограбленный, царь благородный
Вышел смиренно из царского дома, несметных сокровищ
Полного; следом за ним, без роптанья судьбе покоряся,
Так же одно лишь платье сберегши, пошла Дамаянти.
Ночь они провели без ночлега; под смертною казнью
Их принимать запретил Пушка́ра гражданам Нишады;
Новый царь был страшен, и так ни единый из прежних
Подданных не дал приюта царю бесприютному. Близко

Города, голод и жажду терпя, одним безотрадным
Горем богатый, три дня и три ночи сряду скитался
Наль; потом он дале пошел, печальный, голодный;
Следом за ним пошла Дамаянти; для скудныя пищи
Ягоды рвали они и рыли коренья. Прошло уж
Несколько дней печального странствия: голод жестоко
Мучил однажды обоих. Вдруг две златокрылые птички
Сели на травке близ самого Наля. «Нам будет сегодня
Пища», — сказал он, тихонько подкрался к птичкам и, снявши
С плеч последнее платье свое, им поспешно накрыл их.
Что же? С ним вместе птички взвилися на воздух и, видя,
Как изумлен был Наль, совсем обнаженный, запели:
«Знаешь ли, кто мы, безумный? Мы кости, мы кости! нарочно
Мы сюда прилетали, чтоб взять у тебя остальное
Платье; нам было досадно, что ты, совсем проигравшись,
С платьем еще оставался. Прости, безрассудный; счастливый
Путь!» — И птички исчезли. Наль сказал: «Дамаянти,
Те, от которых такую беду я терплю, кто лишили
Царства, покоя и счастья меня, от которых не смеет
Ныне меня принимать ни один из нишадцев — под видом
Птиц златокрылых сюда прилетали, дабы остальное
Платье похитить мое. И теперь я, сил и рассудка
Горем лишенный, тебе самой, Дамаянти, на выбор
Всё отдаю. Та дорога ведет по горам Рипаванским
Прямо в Авантскую землю; здесь по склоненью Виндийских
Гор, вдоль излучистой светло шумящей Пайошни проникнешь
В те места, где отшельники в кельях святых обитают;
Здесь же дорога в Видарбу». Так Наль говорил; но рыданье
Грудь Дамаянти спирало, и слезы лились по прекрасным.
Бледным щекам. Она ему отвечала чуть слышным
Голосом: «Сердце мое замирает, и я от печали
Вся цепенею при мысли одной о том, что так сильно
В этот миг тебя, о возлюбленный друг мой, тревожит.
Царства лишенный, счастье утративший, голодом, жаждой,
Всякой нуждою томимый, царей красота, мой единый
Друг, как мог пожелать ты, как мог ты подумать, чтоб было
Мне возможно покинуть тебя, от тебя отказаться?
Нет, мой прекрасный, тебя, изнуренного голодом, жаждой.
Горем о счастьи погибшем томимого, буду и в диком

Лесе и в знойной степи утешать я и словом и взглядом.
Знай, что нет для души и для тела вернее лекарства
Верной жены». — «О! правда твоя, Дамаянти, — с улыбкой
Наль ответствовал, — нет для несчастного лучше лекарства
Верной, любящей жены. Я с тобой не расстанусь; могло ли
В ум твой войти подозренье такое? Скорее с своею
Жизнью расстануся я, чем с тобою, сокровище жизни». —
«Друг, для чего же ты мне говоришь о дороге в Видарбу?
О, мне страшно! о свет мой прекрасный, останься со мною!
Будешь себя самого ненавидеть, меня потерявши.
Нет, мой друг, не указывай мне на эти дороги;
Вся душа во мне замирает от горя и страха.
Если же хочешь, чтоб к сродникам я возвратилась в Видарбу,
Вместе пойдем; видарбинский царь, родитель мой, Бима
Радостно примет тебя и твоим утешителем будет;
В почести будешь со мною ты жить под отеческой кровлей».
Наль отвечал: «Дамаянти, сомнения нет, что отец твой
Радостно примет меня, и пристанище даст мне в Видарбе;
Но, бесприютный и нищий, туда не пойду я. Могучим,
Славным, богатым, подателем счастья тебе я оттуда
Вышел; могу ли туда возвратиться бессильным, бесславным,
Нищим, счастия жизни твоей разрушителем? Лучше
Вместе с тобою, о светлый мой ангел, пойду в одинокий
Путь по горам, по долинам, питаяся воздухом, жажду
Свежей росой утоляя, чтоб только лишь солнце и месяц
Ныне нас страждущих видели, прежде нас видев блаженных».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Так утешал сокрушенную спутницу Наль; Дамаянти,
Нежно к нему прижимаясь, одела его половиной
Скудной одежды своей; и так под одним покрывалом,
Голод и жажду терпя, дорогою трудной достигли
Оба к низенькой хижине, лесом густым окруженной;
Там, утомленные, пылью покрытые, царь и царица
Друг подле друга легли на голой земле без подушки.
Наль заснул, и скоро глубоким сном Дамаянти
Также заснула. Но сон царя злополучного длился
Мало; тяжесть лежала на сердце его; пробудившись,
Стал он думать о царстве своем, о потерянном счастьи;
Странствие в диких лесах и степях его ужасало;
Ум его помутился. «Что за судьба? — про себя он
Так говорил: — не лучше ль мне смерть, чем изгнанье и бедность?
Эта ж несчастная, мне себя посвятившая... должно ль
Ей без вины разделять мое заслужённое горе?
Розно со мною она к родным возвратится; со мною ж
Вместе уделом ей будет страданье одно: так не лучше ль
Нам расстаться?» Так он всё думал, думал, и скоро
В нем утвердилася мысль, что ему Дамаянти покинуть
Должно. «Где бы она ни была, — он сказал, — никакая
Вражья рука ей, небесно-прекрасной, божественно-чистой,
Зла приключить не дерзнет; опасность может грозить ей
Только там, где буду с ней я, на беду обреченный».
Так он, врагом обуянный, знакомился с мыслью разлуки.
«Как же мне быть? — наконец он сказал: — я наг; уж не взять ли
Мне половину платья ее? Но могу ли то сделать
Так, чтоб она не проснулась?» И он бродил в нерешимых
Мыслях около хижины; вдруг на земле он увидел
Ржавый кинжал без ножен; поспешно, с радостью дикой
Этот кинжал он схватил и им половину отрезал

Платья у спящей жены и той половиной покрылся.
После, как будто в испуге, зажавши глаза, побежал он
Прочь, но скоро назад возвратился и горько заплакал,
Глядя на спящую. «Та, на которую ветер холодный
Дунуть не смел, которую знойное солнце не смело
Жарким лучом потревожить, краса молодая, услада
Жизни моей, подобно безумной, в обрезанном платье
Здесь на жестком камне лежит. О ангел небесный,
Свет души, Дамаянти, что будет с тобою, когда ты
Боле меня не найдешь? О дочь прекрасная Бимы.
Как же ты будешь бродить, не имея защитника в диком
Лесе, где львы и тигры живут, где змеи гнездятся.
О! вы, боги земные, боги воздушные, духи
Гор и пещер, охраняйте ее прекрасную младость!
Самый же верный ей щит ее непорочность святая!»
Так сказав, опять удаляется Наль от беспечно
Спящей спутницы, снова приходит, снова уходит,
Плача, терзаясь, то сильным врагом, то любовью влекомый.
Но наконец Кали́ одолел: трепещущий, бледный,
Тяжко стеная, чуть движа ногами, пошел он и скоро
Скрылся, и в диком лесу одна Дамаянти осталась.

II

Только что Наль удалился, очи свои Дамаянти
С ясной улыбкой открыла; ищет его, озираясь
Робко по всем сторонам... когда же нигде не нашелся
Друг желанный, то страх предвещательный душу пронзил ей:
Вдруг она закричала отчаянно-жалобным криком:
«Наль!» — но ответа ей не было. «Царь мой, — она возопила, —
Мой повелитель, защитник, мой спутник, ужели
Мог ты покинуть меня в такой бесприютной пустыне?
Я умру от страха в этом лесу; возвратися,
Наль, мой друг, мой желанный! Ужели меня обманул ты?
Мог ли ты слово нарушить свое и меня, беззаботно
Спящую, кинуть? О где ты? куда ты, в какую
Сторону, милый, пошел? Подожди, возвратися; как мог ты
Бросить жену, полжизни твоей? Иль над нею, невинной
Хочешь отмстить чужую вину? но вспомни же, что ты
Ей обещал в присутствии вечных богов? О! теперь я постигла
В горе моем, что нам умереть в неуказанный свыше

Час нельзя — иначе могла ли б прожить я единый
Миг, потерявши тебя? О нет, ты только пугаешь
Шуткой меня; перестань же, мой друг; от шуток подобных
Стынет кровь и мертвеет душа; я робка; воротися;
О! я знаю, ты близко, ты скоро покажешься; дай же
Светлые очи твои мне увидеть! О где ты? В какую
Чащу лесную ты скрылся, чтоб душу мою растревожить?
Ах! но если ты вправду со мною расстался, и если
Боле ко мне не придешь и мне не подашь в утешенье
Руку, то я не себя оплакивать буду; я буду,
Милый, скорбеть о тебе; ты один; что будет с тобою,
Всеми на свете оставленным, грустным, усталым, голодным,
Жаждущим? о мой милый, что будет, что будет с тобою
В те минуты, когда ты, меня уж не видя очами,
Будешь видеть душою, и будешь звать, и нельзя уж
Будет дозваться меня, и уж боле меня ты не встретишь?..»
Так говорила в печали своей Дамаянти, то плача
Горько, то падая с тяжким рыданьем на землю, то с громким
Криком с земли подымаясь и лес наполняя стенаньем.
Вот после долгого плача, рыданья, крика и стона,
С чувством живого к нему сожаленья, она возопила:
«Кто бы ни был тот враг, чья зависть и злоба такое
Зло приключили царю моему, пускай испытает
Он, ненавистный, сугубое зло; пускай искуситель,
Чистую душу царя моего увлекший в такое
Дело, все муки мои в свою нечистую душу
Примет». Так проклявши врага, по дикому лесу,
Полному злых людей и чудовищ, пошла Дамаянти
Медленным шагом, куда глядели глаза, и твердила
Грустною горлицей: «Милый, возлюбленный, где ты?» и слезы
Градом катились из глаз, и грудь разрывалась от вздохов.
Вдруг на нее с высокого дерева кинулась с страшным
Свистом змея, голодная, длинная, жадно добычу,
В ветвях древесных склубившись, стерегшая. Сжатая в крепких
Кольцах чудовища, только о милом своем Дамаянти
В час погибели думала: «Где ты? — она восклицала, —
Друг, поспеши на помощь ко мне погибающей; горько,
Горько будет подумать тебе, когда возвратишься
Снова на царство, избегнув от бед, что меня ты покинул
Так беззащитно в лесу на погибель. Отныне кто будет,

О мой царь, тебя, одинокого странника, в темном
Лесе, в знойной степи, утомленного горем, болезнью,
Голодом, жаждой томимого, в зной полуденный, в жестокий
Холод ночной утешать, ободрять и покоить? Меня уж
В свете не будет...» Но жалобный стон Дамаянти услышал
Шедший вблизи звероловец. Он кинулся к ней и, нацелив
Метким копьем, змею умертвил. Спасена Дамаянти.
Выпутав нежные члены ее из губительных колец,
Он с удивленьем спросил: «Откуда, красавица, кто ты?
Дева с глазами живой антилопы, какою судьбою
В эту пустыню зашла ты и ввергласъ в такую опасность?»
С грустно-приветной улыбкою повесть свою Дамаянти
Всю простодушно ему рассказала. Ее пред собою
Видя полуобнаженную, с девственно-полною грудью,
С стройно-воздушным станом, с устами цветущими, в пышном
Шелковых, черных волос покрывале, с ярким блистаньем
Черных глаз под бровями, прекрасною, тонкой дугою
Их осенившими, он во мгновение зверской любовью
Вспыхнул; и взором бесстыдным ее пожирал он, и руки
Около гибкого стана обвить он хотел, и рвался он
К чистым устам, чтоб их осквернить поцелуем. Но гневом
Очи ее, как небесная молния, вспыхнули; грозно
Душу пронзающий взор на него она устремила.
«Если то воля бессмертных, чтоб мною владел без раздела
Данный мне ими супруг, то теперь же пади бездыханен,
Враг ненавистный, на землю!» — сказала она, и лишь только
Гневное слово язык произнес, как уже святотатец
Мертв перед нею лежал, убитый ее заклинаньем.

III

Чудом спасенная, снова пошла Дамаянти пустынным
Лесом вперед, и чем далее шла, тем мрачней становился
Лес; деревья сплеталися ветвями; мошки, густою
Тучей клубяся, жужжали; рыкали львы, и ужасный
В хворосте шорох от тигров, буйволов, рысей, медведей
Слышался ей; нигде дороги не было; всюду
Падшие гнили деревья; меж трупами их пробивались
Дикие травы, в которых шипя ворочались змеи;
Вправе и влеве, в кустах и в вершинах дерев раздавались
Крики орлов плотоядных и хлопали крыльями совы,

Лес наконец упёрся в высокую гору, где жили
С давних лет великаны и карлы, которой вершина
В небо вдвигалась, а темное чрево хранилищем редких
Камней было. Там чудно скалы на скалы громоздились;
Били живым серебром по бокам их ключи; водопады
Мчались, сверкали, кипели, ревели меж скал; неподвижно
Черная тень лежала в долинах и ярко блистали
Голые камни вершин; в бездонно-глубоких пещерах
Грозно таились драконы и грифы. Такою дорогой
Шла Дамаянти, сама не зная куда, с неизменной
Верностью к другу, ей изменившему, с сердцем смиренным,
С чистым в душе целомудрием, с верой, не знающей
страха;
Шла она, шла и пришла в пустынное место; и в грустных
Мыслях о друге далеком младые уста растворила
К жалобе нежной, и так, поминая его, говорила:
«Где ты, царь благородный, нишадец прекрасный, могучий?
Где ты? Куда ты пошел, мой владыка, покинув в безлюдном
Месте меня без защиты? Скажи мне, как мог ты, усердный
Жертв приноситель богам, позабыть о нашем союзе?
Ведды читатель, как мог ты обет свой нарушить? Как
можешь
Добрым молиться богам, повелевшим тебе быть защитой
Данной ими жены, как и мне они повелели
Следовать в самую смерть за владыкой моим? О! зачем ты
Слово нарушил? Виной ли какою я то заслужила?
Или тебе не жена я? Скажи же, ответствуй; зачем ты
Так жестоко отрекся меня, обещав мне иное?
Или открой мне, где ты теперь веселишься, оставив
В горе меня безутешном? Ответствуй, куда ты, нишадский
Царь, ушел? По тебе твоя видарбинка тоскует;
Сын Виразены могучего, дочь благодушного Бимы
Кличет тебя; о Наль мой, откликнись твоей Дамаянти;
Голос подай ей в этой пустыне; ей здесь угрожает
Леса властитель, кровавый, голодный тигр; неужели
Ты ответа не дашь мне, грустящей, плачущей, ждущей,
Брошенной, слабой, иссохшей от голода, пылью покрытой,
Ночью и днем бесприютной, одежды лишенной, бродящей
В страхе, как матки лишенная лань? Неужели ко мне ты,
Друг, не придешь? Я зову, но дозваться тебя не могу я;
Всюду с тобой лишь одним говорю, а ты безответен;
Ты, из людей благороднейший, блеском очей, величавой
Стройностью стана, лица красотою божественный, где ты?

Где ты? И где тот, кому б мне сказать: *не видал ли ты*
Наля?
Кто б мне отрадное слово промолвил в ответ: *твой*
прекрасный,
Твой желанный, о ком ты так плачешь, так сетуешь,
близко! —
Вот бежит владыка лесов, острозубый, могучий
Тигр; я без страха к нему подойду и скажу: благородный
Тигр, владыка лесов, я царская дочь Дамаянти,
Светлого Наля жена, одинокая, сирая, в горе,
В страхе, в нужде, за ним безотрадно бродящая; где он?
Если ты знаешь об этом, зверей повелитель, скажи мне;
Если же нет, то скорее меня растерзай, чтоб от муки
Душу мою исцелить. Но, мои молящие вопли
Слыша, зверей повелитель к реке, впадающей в море,
Мимо, ответа не дав мне, из леса уходит. Я вижу,
Там подымается, в небо упершись вершиной, обвитый
Пышным венцом из дерев и кустов благовонных, цветами
Ярко пестреющий, солнечно-блещущий, слитый из твердых
Скал, насквозь просиянный металлами, рек и потоков
Древний отец, лесов неприступная башня, пустыни
Сторож, владыка гор — подойду и скажу: о владыка
Гор первозданный, спокойно-блаженный, прохладно-
росистый,
Тучеподобный, земли подпиратель, тебе поклоняюсь;
Слезно тебя, о великий, молю, скажи: не видал ли
Наля? Я дочь благодушного Бимы царя, Дамаянти;
Сын Виразены, Наль Пуньялока, супруг мой, Нишады
Царь богомудрый, глубоко постигнувший Ведду святую,
Чистый и мыслью и словом и делом, гонимых защитник,
Зла истребитель, сеятель благ, мне данный богами
Спутник, покинул меня и расставшися с ним, я рассталась
С жизнию. Ныне к тебе прихожу, многоглавный властитель
Гор, с высоты всё объемлющий оком, скажи: не видал ли
Наля? Ответствуй, могучий создания первенец; словом
Сладкой надежды утешь сироту, как отец утешает
Дочь сокрушенную: где мой возлюбленный? где мой
желанный?
Где мой прекрасный, мой более жизни мне милый сопутник?
Где мой царь, мой владыка, мой вождь, мой ангел-хранитель?
Рвется сердце к нему; по нем душа унывает;
Очи ищут его и голоса милого жаждет
Слух, и грудь сгорает желаньем прижаться ко груди

Жаркой его... О! когда же придется услышать мне снова
Милое слово из сладостных Налевых уст: *Дамаянти!*»
Так говорила в своем сокрушеньи с горою пустынной
Бедная царская дочь, но гора не дала ей ответа.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

К северу лесом пошла Дамаянти; три дня и три ночи
Шла она; вдруг перед нею явилась чудесно-густая
Роща из райских дубов; кругом живая ограда
Вся в цвету и исполнена тихим небесным сияньем
Внутренность. Там обитали отшельники, мира отрекшись.
Строгие постники, чувств обуздатели, помыслов светлых
Полные, чистой душой на земле небожители, в этой
Роще жили они, с собою розно, с одними богами
В тесном союзе; им пищей роса и воздух, одеждой
Листья древесные были. Дивяся, смотрела на этот
В дикой пустыне сокрытый эдем Дамаянти; там было
Всё благовонно; цветы и плоды сияли меж темных
Листьев; сверкали ручьи; на их берегах антилопы
С легкими сернами прыгали; ветви обвивши хвостами,
С криком качались на них обезьяны; по сучьям деревьев
Ползали, перьями ярко блестя, попугаи. Свободно
Царская дочь вздохнула, святую увидя обитель;
Всё чаруя небесно-смиренною прелестью женской,
Темнокудрявая, сладостно-стройная, тихо, как будто
Вея по воздуху, к старцам святым подошла Дамаянти;
Ласково приняли старцы ее, и она им сказала:
«Мир вам, угодники; трудное дело спасенья успешно ль
Вы совершаете? Жарко ль пылает огонь покаянья?
Звери и птицы спокойны ль в обители вашей? Самим вам
Всё ли во благо?» Они отвечали: «Всё нам во благо;
Будь равномерно во благо всё и тебе. Но скажи нам,
Кто ты, краса неземная? Чего ты желаешь? Нас светлый
Образ твой всех изумил; успокойся у нас и открой нам,
Кто ты? Богиня лесов, иль полей, иль потоков?» На то им,
Тихо вздохнув, Дамаянти сказала в ответ: «Не богиня
Я лесов, полей и потоков, но слабая, тяжким
Горем гнетомая, смертная женщина; вам, благодушным
Старцам, я всё расскажу. Владыка Видарбы, могучий,

Славнодержавный Бима отец мой; властитель Нишады,
Грозный могуществом, в каждом бою победитель,
великий,
Светлый душою, неба достойный земли уроженец,
Правды защитник, правды вещатель, божественно-царским
Блеском сияющий, градохранитель, градорушитель,
В светлых очах и солнца и месяца блеск совместивший,
Наль, мой супруг, игроком коварно-искусным был
вызван
В кости играть; и ему всё царство свое проиграл он.
Имя мое Дамаянти; одна по лесам и пустыням
Вслед за Налем скитаюсь, крушимая горем, и ныне,
Старцы смиренные, к вам прихожу, чтоб узнать,
не встречался ль
Где-нибудь вам мой утраченный царь? Не видали ль
в эдемской
Роще своей вы его, за которым я следуя этот
Полный тиграми лес перешла? Скажите мне, старцы,
Встречу ль его? А ежели нет, то не лучше ль покинуть
Жизнь? О! на что мне она? одно нестерпимое бремя
Жизнь без него, усладителя жизни». На жалобы царской
Дочери, с нежным об ней сожалением, так отвечали
Старцы, читая пророчески в будущем: «Праведны боги!
Веруя им, не смущайся душою, прекрасная; светлы,
Тихи и чисты, как очи твои, невинности ясной
Полные, будут грядущие дни для тебя; то являет
Нам откровение свыше: ты снова увидишь супруга;
Снова он будет царем, от вины невольныя чистый,
Царски венчанный, грозный врагам, утешение ближним,
Скорби твоей исцелитель, жизни твоей украшенье,
Прежний твой друг, твой сопутник, советник, защитник —
и всё то
Сбудется, если в тебе не ослабнет терпенье и верность...»
То сказавши, тихо исчезли пустынники; с ними
Вместе и утвари их, и жертвенный огнь, и молитвы
Место, и свежесть эдемски-сияющей рощи исчезли...
В темном лесе одна Дамаянти осталась, и было
Всё пустынно кругом. Дамаянти сказала: «Не сон ли
Мне привиделся? Где святые отшельники? Где их
Роща? Где их живые ключи, их птицы, их звери?
Где их цветы благовонные?» Так в изумленьи подумав,
Снова печали своей предалась Дамаянти; но чудный
Призрак ее ободрил и пошла с упованием дале.

II

По лесу долго скиталася в горе своем Дамаянти;
Вдруг попадается ей деревцо, одаренное чудной
Силою душу целить; у людей его называют
Дерево *Гореуслад*, у богов *Азока*. Царевна
К этому дереву, лес оживлявшему запахом сладким,
Цветом покрытому, с сенью густою, проникнутой звонким
Пением птиц голосистых, тотчас подошла и заводит
Речь с ним такую: «Блаженное дерево, чудный, прекрасный
Гореуслад, благовонный *Гореуслад*, услади ты
Горе мое; цветущий *Азока*, скажи, не видал ли
Ты моего супруга, царя нишадского, Наля?
Где он скитается? Помнит ли он обо мне? О! порадуй
Сердце мое доброю вестью о нем, цветоносный *Азока;*
Дай мне уйти от тебя с утешением; сам же в приюте
Леса цвети, никем не обиженный, чистый, душистый,
Сладостный *Гореуслад*, усладитель всякого горя».
Так говоря, сорвала Дамаянти с чудного древа
Ветку; потом с ним прощаясь, примолвила: «С этой веткой
Скорбь и печаль, и нужду, и заботу беру я с собою;
Ты же, свободный от скорби, печали, нужды и заботы,
Здесь оставайся и, если царя моего ты увидишь,
Молви ему, что отсюда печальное всё унесла я,
Дай ему тень и покой, чтоб под кровлей твоей беспечальной,
Гореуслад, он мог, отдохнув, усладиться от горя».
С сими словами прекрасная царская дочь удалилась;
Снова пустынным лесом пошла, и снова пред нею
Стали являться деревья с широкою сенью, крутые
Горы, скалы разновидные, темные дебри, потоки;
В ветвях деревьев гнездились, шумели, порхали и пели
Птицы лесные, и всюду ей в дикой глуши попадались
То кабан, то шакал, то буйвол, то рысь, то пантера.
Так Дамаянти скиталася долго. Вдруг на широкой,
Чистой поляне представился ей караван многолюдный;
Лес оглашался криком людей, скрыпеньем повозок,
Ржанием конским, топотом тяжким слонов и верблюдов,
Вдоль широкой реки, густым тростником опушенной
(Где укрывалися цапли и белые лебеди звучно
Голос свой подавали, где светлая влага кипела
Множеством рыб, черепах и змей), караван тот тянулся.
Кинулась к людям навстречу царевна; ее появленье
Всех поразило; полу-нагая, одним покрывалом

Шелковых, длинных волос, по плечам и грудям в беспорядке
Вьющихся, чудно-одетая, бледной подобная тени,
С горя иссохшая, вся в пыли, но всё как небесный
Ангел прекрасная — так им явилась в лесу Дамаянти.
В страхе одни от нее убежали, другие безмолвно
Ей смотрели в лицо, иные смеялись, иные,
Боле имея рассудка, приблизились к ней с состраданьем.
«Кто ты, образ небесный? — спросили они. — Для чего ты
В этом лесу? Земной ли ты человек, иль созданье
Высшее, горный, могучий дух, иль дева потока,
Или иная бессмертная? Будь нам встреча с тобою
Знаменьем добрым. Тебе мы себя предаем, чтоб дорогу
Наш караван совершил безопасно». На это, вздохнувши,
Царская дочь отвечала: «Не с неба сошла я; земная,
Бедная, жалкая странница я; мой отец видарбинокий
Царь, мой супруг обладатель Нишады Наль знаменитый;
С ним в разлуке, его я ищу, и не ведаю, где он.
Если что слышали вы о владыке моем, то скажите,
Где мне с ним встретиться, где я найду прекрасного Наля,
Наля, царя львино-сердного, грозно-отважного в битвах?»
Вождь каравана, богатый купец, по имени Зуччи,
Ей отвечал: «Нигде на путях, по которым давно уж
Странствуем мы, нам доныне никто не встречался, кто б имя
Наля имел; оленей, медведей, буйволов, тигров
Много в этом лесу; но до сих пор еще человека,
Кроме тебя, мы здесь не видали». — «Куда ж вы идете?» —
Снова спросила его Дамаянти. «Идем в знаменитый
Город Шедди, — ответствовал Зуччи; — им ныне владеет
Царь Сувегу́ и в царском дворце его обитает
Вместе с ним его благодушная мать, драгоценный
Перл добродетели женской». Услышав о том, Дамаянти
В город Шедди решилась итти; пристать к каравану
Зуччи ее пригласил. С караваном пошла Дамаянти.

III

Долго с печалью одна бродив по лесам, Дамаянти
Спутников много имела теперь, но была и меж ними
Всё, как и прежде, с печалью одна. По горам, по долинам
Шумным потоком валил караван. Вот однажды с закатом
Солнца, они очутились у тихого озера; в темном
Лесе скрывалось оно; берега облекались зеленым
Бархатом свежей травы; как стекло неподвижно-прозрачны

Были воды; и в чистом зеркале их водяные
Розы и лилии ярко сияли и бисером пены
Легкие струйки, ласкаяся к ним, осыпали их листья.
Берег кругом был излучист и воды в него то глубокой
Бухтой входили, то он в их широкое лоно зеленым
Мысом вдавался. Усталые путники, в этом приютном
Месте ночлег учредив и снявши с слонов и верблюдов
Лишнее бремя, спокойно легли на траве под открытым
Небом и скоро заснули. Вдруг в полночь (когда в караване
Все как мертвые были от сна) с горы прибежала
С страшным хрипеньем стая диких слонов, чтоб в потоке
Жажду свою утолить, пылая томительным жаром.
Но, почуявши близость слонов каравана, с свирепым
Бешенством, пенясь и фыркая, кинулись все на заснувших
Смирных врагов; никакою силою грозных чудовищ
Было нельзя удержать; как в долину, сорвавшись с высокой
Горной вершины, катятся скалы, так, ломая деревья,
Вдруг слоны ворвались в караван и топтали лежащих
Сонных людей. Со стоном и криком все поднялися,
Все смешались, слуга, господин, старик и младенец;
Ночью, страхом и сном обуянные, сами не зная,
Что за беда и откуда, кто в лес, кто к воде побежали.
Слыша храпенье и топот, видя во мраке мельканье
Черных огромных теней, давимые тяжкой ногою,
Острым клыком пронзенные, сжатые хоботом сильным,
В диком беспамятстве, люди, верблюды и кони бросались
Друг на друга, и сами в смятеньи друг друга губили,
Силясь спастися: те кучей на дерево лезли, цепляясь
Низшие за ноги высших и падали вместе, другие
В яму свергались, или набегали на камень, иль в воду
Слепо кидалися: разом исчез караван многолюдный.
Многих в минуту всеобщей беды корысть обуяла;
Голос лукавый шепнул им: «Куда вы бежите? погибель
Общая — общим и всякое стало богатство; берите
Всё, что достанется в руки; вот куча рассыпанных перлов,
Вот драгоценные камни, вот золото, смело хватайте;
Нищий нынче завтра будет богач...» и погибли
Все, кто, предавшись корысти, замедлили бегством спастися.
В это мгновенье, когда как поток разливалась повсюду
Гибель, проснулась хранимая силой богов Дамаянти.
Видя очами такой дотоле невиданный ужас,
Видя и слыша, как мчалася смерть над ее головою,
Вся трепетала она и, готовясь погибнуть, грустила

Только о милом, далеком, навек покидаемом друге.
Но когда миновалася буря и снова всё стало
Тихо в лесу, собрались понемногу спасенные. «Чем мы
Гнев несказанный такой на себя от богов обратили? —
Так рассуждали они. — Позабыли ль почтить мы дарами
Бога, сокровищ хранителя? Иль караваном был встречен
Кто-нибудь, дерзкий хулитель бога торговли? Иль птицы,
Нам враждебные, в эту ночь пролетели над нами?
Или то было влиянье зловредных планет?..» Напоследок
Вот что сказали они: «Вся беда нам от встречи
С этой безумной, нагой, исчахлой и бледной бродягой.
Кто она? Чародейка, жена иль дочь великана,
Небом проклятая? Если опять на глаза попадется
Эта волшебница нам, то ее мы не добрым приветом,
Камнями встретим. Она своим колдовством погубила
Наш караван». Такие слова в темноте Дамаянти
Слыша, с печалью, стыдом и страхом в чащу лесную
Скрылась. «О, горькая участь моя! — она говорила,
Тяжко рыдая. — О, счастье, меня обманувшее! снова
Целым светом покинута я. Какою виною
Я на себя навлекла гоненье такое? Кому я
Делом иль словом иль мыслию зло приключила? Знать
в прежней
Жизни была я преступна: за то и в теперешней должно
Мне до гроба страдать, за то и гоненье такое
Мне от людей, за то и разлука с супругом, утрата
Царства, от милых детей и от милых родных отлученье,
Странствие по лесу, полному тигров и змей, бесприютность
В холод и зной, нищета, сиротство, и ужас, и горе».
Утро меж тем занялось; в небольшую толпу собралися
Все, непогибшие в страшную прошлую ночь, и в дорогу
Снова отправились, плача о горькой утрате богатства,
Плача о мертвых друзьях. Вот снова покинута ими
В диком лесу Дамаянти, и горе ее превышало
Все их страдания вместе. «О! чем же, чем (говорила
Плача она) такую беду на себя навлекла я?
Злая участь моя и слонов приманила на гибель
Этих несчастных, мне давших защиту; за то и должна я
Долгим страданьем свой выплатить долг; я чувствую в тяжком
Горе моем всю истину древнего слова: *без воли
Неба никто не умрет*, и моей истерзанной груди
Хобот слона не коснулся. Так! без судьбы совершиться
С нами ничто не может на свете; я за собою

С самых младенческих лет никакого не ведаю злого
Дела, не помню ни мысли худой, ни виновного слова —
В том ли мое преступленье, что я для прекрасного Наля
Светлых отвергла богов и не мстят ли уж гневные боги
Мне за земную любовь безотрадной земною печалью?»
Так говоря, Дамаянти пошла по следам каравана
Издали, в чаще таяся лесной, как в облаке месяц.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Вот наконец Дамаянти дошла до города Шедди.
Грустно стояла она у ворот, не входя в них, стыдяся
Бедной одежды своей, обрезанной Налем, и смятых
Долгих волос, в беспорядке ей грудь покрывавших.
Жители города Шедди, встречаяся с ней, удивлялись
Странному виду ее, а дети за нею бежали
С криком; их шумной толпою следимая, скоро к палатам
Царским пришла Дамаянти. Там, на площадке высокой
Кровли мать царева стояла. Увидя идущую, старой
Мамке своей сказала она: «Поди, пригласи к нам
Эту жалкую странницу, чистый, дымом затменный
Огнь красоты, народом теснимую. Верно приюта
Ищет она. Я вижу в ней нечто высокое; дом наш
Светом наполнит она благодатным». Представилась старой
Матери царской младая царская дочь. И царица,
Ласковым взором встретя ее, сказала приветно:
«В самом затменьи печали твой образ сияет, как в темной
Туче яркая молния. Кто ты? Куда и откуда
Путь твой? Лицо твое неземное, хотя и покрыто
Нищенским рубищем тело твое; одна без защиты
Странствуешь ты по земле и людей не страшишься, как чистый
Ангел. Скажи ж мне, какое званье твое?» Дружелюбной
Речью такой ободренная, так Дамаянти сказала:
«Я не ангел, царица, я смертный простой человек; но породы
Я не простой. Огорченная тяжкой разлукой с супругом.
Вслед за ним, чтоб его отыскать, по земле я скитаюсь,
Женским себя рукодельем питая; плоды и коренья
Пища моя, а пристанище там, где укажут мне боги.
Доблестный, мудрый, прекрасный, богатый, сердцем избранный
Милый супруг мой расстался со мною; царица, несчастлив

Был он: в игре роковой свои все богатства утратив,
Нищим он дом свой покинул и в лес с одною одеждой
Скрылся; за ним я пошла, чтоб имел он в печали отраду.
Там, изнуряемый голодом, он, на несчастье рожденный,
Платье последнее с плеч потерял: кто богами назначен
В жертву беде, у того похищает и ветер и птица
Платье; и днем и ночью я шла за ним, беспокровным.
Раз случилось, что я, утомленная, в лесе заснула...
Ах! он скрылся, он бросил меня, он унес половину
Бедной одежды моей. С той поры и денно и нощно
Вслед за ним, весельем и светом души, я по темным
Диким лесам, по широким степям, по долинам
Странствую; мне половину одежды моей возвратить он
Должен, иль взять у меня мою половинную, сердцу
Тяжкую жизнь; как одной половине одежды другая
Надобна, так и мне другую себя половину
Должно найти, иль жить перестать». С состраданьем царица,
Выслушав жалкую повесть ее, отвечала: «Останься
С нами, блаженно-скорбящая; радовать будет мне сердце
Светлая близость твоя. Не медля ни мало, повсюду
Мы разошлем гонцов за супругом твоим; но случиться
Может, что он ненароком зайдет и сюда, где его ты
Будешь ждать в безопасно-спокойном приюте». На то ей,
Горе свое обуздав, сказала в ответ Дамаянти:
«Здесь я охотно останусь, если ты мне обещанье
Дашь, царица, условье исполнить такое: чтоб низкой
Должности я не имела, служа лишь тебе, чтоб объедков
В пищу мне не давали, чтоб доступ ко мне запрещен был
Всем мужчинам, чтоб каждый, кто мной овладеть пожелает,
Смертью наказан немедленно был — такую дала я
Клятву богам, чтоб найти помогли мне супруга; видаться ж
Только с одними браминами буду. Когда ты, царица,
Примешь такое условье мое, то здесь с благодарным
Сердцем останусь». На то отвечала царица: «Исполню
Всё, и свят для меня твой обет». Потом приказала
Вызвать из внутренних царских покоев царевну Сунанду,
Дочь свою. Скоро царевна явилась, венком многоцветным
Резво-прелестных подруг окруженная. «Видишь, Сунанда,
(Мать ей сказала) эту пришелицу в бедной одежде?
Ей ты летами ровесница; но испытания жизни
Дали ей раннюю зрелость. Люби ты ее как подругу;
Ласково с ней обходись и ее уважай, чтоб с тобою
Сердце ее отдохнуло, чтоб ты в сообществе с нею

Пользу нашла для души». Сунанда, с веселостью детской
За руку взяв Дамаянти, ее увела. И осталась
С той поры Дамаянти подругой царевны Сунанды.

II

Наль, столь жестоко покинув свою Дамаянти, прискорбен,
Сумрачен, шел по пустыне и, сам пустыня, с собою
В горе расстаться желал. Когда раскаленное солнце
Зноем пронзало его, он ему говорил: «Не за то ли,
Солнце, ты жжешь так жестоко меня, что я Дамаянти
Бросил?» Он горько плакал, когда на похищенный лоскут
Платья ее глаза обращал. Изнуряемый жаждой,
Раз подошел он к ручью; но, в водах увидя свой образ,
С ужасом кинулся прочь. «О! если б я мог разлучиться
С этим лицом, чтоб быть и себе и другим незнакомым!»
Он воскликнул и в лес побежал; и вдруг там увидел
Пламя — не пламя в лесу, а в пламени лес — и оттуда
Жалобный голос к нему вопиял: «Придешь ли, придешь ли
С мукой твоею к муке моей, о Наль благодатный?
Будь мой спаситель и будешь мною спасен». Изумленный
Наль вопросил: «Откуда твой голос? Чего ты желаешь?
Где ты и кто ты?» — «Я здесь, в огне, благородный, могучий
Наль. Ты будешь ли столько бесстрашен, чтоб твердой ногою
В пламя вступить и дойти до меня?» — «Ничего не страшусь я,
Кроме себя самого с той минуты, когда я неверен
Стал моей Дамаянти». С сими словами он прямо
В пламя пошел: оно подымалось, лилось из глубоких
Трещин земли, вырастая в виде ветвистых деревьев,
Густо сплетенных огнистыми сучьями, черно-багровый
Дым венчал их вершины. В сем огненном лесе
Наль очутился один — со всех сторон устремлялись
Жаркие ветви навстречу ему, и всюду, где шел он,
Частой травой из земли пробивалося острое пламя.
Вдруг он увидел в самом пылу, на огромном, горячем
Камне змею: склубяся, дымяся, разинутой пастью
Знойно дышала она под своей чешуей раскаленной.
Голову, светлой короной венчанную, тяжко поднявши,
Так простонало чудовище: «Я Керкóта, змеиный
Царь; мне подвластны все змеи земные; смиренный пустынник

Старец Нера́да проклял меня и обрек на такую
Муку за то, что его я хотел обмануть. Ты, рассказ мой
Слушая, стой здесь покойно: стой покойно под страшным
Пламенем, жарко объявшим тебя, чтоб оно затушило
Бурю души, чтоб душой овладевший Кали́ был наказан,
Чтоб наконец ты, очищенный, снова нашел, что утратил.

III

Слушай же повесть мою, — продолжал, задыхаясь от жару,
Царь змеиный; и Наль, терпеливо снося нестерпимый
Пламень, внимательно слушал. — Нера́да, смиренный
пустынник,
Чудный сад насадил вкруг кельи своей; и в саду том
Были все земные деревья и травы, и было
Много там светлых ручьев и сеней, прохладно-тенистых.
В этот сад пригласил он всех незловредных животных;
Всех ходящих, летающих, скачущих, плавать иль ползать
Созданных; всех же зловредных, терзающих зубом, когтями
Рвущих, иль жалом пронзающих проклял и вход
запретил им
В сад свой. Из змей, мне подвластных, в него проникать
он дозволил
Только одним, не имеющим жала, безвредно по травке
Вьющимся, ро́су сбирая с цветов иль из ягод сосущим
Сок благовонный. Из этих красивых, незлобно-веселых
Змеек одна любопытно-отважная, резвая змейка
Раз без всякого умысла злого, в саду по деревьям
Ползала, ярко блестя чешуею на солнце; вдруг видит
Домик воздушный, сплетенный из тонких былинок и моха:
Он на ветке висел и качался, как люлька; то было
Гнездышко маленькой птички; самой же крылатой хозяйки
Не было в нем; она улетела за пищей; яички,
Легким прикрытые пухом, лежали в гнезде. Перегнувши
Тонкую шейку свою через ветку, в гнездо опустила
Голову змейка — и видит яйцо там лазурного цвета;
Каплей росы оно показалось, и змейке напиться
Вдруг захотелось; лизнула яйцо; яйцо раскололось.
В эту минуту птичка в гнездо прилетела; увидя,
Что там наделала змейка, бросилась с жалобным криком
Прямо к Нера́де она. Нера́да во гневе ужасен.
Тут же погибла бы змейка, когда б не успела проворно
Из саду скрыться. Она спаслася ко мне. Но блаженный

Старец потребовал строго, чтоб я преступницу выдал.
Я не посмел отказать; я спросил: «Чего ты желаешь?
Как повелишь ее мне казнить? Я царь; самому мне
Должно виновных наказывать подданных». — «Видеть хочу я
Завтра ж ее на заборе сада висящую, — строго
Мне отвечал Нера́да; — потом, по прошествии трех дней,
Сам я ее перед всеми сожгу, чтоб вперед опасался
Кто бы то ни было сад мой тревожить зломышленным
делом».
Был мне прискорбен такой приговор; как родную, любил я
Эту милую змейку; поспешней других и вернее
Вести она приносила ко мне. Предо мной извиваясь
В страхе, с молитвой она ко мне подымала головку.
Я ей сказал: «Проворней, вылезь из кожи». Не нужно
Было того повторять; в минуту в новой одежде
Змейка явилась моя, на земле предо мною оставив
Старую. Тотчас, двух сильных удавов призвав, я велел им
Кожу пустую с приличным обрядом повесить на тыне
Сада. Когда через три дня он снимет ее, то конечно
Станет думать, что солнце ее иссушило, так мыслил
Я, уповая, что мой мне удастся обман. И доволен
Был Нера́да моим послушаньем, увидя на тыне
Кожу висящую; ветер ее колыхал. «Как живая, —
Молвил Нера́да, — она гибка и вертлява; но краски
Кожи потускли: бледная смерть ее обхватила».
Тем бы и кончилось всё, когда б на беду не пропела
Птичка. Она недовольна была законною казнью:
Собственным мщеньем себя ей хотелось потешить;
к висящей
Коже она подлетела, чтоб оба глаза у мертвой
Выклевать — что же? Их нет; сквозь пустые скважины
так же
Видит она, что и внутренность кожи пуста. И к Нера́де
Тотчас она полетела. «Тебя обманули; змеиный
Царь не змейку, а змейкину кожу повесил», — пропела
Птичка. Страшно Нера́да разгневался; вдруг он явился
Здесь, где тогда я на этом камне лежал и на солнце
Грелся один — при мне ни ужа, ни змеи, ни дракона,
Стражей моих, тогда не случилось; я спал. На громовый
Голос Нера́ды проснувшись, хотел я вскочить, но, могучим
Взором его обессилен, не мог шевельнуться. «Предатель, —
Старец сказал мне: — меня обмануть тебе удалося:
Призрак за сущность я принял; змеиную кожу пустую

Вместо змеи я предал огню, и виновную спас ты.
Сам за нее наказанье прими. Не сойдешь ты отныне
С этого камня; но будешь здесь не на солнечном свете
Греться — я пламя иное зажгу вкруг тебя; несгорая,
Будешь гореть в нем, шипя и свистя от тоски и меняя
Кожу за кожей в напрасной надежде, что жар утолится.
Кончатся ж муки твои лишь тогда, как к тебе издалёка
Некто придет, самому себе ненавистный и образ
Свой утратить желающий. Если его из средины
Пламени ты позовешь и он бесстрашной стопою
В пламень войдет, чтоб избавить себя от мучений, сильнее
Муки твоей его раздирающих; если достанет
Твердости в нем, чтоб среди нестерпимого жара спокойно
Выслушать повесть твою — тогда ты спасен, прекратится
В ту же минуту твое наказанье, и сам, по исходе
Года со днем, он всё возвратит, о чем сокрушается сердцем.
Но чтоб в страданьи своем ты мог к себе издалёка
Звать своего искупителя, имя его я открою:
Он называется Налем». С сими словами Нерáда
Скрылся, и муки мои начались. Окружала мой камень
Голая степь; вдруг услышал я шорох и треск; озираюсь —
Всюду из трещин земли, как острые иглы, выходит
Пламя, всё гуще и гуще растет, всё выше и выше
Вьется, всё ярче и ярче пылает; прикованный к камню,
Чувствую я, как всё подо мною, как всё надо мною,
Камень, на коем лежал я, и воздух, коим дышал я,
Мало-по-малу в пронзительный жар обращалось; сначала
Было то пламя как тонкая, гибкая травка; слилося
Скоро оно в кустарник густой; напоследок воздвиглось
Лéсом широким, в котором каждое дерево было
Всё из огня; языками горящими листья шумели;
Ветви со всех сторон вилися как молнии; в вихорь
Огненный слившись, качались вершины; и дым громовою
Тучей над ними клубился. Теперь на себе испытал ты,
Наль бесстрашный, муку мою. Напрасно я жался,
Пламень вытягивал тело мое до тех пор, покуда
Кожа на нем не лопалась: снова потом на минуту
Я сжимался, чтоб снова вытерпеть то же мученье.
Целых семь лет протекло с той поры, как лежу я на этом
Камне в огне; а времени медленный ход замечал я,
Каждый час повторяя однажды: *придешь ли, придешь ли*
С мукой твоею к муке моей, о Наль благодатный?
Вот наконец и пришел ты. Но знай, что здесь о тебе я

Частые слухи имел; мне подвластные змеи, которым
Все на земле дороги известны, ко мне ежедневно
Змеек-гонцов присылали, и каждая, верно исполнив
Долг свой и весть передав мне, в огне предо мной умирала;
Видишь, как много здесь собрано кож их истлевших.
От них-то
Мог я проведать о том, как ты полюбил Дамаянти;
Как цари и царевичи созваны были в Видарбу;
Как мой гонитель Нерáда, пресытясь земными плодами,
Сад небесный богов посетил; как там он посеял
Сладостных слов семена, от которых мгновенно желанье
Выросло в сердце богов на землю сойти; как богами
Был ты послан в Видарбу. Я знаю, о Наль благородный,
Также и то, что тебе самому досель неизвестно:
Как закрался Калú в твое непорочное сердце.
Сведав, что царство свое ты утратил, что вместе с супругой
Бродишь нагой по горам и степям, что ее наконец ты
Сам покинул, я был утешен надеждой, что скоро
Сбудется то, что теперь и сбылося. Благословляю,
Наль, и тебя и приход твой; уже мучительный пламень,
Жегший доныне меня, уступает сходящей от неба
Сладостной свежести. Наль, не страшись, приступи и, на
палец
Взявши меня, из пламени выдь». Керкóта умолкнул,
Свился проворно легким кольцом и повиснул на пальце
Наля; и с ним побежал из пламени царь, и при каждом
Шаге его оно слабело и гасло, и скоро
Всё исчезло, как будто его никогда не бывало.
Свежий почувствовав воздух, трепетом сладким спасенья
Весь проникнутый, быстро отвившись от Налева пальца,
Змей бесконечной, чешуйчатой лентою вдруг растянулся;
С радостным свистом пополз к тому он ручью, где, увидев
Образ свой, Наль самого себя испугался, глубоко
Всунул голову в воду и с жадностью долгую жажду
После толь долгого жара стал утолять — истощились
Воды ручья, а змей попрежнему сделался полон.
Силы свои возвратив, он, блестя чешуею на солнце,
Налю сказал: «Подойди; перед нашей разлукой ты должен
Зубы мои перечесть; в таком долголетнем от муки
Скрежете, много зубов я мог потерять иль испортить».
Наль подошел; перед ним оскалились зубы, считать он
Начал: первóй, другóй, четвертый. «Ошибся, ошибся, —
С гневом царь-змей зашипел, — ты не назвал третьего зуба».

С этим словом кольнул он третьим неназванным зубом
Наля в палец — и тут же почувствовал Наль, что с собою
Он как будто расстался; сперва свой собственный образ
В зеркально-светлом щите, на царевой шее висевшем,
Он увидел; потом тот образ мало-по-малу
Начал бледнеть и скоро пропал; и мало-по-малу
Место его заступил другой некрасивый; и Налю
Стало ясно, что это был образ его же, и боле
Не был он страшен себе самому в таком превращеньи.
«Видишь, — Керкóта сказал, — что желанье твое
совершилось:
Ты превращен, ты расстался с собой, и отныне никем ты,
Даже своею женою не можешь быть узнан. Простимся;
В путь свой с богами иди, и не мысли, чтоб мог быть
опасен
Яд мой тебе; не в твое он чистое сердце проникнул,
Нет! а в того, кто сердцем твоим обладает: отныне
Будет он жить там и мучиться. Ты ж, превращенный,
с надеждой
Путь продолжай; ищи в чужих странах пропитанья;
Но не забудь о стихийных дарах, от богов полученных
В брачный день; они для тебя не потеряны; помни,
Наль, об этом; и также твое искусство конями
Править тебе сохранилось. В царство Айодское прямо
Путь свой теперь обрати; там увидишь царя Ритуперна;
Нет на земле никого, кто с ним бы сравнился в искусстве
Счета и так бы в кости играл. «Я, Вагука, правитель
Коней», скажи ты ему про себя; и если он спросит,
Много ли можешь в день проскакать? «Сто миль», отвечай ты.
Он твоему научиться искусству захочет; за это
Сам научит тебя искусству считать: без него ты
В кости всё царство свое проиграл. И как скоро искусство
Это получишь, страданья твои прекратятся, следа не оставив;
В ту же минуту, когда, и жену и детей отыскавши,
Прежний свой вид возвратить ты захочешь, лишь только об
этом
Часе вспомни и в этот щиток поглядись; кто владеет
Этим щитком, того на земле все змеи боятся».
Так говоря, Керкóта одну из зéркально-светлых,
Шею его украшавших чешуек снял и, подавши
Налю, примолвил: «Носи ее на груди; в роковое
Время эта чешуйка тебе пригодится». Потом он
Скрылся; а Наль остался в лесу один, превращенный.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Наль, разлучившися с змеем, пошел в Айодское царство
Службы искать у царя Ритуперна, который давно уж
Принял к себе и Варшнею, прежде служившего Налю.
Мудрый царь Ритуперн, великий конский охотник,
Лучших искусников править конями сбирал отовсюду.
Наль, через десять дней пришедши в Айоду, к царю
Ритуперну
Тотчас явился. «Я конюх Вагука,— сказал он:—
в искусстве
Править конями мне равного нет; сто миль проскакать их
В день я заставить могу. И во многом другом я искусен:
Пищу никто так вкусно, как я, не умеет готовить.
Всякое дело, для коего нужны и труд и уменье,
Взять на себя я готов, и к тебе, царю Ритуперну,
В службу желаю вступить». Ритуперн отвечал благосклонно:
«В службу, Вагука, тебя я беру; ты будешь отныне
Главным конюшим моим; надзирай за моими конями,
К скачке проворной их приучая; за службу же будешь
Сто золотых получать. Товарищ твой будет Варшнея,
Конюх искуснейший в деле своем, с ним старый Джевала,
Мой заслуженный конюший, и много других; ты без скуки
Будешь с ними досуг свой делить; и свободен ты делать,
Что пожелаешь. Будь главным моим конюшим, Вагука».
Вот и служит конюшим Наль у царя Ритуперна,
Царь без царства, муж без жены, изгнанник, лишенный
Даже лица своего, и Варшнея, ему так усердно
Прежде служивший, теперь уж товарищ ему: под одною
Кровлей они; но чужды друг другу, и вместе и розно,
Каждый своею печалью довольный, Варшнея о жалкой
Гибели Наля царя сокрушаясь, а Наль, по супруге,
Брошенной им, ежечасно тоскуя. И было то каждый
Вечер, что Наль, убравши коней, один затворялся
В стойле и пел там всё ту же и ту же печальную песню:

«Где, светлоокая, ты одинокая странствуешь ныне?
Зноем и холодом, жаждой и голодом в дикой пустыне
Ты, изнуренная, ты, обнаженная, вдовствуя бродишь.
Где утешение, в чем утоление скорби находишь?»
Так он пел. И однажды Джевала, подслушавши эту
Песню, спросил у него: «По ком ты, Вагука, тоскуешь?
Кто же та, о которой такую грустную песню
Так заунывно поешь ты?» — «Пою про жену сумасброда,
Ею избранного, ею любимого, ум и богатство
Вдруг потерявшего, ей изменившего, клятву святую,
Данную ей пред богами, забывшего. С ней разлученный,
Он уж давно в тоске, в раскаяньи, в страхе, не зная
Скорби своей утоленья ни днем, ни ночью, бездомным
Странником бродит. Но каждую ночь, об ней помышляя,
Эту песню поет он. Скитаясь, как нищий, с терпеньем
Пьет он свою, преступленьем налитую, горькую чашу,
Чашу разлуки, и горе свое с одним лишь собою
Делит. Она же, которая с ним и в беде не рассталась,
Им в пустыне забытая... Где она? Что с ней? Лишь чудо
Жизнь могло сохранить ей, со всех сторон окруженной
Смертью в лесах, где гнездится и дикий зверь и разбойник.
Эту повесть он сам рассказал мне. С тех пор и пою я
Песню его, как сам он поет, и об нем сокрушаюсь».

II

Бима, царь Видарбы, узнав о бедствии Наля,
Царство свое проигравшего в кости, немедленно созвал
Всех видарбинских брахманов и так им сказал: «Отыщите
Дочь мою Дамаянти и Наля царя: кто узнает,
Где мои дети и их ко мне приведет, тот получит
Тысячу самых отборных быков и деревню, как людный
Город богатую; тот же, кто, их не приведши, хоть с верной
Вестью об них ко мне возвратится, также получит
Десять сотен быков». Брахманы поспешно на север,
Полдень, восток и запад пошли отыскивать Наля;
Всюду, по всем областям, городам, деревням, по безлюдным
Диким лесам, по горам, по равнинам, по разным дорогам
Долго ходили они; но напрасно; ни слуха, ни вести
Нет ни о Нале-царе, ни о верной его Дамаянти.
Вот наконец, один из брахманов, Судéва, достигнул
Города Шедди и там во дворце, на празднике царском
Он Дамаянти увидел. Подле царевны Сунанды,

В платье печальной вдовы, на лице покрывало, близ светлой,
Радостной девы она там стояла — жена, по супруге
Мрачно скорбящая, тень близ света, алмаз без сиянья,
День без солнца, краса, двойным покровом от взоров
Скрытая, черным платьем и черным горем. Увидя
Этот прекрасный, невидимо блещущий свет, догадался
Тотчас Судéва, кто перед ним. Про себя он подумал:
«Тот же образ я вижу, который столь сладостно светел
Был в то утро, когда все земные цари и владыки,
С ними и вечные боги в тревоге надежды, смиренно
Ждали, кому из них благодатную руку подаст Дамаянти.
Это она, полногрудая, темно-кудрявая, райским
Блеском очей веселящая душу, любовь и утеха
Мира; она, молодая лилея, лишенная корня,
Лóтос, слоновой стопой сокрушенный, высокое в низком;
Это она, по супруге скорбящая, вместе с супругом
Всю потерявшая жизнь, как источник, ныне безводный,
Некогда быстро бежавший, как лунная ночь по затменьи
Полном луны, поглощенной внезапно небесным драконом;
Это она, достойная жить в перламутровом, царском
Доме, живущая ныне в чужом сиротою бездомной;
Славная царской породою в горьком бесславном изгнаньи;
Счастья достойная, жарко любящая, чуждая счастью,
Чуждая сладкой любви. Ее измучено сердце
Страстным стремленьем к супругу, избранному сердцем; на свете
Муж украшенье жены; потеряв сей небесно-прекрасный
Перл, и блестящая тратит свой блеск. Но где ж он, могучий
Наль? Перенес ли разлуку с такою женою иль мертвый
Пал, утратив ее? И мне всю душу пронзает
Горе при виде ее красоты сокрушенной, при встрече
Огненно-темных ее, в слезах угасающих взоров.
Скоро ль, скоро ль, весь мир исходив путем испытанья,
К цели желанной достигнет она и с желанным супругом,
С милым души, с властителем жизни встретится в мире,
Так, как звезда встречается с месяцем? Скоро ль
С трона низверженный Наль возвратит Дамаянти и трон свой?
О! какое блаженство тогда для обоих, друг другу
Равных прелестью, доблестью, знатностью рода и славой
Предков! Мне должно теперь подойти с утешительным словом
К ней, сокрушенной». Так говорил многомудрый Судéва
Сам с собою; потом он к тому приблизился месту,

Где одиноко стояла среди многолюдства с печальной
Думой своей Дамаянти. «Здравствуй, роза Видарбы, —
Ей он сказал; — я Судéва, брахман видарбинский; царь Бима,
Твой родитель, жив и здоров и царствует мирно;
Здравствует с ним и твоя благодушная мать, управляя
Домом; здравствуют братья твои, здравствуют дети,
Мирно цветя под защитою деда и бабки. Но горе
Всех по тебе сокрушило. И ныне по целому свету
Ищут брамины тебя; отыскать же позволили боги
Мне». Дамаянти, узнавши его, залилася слезами;
Стала потом о родных, о друзьях, знакомых и ближних
Спрашивать. «Выросли ль дети?» она напоследок спросила.
С этим словом рыданье стеснило ей грудь, и с прекрасных
Длинных ресниц покатилися крупными каплями слезы.
Видя, что плачет она в разговоре с брамином, Сунанда,
Сильно встревожась, сказала немедленно матери: «Наша
Гостья плачет; какой-то брамин говорит с ней и верно
С ним знакома она, и его слова пробудили
Эту печаль». Тогда из покоев внутренних вышла
Мать царица; увидя брамина, она повелела
К ней его привести; и его расспрашивать стала
Так: «Расскажи мне об ней, что ведаешь. Кто и какого
Рода она? Чья дочь? Чья жена? И с родными какою
Странной судьбою рассталась? И здесь ты ее по какому
Тайному признаку мог распознать? Обо всем откровенно
Мне расскажи». И, сев на ему указанном месте,
Так рассказывать начал Судéва, брамин многомудрый.

III

«Царствует ныне в Видарбе царь Бима, до старости поздней
В славе доживший; а странница эта есть Дамаянти,
Дочь видарбинского Бимы, жена нишадского Наля.
Наль же, сын Вирасены, бывший владыка Нишады, безумно
В кости всё царство свое проиграл недостойному брату.
С той поры, покинув Нишаду с женою, пропал он
Без вести. Бима послал нас отыскивать дочь. И случайно
В вашем царском дворце в печальной, таинственной гостье
Вашей узнал я ее... И кто не узнал бы? На свете
Нет Дамаянти другой, столь прекрасной душою и телом.
Есть притом и примета: на лбу под густыми
Кудрями светлая скрыта звезда, как за облаком месяц;
С нею она родилася; ее сам Брама заметил



В. А. Жуковский (1851)

Знаком святым благодати; но знак сей одним лишь браминам,
Видящим здесь красоту неземную, служителям Брамы,
Может быть видим; и я очами брамина, как злато
В темной руде, как в пепле горячем огонь сокровенный,
Тотчас узнал Дамаянти, красы несказанной светило».
Кончив рассказ свой, Судéва умолк. Тут царевна Сунанда,
Тихо подкравшись к подруге, с ее головы покрывало
Вдруг сорвала и кудри волос, осенявших прекрасный
Лоб видарбинской царевны, откинула: ярко, как месяц,
Тучу пронзивший, блеснула оттуда звезда благодати.
То увидя, Сунанда в слезах умиленья припала
К сердцу ее, царица заплакала также; и все три,
Крепко обнявшись, слиянные сердцем, стояли безмолвно,
Слезы сливая с слезами. Вот напоследок сказала
Мать царица: «Ты дочь моей сестры, Дамаянти.
Наш знаменитый отец был владыка даферский Судеман;
Бима выбрал сестру, меня избрал Вирава́гу.
Я и тебя младенцем видала в то время, когда мы
Вместе с сестрой навестили в Даферне отца. И тогда уж
Эта звезда сияла на лбу у тебя. Догадалась
Тотчас я, кто ты, как скоро ты странницей грустной явилась
Здесь, и дочерью сердце тебя нарекло. Оставайся ж
С нами, мой дом есть твой; и всё подвластное сыну
Царство также твое. Живи в любви и согласьи
С нами: будь дочерью мне, будь нежной сестрою Сунанде». —
«Долго я здесь незнакомкой в довольстве жила, — отвечала
Тетке своей Дамаянти; — не знала нужды, под защитой
Верной была, и в горе встречала веселье; но будет
Мне веселее в Видарбе с родным отцом и с родною
Матерью. С миром меня отпусти; я давно уж с своими
Ближними розно; отсюда слышится мне, как сиротки
Дети мои, по матери плача, ее издалека
Кличут и ей говорят: *без отца мы; на что же нам*
Быть и без матери? Если свое благотворное дело
Ты довершить надо мною желаешь, то дай мне скорее
Средство в Видарбу к своим возвратиться». — «Исполнена будет
Воля твоя, красота звездоносная», — так отвечала
Мать царица; потом с позволения сына, владыки
Царства шеддийского, в путь снарядила милую гостью;
Пищу с питьем на дорогу сама царевна Сунанда
Ей приготовила; дали коней с колесницею; дали

Также и стражей, дабы ее на пути охраняли;
С плачем расстались потом. И вот наконец возвратилась
К ближним своим Дамаянти. И много в Видарбе веселья
Было при встрече ее. Когда ж Дамаянти со всеми
Свиделась, с милою матерью, с добрым отцом и с родными
Братьями, сродников всех и знакомых увидела, к сердцу
В сладких слезах прижала детей — то первой заботой
Было ее принести благодарность богам и браминов
Всех одарить. И Бима исполнил свое обещанье:
Тысячу жирных быков с селом, богатым как город,
Дал он брамину Судéве. Награду такую сначала
Он обещал лишь тому, кто найдет Дамаянти и Наля;
Но, блаженный свиданием с дочерью, он уж не думал
Боле о Нале. Зато не забыла о нем Дамаянти.
Ночь одну проведя в жилище отца, на другой день
Матери так Дамаянти сказала: «Если ты хочешь
Жизнь мне мою сохранить, возврати мне прекрасного
Наля».
То услыша, царица заплакала горько и слова
Ей отвечать не могла от слез и рыданья. И вместе
С нею домашние все сокрушались и громким стенаньем
Всё жилище ее наполнялось. И вот что царица
Биме, властителю многих народов, сказала: «Открыла
Сердце свое мне наша дочь Дамаянти; по милом
Нале тоскует она несказанно. А где он? Удастся ль
Так же найти и его, как найти удалось Дамаянти?»
Бима при этих словах опять вызывает браминов
Новую службу ему сослужить. «Святые брамины, —
Им говорит он, — идите по всем путям и дорогам
Наля отыскивать; с ним разлученная, гаснет от горя
Дочь Дамаянти». Брамины, немедленно в путь изготовясь,
Все собрались к Дамаянти услышать ее повеленье:
Их приняла, улыбаясь сквозь слезы, она и сказала
Так: «Куда б ни пришли вы и где бы его ни искали —
В городе ль, в царском дворце ли, в деревне ли, в хижине ль
бедной —
Всюду одно повторяйте, вытвердив то, что скажу вам:
«Где ты, игрок? Куда убежал ты в украденном платье,
В лесе покинув жену? Она, почерневши от зноя,
В скудной одежде, тобою обрезанной, ждет, чтоб обратно
К ней ты пришел. По тебе лишь тоскует она, и ни разу
Сна не вкусила с тех пор, как себе на погибель заснула
В том лесу, где тобой так безжалостно брошена. То ли

Ты обещал ей супружеской клятвой? Покров и защита
Муж для жены; а ты, что сделал с своею женою,
Ты, величаемый мудрым, твердым, благим, благородным?»
Помните эти слова и их везде повторяйте.
Если же кто вам на них отзовется, то знайте, что это
Наль; и тогда немедля разведайте, кто он? Когда же
Словом каким он вам возразит, то скорее, скорее
Это слово мне передайте, брамины. Но будьте
С ним осторожны, чтоб он догадаться не мог, что за ним вы
Посланы мной, и чтоб снова не скрылся. Идите с богами
В путь свой, брамины, ищите Наля, везде повторяя
Грустную песню мою, воздыханья любви сокрушенной».
Данные им наставленья принявши, по разным дорогам
Все разошлися брамины отыскивать Наля; и всюду
В людных, больших городах, в богатых палатах, в убогих
Хижинах, в темных лесах, по горам, по полям, по долинам,
Где только был человеческий след, неусыпно искали
Наля они, везде повторяя слова Дамаянти,
Грустную песню ее, воздыханья любви сокрушенной.

ГЛАВА ОСЬМАЯ

I

Вот по странствии долгом один из браминов, Парна́да
Именем, с вестью такою пришел к Дамаянти: «Повсюду
Наля искав безуспешно, пришел наконец я в Айоду.
Там пред царем Ритуперном твои слова произнес я;
Царь ничего не сказал мне в ответ и никто из придворных
Также мне не дал ответа. Когда ж я, простясь с Ритуперном,
Вышел из царских покоев, со мной повстречался служитель
Царский с руками короткими, малого роста, Вагука
Именем; дело его смотреть за царевой конюшней;
Видом он некрасив; зато великий искусник готовить
Пищу, также чудесно править конями: он может
В сутки сто миль проскакать их заставить. И вот что с глубоким
Вздохом, от слез задыхаясь, сказал мне этот Вагука:
«В бедности, в горести терпят безропотно с верой смиренной
Неба достойные, долгу супружества верные жены;
Сердце их кроткое нежным прощением мстит за обиду.
Если в безумии все свои радости, свет и усладу
Жизни, расставшися с верной подругою, жалкий преступник
Сам уничтожить мог, если отчаянный, платья лишенный
Хитрыми птицами, голодом мучимый, он удалился
Тайно от спутницы, если он с той поры денно и нощно
Всё по утраченной плачет и сетует — доброй женою
Будет оплакан он; что б ей ни встретилось доброе, злое,
Нежному, верному сердцу покажется горе не горем,
Радость не радостью; будет лишь памятно бедствие мужа,
Тяжкой виной своей в горе лишенного всякой отрады».
Эти услышав слова, я решился немедля пуститься
В путь обратный. Царевна, сама теперь ты рассудишь,
С доброю ль вестью к тебе я пришел». Дамаянти, Парна́ду
Выслушав, тотчас к царице пошла и так ей сказала:

«Слушай, родная; о том, что я сделать хочу, мой родитель
Бима ведать не должен; хочу я брамина Судéву
В царство Айоду послать; награды своей половину
Он заслужил, вот случай ему заслужить и другую:
Вам возвратил он меня, пускай возвратит вам и Наля».
Мать согласилась на просьбу плачущей дочери; тайно
Всё учредили они и царь не узнал ни о чем. Одаривши
Щедро Парнáду, царевна сказала: «Когда возвратится
Счастливо царь мой желанный, получишь ты вдвое; ты
первый
След нам к нему указал». И доволен остался Парнáда
Тою наградой. Тогда Дамаянти, призвавши Судéву,
Так сказала: «Судèва, иди к царю Ритуперну
В царство Айоду; явися ему, но так, чтоб подумал
Царь Ритуперн, что зашел ты в Айоду случайно, и вот что
Скажешь ему ты, как будто без всякого умысла: «Бима
Снова сзывает в Видарбу царей и царевичей; снова
Хочет супруга избрать Дамаянти: уж съехалось много
К ней женихов». И ежели знать пожелает он, скоро ль
Должен быть выбор, назначен ли день? Отвечай ты:
«Я вижу,
Царь, что тебе одному неведомо то, что известно
Целому свету; день назначенный — завтра; и если
Сам ты отведать счастья намерен, то можешь в Видарбу
Нынче же к ночи поспеть; у тебя есть конюх, искусный
Править конями; он в сутки сто миль проскакать их
заставит;
Только не медли: завтра, чем свет, Дамаянти объявит
Выбор; о Нале ж ни слуха, ни вести; и верно погиб он.
Если же хочешь ты знать, от кого я о сказанном слышал,
Знай, государь, что слышал о том от самой Дамаянти».

II

Вот приходит Судéва к царю Ритуперну. То было
Рано поутру. И только что ложную повесть брамина
Выслушал царь, как, с места вскочивши, воскликнул:
«Скорее
Кликнуть Вагуку сюда!» Когда же Вагука явился —
«Верный конюший, — сказал Ритуперн, — мне должно в
Видарбу
Нынче ж поспеть; Дамаянти опять выбирает супруга;
Завтра утром она объявит свой выбор. Искусство

Ныне свое покажи мне, Вагука, на деле; посмотрим,
Можешь ли в сутки сто миль проскакать на конях, не
кормивши».
Царская речь наполнила ужасомНалеву душу.
«Что замышляет, — подумал он сам про себя, — Дамаянти?
Или она от скорби лишилась ума? Иль какую
Хитрость задумала? Может ли быть, чтоб она на такое
Дело решилась, она, непорочная, верная, светлый
Ангел любви? Неужель, оскорбленная мной так жестоко,
Хочет отмстить мне она, смиренно-незлобный эдемский
Голубь? Но женское сердце изменчиво; я же пред нею
Слишком виновен; прекрасную младость ее погубил я;
В долгой разлуке со мной разлучилась она и с любовью.
Но, позабывши меня, как могла позабыть Дамаянти
Наших детей? Мне должно разведать, что ложь и что правда
В этом слухе, и волю царя для себя я исполню».
Так он в мыслях решил и, покорно ко груди прижавши
Руки, царю отвечал: «Несомненно исполнена будет
Царская воля твоя; мы нынче ж поспеем в Видарбу
К вечеру». Вот на конюшню Вагука пошел, чтоб надежных
Выбрать коней и выбрал тощих, тяжелых, ноздристых,
Тонконогих, толстоголовых, с щетинистой шерстью,
С длинными шеями, с гривой встопорщенной,
огненно-диких.
Выбор такой царя изумил. «Ты шутишь, Вагука, —
С гневом сказал он; — как будто в насмешку из целой
конюшни
Выбрал ты самых негодных коней. В такую дорогу
Можно ль на клячах подобных пускаться?» — «То добрые
кони,
Царь государь, — Вагука ответствовал; — вот и приметы:
Две на лбу, одна на груди и три на копытах;
Духом домчимся на этих конях до Видарбы; но если
Выбрать других ты желаешь, то сам укажи их; готов я
Волю исполнить твою». — «Пускай по-твоему будет, —
Царь отвечал; — тебя не учить мне; закладывай; едем».
Выбранных им четырех коней заложил в колесницу
Наль и сел в нее с Ритуперном; и с ними, по просьбе
Наля, сел Варшнея. Собравши в могучую руку
Вожжи и ими тряхнув, как браздами излучистых молний,
Наль закричал: «Изготовьтесь вы, добрые кони; чтоб
нынче ж
Быть нам в Видарбе!» И дрогнув, пред ним на колени упали

Кони; легким движеньем руки опять он их поднял
На ноги, голос смягчил и, ласковым словом придав им
Жару, крикнул: «Вперед!» Они понеслися как вихри.
Царь Ритуперн на бег их смотрел с немым изумленьем.
В то же время, расслушав, сколь был таинственно-звучен
Гром колесницы, и видя, что вожжи со свистом и треском
Били коней по бокам и, как молнии, быстро сверкали,
Думу глубокую думал Варшнея: «Откуда Вагука
Мог получить такое искусство и кто он? Не сам ли
Ко́ней державного бога богов повелитель Мета́лис?
Или он Наль, сокрывший себя под личиной урода?
Налева образа нет здесь, но есть здесь Налева сила.
Кто же мне правду откроет? Давно из древних преданий
Ведаем мы, что земные цари, по воле судьбины,
Здесь на земле иногда превращенные, странствуют тайно.
Этот уродливый конюх не может быть Налем великим;
Тот же, под кем, как гроза в небесах, гремит колесница,
Кто он иной, как не Наль, мой великий владыка?» Так
думал,
Молча, Варшнея и в бедном Вагуке угадывал Наля.

III

Кони, без крыльев крылатые, властию Наля, как буря,
Мчались вперед по горам, по долам, через реки, потоки.
Вдруг сорвалась с головы Ритуперна повязка. «Вагука,
Стой! — он сказал, — пускай Варшнея подаст мне повязку». —
«Поздно! — ответствовал Наль-Вагука, — уж мы отскакали
Более мили; оставим повязку». Царь изумился;
Вдруг он увидел вдали Вибитаку, ветвисто-густою
Сенью покрытое дерево. «Слушай, Вагука, — сказал он, —
Здесь на земле никто не имеет всезнанья; в искусстве
Править конями ты первый; зато мне далося искусство
Счета и знаю я тайну играть *наверное* в кости.
Видишь ли там вдалеке то ветвистое дерево? Много
Листьев на нем и много плодов; но много их также,
С ветвей упавших, лежит на земле. Так знай же: упало
Листьев четыреста три и с ними свалилось сто десять
Спелых плодов; всех сучьев семьсот сорок девять; на сучьях
Листьев осталося пять миллионов и восемь; плодов же
Тысяча триста пятнадцать созревших, восемьсот сорок
Три созревающих, семьдесят восемь гнилых. Хоть поверку
Сделай, мой счет без малейшей ошибки». В эту минуту

Были они уж близ дерева. «Стойте, — воскликнул Вагука, —
Добрые кони; такому чудесному счету нельзя мне
Прежде поверить, пока плодов и сучьев и листьев
Сам не сочту я на дереве этом. Варшнея подержит
Вожжи, покуда я буду считать». Ритуперн ужаснулся.
«Что ты задумал, Вагука? — сказал он, — не время нам
медлить».
Но Вагука (был умысел свой у него) непременно
Счет поверить хотел. «Подожди, — царю отвечал он; —
Или — если уж так ты поспешен — прямо, всё прямо
Этой дорогой ступай; Варшнея будет конями
Править». На то Ритуперн возразил, стараясь Вагуку
Лаской смягчить: «Не упрямься, добрый Вагука; в искусстве
Править конями тебе подобного нет, и в Видарбу
Только с тобою одним поспеть нам к вечеру можно.
Я (сам видишь ты это) во власти твоей; не держи же
Доле меня: я сделаю всё в твое угожденье,
Если только в Видарбу доедем прежде, чем сядет
Солнце». Вагука, вместо ответа, коней удержавши,
С козел сошел, и начал спокойно считать по порядку
Прежде плоды, за плодами сучья, за сучьями листья.
«Счет плодов без ошибки, — сказал он царю Ритуперну. —
Вот поглядим, не ошибся ль ты в счете сучьев и листьев?»
Царь кипел нетерпеньем. «Будь же доволен, Вагука,
Разве мало тебе одного доказательства?» — «Мало,
Царь государь, — Вагука сказал, — но если ты хочешь
Разом всё кончить, то сам объясни мне, как мог ты так
много
Счесть в такое короткое время?» — «Знай же, — воскликнул
Царь (не от доброй души, а взбешенный упорством
Вагуки), —
Я одарен могуществом счета и тайным искусством
В кости играть наверное». — «Ежели так, то теперь же
То и другое мне передай; в замену искусство
Править конями получишь», — сказал Вагука. «Согласен, —
С гневом ответствовал царь; — и могущество счета и тайну
В кости играть я тебе отдаю; от тебя же, Вагука,
Дар твой приму, как скоро приедем в Видарбу». Лишь
только
Вымолвил слово свое Ритуперн, как у Наля открылись
Очи и он все ветви, плоды и листы Вибитаки
Разом мог перечесть; и в то же мгновенье, когда он
Данную силу в себе ощутил, сокрытый дотоле

В сердце его искуситель Калй оттуда исторгся
Дымом и мглою своей обхватил Вибитаку. При первом
Чувстве свободы Наль обеспамятел; скоро однако
Он очнулся, и, видя лицом к лицу перед собою
Злого врага своего, хотел проклясть нечестивца;
Но Калй возопил, поднявши руки смиренно:
«Наль, воздержися от клятвы; уже довольно наказан
Был я проклятьем, в минуту страданья твоею женою
Против меня изреченным (хотя и был ей неведом
Общий ваш враг). С тех пор я, замкнутый в тебе, как в темнице,
Столь же был горем богат, сколь ты был радостью беден.
Мучимый ядом царя Змеиного, денно и ночно
Сам я себя проклинал. Пощади же меня, благодушный
Наль; я отныне бессилен; отныне каждый, кто повесть
Бедственной жизни твоей прочитает, тебя прославляя,
Будет от козней моих огражден и власти подобных
Мне зловредных духов недоступен». Смягченный молящим
Словом врага побежденного, Наль воздержался от клятвы.
Сам же Калй в Вибитаку вселился и полное жизни
Дерево мигом засохло. При чуде таком изумился
Царь Ритуперн (того же, что с Налем в эту минуту
Делалось, видеть и слышать не мог он). Едва искуситель
Скрылся — от муки избавленный, радостно блещущий, новой
Жизнию пламенный, вдвое могучий, сел в колесницу
Наль, и кони помчались; а он, упредив их, душою
Был уж в Видарбе, там, где была Дамаянти, куда он
С сердцем, свободным от зла, но всё еще бедный, бездомный
Царь, возвращался под видом чужим, никому незнакомый.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Солнце еще не угасло, когда до Видарбы достигнул
Царь Ритуперн. Немедля о госте нежданном царь Бима
Был извещен, и, им приглашенный, в сияньи вечернем
Въехал в Видарбу владыка Айоды. Как гром отзывался
Стук колесницы его с осьми сторон небосклона.
Налев стук и Налев скок почуяли тотчас
Налевы кони (которых, еще до изгнанья царева,
К Биме с детьми сама Дамаянти прислала);
Радостным ржаньем, как будто при Нале, они отвечали
Дружно на звук, им знакомый; и, вслушавшись в звук сей,
подобный
Гулу глубокому грома, сама Дамаянти смутилась;
Что-то родное, бывалое, Налево в вещее сердце
Вдруг проникло — так и жена и кони узнали
Разом Наля по стуку его колесницы. И в стойлах
Царских слоны и на кровле дворцовой павлины, расширив
Радугой пышной хвосты, при этом неслыханном стуке
Вдруг встрепенулись; подняли хобот слоны; закричали,
Вытянув шею, в радостном страхе павлины, как будто
Чуя грозы, обещающей дождь, приближенье. И с райским
Трепетом, вся обращенная в слух, про себя Дамаянти
Так говорила: «Мне этот стук колесницы и этот
Топот, тревожащий небо и землю, насквозь проникают
Душу. Это Наль, мой владыка, Наль мой желанный!
Если его я нынче ж лицом к лицу не увижу,
Если нынче же в сладких объятиях Наля не буду,
Если это не он, столь чудно гремящий, не светлый
Наль, мой царь, мой спаситель; если меня обмануло
Сердце, то более жить мне не должно; и в жаркое лоно
Пламени брошусь, чтоб кончить тоску одинокия жизни.
О! теперь позабыто всё прошлое: жизнь обновилась;
Страх одиночества, стыд нищеты, бесприютность, разлуки
Тяжкая боль — из сердца изглажено всё; я не помню

Слова обидного, взгляда сурового; помню одно лишь
Счастье святое любви, лишь его, избранного сердцем,
Радость души, благородного, кроткого, сильного волей,
Тихого нравом, разумом мудрого, сердцем младенца,
Наля, мою надежду, спасение, жизнь. Непрестанно
Думать о нем и о прошлых днях неразлучности сладкой,
Думать о прелести взора его и улыбки, о сладком
Голосе, нежных речах, и, всею душой погружаясь
В думу любви, быть розно с ним, несказанно любимым —
Вот страданье, которому имени нет». В сокрушенных
Мыслях таких Дамаянти сидела тогда на дворцовой
Верхней площадке с служанкой своей молодою Кезиной.
Вот и видят они, что на двор широкий влетели
Кони, гремя и дымясь, с колесницей; и в той колеснице
Были трое: царь Ритуперн, Вагука, Варшнея;
Где же Наль?.. С томительным страхом глядит Дамаянти;
Видит царя; Варшнею потом узнает; напоследок
Смотрит на их безобразного спутника — ей незнаком он.
Тою порой Ритуперн сошел с колесницы; Варшнея
Также; Вагука начал разнуздывать коней; и в это ж
Время вышел и Бима гостью навстречу. Друг другу
Оба царя поклонились учтиво, хоть оба не знали,
Что друг другу сказать. Ритуперн, осмотрясь, не приметил
В царском дворце ничего, что б канун означало большого
Праздника; он подумал: «Я был легковерно обманут
Ложною вестью»; и Биме сказал он: «Здравья и долгих
Лет тебе я желаю»; Бима таким же приветным
Словом ответствовал. «Что, — потом он спросил, — привело к нам
В нашу столицу Видарбу такого великого гостя?»
Слыша этот вопрос и не видя нигде никакого
Знака, чтоб были другие цари и царевичи в царском
Доме, владыка Айоды ответствовал: «Видеть хотел я,
Царь благодушный, тебя и, с тобой познакомясь, проведать,
Всё ли в твоем благоденствует царстве?» Мудрому Биме
Странным ответ такой показался, и было ему непонятно,
Как могло притти на ум царю Ритуперну
Путь такой предпринять лишь за тем, чтоб проведать, здоров ли
Царь Видарбы, ему незнакомый. «Тут есть, — он подумал, —
Верно другая причина. Узнаем мы после». И, руку
Ласково гостю подавши, сказал он: «Милости просим,
Царь Ритуперн; мы рады весьма твоему посещенью.

Но ты устал; войди к нам в палаты и там успокойся;
Что ни прикажешь, всё будет исполнено». Вместе с
Варшнеей
Царь Ритуперн вошел во дворец; а Вагука, отпрягши
Добрых коней, отвел их в конюшню; потом, возвратяся,
Сел на прежнее место свое в колеснице и скоро
В грустную думу весь погрузился. Его Дамаянти
Сверху увидя, вздохнула глубоко. Ужель обманулось
Сердце мое? — сказала она; — но стук колесницы
Был мне знакомый, был подлинно Налев... а Наля не
вижу.
Или Варшнея искусство его перенял? Иль открыли
Боги его царю Ритуперну?» Так Дамаянти
Мучилась тяжким сомненьем; вот наконец, обратяся
К верной Кезине, служанке своей, она ей сказала:

II

«Слушай, Кезина, поди и проведай, кто в колеснице
Так угрюмо сидит один, лицом некрасивый,
Руки короткие? С ним заведя разговор, постарайся
Выспросить, кто он? Меня подозренье тревожит: не сам ли
Наль таится под этим уродливым видом? Ты вот что
Сделай: с ним говоря, повтори, как будто случайно
Те слова, которые всюду браминам велела
Я повторять; увидишь, не даст ли какого ответа
Он на них, и ежели даст, то всё, что ни скажет,
Ты заметь и мне передай». Кезина к Вагуке
Тотчас пошла; Дамаянти ж, на прежнем месте оставшись,
Сверху смотрела на них. Кезина, приближась к Вагуке,
Так сказала ему: «Благородные гости, будь в добрый
Час вам приезд ваш в Видарбу; царская дочь Дамаянти
Мне приказала узнать, зачем вы здесь и откуда?» —
«Мы из Айоды, царю Ритуперну подвластного царства, —
Так Вагука сказал. — Узнав от брамина, что будет
Снова супруга себе выбирать Дамаянти, айодский
Царь на своих быстроногих конях, которыми правлю
Я, сюда прискакал, чтоб явиться с другими на выбор». —
«Ты не один при царе; вас двое; кто твой товарищ?
Кто ты сам, и откуда, и как к царю Ритуперну
В службу вступил?» — «Мой товарищ Варшнея, бывший
конюший
Наля; меня называют Вагука; что я не красавец,

Это ты видишь; служу у царя на конюшне, но мог бы
Также служить и на кухне, ибо я столь же искусен
Вкусную пищу готовить, как править конями».—
«Скажи ж мне,—
Снова спросила Кезина его,— не дошла ль до Варшнеи
Весть какая о Нале? И сам ты об нем не слыхал ли?» —
«Налевых бедных детей,— Вагука сказал,— проводивши
К деду и царских коней оставив в Видарбе, Варшнея
В службу вступил к царю Ритуперну. О участи Наля
Он не знает, и нет на земле никого, кто о ней бы
Что-нибудь знал; под видом чужим, в неведомом месте
Царь укрывается. Наль один на свете о Нале
Знает, да та лишь одна, кто с Налем *одно*; никому он,
Кроме ее, не открыл своих таинственных знаков».—
«Но (сказала Кезина) брамин, посетивший Айоду,
Встретясь с тобою, тебе повторил слова Дамаянти:
«Где ты, игрок? Куда убежал ты в украденном платье,
В лесе покинув жену? Она, почерневши от зноя,
В скудной одежде, тобою обрезанной, ждет, чтоб обратно
К ней ты пришел; о тебе лишь тоскует она, и ни разу
Сна не вкусила с тех пор, как, себе на погибель, заснула
В том лесу, где тобой так безжалостно брошена. То ли
Ты обещал ей супружеской клятвой? Покров и защита
Муж для жены; а ты что сделал с своею женою,
Ты, величаемый мудрым, твердым, благим, благородным?»
Помнишь ли, что на эти слова отвечал ты брамину?»
Весь побледнев, неподвижно смотрел на Кезину Вагука;
Долго, пронзенный незапною болью любви, не имел он
Силы вымолвить слово; рыдающим голосом, очи,
Полные слез, опустив, напоследок тихо сказал он:
«В бедности, в горести терпят безропотно с верой
смиренной
Неба достойные, долгу супружества верные жены;
Сердце их кроткое нежным прощением мстит за обиду;
Если в безумии все свои радости, свет и усладу
Жизни, расставшися с верной подругою, жалкий
преступник
Сам уничтожить мог; если, отчаянный, платья лишенный
Хитрыми птицами, голодом мучимый, он удалился
Тайно от спутницы, если он с той поры денно и нощно
Всё по утраченной плачет и сетует — доброй женою
Будет оплакан он; что б ей ни встретилось доброе, злое,
Нежному, верному сердцу покажется горе не горем,

Радость не радостью — будет лишь памятно бедствие мужа,
Тяжкой виной своей в горе лишенного всякой отрады».
С этим словом вся Налева скорбь пробудилась в Вагуке;
Он застонал и слезы из глаз полилися. Кезина
Тотчас ушла, спеша обо всем известить Дамаянти.

III

«Это Наль (Дамаянти сказала в слезах, с замираньем
Сердца Кезину выслушав), это мой царь, мой владыка,
В виде чужом. Ты должна к нему возвратиться, Кезина,
Снова. Вблизи притаись и внимательно следуй за каждым
Шагом и взглядом его, не откроется ль в том, что заметишь,
Признака тайной, особенной силы. Я думаю, скоро
Ужин начнет он готовить царю Ритуперну — смотри же,
Так устрой, чтоб он ни воды, ни огня для варенья
Пищи не мог получить, и заметь потом, что начнет он
Делать; и всё другое, что в нем покажется чудным,
Также мне опиши». Кезина пошла и, исполнив
Волю царицы, явилася к ней с своим донесеньем:
«Нет! ни прежде видать не случалось, ни после увидеть
Мне не случится того, что теперь предо мною сбылося;
Этот Вагука не просто земной человек; он с богами
В явном союзе; ничто для него ни низко, ни тесно;
К низким дверям подойдет — головы не наклонит, а сами
Двери над ним приподымутся; тесное место просторным
Вдруг при его приближеньи становится. Всяких припасов
Вместе с посудой царь Бима велел приготовить, чтоб ужин
Он для царя Ритуперна сварил; но воды, как тобою
Было приказано, не дали; он того не заметил,
Только взглянул и водой все сосуды наполнились; также
Он и огня под дрова попросить не подумал, а только
Взял соломы, и мигом сама собою солома
Вспыхнула. Много другого заметила я: без обжоги
Голой рукой разгребал он огонь; вода закипала,
Только что к ней он касался. Но чудо последнее боле
Всех других изумило меня: засохшую розу
Он увидел; в пыли она без листьев лежала;
Он ее поднял, взглянул на нее и явилась живая
Роза в руке у него на месте прежней, поблекшей.
После такого неслыханно-чудного дела, царица,
Я побежала немедля к тебе». Но уже Дамаянти

Боле сомненья иметь не могла, то явные были
Знаки Наля, то были дары, полученные в самый день брака
Им от богов, и она уж, блаженствуя, видела сердцем
Наля желанного там, где еще для очей был Вагука.
«Сбегай опять ты к нему, — сказала Кезине царица; —
Запах от пищи, им приготовленной, чудно приятен;
Хочется знать мне, вкусна ли она? Попроси у Вагуки
Мяса жаркого кусок». Побежала Кезина к Вагуке
Снова и скоро назад возвратилась с дымящимся мясом.
Налев знакомый ей вкус Дамаянти узнала, отведав
Мяса. «Он здесь! он здесь! — в восхищеньи она повторяла
Мысленно; — боле сомнения нет. Но долго ль он будет
Светлый свой образ таить от жаждущих взоров и мучить
Бедное сердце мое нестерпимым желаньем свиданья?»
Так сокрушаясь, она наконец приказала Кезине
Взять детей и вывести их из дворца, чтоб Вагуке
Их показать мимоходом. Лишь только Вагука увидел
Двух малюток, цветущих детей Дамаянти и Наля,
Столь давно потерявших отца — в нем душа загорелась;
Кинулся к ним он навстречу, по имени назвал обоих,
К сердцу прижал и заплакал и долго, долго, слезами
Их обливая, от них оторваться не мог, но опомнясь,
Вдруг отскочил и Кезине сказал: «Я также имею
Двух детей малолетных, сына и дочь; совершенно
С этими сходны они, и давно я с ними в разлуке.
Вот отчего я и был так сильно встревожен их встречей;
Но, послушай, люди заметят, что часто ко мне ты
Ходишь, и будет тебе оттого без вины нареканье;
С миром отсюда поди и боле ко мне не являйся».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Всё, что было ей нужно, узнав, Дамаянти решилась
Сделать опыт последний, и матери вот что сказала:
«Кликни Вагуку к себе; я тайну эту открою;
Наль отыскан; он здесь, я знаю, я верю». Царица, согласно
С просьбою дочери, кликнуть велела Вагуку, и сколько
Волей, столько неволей, царь с трепетанием тайным
Стал наконец пред лицом своей Дамаянти. Безгласен
Сделался он, увидя ее, прелестную в скорби,
Чистого ангела радости в платье печальном вдовицы.
Сердцу его несказанный упрек, перед ним Дамаянти
Молча стояла, пронзительный взор на него устремивши.
«Дай ответ мне, Вагука, — она напоследок сказала, —
Знал ли ты верного мужа, который был бы способен
Тайно покинуть жену и ее, заснувшую с твердой
Верой в защиту его, в лесу беззащитную бросить,
Бросить одну, без одежды, без крова, без пищи, дотоле
Нежно любимую им и ничем, ни делом, ни словом,
Ниже каким помышленьем пред ним невиновную? Вот что
Сделал со мною, Вагука, супруг мой Наль Пуньялока.
Чем я его оскорбила? Чем могла побудить я
Сердце его на такое предательство? Он пред богами
Выбран был мной, пред богами я с ним сочеталась, и боги
Слышали клятву, им данную мне, в любви неизменной.
Как же, Вагука, он мог изменить своей Дамаянти,
Радостным сердцем и горе и бедность и стыд и изгнанье
С ним разделившей, той изменить, которой сказал он,
Руку ей дав пред святым алтарем: «Тебя я отныне
Буду чтить и любить, защищать и питать, и с тобою
Горе и радость, богатство и бедность и всё неизменно
В жизни делить обещаюсь?» Вагука, скажи мне, как мог он
Так измениться, так всё позабыть?» Сокрушенный и
бледный,
Слушал в безмолвии Наль укоризны своей Дамаянти.

Очи ее, светозарные звезды, были покрыты
Облаком скорби и быстрым ручьем сквозь густые ресницы
Падали слезы. Своею виной уничтоженный, тихим,
Трепетным голосом Наль отвечал: «Что Нишадское царство
Было проиграно Налем, не он в том несчастный виновен:
Злобный Калй обезумил его и им же, коварно
Вкравшимся в сердце к нему, очарованный Наль в исступленьи
Спящую бросил тебя; когда же в лесу ты — не зная,
Кто он — врага своего прокляла, твои поразили
Клятвы Калй, спокойно владевшего Налевым сердцем; и с тех пор
Адски страдал он, как в пламени пламень горя, заключенный
В страждущем Нале, как в мрачной тюрьме. От нечистого духа
Наль избавлен, и будет от всякой он клятвы свободен,
Если, увидясь с женою, найдет, что ему сохранила
Верность она и любовь. Теперь отвечай, Дамаянти,
Что он найдет? Сохранила ль любовь, сохранила ль ты верность?
Пó свету ходят гонцы от тебя и отвсюду сзывают
Новых к тебе женихов в замену погибшего Наля.
Вот что сюда привело и царя Ритуперна, и сам я,
Бедный конюший Вагука, его конями был должен
Править, чтоб мог он поспеть на счастливый выбор». Услышав
Жалобы Наля, смиренно руки сложила и с чистым
Взглядом небесного ангела, ангел земной, Дамаянти
Так отвечала: «Тебе ль, мой избранный, тебе ль, предпочтенный
Мною богам, меня оскорблять таким подозреньем?
Ведай: сама я послала брамина к царю Ритуперну
С ложною вестью о выборе новом в Видарбе. Узнало
Сердце мое, что Вагука был ты, и невинный обман мой
Был удачен — ты мне возвращен. И с клятвою правды
Здесь, государь, прикасаясь к коленам твоим, пред тобою
Сердцем спокойным, как будто пред небом самим, говорю я.
Верность к тебе и любовь я во всей чистоте сохранила:
Ветер свободно играет, носясь по всему поднебесью;
Ведает всё он; пускай он моим обвинителем будет,
Если я что, недостойное верной жены, сотворила;
Солнце в высоком блаженстве сияет, горит над водами,

Оком всевидящим ходит оно по всему поднебесью,
Пусть же, всё видя, оно моим обвинителем будет,
Если я что, недостойное верной жены, сотворила;
Месяц, светило покоя, во мраке ночном замечает
Тайное всё в небесах и тайное всё в поднебесьи,
Пусть же он, тайны все зная, моим обвинителем будет,
Если я что, недостойное верной жены, сотворила.
Пусть и небесные силы, хранящие небо и землю,
Правду мою подтвердят иль смерть мне пошлют за неправду».
Так вызывала и небо и землю в свидетели чистой
Жизни своей Дамаянти; и вот ей откликнулся с неба
Ветер и так свой ответ из пространства лазурного свежим
Словом провеял: «Как небо мое, чиста Дамаянти,
Долгу верна, в любви неизменна, слова ее правда;
Верь ей, и руку подай, как жене беспорочной; и будут
Снова меж вами союз и покой и любовь и согласье».
Ветер умолкнул и райской прохладой отвсюду повеял
Воздух весны, и упали цветы дождем благовонным
С неба при звуке воздушных тимпанов. Таким, несказанно-
Чудным свидетельством Наль, исцеленный от всех подозрений,
Вспомнил о том, что ему сказал царь змей на прощанье,
В данный им зеркальный щит поглядел и в минуту явился
Прежним Налем, и руки простер к своей Дамаянти.
С криком пронзительным кинулась в них Дамаянти, и этот
Миг единый стократ заплатил им за долгие муки.
Голову Наля прижавши к своей целомудренной груди,
В сладком забвеньи всего, в упоеньи любви Дамаянти
Долго безгласна была; она, то сквозь слез улыбалась;
То трепетала, пронзенная радостью; то от избытка
Счастья глубоко вздыхала. И боги любви опустили
Тайную брака завесу на них, сочетавшихся снова
Дорого-купленным браком. Так наконец отдохнули
Вместе они, до блаженства достигнув дорогой печали.
Память минувшей разлуки, радость свиданья, живая
Повесть о том, что розно друг с другом они претерпели,
Мыслей и чувств поверенье, раздел и слиянье,
Всё в одном заключилося чувстве: *мы вместе;* и память
Прошлых бед настоящею радостью, светом, от тени
Более ярким, печальныя были веселым рассказом
Сделалась. Так по долгой в изгнаньи тоске, возвратился
Наль к Дамаянти, как солнце из зимнего, хладного знака

В знак весны возвращается; так Дамаянти, приникнув
К сердцу Наля, опять расцвела, как сияющий вешним
Цветом сад живей расцветает, дождем орошенный.
Тут пропели два соловья им песню такую:

«Снова Дамаянти с Налем неразлучна;
Сердце вновь покойно, горе позабыто,
Смолкнули желанья, так ликует в небе
Ночь, когда ей светит друг желанный месяц».

II

Рано, лишь только что день занялся на востоке, царица
Мать разбудила царя неожиданно-радостной вестью.
«Наль возвратился, — Биме сказала она, — Дамаянти
С мужем опять, и снова с ними согласие». Бима
Поднял брови, незапною вестью такой изумленный.
Тут царица открыла ему, какой Дамаянти
Хитростью Наля царя заманила в Видарбу, какою
Выдумкой царь Ритуперн был обманут. И ей, улыбаясь,
Бима ответствовал кротко: «Я вашу женскую хитрость
Вам прощаю за то, что она удалась». Тут явился
Наль с Дамаянти и с ними их дети. Приблизился к тестю
Наль, Дамаянти приблизилась к матери. Зятя, как сына,
Ласково принял царь благодушный Бима и нежным
Взглядом поздравил дочь с возвратившимся счастьем.
Скоро потом пришли и братья и подали руку
Налю и братски с сестрой обнялися; потом отовсюду
Стали сходиться сродники, ближние; вот напоследок
Вся Видарба наполнилась шумом торжественным; домы
В пышные ткани оделись; на кровлях явились знамена;
Площади, улицы все закипели народом, и в храмах
Жертвы зажглися. И вот наконец до царя Ритуперна
Слух дошел, что Вагука, конюх его, обратился
В Наля, что мужа нашла Дамаянти, что нового делать
Выбора ей не нужно. И царь Ритуперн дружелюбно,
К Налю пришедши, сказал: «Поздравляю тебя, благородный
Царь нишадский, с благой переменой судьбы, с
возвращеньем
Прежнего вида и боле всего с обретением милой,
Верной жены. И если я что неугодное сделал,
Наль знаменитый, тебе тогда, как не в образе царском
Жил ты слугой у меня, то в том виноват без вины я;
Тайны твоей я не знал и прошу у тебя извиненья». —

«Царь Ритуперн, — ответствовал Наль, — оскорбленья и тени
Я не видал от тебя; но когда б и обижен тобою
Был я, то Налю царю обид, нанесенных Вагуке
Конюху, брать на себя неприлично. Тебя же давно я,
Царь Ритуперн, и чту и люблю, как царского брата.
Мне благосклонным ты был господином, когда под твоею
Кровлею жил я слугою Вагукой, теперь благосклонным
Другом будь мне, царю нишадскому Налю. Ты видишь
Сам, что Вагуке конюшим твоим уж не быть: без сомненья
Также захочет в прежнюю службу вступить и Варшнея.
Но в убытке ты, царь Ритуперн, не останешься; дар мой
Править конями тебе отдаю я рукою и словом,
Так же, как сам от тебя могущество счета с искусством
В кости играть получил, и ныне в Айоду ты столь же
Быстро приедешь один, сколь быстро приехал оттуда
Вместе с Вагукой в Видарбу. А я посмотрю, что удастся
Выиграть мне с искусством, тобою мне данным». Друг другу
Подали руку цари на любовь и союз; и в Айоду
Царь Ритуперн возвратился. Наль, горя нетерпеньем
Выиграть трон свой, также недолго остался в Видарбе.

III

Месяц проживши у тестя, с избранной дружиною храбрых
Наль пошел наконец на свое Нишадское царство;
Сам он сидел в колеснице блестящей; могучие кони
Бешено прыгали, твердой руке его покоряясь;
Следом за ним шестнадцать слонов боевых с крепостными
Башнями, полными ратников, шли; за слонами скакали
Конные, легкий отряд, пятьдесят копьеносцев; за ними
Пеших дружина, пятьсот отборных стрелков. Не сражаться
Вел их Наль, а украсить свое вступленье в Нишаду.
Так снарядившись, царь на прощанье сказал Дамаянти:
«Ты оставайся под кровлей отцовской, покуда не ввел я
Нового счастья в наш дом и его от врага не очистил,
Счастие прежнее в нем истребившего; с миром тогда ты
В нашу столицу с детьми возвратишься, как на небо светлый
День возвращается, темную ночь прогоняя; живи же
В радости здесь, ожидая блаженной минуты возврата
В дом семейный, на новое счастье, на новую славу».
Взором одним Дамаянти царю отвечала, но в этом
Взоре, полном небесной души, была уж победа.

Быстрою бурею Наль полетел, и скоро достиг он
В грозном величии царства, из коего некогда вышел
Бедным изгнанником. Брату Пушкáре, владевшему ныне
Бывшим престолом его, он сказал: «Я тебя вызываю
К новой игре; я поставлю на кости жену; ты поставишь
Всё Нишадское царство — довольно ль с тебя? Но сначала
Сделать мне должно с тобой уговор: когда проиграешь
Ты — то всё, чем владеешь, будет моим и над самой
Жизнью твоею буду я властен; когда ж проиграю
Я — то всё, чем владею, возьмешь ты, ежели можешь:
Знай наперед, что тогда мы с тобою мечом разочтемся.
Полно же медлить; тебе по законам игры мне на вызов
К новой игре отказать невозможно; и властен теперь ты
Выбрать из двух любую игру: в железо иль в кости.
Хочешь отведать меча — выходи; я рад поединку;
Царство, наследье отцов, должны сохранять мы, покуда
Наше оно, когда же его мы утратили, силой
Должно уметь нам его возвратить; так учили нас предки.
Час наступил; принимайся, Пушкáра, за меч иль за кости.
Или тебе живому не быть, иль я Дамаянти
С жизнью тебе уступлю». На этот вызов Пушкáра
Так отвечал, усмехнувшись: «Готов я еще раз с тобою
В кости счастья отведать; то будет игра роковая;
Горя с тобой в нищете Дамаянти довольно терпела;
Власть и богатство со мною разделит она и забудет
Прошлое скоро; а я на троне нишадском всечасно
Думал об ней и ждал, что придешь ты; и вот напоследок
Ты пришел, и будет моей Дамаянти, и боле
Мне ничего на земле желать не останется». Этим
Дерзким ответом разгневанный, меч свой хулителю в сердце
Чуть не вонзил в запальчивости Наль, но, собой овладевши.
Он сказал, трепеща и кипя и сверкая: «Безумец,
Полно хвастать, играй: проиграешь, заплатишь». И кости
Брошены — всё решено: обратно Нишадское царство
С первым ударом выиграл Наль у Пушкáры. Со смехом
Он, победитель, взглянул на него, побежденного. «Что ты
Скажешь теперь? Мое законное царство, которым
Думал владеть ты, попрежнему стало моим и отныне
Будет в крепких руках: теперь меж царем и меж царством
Третий никто не дерзнет протесниться. Мою ж Дамаянти
Ты и во сне недостоин увидеть; ты раб мой отныне;
Так решила судьба. Но слушай: не властью твоею
Некогда был я низвержен с престола; Калú искуситель,

Враг мой, тебе помогал; ты об этом не знал, безрассудный;
Знай же теперь, что отмщать на тебе преступленья чужого
Я не хочу. Живи, и будь милосердие неба
Вечно с тобой, и вражды да не будет меж нами, Пушкáра,
Брат мой; живи, благоденствуя многие, многие годы».
Весь уничтоженный благостью брата, пред ним на колена
Бросился, плача, Пушкáра. «О Наль Пуньялока, да будет
Милость богов и всякое благо земное с тобою!
В скромном уделе моем я, твой подданный, буду спокойней
Жить, чем на троне твоем, где покой мой основан
Был на ударе неверных костей; и своими отныне
Буду я столь же любим, сколь был ненавидим твоими.
Прежде однако очищу себя от вины омовеньем
В Гангесе грешного тела; в его благодатные волны
Брошу, прокляв их, враждебные кости, которыми злые
Властвуют духи. А ты, сюда возвратив Дамаянти
В блеске прекрасного солнца, скажи ей, чтоб гнева
В сердце ко мне не питала и, прежнее горе забывши,
Вдвое блаженна была очищенным в опыте счастьем».

ВАРИАНТЫ И ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

СКАЗКА О ЦАРЕ БЕРЕНДЕЕ, О СЫНЕ ЕГО ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ, О ХИТРОСТЯХ КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО И О ПРЕМУДРОСТИ МАРЬИ-ЦАРЕВНЫ, КОЩЕЕВОЙ ДОЧЕРИ

⟨Первоначальный конец сказки, следующий сразу же после рассказа о третьей погоне Кощея (рук. ГПБ, собр. Ж. — Плетнева, 1901/98а)⟩

Крикнул Кощей и, коня повернув, как безумный, помчался
С свитой назад, а, примчавшись домой, пересек беспощадно
Всех до единого слуг. Иван же царевич с своею
Марьей-царевной поехали дале. И вот, приезжают
В царство царя Берендея они. И царь и царица
Приняли их с весельем таким, что такого веселья
Видом не видано, слыхом не слыхано. Долго не стали
Думать: честным пирком, да за свадебку; съехались гости;
Свадьбу сыграли; я там был, там мед я и пиво
Пил, по усам текло, да в рот не попало. И всё тут.

ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК

⟨Вариант после стиха 75 в рук. ГПБ (Б № 34)⟩

Вспомнивши, кто он, робость свою победил. Он подумал:
Страха не ведает царь, а образ смелого мужа
Страшен, как образ могучего льва! — С таким убежденьем,
Скромно потупив глаза и лапки на грудь положивши,
Он поклонился царю Квакуну...

ТЮЛЬПАННОЕ ДЕРЕВО

⟨Начало сказки в рук. ГПБ (Б № 53, л. 25)⟩

Однажды жил, не знаю где, богатый
И добрый человек; он имел
Жену и с нею жил душою в душу,
Но бог детей им не давал; и это
Их сокрушало; и они усердно
Молилися, чтоб бог благословил
Их брак; и к богу их дошла молитва.

Вкруг дома их был сад, и перед домом
Там дерево миндальное росло...

⟨*Вариант конца сказки в рук., начиная со стиха 354*⟩

Искал жены глазами; но ее
Он не нашел; и вновь все трое
Они тогда за стол обедать сели.
И я там был; и пиво с медом пил,
Но по усам текло; в рот не попало.

КОТ В САПОГАХ

⟨*Начало текста в рук. ГПБ (Б № 53, л. 31)*⟩

Жил мельник; жил он, жил и умер;
После него осталося три сына,
А им в наследство: мельница, осел
И Кот. Взял старший мельницу, осла
Взял средний, младшему достался Кот...

К ФИЛАЛЕТУ

⟨*Редакция рук. ПД*⟩

Где мы пред ярким огоньком,
С спокойством дружества приятным,
За *прародительским* столом,
За чаем хинским, ароматным,
Ценили жизнь, людей и свет!
Ценили счастье и несчастье!
Мечтали: «вечного блаженства в жизни нет!
Но горесть — быстрое ненастье!
Промчится! снова ясный луч —
Как солнца поздний свет за мраком бурных туч —
Утешит сердце утомленно:
За гробом лишь найдем мы счастье *неизменно*!»
Нередко солнечный закат
Мы в поле взором провожали,
Прохладой вечера дышали,
Смотря на бег шумящих стад,
И тихия зари пленялися блистаньем,
Когда на пруд склоненный лес,
Зефира зыблемый дыханьем,
Покрытый заревом небес,
Блистал с полугоры, водами отраженный,
И светлым вечера туманом покровенный
За рощей вдалеке мелькал тот милый град,

Где всё любезное душе моей хранится,
Где я так счастлив был. — Ах! придут ли назад
Те дни, к которым днесь душа моя стремится?
Или веселие навеки отцвело
И счастие мое с протекшим протекло!..
Как часто о часах минувших я мечтаю!
Как часто с сладостью *конец* воображаю!
Конец всему — души покой —
Конец веселиям, едва-едва приметным,
Конец борению и с горем и с собой!

Не знаю... но, мой друг, кончины сладкий час
Любимою моей мечтою становится!
Унылость тихая в душе моей таится!
Во всем мне слышится знакомый смерти глас!
Смотрю ли, как заря с закатом потухает,
Так, мыслю, юноша цветущий исчезает!
Внимаю ли рогам пастушьим за горой,
Иль тихого ручья в кустарнике журчанью,
Или мгновенному дубравы трепетанью,
Смотрю ль в туманну даль вечернею порой,
К клавиру ль преклонясь, гармонии внимаю,
Во всем последнюю минуту вспоминаю!
Иль предвещание в унынии моем?
Иль скоро суждено в весенни жизни годы,
Мне, скрывшись в мраке гробовом,
Покинуть и поля, и отческие воды,
И свет, где жизнь моя бесплодно расцвела!
Скажу ль?.. Мне ужасов могила не являет!
И сердце с сладостью прискорбной ожидает,
Чтоб промысла рука обратно то взяла,
Чем я безрадостно в сем мире бременился,
Ту жизнь, которой я толь мало насладился,
Которую лучи надежды не златят!..

ТУРГЕНЕВУ, В ОТВЕТ НА ЕГО ПИСЬМО

⟨Вариант в рук. ГПБ (Б № 14, л. 121)⟩

Стихи 133—136

Где милое один лишь юный цвет!
Где мнение всех добрых чувств губитель,
Где бог любви в тирана обращен,
Где благости спасительный закон
Стал часто благ и жизни погребитель!

К ВОЕЙКОВУ

(«Добро пожаловать, певец»)

⟨Вариант между стихами 268 и 270, в «Вестнике Европы»⟩

Воздвигнул падший гений мой...
Как древле статуя Мемнона
Звучала арфой Аполлона,
Когда главы ее пустой
Касалось дневное сиянье,
Так я, прочтя твое посланье,[1]
Готов запеть, готов дерзнуть
За обольстительною славой! —
Что сделал ты, певец лукавой!
Мою ты душу погубил!

К ИВ. ИВ. ДМИТРИЕВУ

⟨Редакция автографа в письме к И. И. Дмитриеву — см. РА, 1866, стр. 1634⟩

Строфы 4 и 5

В досужный час, венком из роз обвитый,
Касался им Эрот своей стрелой,
И резвые внимали им Хариты,
Склоняся на руку главой.

Игривую шутливость пробуждала
Камена в них, согласная с певцом,
И баснями гостей его пленяла
Перед домашним камельком.

ОДА САФЫ К ФАОНУ

(См. Сафина ода)

⟨Редакция рук. ГПБ (Б № 12, л. 22)⟩

Счастлив, кто близ тебя одной тобой пылает,
Кто сладостью твоих речей одушевлен,
Кого твой ищет взор, улыбка ободряет,[2]
С богами он сравнен!
Когда ты предо мной, в душе моей волненье!

---

[1] Напечатанное в «Вестнике Европы» 1813 г. ⟨прим. В. Ж.⟩.

[2] Первоначально здесь было: «восхищает» (как и в редакции, опубликованной в т. 12, 5-го изд. Собр. стихотворений В. А. Жуковского 1849 г.), затем «восхищает» зачеркнуто и написано: «ободряет». — *Ц. В.*

Бежит по нервам огнь, в очах бледнеет свет.
В трепещущей груди и скорбь и восхищенье,
Ни слов, ни чувства нет!
Лежу у милых ног, горю огнем желанья!
Блаженством страстныя волненья утомлен.
Лью слезы, трепещу, без сил и без дыханья!
И с жизнью разлучен!

ТЕОН И ПИЛАД
(См. «Теон и Эсхин»)

⟨Ранняя редакция первых стихов — см. С, IX, т. 1, стр. 526⟩

Теон на время из Афин
К своим Пенатам возвратился
На брег Алфея; там Эсхин
От света в тишине таился.
Уж Гелиос в десятый раз
Свершал вокруг земли теченье
С тех пор...

ВОСПОМИНАНИЕ

⟨Редакция в ДЖ, запись от 16 февр. 1821 г.⟩

О прежних спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: *их нет*,
Скажи с любовью: *были*.

«Я МУЗУ ЮНУЮ, БЫВАЛО»

⟨Ранняя редакция первых стихов в рук. ГПБ (Б № 30, л. 18)⟩

Музу я встречал бывало
В поднебесной стороне,
И незваное летало
Вдохновение ко мне.

«ПРЕД СУДИЛИЩЕ МИНОСА...»

⟨Строфы 2, 5 и 7 редакции 1815 г. — см. РА, 1864, стр. 1029⟩

Ворон, моська, кот, телушка,
Попугай, петух, индюшка,
Соловей, баран с свиньей

Стали пред Миносом в строй.
«Я, Баран, жил тихомолком,
На беду столкнулся с волком:
Волк меня и задавил —
Тем лишь я и согрешил».

«Хоть слыву я Попугаем,
Но на свете был считаем
С человеком наравне;
Этот грех прости ты мне!».

19 МАРТА 1823

⟨См. прим. на стр. 533⟩

Звезды небес!
Тихая ночь!
Ваше молчанье
Тайною чарою
Душу покоит!
С вами душа,
Звезды небес,
Тихая ночь!
Счастье живое
Минувших времен,
Раз улетевши,
Не будет назад.

«БЫЛ У МЕНЯ ТОВАРИЩ»

⟨Редакция первых стихов в рук. ГПБ (Б № 5, л. 2)⟩

Был у меня товарищ
По милости небес,
Ударили тревогу,
Мы шли с ним рядом в ногу,
Ружье на перевес...

НАЛЬ И ДАМАЯНТИ

⟨Вариант после 4-го стиха стихотворного посвящения «Наля и Дамаянти» в рук. ГПБ⟩

Иду один; благоуханный вечер
Сходил с небес пурпурно-голубых;
Огромными зубчатыми стенами

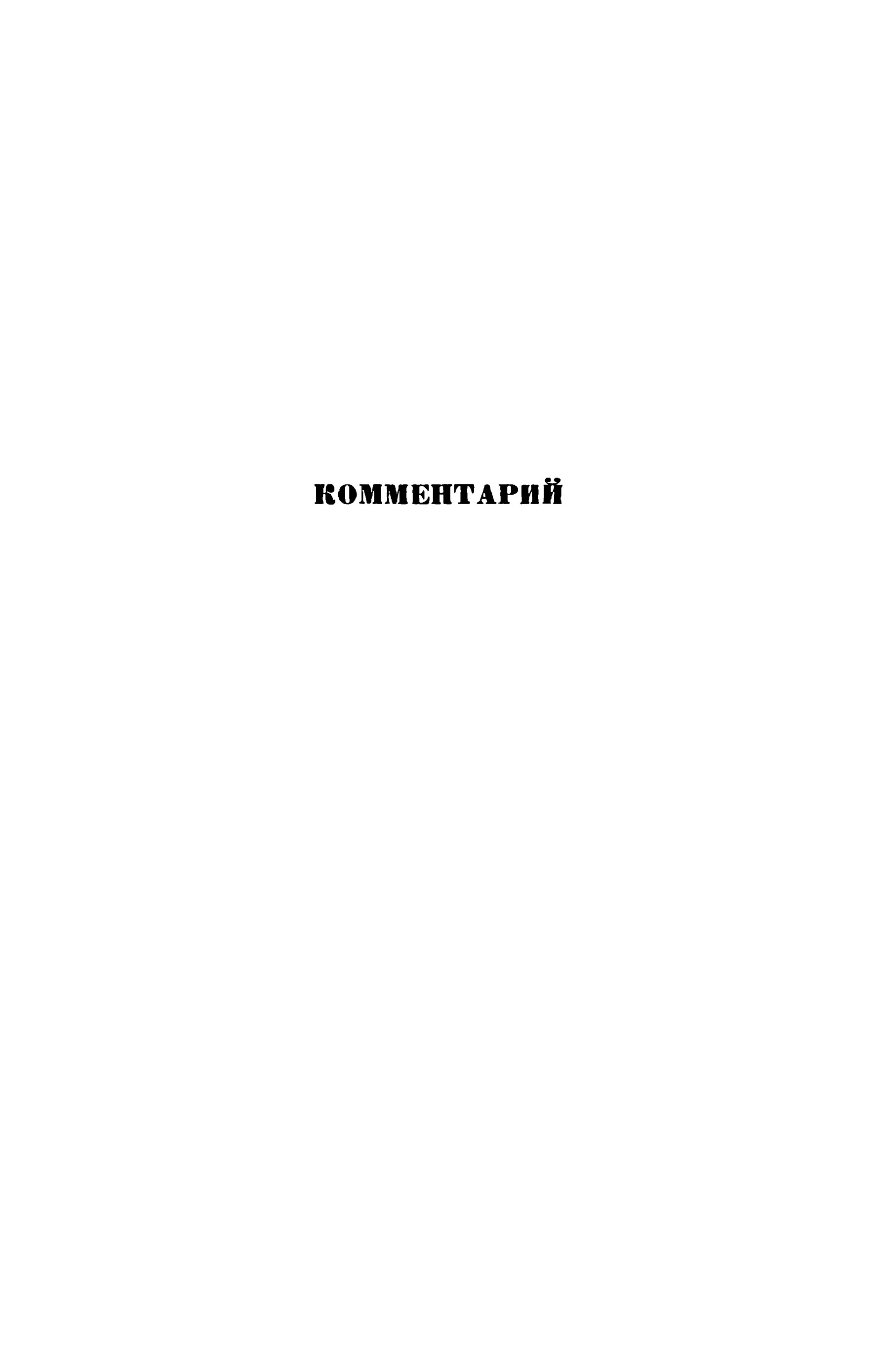


Обложка журнала «Für Wenige»

Стояли горы; в глубине долины,
Как в изумрудном до краев лазурью
Прозрачною наполненном сосуде,
Сияло озеро; его струи
Без шороха переливались...

⟨Ранняя редакция (1832 г.) 1-й главы в рук. ГПБ (Б № 37, л. 13)⟩

Жил царь, сильный, могучий и славный,
Нала, сын Вирасены державный.
Был он создан людям на радость;
Всё он имел: красоту, мужество, младость.
Он возвышался над всеми земными царями,
Словно как бог богов над всеми другими богами,
Всю землю ⟨он как⟩ солнце в лучах озарял,
Премудро Нишадской страной обладал,
Слыл он в Индии первым царем,
Сильный рукою и сильный умом,
Усердный духовных мужей почитатель,
Умный писаний святых толкователь,
В храме набожный жертв сожигатель,
Смиритель буйных желаний своих,
Радость для добрых, ужас для злых,
Тайная дума пламенных дев,
Агнец с друзьями, с противными лев.
Народа своего



КОММЕНТАРИЙ

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В КОММЕНТАРИЯХ

Б — Отчет Публичной Библиотеки за 1884 г. Описание И. А. Бычковым бумаг Жуковского, СПб., 1887.

«Библ. для Чт.» — «Библиотека для Чтения».

БП — «Баллады и повести В. А. Жуковского», в 2 ч., СПб., 1831.

БиП — «Баллады и повести, сочинение В. Ж.», СПб., 1831.

ВЕ — «Вестник Европы».

Ал. Веселовский — Александр Веселовский, «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения», СПб., 1904.

Ив. Галюн — Ив. П. Галюн, «К вопросу о литературных влияниях в поэзии Жуковского», Киев, 1916.

ГПБ — Государственная Публичная Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ДЖ — «Дневники В. А. Жуковского», издание «Русской Старины», 1903.

Мих. Дмитриев — Мих. Дмитриев, «Мелочи из запаса моей памяти», издание «Русского Архива», М., 1869.

Ж. — В. А. Жуковский.

ЖМНПр — «Журнал Министерства Народного Просвещения».

Загарин — П. Загарин, «В. А. Жуковский», СПб., 1883.

К. Зейдлиц, I — К. Зейдлиц, «Очерк развития поэтической деятельности В. А. Жуковского», напечатанный в «Журнале Министерства Народного Просвещения», 1869, апрель — июнь.

К. Зейдлиц, II — «Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. По неизданным источникам и личным воспоминаниям К. К. Зейдлица», издание «Вестника Европы», СПб., 1883.

ИВ — «Исторический Вестник».

Л. В. — «Литературный Вестник».

НС — «Новые стихотворения В. А. Жуковского», в 2 ч., 1849.

ОА — «Остафьевский Архив кн. Вяземских».

ПД — Пушкинский Дом Ак. Наук СССР.

ПкТ — «Письма В. А. Жуковского к Ал. Ив. Тургеневу», издание «Русского Архива», М., 1895.

ПКТУ — «Печатный каталог библиотеки Томского университета», в которую вошла и библиотека Жуковского.

РА — «Русский Архив».

РБ — «Русский Библиофил».

В. Резанов — В. И. Резанов, «Из разысканий о сочинениях Жуковского», в. 1, СПб., 1906, и в. 2, Петрогр., 1916.

РП — Рукописный план последнего прижизненного издания Собрания стихотворений Жуковского (см. заметку от редактора, т. I, стр. 354).

РС — «Русская Старина».

Рук. — Рукопись.

Рук. С—Б—Рукопись из альбома гр. С. А. Самойловой-Бобринской (опубликовано Н. К. Кульманом в «Изв. 2-го отд. Ак. Наук», 1900, т. 5, стр. 4).

РФВ — «Русский Филологический Вестник».

С, I—X — Собрания сочинений В. А. Жуковского с 1-го по 10-е (С,V(п) — посмертно вышедшие тома: X—XIII С,V).

СиН — «Старина и Новизна».

СО — «Сын Отечества».

«Совр.» — «Современник».

«Соревн. Просвещ. и Благотв.» — «Соревнователь Просвещения и Благотворения».

Соч. ВАЖ, 1902 — Издание собрания сочинений В. А. Жуковского, под редакцией А. С. Архангельского, 1902.

Ст. — стих.

Стих. — стихотворение.

УС — «Уткинский Сборник», 1904.

FWДН — «Für Wenige. Для немногих».

ФЗ — «Филологические Записки».

Ц. д. — цензурная дата.

Цветаев — Дм. Цветаев, «Жуковский как переводчик Шиллера». Статьи, напечатанные в «Филологических Записках». Воронеж, 1881, в. IV—VI, и 1882, в. I - IV.

Чешихин — В. Чешихин-Ветринский, «Жуковский как переводчик Шиллера», Рига, 1895.

С. Шестаков — С. Шестаков, «Переводы Жуковского из немецких и английских поэтов», Казань, 1903.

ПОВЕСТИ

Шильонский узник — 1821 (начато 4 сент.) — 1822 (до апр.). Отд. книжкой: «Шильонский узник, поэма Лорда Бейрона. Перевел с английского В. Ж.», СПб., 1822 (ц. д. 14 апр. 1822) с посвящ.: «Князю П. А. Вяземскому. От переводчика», и двумя гравюрами, по рисункам Ж. (см. рисунки в дорожном альбоме Ж. в ГПБ); БП и С, III—V. Рук. в ГПБ (Б № 4г), под датой 4 сент. 1821—1-я строфа, под датой 27 окт. 1821 — строфы 2—5 и под датой 29 окт. 1821 — строфа 6. В рук. ГПБ (Б № 29, л. 57) две прозаические заметки-примечания к «Хильонскому узнику»: «Герой сей повести есть Франциск Бонивар, женевский гражданин. Переводчик с поэмой Бейрона в руках посетил сей замок и подъемную темницу Бонивара, он может засвидетельствовать, что описания поэта имеют прозаическую точность...» и далее следует биография Бонивара.

3 сент. 1821 г. Ж. посетил Шильонский замок (см. ДЖ, стр. 140). 2—7 окт. он писал об этом к в. кн. Александре Федоровне: «Успел я съездить на лодке в замок Хильон: я плыл туда, читая The Prisoner of Chillon, и это чтение очаровало для воображения моего тюрьму Бониварову, которую Бейрон верно описал в своей несравненной поэме» (РС, 1902, т. 110, стр. 350). На следующий же день Ж. принялся за перевод. В февр. 1822 г. перевод еще не был закончен. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому 10 февр. 1822 г., возвращая книгу поэм Байрона: «Вот тебе твоя книга. Ж. перевел только «Le prisonnier de Chillon» Байрона, но и того не кончил, но перевод прекрасный» (ОА, II, стр. 245). 24 апр. 1822 г. С. И. Тургенев повез Вяземскому в Варшаву экземпляр только что вышедшей книжки перевода (ОА, II, стр. 249, 252). Самые слухи о том, что Ж., наконец, принялся за серьезную работу, за перевод Байрона, были встречены друзьями Ж. с восторгом. Так, Пушкин писал Н. И. Гнедичу 27 июня 1822 г.: «С нетерпением ожидаю *Шильонского узника;* это не чета Пери и достойно такого переводчика, каков певец Громобоя и Старушки. Впрочем, мне досадно, что он переводит, и переводит отрывками — иное дело Тасс, Ариост и Гомер, иное дело песни Матиссона и уродливые повести Мура... Английская словесность начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной». Прочтя первые отрывки перевода, цитированные О. Сомовым в статье (СО, 1822, ч. 79, № 29, стр. 97 и сл.), Пушкин писал Вяземскому 1 сент. 1822 г.: «Шильонского узника еще не читал. То, что видел в С.О., прелестно

Он на столбе как вешний цвет
Висел с опущенной главой».

Прочтя весь перевод, Пушкин писал Н. И. Гнедичу 27 сент. 1822 г.: «Перевод Жуковского est un tour de force. Злодей! в бореньях

с трудностью силач необычайной! Дóлжно быть Байроном, чтоб выразить с столь страшной истиной первые признаки сумасшествия, а Ж., чтоб это перевыразить. Мне кажется, что слог Ж. в последнее время ужасно возмужал, хотя утратил первоначальную прелесть. Уж он не напишет ни *Светланы*, ни *Людмилы*, ни прелестных элегий 1 части *Спящих Дев*. Дай бог, чтоб он начал создавать» Мало того, вскоре Пушкин принужден был оправдываться и доказывать независимость своих «Братьев разбойников» от «Шильонского узника» Ж. 11 ноября 1823 г. он писал П. А. Вяземскому: «Некоторые стихи ⟨«Братьев разбойников»⟩ напоминают перевод Шильонского узника. Это несчастие для меня. Я с Ж. сошелся нечаянно, отрывок мой написан в конце 1821 года».

Появление «Шильонского узника» было приветствовано критикой как литературное событие. В хвалебном разборе О. Сомов сделал только одно «критическое» замечание. Он указал, руководствуясь французским прозаическим переводом, что Ж. неверно исчислил «число страдальцев несчастной семьи», что, говоря «нас было семь — шести уж нет», он исчисляет из них только шесть (СО, 1822, ч. 79, стр. 103). У Байрона: «нас было семеро, теперь... остался только один» («We were seven — who now are one»). Замечание Сомова показалось Ж. справедливым, и он при перепечатках исправил семь на шесть (между тем у Байрона «семь» перекликается с «seven pillars» и «seven columns» 2-й строфы — у Ж. также «семь колонн»). А. Н. Веселовский, не читав статьи Сомова, не мог понять, почему Ж. «испортил» стих, «вместо *семи* поставив *шесть*» (см. Соч. Байрона, изд. Брокгауза и Ефрона, 1904, т. 2, стр. I). «Шильонский узник» был написан Байроном еще до того, как он познакомился с историей Бонивара. Самая тема «узника» была ему важна как повод для написания лирической поэмы с отчетливыми автобиографическими чертами. Прочтя историю Бонивара, Байрон написал в 1816 г. сонет («Sonnet on Chillon»), в котором воспел свободу, и этот сонет предпослал поэме. Сонет этот Ж. оставил непереведенным. Вообще, в переводе Ж. «Шильонского узника» сказалось отличие его идеологии и поэтики от Байроновых. В письме к И. И. Козлову из Швейцарии от 27 янв. 1833 г. Ж. высказывает свое понимание Байроновского творчества и подвергает критике те стороны поэзии Байрона, которые ему чужды (здесь важно сопоставление с Руссо и отрицательная оценка Ж. «сентиментальной декламации», показывающая, как далеко отошел Ж. от сентиментализма и поэзии «сердечного воображения»): «Мой дом, — писал Ж., — в поэтическом месте на берегу Женевского озера, на краю Симплонской дороги... слева Монтре на высоте и Шильон на водах... Эти имена напоминают тебе и Руссо, и Юлию, и Бейрона Для меня красноречивы только следы последнего... Для великой здешней природы и для страстей человеческих Руссо не имел ничего, кроме блестящей декламации: он был в свое время лучезарный метеор, но этот метеор лопнул и исчез. Бейрон другое дело: многие страницы его вечны. Но и в нем есть что-то ужасающее, стесняющее душу. Он не принадлежит к поэтам-утешителям жизни. Что такое истинная поэзия? Откровение в теснейшем смысле. Откровение божественное произошло от бога к человеку и облагородило здешний свет, прибавив к нему вечность. Откровение поэзии происходит в самом человеке и облагораживает здешнюю жизнь в здешних ее пределах. Поэзия Бейронова не выдержит

этой поверки» (РА, 1867, стр. 835). Эта критика байронизма осуществляется и в переводе «Шильонского узника». Ж., как я указал, опустил сонет Байрона *к свободе*, начинающийся стихами: «Вечный дух недоступного цепям разума, пресветлая и в темнице — ты свобода», и в отдельных местах существенно изменил оттенки смысла. Так, в строфе 9-й у Байрона говорится, что узник остался после смерти брата без «звезд, земли, времени... остановок, перемен, добра и преступления»,— Ж. привносит «без неба» и «без промысла», и т. д. В отдельных местах Ж., как обычно, самостоятельно разрабатывает канву оригинала. Ему принадлежит описание умирания младшего брата Бонивара от стиха: «Я близко был и был далёк» и до стиха: «Во глубине тюремной мглы» и от стиха: «Он на столбе — как вешний цвет» и до стиха: «В ней след последней теплоты». Благодаря всем этим отступлениям тон монолога Бонивара сделался более элегическим. Ср., напр., передачу стиха: «At last men came to set me free» — «И люди, наконец, пришли Мне волю *бедную* отдать», стиха: «Regained my freedom with a sigh» — «Я о тюрьме своей вздохнул» (ср. также ЛВ, 1902, т. 4, кн. 5, стр. 27, и «Вестн. Всем. Истории», 1902, № 7). В то время, когда Ж. переводил Байрона, узнал о Ж. и Байрон, назвавши Ж. в своем письме к Муру «Kutoffsky ⟨Кутовский!⟩ (a Russian nightingale — see Bowring's Anthology)» (ср. Moore, «Life of Lord Byron», 1850, т. 6, стр. 110, и РС, 1881, т. 31, стр. 196).

П е р ч а т к а — 15—17 марта 1831. «Муравейник», 1831, № 3, стр. 13, без подписи, БП, БиП и С, IV—V. В С, V датировано 1829 г. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 45) в тетр. 1831 г. В рукописном перечне произведений 1831 г. Ж. датировал балладу 15—17 марта.

Перевод стих. Шиллера «Der Handschuh». Шиллер определил стихотворение как рассказ («Eine Erzählung») и назвал его маленьким послесловием к «Водолазу» (см. у Ж. «Кубок»). Гете также писал, что стихотворение «составляет искусное добавление и противоположность к «Водолазу» и своими достоинствами еще более возвышает это произведение» (ср. ФЗ, 1882, в. I, стр. 49). Для своего стихотворения Шиллер воспользовался «бродячим сюжетом» — одним из анекдотов, рассказываемых также и о французском рыцаре Де-Лорже, жившем во времена Франциска I. Источником Шиллеру послужила книга De-Saintfoix «Essais historique sur Paris» (т. I, стр. 220). Ж. сделал ряд отступлений от своего оригинала. У Шиллера дама названа Кунигундой, количество стихов больше (67), но самая стиховая строка лаконичнее и короче и т. п. При переводе Ж. не сохранил размера оригинала (тонический стих).

С у д в п о д з е м е л ь е — 1832. «Библ. для Чт.», 1834, т. 3, стр. 1, с подзаголовком: «Последняя глава недоконченной повести», с пометой: «Верне, на берегу Женевского озера. 1832» и с примечанием: «Первая глава еще не написана; сия же последняя заимствована из Вальтер Скоттова Мармиона», и С, IV—V. В С, V датировано 1829 г. Текст «Библ. для Чт.» отличен от С, V. Строфа 13 в «Библ. для Чт.» кончалась перед стихом: «Пред ними жертва их стоит». Дальнейшая часть строфы 13-й шла как 14-я. Затем шла 15 (в С, V — 14-я) и т. д. Рук. в ГПБ (собр. Ж. — Плетнева, 1901/107,) — черновик от ст. 42 строфы XIII и до ст. 28 строфы XV.

Над текстом дата: «Октября 19». Здесь же план прозой: «Одежда. Черный покров. На платье кровь; Лампада и кинжал. Снимает покров — Клара»; (Б № 26, л. 86) — автограф части XIII строфы, с датой: 11 октября.

Перевод главы из поэмы Вальтер Скотта «Marmion» («Мармион»). У Вальтер Скотта сюжетом служит история Мармиона, который похитил из монастыря свою возлюбленную («Клару»), затем бросил ее и погиб, защищая отечество, в битве. «Мармион» входит в цикл поэм Вальтер Скотта, основанных на фольклоре и национальных преданиях. При своем появлении в Англии поэмы имели огромный успех. В кругах литературных друзей Ж. поэмы также пользовались успехом. Ж., очевидно, намеревался перевести не только «Мармиона», но и поэмы Вальтер Скотта «The lay of the last Minstrel», «The lady of the lake», «The lord of the isles». В ГПБ находятся конспективные записи Ж. — планы двух поэм Вальтер Скотта: «The lady of the lake» и «The lord ot the isles». Д. П. Якубович, обследовавший эти записи, полагает (см. «Лермонтов и В. Скотт», «Изв. Ак. Наук СССР», 1935, № 3), что эти записи — конспекты для памяти. Относятся эти записи, судя по почерку, к началу 20-х гг., т. е. ко времени перевода Ж. «Иванова вечера». Вероятнее, что Ж. сделал эти записи для предполагаемых переводов (самый принцип конспектирования прозой обычно у него предшествует работе над стиховым переводом). Таким образом, интерес к поэмам Вальтер Скотта возник у Ж. задолго до перевода «Мармиона». Из «Мармиона» Ж. перевел только 2-ю главу, повествующую о суде и о казни Клары в монастыре (первоначально Ж. назвал свой перевод «Монастырь» — см. PC, 1903, т. 115, стр. 131). Он изменил имя героини, опустил все упоминания о Мармионе и исповедь Клары перед судом. Самый суд у него назван «кровавым» (у Вальтер Скотта — это «The inquisition» — см. Canto II, 4). И несколько позже вставил (см. рук. выше) взамен исповеди Клары строфу, повествующую о преступлении Матильды. Благодаря всем этим переменам сюжетные нити, связывающие эту главу со всей поэмой о Мармионе, оказались обрубленными, и перевод приобрел черты законченного в себе произведения.

СКАЗКИ

Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери — 2 авг. — 1 сент. 1831. «Новоселье», СПб., 1833, стр. 37 (с грав. А. П. Брюллова), и С, IV—V. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 75). Сверху дата: «2 августа». Сбоку (л. 76) карандашом мелко написан план эпизодов сказки, затем (л. 79) продолжение рук., кончая ст. 235 и 236 («Верно с грехом пополам», и дальше карандашом: «Погоди же! я доберусь, Друг, до тебя...»). Сбоку (л. 80) внизу мелко в колонку план последней части: «Третий. Поджидающий конь. Посольство. Первый второй третий. Город. Свадьба. Повар. Стол. Узнает». Здесь же рук. (Б № 35, л. 5) — от ст. 222. Под текстом дата: «11 сентября». В ГПБ также беловой список с поправками рукой Ж. (собр. Ж. — Плетнева, 1901/98а). Над текстом дата: 2 авг. — 1 сент./12 сент. ⟨очевидно н. с.⟩. На л. 3 после рассказа о третьей погоне Кощея первоначально сразу же следовал конец сказки

(см. стр. 455). Затем семь последних стихов от стиха: «Марьей-царевной поехали дале...» зачеркнуты и дальше продолжено, как в окончательной редакции.

Ж. собирался печатать сказку в «Европейце» И. Киреевского. Посылая сказку, он писал Киреевскому: «Вот вам и Иван-царевич. Прошу господина Европейца хорошенько смотреть за корректурою и сохранить то препинание знаков, какое состоит в манускрипте» (см. С, IX, т. 2, стр. 568). Но «Европеец» был на 3-м номере запрещен, и Ж. отдал сказку в «Новоселье» Смирдину.

Источником сказки Ж. о царе Берендее считается Пушкинская запись народной сказки, сделанная в 1824 или начале 1825 г. Эту запись П. О. Морозов печатал в соч. Пушкина (т. II, 1903, стр. 384) под заглавием: «Сказка, послужившая основой для сказки В. А. Жуковского о царе Берендее». Однако эта Пушкинская запись, почти полностью совпадающая со сказкой о Берендее Ж. и служащая как бы костяком этой сказки, не исчерпывает вопроса об источниках этой сказки прежде всего потому, что в сказке о Берендее имеется ряд мотивов (о том, как Марья-царевна превратилась сначала в камень, потом в цветок и т. д.), которых в Пушкинской записи нет. Источник этих мотивов сказки Ж. — иностранная сказка.

В рецензии на альманах «Новоселье» Н. Полевой писал о сказке про Берендея: «Эта сказка привела нас в изумление! По всему видно, что автор хотел подделаться в ней под русские сказки; но его гексаметры, его дух, его выражения слишком далеки от истинно-русского. Переменивши имена, можете уверить всякого, что *Сказка о царе Берендее* взята из Гебеля, из Перро, из кого угодно, только не из русских преданий. Впрочем, она и по вымыслу не русская. Мы давно уверены, что В. А. Жуковский не рожден быть поэтом народным; но удивляемся, что он сам не уверяется в этом неудачными попытками» («Моск. Телеграф», 1833, март, стр. 105). П. А. Вяземский писал об этой рецензии к Ж. 14 апр. 1833 г.: «Полевой разругал «Новоселье»; говорит, что тебе давно пора увериться, что ты не народный поэт и что он несколько раз твердил тебе об этом, и стыдно тебе упрямиться после этого» (РА, 1900, кн. 1, стр. 373). И, однако, в оценке сказки Полевой прав.

Несмотря на прямое сходство записи Пушкина со сказкой Ж., не эта запись определила характер сказки о Берендее. Источником сказки о Берендее является сказка братьев Гримм, переведенная Ж. прозой еще в 1826 г. и напечатанная в журнале «Детский Собеседник» (1826, ч. 1, № 2, стр. 116) под заглавием: «Милый Роланд и девица ясный цвет». Цикл Гриммовских сказок, переведенных им для «Детского Собеседника», Ж., приступая в 1831 г. к работе над стихотворной переработкой сказок, думал переложить в стихи. В его планах стихотворных сказок на 1831 г. приведены заглавия всех этих сказок. В «Милом Роланде...» встречаются как раз все те мотивы сказки о Берендее, которых в Пушкинской записи нет: о камне, о цветке и т. д. С другой стороны, эпизоды Пушкинской записи встречаются также и в «Милом Роланде...». Таким образом, несомненно, что источником сказки о Берендее была не только Пушкинская запись, но и сказка Гриммов. Рук. сказки о Берендее (см. выше) свидетельствует, что Ж. первоначально хотел ограничиться мотивами Пушкинской записи (см. в рук. первоначальный вариант конца сказки), а затем прямо начал пересказывать текст Гриммов.

Самый характер пересказа Ж. Пушкинской записи, ее распространительного рассказывания, дает возможность установить, что Ж. при переработке пользовался и другими источниками. Так, если имена Ивана-царевича и Марьи-царевны заимствованы из Пушкинской записи, то имени Кощея нет ни в Пушкинской записи, ни у Гриммов. В русской литературе имя Кощей (или Кащей) связано с двумя типами образов: басенным Кощеем — скрягой, высохшим над сокровищами, и сказочным Кощеем — бессмертным злодеем, смерть которого запрятана в яйце, помещенном в утке, утке, помещенной в зайце, зайце, помещенном в камне (или сундуке) на острове в океане (см. использование этого традиционного образа в сказке Ж. об Иване-царевиче и сером волке (1845) — образа, восходящего к «Русским сказкам» Левшина). Кощей в сказке о Берендее не имеет ничего общего ни с традиционно-басенным образом, ни с образом волшебно-сказочной литературы. Источником для характеристики «подземельного царя» Кощея Ж. послужила, мне кажется, бывальщина «Садков корабль стал на море», из сборника Кирши Данилова «Древние российские стихотворения», в которой рассказывается о подводном морском царе, предлагающем Садко на выбор одну из своих тридцати дочерей. Сходство с бывальщиной о Садко есть и в наименовании Кощея «подземельным царем» (подводный или подонный морской царь). Именно потому, что Ж. переиначил в своем Кощее образ *морского* царя, признаками его Кощея являются атрибуты сказочной символики, связанные именно с представлениями о морском царстве. Ср., напр., характеристику Кощея в лесу, при появлении его Ивану-царевичу в качестве старика с «зеленой бородой и зелеными глазами». Характерно, что Кощей вымогает у Берендея обещание, сидя на дне колодца *в воде*. Наконец, описание подземельного дворца Кощея также очень похоже на характеристику дворца морского царя. Иван-царевич входит и видит Кощея, который сидит на престоле в короне: «Блещут глаза как два *изумруда*, руки с *клешнями*». Гнев подземельного царя Кощея заставляет дрожать своды подземного царства (ср. с гневом морского царя) и т. д. Таким образом, анализ источников сказки о Берендее показывает, что, работая над этой сказкой, Ж. пользовался различными источниками. Но основной тон его сказки был ему подсказан Гриммами.

Спящая царевна — 26 авг. — 12 сент. 1831. «Европеец», 1832, янв., № 1, стр. 24, под заглавием: «Сказка о спящей царевне», и С, IV—V. Рук. в ГПБ (Погодинское хранилище) — черновик. Над текстом: «26 августа». Под текстом: «12 сентября». Здесь же (Б № 36, л. 18) — беловик.

Перевод сказки братьев Гримм «Dornröschen» (Царевна-шиповник). Простое сличение сказки Ж. со сказкой Перро «La belle au bois dormant» показывает, что Ж. переводил именно Гриммов. Первый перевод этой сказки Гриммов Ж. сделал прозой в 1826 г. («Детский Собеседник», 1826, ч. 1, № 2, стр. 106) под названием: «Колючая Роза». Эту же сказку Гриммов в 1831 г. Ж. переложил в стихи. Однако на этот раз он пользуется Гриммовской сказкой как *канвой*, свободно пересказывая отдельные куски текста: у Гриммов предсказание царице делает лягушка, у Гриммов тринадцать волшебниц на двенадцать блюд, сон будет длиться сто лет и т. д. В духе русской сказочной концовки передан Ж. конец сказки

Гриммов, у которых сказано: «И была тут отпразднована свадьба королевича и царевны-Шиповник с большой роскошью, и жили они в полном довольстве до конца их жизни». Ср. у Ж.: «По усам вино бежало...» и т. д.

Война мышей и лягушек — 24 авг. — 22 сент. 1831. «Европеец», 1832, янв., № 2, стр. 143, с пометой при заглавии: «Отрывок из неоконченной повести», без подписи, и С, IV—V. В письме к Бенкендорфу по поводу запрещения «Европейца» Ж. писал: «В первых двух номерах напечатаны мои две пиесы; под одной выставлено мое имя, под другою не выставлено, ибо пиеса слишком шуточная, но многие знают, что она моя» (рук. ПД № 27764/CXCVIIIб. 35). По свидетельству К. Зейдлица, Ж. в Карлсбаде в 1827 г., встретившись с Гете, «беседовал с ним о баснях о «Рейнеке Лисе» и о *Батрахомиомахии*» (см. Годовой отчет гимн. и реальн. училища д-ра Видемана за 1900/01 г., СПб., 1901, стр. 8). Беседа с Гете побудила Ж. обратиться к работе над «Войной мышей и лягушек» (см. П. Висковатов-Висковатый, «Об отношении Жуковского к Гете», ЛВ, 1902, т. 4, кн. 5, стр. 8). Работать над сказкой Ж. начал в 1831 г. Рук. в ГПБ (Б № 34). В начале рук. дата: «Апреля 24 1831», затем «апреля» зачеркнуто и карандашом надписано: «августа». Над ст. 22 дата: «Сентябрь 19». На стр. 1 рук. разные планы, в том числе и план «Войны мышей и лягушек»:

«I. Встреча. Рассказ Петра Долгохвоста. Лев. Кот. Погребение. Беды.

II. Рассказ Квакуна. Народное правление. Аристократия. Монархия.

III. Война».

План этот показывает, что текст Ж. представляет собой первую из задуманных трех глав. Сбоку от публикуемого плана Ж. выписал в колонку имена предполагаемых героев поэмы: «Острозуб. Ветчинник. Сыроед. Муковор. Тонконос. Котобой. Хватокуск. Блюдолиз. Крохобор. Хлебоем. Костолюб». Под этой колонкой Ж. карандашом приписал: «Сивка». Ни одно из этих имен в написанную часть поэмы не вошло.

10 ноября 1840 г. В. Кюхельбекер, прочтя «Войну мышей и лягушек» Ж., назвал ее «гениальной переделкой начала Ватрахомиомахии» (РА, 1871, стр. 0178), имея в виду «βατραχομυομαχια» — античную поэму о войне мышей и лягушек, долгое время приписывавшуюся Гомеру, а ныне приписываемую Пигрету Карийскому, жившему в начале V в. до н. э. Античная «Батрахомиомахия» — пародия на Гомеровский героический и аристократический эпос. До Ж. «Батрахомиомахия» переводилась на русский язык несколько раз. Из этих переводов Ж. несомненно был известен прозаический перевод Василия Рубана «Омирова Ватрахомиомахия, т. е. война мышей и лягушек, забавная поэма» (СПб., Изд. Ак. Наук, 1772), ибо совпадают: начало Рубановского перевода с текстом отдельных стихов Ж. и список мышей рукописного плана Ж. с приложенным Рубаном в конце книги списком: «Крупохват, Хлебоед, Горшколаз, Поваренник, Хвостолиз, Мукокрадка, Блюдолиз, Кусоглот, Окорокогрыз, Ветчинолюб» и т. д. Кроме русских переводов «Батрахомиомахии», Ж. знал и ряд иностранных. В библиотеке Ж. хранится ряд переводов «Батрахомиомахии» на западноевропейские языки, из них один, — немецкий, — вышедший в 1815 г. (см. ПКТУ,

№ 13546). Однако, кроме отмеченных выше (параллельно к тексту Рубана) отдельных совпадений начала «Батрахомиомахии» со стихами Ж., сказка Ж. совершенно отлична от античной «Батрахомиомахии». Параллельно с «Батрахомиомахией» Ж. несомненно пользовался и такими книгами, как книга Bourdon de Sigrais, изданная без фамилии автора: «Histoire de Rats, pour servir à l'Histoire universelle. Ratopolis, 1738», или известная книга, переводившегося Ж. де Монкрифа, о кошках («Les Chats», Paris. 1737), и др. аналогичными изданиями. В дневнике 19 июня 1832 г, А. Н. Вульф записывает: «Жуковского перевод с немецкого гекзаметрами «Войны мышей с лягушками» чрезвычайно хорош. Он имеет дар во всех своих переводах казаться самобытным» (PC, 1899, т. 97. стр. 514). А. Н. Вульф, очевидно, имеет в виду знаменитую поэму Ролленхагена: «Froschmäusler» (Лягушко-мышатник), написанную в конце XVI в. (1-е изд. — в 1595 г.), многократно переиздававшуюся и пользовавшуюся в XVII и XVIII вв. огромной популярностью. Сличение «Войны мышей и лягушек» Ж. с книгою Ролленхагена проделал в своей монографии о Ж. П. Загарин (стр. 428 и сл.). «Фрошмеузлер» Ролленхагена, так же как и античная «Батрахомиомахия», представляет повествование пародийное — и полон сатирических намеков, направленных против аристократии и духовенства. Сказка Ж., как показал Загарин, во многом близка к книге Ролленхагена. К сожалению, Загарину осталась неизвестной рук. «Войны мышей и лягушек» Ж. В рук. Ж. зачеркнул место, точно совпадающее с текстом Ролленхагена (см. этот зачеркнутый текст на стр. 455). П. Загарин полагает, что ряд эпизодов, вроде рассказа о первом знакомстве неопытного мышонка с кошкой и петухом, заимствован Ж. у Ролленхагена, хотя и здесь Ж. скорее перерабатывает, чем переводит. Впрочем, эпизод этот мог быть заимствован и не из Ролленхагена, а, напр., из басни И. И. Дмитриева «Петух, кот и мышонок».

Однако в библиотеке Ж. имеется экземпляр поэмы Ролленхагена (изд. 1841 г.), приобретенный Ж. уже после того, как он написал свою «Войну мышей и лягушек» (см. ПКТУ, № 11931). Конечно, весьма вероятно, что Ж. читал Ролленхагена за много лет до того, как он приобрел его поэму для своей библиотеки. И уж во всяком случае до того, как он написал свою сказку. И, тем не менее, не Ролленхаген был непосредственным источником сказки Ж. Исследователям источников «Войны мышей и лягушек» осталась неизвестной переработка «Фрошмеузлера» 1816 г., книга: Lappe, Karl «Froschmäusler im Auszuge bearbeitet...», Stralsund, 1816, которая была в библиотеке Ж. (см. ПКТУ, № 11860; этот экземпляр поэмы Лаппе переплетен вместе с «Ленорой» Бюргера, изд. 1798 г.). Басенный материал, широко использованный во «Фрошмеузлере», был известен Ж. уже по большой русской традиции обработок этого материала. Так, эпизод со львом несомненно восходит к басне И. А. Крылова «Лев на ловле». А. П. Елагина говорила П. А. Висковатому (см. Годовой отчет гимн. и реальн. училища д-ра Видемана за 1900/01 г., СПб., 1901, стр. 7), «что плана поэмы не знает, да и трудно сказать, был ли у Ж. определенный план ⟨см. этот план выше.—*Ц. В.*⟩, но что знает, что дальше в поэме должен был явиться аист или журавль и еще что-то, встречающееся в баснях Крылова». Наконец, источником эпизода о коте Федоте-Мурлыке послужила популярная лубочная картинка XVIII в.: «Мыши кота погребают

(см. Д. Ровинский, «Русская народная картинка», атлас 1, 2, №№ 166—170, и т. 4, стр. 263) — сатирический лубок о похоронах Петра I. В настоящем издании дается фото лубочной картинки № 170, в которой имеется совпадение в фигуре 19 и подписью к этой фигуре со стихами о мыши Степаниде из сказки Ж. Кроме того в рук. Ж. имеется зачеркнутое начало акафиста (пародии на перечисление титулов русского царя), который читается над умершим котом: «Кот Астраханский, житель Казанский, породы Сибирской», что соответствует началу текста лубочной картинки: «Кот Казанский, а ум Астраханский, разум Сибирский». Таким образом, «Война мышей и лягушек» Ж. представляет собой переработку ряда источников и к одному источнику сведена быть не может.

К. Зейдлиц (II, стр. 152) полагает, что «Война мышей и лягушек» написана под известным влиянием Пушкина (см. о работе Пушкина и Ж. над сказками во вступ. статье, в т. I, стр. XLIII), что «врожденный в Ж. юмор проснулся снова, напоминая счастливые времена Арзамасских шалостей», что в «Войне...» и в сказке о Берендее заключены «некоторые намеки на известные литературные личности, которые в ту пору вели перестрелку в разных журналах». П. Загарин (стр. 425) считает эти соображения неосновательными. Выше я упоминал о том, что и античная «Батрахомиомахия» и «Фрошмеузлер» представляют собой ярко выраженные сатирические произведения. У Ж. эти характерные для традиции Батрахомиомахий элементы социальной сатиры сильно ослаблены, но не вовсе уничтожены. Сказка Ж. также отмечена реальной направленностью сатиры:

> Слушайте: я расскажу вам, друзья, про мышей и лягушек.
> Сказка ложь, а песня быль, говорят нам; но в этой
> Сказке моей найдется и правда...

В рук. «Войны мышей и лягушек» имя кота Мурлыки читается: «Фаддей-Мурлыка». Затем для печати Ж. исправил, заменив Фаддея на Федота. Исправление это продиктовано опасениями Ж., что в Фаддее-Мурлыке узнают Фаддея Булгарина, с которым именно в это время Ж. находился в особенно враждебных отношениях. Посылая в дек. 1831 г. «Войну мышей и лягушек» А. П. Елагиной, Ж. писал: «Мне пришлите копию с Кота-Мурлыки, которого прошу из Фадея перекрестить в Федота, ибо могут подумать, что я имел в нем намерение изобразить Фадея Булгарина» (УС, стр. 54). Ссора Ж. с Булгариным и вражда Булгарина к Ж. начались с вмешательства Ж. в литературную склоку и борьбу Булгарина с Воейковым, мужем любимой племянницы Ж. «Светланы». Воейков напечатал, что СО Булгарина имеет вдвое меньше подписчиков, чем издаваемый им «Русский Инвалид». В ответ на это Булгарин подал прошение, в котором рекомендовал отнять у Воейкова данную ему государством аренду «Русского Инвалида», предлагая платить за аренду вдвое более, чем Воейков. Этот поступок Булгарина произвел в литературных кругах скандальное впечатление. По этому поводу, в частности, у Булгарина были неприятные объяснения с Рылеевым (6 и 7 сент. 1823 г.). В тот же день (7 сент.) Рылеев писал Булгарину: «...упрекая тебя за то, что ты скрыл от меня черное свое предприятие против Воейкова, я говорил, зачем ты не сказал; я на коленях уговорил бы тебя оставить это дело... В. А. Жуковский, этот столь высокой нравственности человек,

которого ты любишь до обожаний, — в негодовании от твоего поступка. Он поручил мне сказать тебе, что ты оскорбляешь не одного Воейкова, но целое семейство, в котором ты был принят, как родной; что он употребит все возможные средства воспрепятствовать исполнению твоего желания, и что, если ты и успеешь, то не иначе, как с утратою чести» (К. Рылеев, Полн. собр. соч., «Academia», 1934, стр. 469). Обращался с письмом к Булгарину и сам Воейков 15 апр. 1823 г. (РС, 1901, т. 105, стр. 384 и сл.). Ж., в свою очередь, также пытался уговорить Булгарина, написал Булгарину письмо, умоляя его не лишать «жены и детей Воейкова куска хлеба» (РС, 1883, т. 40, стр. 712). На это письмо Ж. Булгарин не обратил внимания. Но Ж. добился того, что «Инвалид» был Воейкову оставлен вследствие заступничества императрицы. В ПД хранится запись Ж. о пасквильной пьесе Булгарина на отношения А. А. Воейковой с мужем. Ж. пишет, что если Булгарин не вымарает всех намеков на Воейкову, то он, Ж., будет жаловаться царю (рук. ПД, № 27844/CC61). Отношения Ж. и Булгарина не были, конечно, секретом, тем более для близких родных Ж., поддерживаемых им молодых литераторов Киреевских. И Ж. действительно говорил с И. Киреевским о Булгарине в начале 1830 г., когда Киреевский останавливался у Ж. по дороге за границу. Вот что писал Киреевский домой 12 янв. 1830 г. о своих разговорах с Ж.: «Про Булгарина он говорит, что у него есть что-то похожее на слог и однако нет слога; есть что-то похожее и на талант, хотя нет таланта; есть что-то похожее на сведения, но сведений нет; одним словом, это какой-то восковой человек, на которого разные обстоятельства жизни положили несколько разных печатей, разных гербов, и он носится с ними, не имея ничего своего. Выжигин ему крепко не нравится, также и Самозванец; он говорил это самому Булгарину, который за то на него сердится» (И. В. Киреевский, Полн. собр. соч., под ред. М. Гершензона, «Путь», 1911, т. 1, стр. 15). «Ивана Выжигина» Ж. читал в 1829 г. Об этом сохранилось свидетельство гр. С. Г. Строгонова: «Весною 1829 г. гр. Строгонов поехал опять в Варшаву на коронацию государя. Он ехал вместе с Ж... Дорогою Ж. читал Ивана Выжигина и говорил своему спутнику, что впечатление этого романа (второго у нас после повестей Нарежного) похоже на то, как в немецких городах идешь по улице, глазеешь, и вдруг с 3-го этажа кто-нибудь обольет тебя помоями» (РА, 1896, кн. 2, стр. 291). Что вражда Булгарина к Ж. не вызвана отрицательным отношением Ж. к «Выжигину», а восходит к гораздо более ранним временам, видно и из отзыва Булгарина о Ж. в письме к Пушкину от 25 апр. 1825 г.: «Не верьте, что вам будут писать враги мои, хотя близкие к вашему сердцу; верьте образцам чести — Бестужеву и Рылееву: они знают, как я вас ценю. А Ж. всегда буду почитать как человека, а поэтом плохим, подражателем Сутея» (Саути — см. Переписку Пушкина, под ред. В. И. Саитова, т. 1, стр. 208). Зная об этой вражде к нему Булгарина, Ж. считал Булгарина автором «гнусной эпиграммы» на себя («Из савана оделся он в ливрею»). И когда в 1830 г. вышел альманах «Денница» и в нем Булгарин прочел в «Обозрении русской словесности 1829 г.», написанном Киреевским, что «Выжигин» — произведение, стоящее в одном ряду с такими книгами, как «Сонник» или «О клопах», то он почел, что выступление инспирировано Ж. (хотя в действительности этого не было, ибо корректуры

прошли прежде, чем Киреевский приехал в Петербург и говорил с Ж. о «Выжигине»), и распространил в отместку слухи, что Киреевский написал к Ж. некое *либеральное* письмо, перехваченное правительством. 25 янв. 1830 г. Булгарин подал жалобу Бенкендорфу на обругивание его «Выжигина» в печати «без доказательств». Он писал в этом доносе: «Представляю одну коротенькую выписку, сочинение *Киреевского*, племянника воспитателя наследника престола, Жуковского. Вы увидите, что тут бранят не одного меня, но и тех, *которые читали Выжигина* ⟨намек на самого Бенкендорфа, который одобрял «Выжигина».—*Ц. В.*⟩... Меня гонят и преследуют сильные ныне при Дворе люди: Ж. и Алексей Перовский...» и т. п. Видимо, несколько позже Булгарин написал уже прямой донос Бенкендорфу на Ж. (см. Мих. Лемке, «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.», изд. 2-е, СПб., 1909, стр. 270). Донесение Булгарина было поддержано Бенкендорфом, и против Ж. было возбуждено неудовольствие Николая I, которому Ж. был представлен едва ли не вождем придворной партии *либералов*. Николай I присоединился к точке зрения шефа жандармов, и Ж. вынужден был обратиться к Николаю с письмом (30 марта 1830 г.), разъясняющим его (Ж.) литературную и политическую позицию. Он писал здесь: «...Уже во все продолжение прошедшего года весьма часто тревожила меня мысль, что милость ваша, государь, ко мне уменьшилась... Государыня сказала мне, что ваше вел. недовольны мною за то, что я впутываюсь в литературные ссоры и стою за Воейкова. Вот всё, что мне известно. Кто обвинил меня? Чем подтверждено это обвинение? Не знаю! Могу только догадываться. И никого не могу представить себе, кроме Булгарина... Думаю, что Булгарин (который до сих пор при всех наших встречах показывал мне великую преданность) ненавидит меня с тех пор, как я очень искренно сказал ему в лицо, что *не одобряю того торгового духа и той непристойности, какую он ввел в литературу, и что я не мог дочитать его Выжигина*. Вот обстоятельства, дошедшие до меня по слуху, которые заставляют меня думать, что тайный обвинитель мой есть Булгарин. Когда ваше вел. наказали Булгарина, Греча и Воейкова за непристойные статьи, в журнале их помещенные, то Булгарин начал везде разглашать (это даже дошло и до Москвы), что он посажен был на гауптвахту по моим проискам и что Воейкова (коему я будто покровительствую) посадили с ним вместе только для того, чтобы скрыть мои интриги. Это сказывал мне человек, слышавший от самого Булгарина. Разумеется я не обратил внимания на такое забавное обвинение. Но до Булгарина должны были дойти *слова мои*, сказанные мною товарищу его Гречу насчет другой его статьи, после уже напечатанной в «Северной Пчеле». *Государь*, сказал я Гречу, *верно будет недоволен этою статьею, если она дойдет до его сведения*. Я полагаю, что Булгарин довел сии слова мои до начальства, растолковав их по-своему, то есть представив, что *я угрожаю ему именем вашим*, так как он везде разгласил, что *я* посадил его на гауптвахту» и т. д. (Соч. ВАЖ, 1902, т. 12, стр. 20). Приведенная цитата показывает, что Ж. не только был ясен источник его неприятностей — Булгарин, но что Ж. отчетливо представлял себе параграфы обвинений. В свою очередь Ж. пытается сыграть на том, что Булгарин представляет Николая I орудием Ж. *Точное* содержание доноса Булгарина Ж. неизвестно. Поэтому он оправдывается от вероятных с его точки зрения обвинений. И очень важно, *в чем* он считает нужным

оправдываться: 1) в дружбе с Пушкиным (имя Пушкина здесь упоминается, конечно, не случайно. Именно в 1830 г. враждебные отношения Пушкина и Булгарина достигли наибольшей остроты); 2) в покровительстве Киреевским и 3) в том, что он не инспирировал статьи Киреевского против Булгарина.

История доносов Булгарина получила широкую известность и сделалась предметом обсуждения в литературных кругах. Так, 15 дек. 1830 г. М. Погодин записал в своем дневнике: «Обедал у Киреевского... Пушкин рассказывал о Ж. и доносах Булгарина» («Пушкин и его современники», в. 23, 1916, стр. 110).

Среди рук. ПД хранится записка к Ж., писанная, как мне кажется, А. П. Елагиной: «Крысе Онуфрию от Прасковьи-Пискуньи поклон — при нем, т. е. при поклоне, кошелек, работы лап ее, а в кошельке ниточки на счастье. Она же Пискунья очень благодарит Онуфрия за присланные ей рукописи и рисунок Пушкина» (рук. ПД № 27895/ССб 50). Рисунок Пушкина, к сожалению, не сохранился. Однако, если кот Мурлыка — это Фаддей Булгарин, если крыса Онуфрий — это Ж. (что несомненно, ибо Онуфрий также и педагог и через него Ж. высказывает собственную дидактическую философию), то возникает соблазн рассмотреть всю историю с похоронами кота как намек на происшествие с Булгариным и, продолжая подстановки, усмотреть в мышенке «Беличьей шубке» И. Киреевского, а в друге крысы Онуфрия — знаменитом поэте подполья «Бешеном хвосте» — друга Ж. — знаменитого поэта А. С. Пушкина. Таким образом «Война мышей и лягушек» может рассматриваться и как зашифрованная сатира на представителя рептильной печати, журналиста и романиста, редактора и издателя официозной газеты «Северная Пчела» и сотрудника тайной полиции Булгарина.

Так кончился пир наш бедою — конечно, Ж., искушенный придворный политик, не только понимал, какие силы стоят за Булгариным, но и видел невозможность борьбы с этими силами. И, тем не менее, гроза миновала благополучно. Поэтому наименование опасного негодяя Мурлыкою и, вообще, шутливое отношение к Мурлыке — показатели того, что неприятности уже миновали. Но «дразнить гусей» было не безопасно. Поэтому Ж. убрал Фаддея, заменив его Федотом, а самую сказку напечатал без подписи (см. об этом выше). То обстоятельство, что Ж. стремился затушевать сатирический смысл «Войны мышей и лягушек», видимо, и помешало ему окончить это произведение. Ибо в дальнейшем, судя по сохранившемуся рукописному плану должны были быть поставлены проблемы уже непосредственно социально-политические (типы государственных правлений в сравнительном аспекте). Сохранилось свидетельство А. П. Елагиной о том, что продолжение «Войны мышей и лягушек» также должно было содержать ряд сатирических намеков: «Когда я ⟨П. А. Висковатов⟩ допытывался, почему Ж. не окончил поэмы, Авдотья Петровна отвечала, что, *может быть*, потому, что ему отсоветовали кончать ее, так как в поэме должны были явиться намеки на события из «отечественной войны» ⟨в то время часто изображали французов мышами. — *П. В.*⟩ и на современников. Намеки, впрочем, безобидные, так как Ж. не был злобным сатириком и не охотник до злых памфлетов. Но всё же друзья говорили ему, что он писатель-патриот, слава которого взошла благодаря его патриотическим песням, — легко может

повредить себе в суждении лиц, всякую шутку считающих за грех» (см. Годовой отчет гимн. и реальн. училища д-ра Видемана за 1900/01 г., СПб., 1901, стр. 7—8). И, действительно, выступить после «Певца во стане русских воинов» с сатирическим изображением «отечественной войны» Ж. не решился. Здесь сказалось и влияние родных, остерегших поэта от политической компрометации. Да и сам Ж. не жаждал политической «брани». Поэтому он стремился затушевать политические намеки, стремился превратить всё произведение в «веселую сказку» и работал над «Войной мышей и лягушек» как над произведением именно сказочного жанра, одновременно работая и над другими своими сказками. И как сказка «Война мышей и лягушек» характеризуется дидактичностью и проповедью философии смирения («Беды нас смиренью учат. С верой такой ничто не беда. Я доволен тем, что имею: счастию рад, а в несчастьи не хмурюсь»). Эта дидактическая задача сказки часто стирает границу между сказкой и притчей или басней. Поэтому басня с ее анималистическими масками без труда смогла быть использована Ж. для «Войны мышей и лягушек» (см. выше). Последний стих: «Так кончился пир наш бедою» также подчеркивает эту дидактическую задачу сказки (этот стих сделался пословицей),

Тюльпанное дерево — 27 марта — 2 апр. 1845 (н. ст.). «Совр.», 1846, т. 43, стр. 5, с подзаголовком: «Сказка» и с пометой: «1845. Франкфурт-на-Майне», НС и С, V. Рук. в ГПБ (Б № 53, л. 25). Здесь сказка названа: «Миндальное дерево», около заглавия дата: «27 марта». Под рук.: «Кончено 2 апреля 1845 года». В тетр. (№ 54) перечень девяти произведений Ж. с обозначением времени их написания. Здесь вещь названа «Тюльпанное дерево» и датирована 26 марта — 2 апр. 1845 г. Рукописный текст не совпадает с печатным. Очевидно, для печати Ж. еще раз, заново, пересказал текст сказки, благодаря чему, хотя смысл рукописного и печатного текста тождествен, текст стихов иной (см. стр. 455).

Пересказ прозаической сказки братьев Гримм «Von dem Machandelboom» (О миндальном дереве — см. первоначальное заглавие в рук. Ж.: «Миндальное дерево»), полученной Гриммами от художника Рунге. В рук. имеется другой конец сказки, начиная со ст. 358 (см. его на стр. 456). Этот традиционно-сказочный конец близок к концу сказки Гриммов: «...do stünn de lütje Broder door, un he nöhm synen Vader un Marleenken by der Hand, un wören all dre so recht vergnöögt un güngen in dat Huus by Disch, un eeten». Традиционно-сказочным был первоначально у Ж. и зачин сказки. Так, в тексте «Совр.» было точно воспроизведено начало сказки Гриммов: «Dat is nu all lang heer, wol twe dusend Johr, da wöör dar een ryk Mann, de hadd ene schöne frame Fru...»; у Ж.:

Жил-был (я думаю с тех пор прошло
Лет более тысячи) богатый
И добрый человек. Он был женат...

Итак, и конец сказки и ее начало в окончательной редакции Ж. переделаны. Сказочное разрешение сказки не удовлетворяет Ж. 1845 г., уже целиком находящегося под воздействием пиэтистических дюссельдорфских мистических кружков и семьи; он без сожаления уничтожает в тексте чисто сказочные элементы, вроде «с тех пор

прошло лет более тысячи», и подчеркивает, выпячивает дидактические элементы сказки, переводя все повествование из плана сказочного в план религиозно-поучительный:

> ...и у всех на сердце было
> Спокойно, как бывает всякий раз,
> Когда оно почувствует живей
> Присутствие невидимого бога.

Очевидно, аналогичными соображениями руководился Ж., делая еще одно отступление от оригинала. В сказке братьев Гримм мачеха приготовляет из убитого пасынка студень, который она и подает отцу. Отец, не зная, съедает блюдо, приготовленное из его сына. Марлиночка собирает косточки, заворачивает их в платок и выносит в сад. Это же рассказывается и в песне, которую поет птичка: «Mein Mutter der mich schlacht, Mein Vater der mich ass» и т. д. У Ж. рассказ об отце, поедающем собственного сына, опущен. Возможно, что Ж. здесь усмотрел ту «грубость», которая в свое время шокировала также и Ахима фон Арнима, в 1812 г. упрекавшего Гриммов за то, что они не выбросили «грубого» мотива об отце, поедающем собственного сына (см. переписку Арнима с бр. Гримм; см. также Е. Елеонская, «Жуковский — переводчик сказок», РФВ, 1913, № 3, стр. 169). В этом споре, на частном примере, столкнулись две линии отношения к народному творчеству в романтизме. Ж. примыкает здесь к более консервативной эстетике Арнима.

Кот в сапогах — 22 и 23 марта 1845. «Совр.», 1846, т. 44, стр. 5, с подзаголовком: «Сказка» и с пометой: «1845 в марте», НС и С, V. Рук. в ГПБ (Б № 53, л. 31). На рук. дата: «Начато 3 апреля», над стихом: «И с ним наедине (и уж конечно)» — «4 апреля» и под текстом: «Кончено 4 апреля» (н. ст.). Рукописный текст отличен от печатного (см. стр. 456). Очевидно для печати Ж. заново пересказал текст сказки. Пересказ известной сказки «Le maître Chat, ou le Chat botté» Шарля Перро (1628—1703), автора знаменитых волшебных сказок. Ж. пользовался изданием 1837 г. (см. ПКТУ, № 12267: Perrault, Ch. Contes de fées. Nouv. édit. avec 1 portrait et de nombreuses vignettes. Bruxelles. 1837). Вероятно, Ж. знал и немецкий пересказ сказки Перро, напечатанный у Гриммов в изд. 1812 г. (№ 33, «Der Gestiefelte Kater»), затем ими в последующих изданиях выпущенный. Однако несомненно, что переводил Ж. с французского оригинала. Переводя, Ж. точно следует за Перро. Однако аристократическая, сдержанная, «учтивая» и лаконическая манера Перро, выражающая эстетические вкусы французского дворянства эпохи Людовика XIV, не удовлетворяет Ж., прошедшего через «фольклорную школу» братьев Гримм. Поэтому, пересказывая Перро, он стремится ввести в текст элементы народности и подчеркнуть демократические и сатирические элементы сказки. Так, следующее место оригинала: «le maître Chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde» Ж. передает:

> Мешок стянул снурком и без дальнейших
> Приветствий гостя *угостил по-свойски.*

В рук. было ближе к оригиналу: «гостя жданного *убил*». У Перро, получив в подарок от кота первого кролика: «Dis à ton maître, repondit le roi, que je le remercie, et qu'il me fait plaisir». Une autre

fois...» и т. д. У Ж. после слов короля: «Что я его благодарю, и что я очень им доволен» введен обстоятельный рассказ о придворном подхалимстве:

Когда ж он шел через дворец, то все
Вставали перед ним и жали лапу
Ему с улыбкой, потому что он
Был в кабинете принят королем *и т. д.*

Ж. также сатирически подчеркнул рассказ о спасении маркиза Карабаса из реки. У Перро: «Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa gard-robe d'aller querir un de ses plus beaux habits pour m. le marquis de Carabas». У Ж.:

Король велел, чтобы один из бывших
С ним государственных министров снял
С себя мундир и дал его маркизу.
Министр *тотчас разделся за кустом.*

См. также добавленный Ж. рассказ о том, как сидело платье министра на маркизе Карабасе и т. д. Вообще Ж. все время пользуется текстом Перро как канвой, в процессе работы все дальше отходя от оригинала. Так, Ж. выбросил в окончательном тексте эпизод награждения кота, который он первоначально в рук. перевел. Конец сказки Ж. подчеркнул лирически. У Перро: «Le Chat devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris que pour se divertir». У Ж.:

Он бросил ⟨в рук. «перестал»⟩
Ловить мышей, а если и ловил,
То это для того, чтобы немного
Себя развлечь и сплин, который нажил
Под старость при дворе, воспоминаньем
О светлых днях минувшего рассеять.

ПОВЕСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Две были и еще одна — 29 мая — 11 июня 1831. «Муравейник», 1831, № 4, стр. 1, под заглавием: «Две были», БП — в отделе «Дедушкины рассказы», БиП — в отделе «Повести» и С, IV — V. В С, V отнесено к 1832 г. В рукописных планах занесено Ж. в сб. «Повестей для детей». Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 71), дата наверху: «29 мая ⟨1831⟩». Здесь 210 стихов (последний стих: «Горе семьи, досада, хмель, темнота и коварных...»), дальше листы вырваны. Около стихов:

Шум и движенье; подняв паруса, нагруженные барки
Быстро по Рейну бегут, оставляя струи за собою;
В воздухе птицы порхают как рыбы в воде и на солнце
Мошки блестящею пылью сверкают. Прекрасно творенье
Господа-бога! Сердцу так радостно, сладко и вольно!
Скажешь, где бы в этом прекрасном... *и т. д.*

сбоку рукою Ж. крупно наискось написано: «Церковь» и подчеркнуто. Означает эта надпись: забыта церковь, нужно написать про церковь! См. в окончательной редакции стихи о церкви. Это испра-

вление свидетельствует, что Ж. умышленно стремился подчеркнуть религиозную сторону замысла. В ГПБ — экземпляр «Муравейника» (№ 4) с поправками Ж. Исправления эти в основной массе касаются пунктуации. Кроме того сделаны четыре исправления текста, которые не вошли в С, IV—V, вероятно, потому, что Ж. о них позабыл. Привожу эти стихи в редакции С, V:

Помню и я, и старые гости *черного вепря*
Девушкам всем в образец поставлял? Кто, шумя как ребенок
Гость из могилы встретит тебя — извините с живыми
Он не видал ничего, так много он разом увидел.

В рукописном перечне произведений 1831 г. Ж. датирует «Две были и еще одну» 29 мая — 11 июня. Таким образом дата С, V ошибочна.

«Две были и еще одна» распадаются на три эпизода. Для каждого существует иностранный оригинал. Для первых двух — две баллады Саути: «Mary the maid of the inn» и «Jaspar», для третьей — прозаический рассказ «Kannitverstan» немецкого поэта Иоганна Петера Гебеля (1760—1826). Начиная от стиха: «Видите ль там на пригорке?» и до стиха «Всё над нею спокойно» — пересказ «Mary the maid of the inn» (Мери, девушка из гостиницы). Рассказ у Саути гораздо короче, написан пятистишиями, в которых амфибрахические стихи перемежаются с написанными анапестом. Ж. изменил и размер и весь тон и смысл рассказа. У Саути эта «metrical tale», — история, которую ему рассказали как происшествие, имевшее место в Северной Англии (см. «The poetical works of R. Southey», Paris, 1829, стр. 635), — краткий и «объективный» рассказ о Мери, служанке из гостиницы, которая полюбила Ричарда, дурного малого. Был назначен день свадьбы. Бурной ночью, однажды, два гостя в гостинице поспорили и послали Мери к старому аббатству. Там она видит, как двое убийц бросают в реку труп. Она приносит в гостиницу шляпу. Сразу, еще не сказав ни слова, смотрит на нее и видит имя своего Ричарда. Кончается баллада следующим пятистишием:

Where the old Abbey stands, on the common hard by,
His gibbet is now to be seen;
His irons you still from the road may espy,
The traveller beholds them, and thinks with a sigh
Of poor Mary, the maid of the inn.

У Ж. Эми прежде рассказывает об убийстве, затем узнает шляпу. Прибавлен также рассказ о смерти Эми. У Саути от появления Эми до повешения Ричарда нет промежуточной мотивировки, благодаря чему последняя строфа как бы обрывает рассказ, неся функцию эпилога. Ж. это было не нужно, ибо до эпилога было еще далеко. Самое действие баллады Ж. переносит в Германию, имена героев заменяет немецкими, виселицу заменяет колесом, вводит религиозно-дидактические сентенции, вроде слов Эми: «А против ночных привидений защитой молитва». Аналогично работал Ж. и над переводом второй баллады Саути «Jaspar», написанной чередующимся стихом мужского четырех- и трехстопного ямба в куплетной строфе (у Ж. от стиха: «Вот вам другая быль,— сказал, раскуривши трубку, старик» и до стиха: «Дико уставив глаза, шептал: *он видит, он*

видит»). Однако Саути, предпослав балладе о Мери заметку о том, что в основе баллады лежит подлинное происшествие, в заметке перед «Jaspar'ом» специально отмечает вымышленность этой баллады (см. там же, стр. 639). Ж. это делаемое Саути различие фантастической баллады и стихотворного рассказа («metrical tale») оставляет без внимания, называя и повесть о Джаспере «былью».

При пересказе обеих баллад Ж. следовал собственной поэтике. Баллады Саути оказались у Ж. (хотя Ж. точно следует за ходом сюжета) переработанными в дидактические повести. Выше я уже отмечал, что в повести о Мери действие перенесено в Германию, то же сделано и в «Джаспере». Действие происходит на Рейне, и английское имя Джонатан заменено библейским Вениамин. Также подчеркнуто религиозное содержание баллады. У Саути, после явления перед Джаспером картины убийства, Джаспер сходит с ума:

> The summer suns, the winter storms,
> O'er him unheeded roll,
> For heavy is the weight of blood
> Upon the maniac's soul!

Ж. выдвигает на первый план идею о боге всевидящем («И на небо дико уставив глаза, шептал: *он видит, он видит»*). Таким образом, и характер пересказа баллад и написание в рук. «Церковь» свидетельствуют, что Ж. перекладывал баллады Саути на язык и мысли немецкой религиозно-дидактической поэзии. Самый тон и ритм оригиналов, этот тон балладного рассказа Ж. уничтожил, заменив его тоном поучительных Гебелевых идиллий. Можно сказать, что Ж. переложил обе баллады Саути на язык Гебелевой поэтики, переведя все повествование в план сентиментального морализирования и заменив балладные ритмы Саути своим спокойным и неторопливым «сказочным гекзаметром», представляющим русскую транскрипцию немецких «рассказов в стихах» (Erzählungen), которые в Германии распространяются в 10-е, а особенно в 20-е гг. Именно потому, что Саути у Ж. превращается в «Гебеля», присоединение к двум балладам Саути Гебелевой повести оказалось органически подготовленным.

Третий рассказ дедушки — точный пересказ стихами прозаического рассказа Гебеля «Kannitverstan».

Маттео Фальконе — 17—19 марта 1843. «Совр.», 1843, т. 32, стр. 216, с обозначением при подзаголовке: «Из Шамиссо», без подписи (в оглавлении указано: «Маттео Фальконе В. А. Жуковского»), с послесловием «От редактора Современника» (П. А. Плетнева), включающим отрывок из письма Ж., где Ж. говорит: «Я совсем раззнакомился с рифмою. Знаю, что... вы любите гармонические формы и звучность рифмы — и я их люблю: но формы без всякого украшения, более совместные с простотою, мне более по сердцу... Мой Гомер (как оно и быть должно) будет в гекзаметрах: другая форма для Одиссеи неприлична. Но я еще написал две Повести, ямбами без рифм, в которых с размером стихов старался согласить всю простоту прозы так, чтобы вольность непринужденного рассказа нисколько не стеснялась необходимостью улаживать слова в стопы. Посылаю вам одну из этих статей для помещения в Современнике. Желаю, чтобы попытка *прозы в стихах*

не показалась вам прозаическими стихами. Другая повесть еще простее — она чисто детская». При перепечатках, в НС и в СV, в оглавлении указано: «Маттео Фальконе, Корсиканская повесть (из Мериме)». Рук. в ГПБ (Б № 53, л. 12, и № 54, л. 3), № 53 — черновик, датирован: 17/29— 19/31 марта 1843 г.; № 54 — беловик, под текстом: «поправлено 8 апр./27 мая». В рук. № 54 всюду Сампьеро (как и у Шамиссо). Итак, «Маттео Фальконе», несмотря на то, что Ж. в своих собраниях сочинений обозначил повесть как перевод из Мериме (а вслед за Ж. и все редакторы его сочинений), — перевод стихотворной обработки повести Мериме, сделанной немецким романтиком Адельбергом фон Шамиссо (1781 — 1833), — из цикла «Сонеты и терцины»: «Mateo Falcone, der Corse (1830)».

Самый интерес к корсиканскому материалу в европейской (и русской) литературе 20—30-х гг. был связан с тем, что Бонапарт происходил с Корсики. «Корсика» — это была, так сказать, тематика бонапартизма (см., напр., в русских журналах 20—30-х гг.: в «Моск. Телеграфе», 1826, ч. 13, кн. 10: «Корсика», с примечанием: «Сочинение Наполеона Бонапарте. Благодарим приславшего к нам сию статью и полагаем, что каждому просвещенному читателю любопытно знать, как изображает свою родину Наполеон». См. также в Воейковских «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду» на 1832 г., стр. 644 и 651) перевод В. Соколова: «Корсиканские нравы. Маттео Фальконе». «Маттео Фальконе» Мериме является одним из важнейших документов такой литературы. Повесть Мериме отличает объективная, безоценочная форма рассказа. «Бонапартизм» Мериме скрыт. Он проявляется в общем героизировании морали и быта корсиканского крестьянства. Рассказ Мериме — нравоописательная хроника, точная, бесстрастная и лаконическая. У Шамиссо — демократа (переводчика Беранже и автора поэм о русских декабристах) и революционного романтика переходного типа от раннего немецкого романтизма к немецкой поэзии 30—40-х гг. (Шамиссо непосредственно подготовил и Гейне и немецкую политическую лирику 40-х гг.), — поэта с ярко выраженным гуманистическим и этическим мировоззрением, — повесть окрашена в дидактический тон. Нравоописательные моменты отброшены, подчеркнута внутренняя психологическая основа убийства отцом сына. Ж., конечно, знал и повесть Мериме. И, однако, он избрал переработку Шамиссо, ибо ему оказался близким дидактизм этого немецкого писателя. Кроме того самый путь Ж. к «прозе в стихах» опирался на опыт эволюции немецкой поэзии, в которой в 30-е гг. происходит заметное разложение лирического стиха. Своими «рассказами в стихах» Шамиссо способствовал углублению этого процесса в немецкой поэзии, решая другими путями те же задачи, которые Гейне несколько позднее решал при помощи иронического стиха. Опыт Шамиссо, таким образом, для Ж., который в эти годы работает над жанром стихового рассказа, оказался очень важен. Поэтому в 40-е гг. Ж. так много перевел из Шамиссо, несмотря на отличие политического мировоззрения Шамиссо от его собственного («Выбор креста», одна из «Двух повестей» и др.). При этом Ж. еще усилил дидактическую интерпретацию сюжета. Так, у Мериме Маттео убивает сына «совершая правосудие», для восстановления утраченного чувства *чести*. У Ж. он исполняет «долг свой» (у Шамиссо: «Gerechtigkeit»). Так, у Мериме Маттео разрешает сыну читать литанию фразой: «Она очень длинна, но *все равно* («n'importe»)». У Ша-

миссо «Sehr lang ist die; jedoch in *Gottes Namen!*». Также у Ж.: «Она длинна; но *с богом!*» Таким образом, можно сказать, что Ж., вслед за Шамиссо, переосмыслил замысел повести, положив в основу своей интерпретации идею долга, оправдывающего самую казнь отцом сына, и превратив тем самым «хронику» Мериме в *притчу*. Благодаря «Маттео Фальконе» становится понятнее путь, которым шел Ж. к статье «О смертной казни».

«Маттео Фальконе» очень высоко ценил Гоголь. Он «воспринимал его от купели и торопил к появлению в свет» и послал Плетневу, переписав своею рукою (См. Н. В. Гоголь П. А. Плетневу 6 окт. 1843 г. — Письма, т. 2, стр. 346). В письме к С. Шевыреву 20 сент. 1843 г. Гоголь также писал: «Пьеса... Маттео Фальконе... прекрасна» (там же, стр. 338). Положено на музыку Ц. Кюи («Маттео Фальконе. Драматическая сцена»).

ПОСЛАНИЯ

К Филалету — начало 1808. ВЕ, 1809, февр., стр. 284, за подписью: В. А. и С, I—V. В С, V датировано 1807 г. Рук. в ГПБ (Б № 20, л. 9) — список рукой М. А. Протасовой, с поправками Ж.; (№ 14, л. 55) с поправками, не вошедшими ни в одно из Собраний сочинений; и (№ 15, л. 79) — автограф, сходный с посланием к И. П. Черкасову (см. рук. ПД). В рук. ПД (картонка Ж. из шкафа № 7) письмо Ж. к соседу его по имению и владельцу имения Володьково, бар. И. П. Черкасову, от 27 июня 1808 г., в котором читаем: «... Благодарю вас за восемь полновесных страниц, наполненных выражениями дружбы для меня драгоценной; они напомнили мне некоторые приятные вечера, проведенные перед володьковским камином, и минуту семейственного полдника». Затем следует текст послания «К Филалету» с рядом купюр и вариантов (см. стр. 456). Таким образом очевидно, что либо Ж. выбрал из уже написанного послания часть стихов и включил ее в письмо к Черкасову (в таком случае послание было уже написано все в нач. 1808 г.), либо, напротив, послал Черкасову одну из ранних редакций (а доработал послание немного позже). Последние соображения подтверждает и рук. ГПБ (№ 15, л. 79).

Послание в С, I—III было посвящено Ал. И. Тургеневу. Мы видели, что в другой редакции Ж. адресовал то же послание Черкасову. Высказывалось также после смерти Ж. предположение, что послание посвящено Блудову, и П. Ефремов (в С, VIII) разъяснял что адресат послания «не Блудов, а Ал. Тургенев». Самый характер послания делает вопрос об адресате несущественным. Очевидно, написав «К Филалету», Ж. в разной связи и в разных вариациях приводил в своих письмах к друзьям стихи из этого послания, пользуясь ими как формулами, выражающими его душевное настроение этой поры. Подтверждением автобиографичности этого послания служат и стихи, посвященные характеристике Ж. своего чувства к М. А. Протасовой: «Любовь, но я в любви нашел одну мечту...», и стихи о смерти Андрея Тургенева («предо мной увядшего могила»). Послание «К Филалету» представляет собой, таким образом, разработку общих формул (смерть друга, безнадежность существования, предчувствия смерти, горести любовного страдания) элегической лирики Ж. начала 1800-х гг. (см. «Вечер» и т. п.). Возможно, что в послании отразились некоторые общефилософские размы-

шления Карамзинского «Разговора о счастии», в котором одно из действующих лиц носит имя Филалета.

Написано послание в форме медитативной элегии с характерной сменой вопросов и восклицаний. В отдельных местах текст близок к стихотворной эпитафии из переведенной Ж. с французского повести: «Письмо французского путешественника» (ВЕ, 1803, дек., стр. 246, за подписью: В. Ж.). Здесь рассказывается, что неизвестная девушка начертала надпись на памятнике, поставленном на могиле юноши, застрелившегося из-за несчастной любви (стихи в собраниях сочинений Ж. не перепечатывались):

> Оставленная всем, забытая судьбою,
> К тебе, священный прах, иду я слезы лить! —
> Когда откроется могила предо мною?
> Ах! Долго ль жизнь сию влачить?
> Мелькнули годы и сокрылись,
> А горе верное со мной!
> Тоскою чувства изнурились;
> С угасшей, мертвою душой,
> Как блага смерти ожидаю!
> Когда? — когда? — увы, не знаю!

В письме к А. И. Тургеневу от 5 сент. 1819 г. П. А. Вяземский так иронизировал над стихами Ж., содержащими мотивы некромантии: «Ж. более других должен остерегаться от однообразия: он страх как легко привыкает. Было время, что он напал на мысль о смерти и всякое стихотворение свое кончал своими похоронами. Предчувствие смерти поражает, когда вырывается; но если мы видим, что человек каждый день ожидает смерти, а все время здравствует, то предчувствия его, наконец, смешат нас... Евдоким Давыдов ⟨брат поэта Д. Давыдова.—*И. В.*⟩ рассказывает, что изувеченный Евграф Давыдов говорил ему, что он всё о смерти думает: «Ну, братец, и думаешь о смерти; ну, и думаешь, что умрешь вечером: ну, братец, и велишь себе подать чаю; ну, братец, и пьешь чай и думаешь, что умрешь; ну, не умираешь, братец; велишь себе подать ужинать, братец; ну, и ужинаешь и думаешь, что умрешь; ну, и отужинаешь, братец, и не умираешь; спать ляжешь; ну, братец, и заснешь и думаешь, что умрешь, братец; утром проснешься, братец; ну, не умер еще; ну, братец, опять велишь себе подать чаю, братец» (ОА, I, стр. 305). Эта ироническая характеристика кладбищенской лирики Ж., выражающая восприятие этой лирики уже в конце 1810-х гг., имеет и тот интерес, что она отмечает устойчивость мотивов, разрабатываемых Ж. в его лирике 1800-х гг.

К Нине — 1808. ВЕ, 1808, дек., стр. 224, за подписью: Ж., и С, I—V. В С, I—III отнесено к 1808 г., в С, V к 1807. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 60) и (№ 20, л. 5) — список рукою М. А. Протасовой. В рук. № 20 подчеркнуты, видимо, М. А. Протасовой, два стиха:

> Что он и в веселье и тихой тоске
> С твоею душою сливается тайно.

См. также в ГПБ (Б № 78, л. 41) наброски плана послания.

«К Нине» связано с чувством Ж. к М. А. Протасовой. Это подтверждает и ее письмо к Ж. от 6 сент. 1819 г.: «Скажу тебе одно: никогда мне не бывала твоя Нина так понятна, — как теперь; я думаю, вопреки твоему молчанию, что ты держишь то, что в ней обещал... Смотри только, сдержи и то, что обещано в последних 12 строках и на что я *надеюсь* как на будущую жизнь» (УС, стр. 229).

К Б[л у д о в] у — февр. 1810. ВЕ, 1810, март, стр. 33, под заглавием: «К***. При отъезде его в армию», за подписью: Ж., и С, I—V. В С, V озаглавлено: «К Б... у. Послание» и датировано 1809 г. В РП датировано 1811 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 63) под заглавием: «К Блудову. При его отъезде в армию».

В февр. 1810 г. гр. Н. М. Каменский, назначенный главнокомандующим русской армией на Дунае, действующей против турок, взял с собой Блудова в качестве правителя дипломатической канцелярии. Следовательно, послание Ж. написано в февр. 1810 г. *Д. Н. Блудов* (1785—1864), сын казанского помещика, в 1800 г. поступил на службу в московский архив коллегии иностр. дел, где сблизился с такими же «архивными юношами», Андреем и Ал. Тургеневыми, с Д. Дашковым и Вигелем. Через Дашкова он познакомился с Ж. С этого времени началась дружба Блудова с Ж. (см. воспоминания А. Д. Блудовой — РА, 1889, т. I, стр. 41). Он вскоре сблизился с Ж. настолько, что они даже вместе сочиняли. Так, совместно с Ж. Блудов написал стихотворное объяснение в любви от лица портного, вошедшее во многие песенники и вызвавшее десятки подражаний: «О ты, которая пришила Меня к себе любви иглой» и т. п. (П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 10, СПб., 1886, стр. 245). На восемнадцатом году Блудов влюбился в дочь А. Н. Щербатова — Анну Андреевну, но мать ее, близкая родственница фельдмаршала М. Ф. Каменского, много лет противилась этому браку. Н. М. Каменский — сын фельдмаршала принял участие в судьбе влюбленных и, чтобы создать Блудову положение, взял его с собой в армию. В апр. 1812 г. Блудов женился, и Ж. был у него одним из шаферов. Стихи: «Где ждет тебя, уныла, Твой друг, твоя Людмила» — имеют в виду А. А. Щербатову.

В 1815 г. Блудов был одним из основателей Арзамаса, где получил имя «Кассандра». В 10-е гг. он сделал дипломатическую карьеру при высоко ценившем его гр. Каподистриа. Блудов разделял политическую позицию Каподистриа, отрицательно относясь к Меттерниху и «Священному союзу». После падения Каподистриа дипломатическая карьера Блудова закончилась. В Арзамасе Блудов сыграл очень значительную роль. В эти годы, совместно с Д. Дашковым, он опубликовал «Документы для истории дипломатических сношений России с западными державами» (1814—1822), переведя все эти документы на русский язык и выступив тем самым одним из создателей русского слога официальных документов. Работа эта происходила при непрерывной консультации с Карамзиным и Ж. Консервативные политические взгляды Блудова обнаружились уже в Арзамасе. Черты консерватора и политически беспринципного бюрократа, следующего за любым правительственным курсом, проявились в Блудове в 1825 г., когда Николай I, по совету Н. М. Карамзина, назначил Блудова делопроизводителем

верховной следственной комиссии по делу 14 декабря. Составленный им «доклад о тайных политических обществах» послужил материалом для приговора суда. Фигура Блудова — человека с репутацией либерала — была удобна правительству, и Блудов сыграл подлую роль либеральной ширмы для устроенной самодержавием судебной инсценировки. Немудрено, что его поведение было воспринято как ренегатство. В «Донесении» комиссии (т. е. в обвинительном акте) Блудов, кроме того, позволил себе иронический тон по отношению к подсудимым, и это вызвало особенное возмущение против него лично. Н. И. Тургенев изложил все эти обвинения в письме к Блудову. Блудов на письмо не ответил. Впоследствии Н. И. Тургенев повторил эти обвинения в своей книге: «La Russie et les russes» (Paris, 1874). После 1825 г. Блудов сделал блестящую чиновничью карьеру, занимая последовательно должности товарища министра народного просвещения, министра внутренних дел, министра юстиции, затем председателя государственного совета и комитета министров, затем президента Академии Наук. В 1852 г. он получил графский титул. В числе людей, которые не могли произносить имени Блудова без негодования, был А. Пушкин. А. И. Тургенев не скрывал от Ж. своего отношения к Блудову. Так он писал 12 авг. 1827 г. своему брату: «Я иногда сгоряча говорил о нем ⟨Блудове⟩ с Ж. и сказал раз, что имя его два раза является в истории: в первый раз, как постыдный предатель (именем и делами Блуд), а в другой раз с иронией в рапорте комиссии» («Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу», Leipzig, 1872, стр. 70). Ж. был весьма смущен ролью, сыгранной Блудовым в следственной комиссии, однако сохранил с Блудовым дружеские отношения. Когда Ж. познакомился с обвинениями, выдвинутыми Н. И.Тургеневым против Блудова, он написал к Н. И. Тургеневу письмо с защитой Блудова, утверждая, что Блудов сам не понимал, что делал, хотя объективный смысл политического поведения Блудова Ж. также был ясен (см. это письмо в «Новых пропилеях», т. I, 1923, Гиз, стр. 13). Для Ж. Блудов был не только приятелем, но и авторитетом в области литературного вкуса, редактором его (Ж.) сочинений. Эту оценку Ж. Блудова и выражал А. Воейков в своем шуточном «Парнасском адрес-календаре», когда писал в нем: «Д. Н. Блудов, государственный секретарь бога вкуса». В «Посвящении» 2-й части «12 спящих дев» Ж. писал Блудову: «Твой вкус был мне учитель» (ср. также в письме Ж. от дек. 1806 г.: «Блудов, от тебя жду критики на мои стихи. Твоя критика для меня закон» — ПкТ, стр. 27). Однако, хотя Блудов и был членом Арзамаса, по своим литературным воззрениям он был то, что тогда называли «классиком». Вигель пишет о нем: «Лагарп был его законодатель; и тут являлось его правоверие: реализм был его политической, а классики — литературною верой» (Вигель, «Записки», т. 2, М., 1892, стр. 48). Характерно, что, состоя членом Арзамаса, Блудов одновременно посещал чтения в «Беседе любителей российской словесности». С Арзамасом его объединяла общая позиция в вопросах европеизации языка. Пушкин резко нападал на весьма консервативную эстетику Блудова (французский классицизм). Он писал Ж. по поводу вышедшего С, III (в конце мая — начале июня 1825 г.): «Ничего не говорил я тебе о твоих стихотв. Зачем слушаешься ты *Маркиза* ⟨курсив мой.—*Ц. В.*⟩ Блудова? Пора бы тебе удостовериться в односторонности его вкуса. К тому же не вижу в нем

и бескорыстной любви к твоей славе. Выбрасывая, уничтожая самовластно, он не исключил из Собрания *Послания к нему*, произведения, конечно, слабого. Нет, Ж.

Веселого пути
Я Блудову желаю
Ко древнему Дунаю
И... его...»

Однако отрицательная оценка Пушкиным послания объясняется не столько недостатками этого произведения Ж., сколько враждебным отношением Пушкина к Блудову. Мало того, это послание в свое время оказало несомненное влияние на лицейскую лирику Пушкина, а стихи о Людмиле, пишущей ночью письмо любимому, быть может, предвосхищают стихи о Татьяне, пишущей письмо Онегину.

Стрела ужасной Гелы. Гела — в скандинавской мифологии — богиня смерти. *Дий* (миф.) — Зевс. *Абеон* (миф.) — бог-хранитель отъезжающих *Адеон* (миф.) — бог-хранитель возвращающихся. *С утраченным Филоном* — вероятно, Андреем Тургеневым (см. примеч. к «Вечеру»).

К Батюшкову — май 1812. ВЕ, 1813, май, стр. 32, с подзаголовком: «В мае 1812», за подписью: В. Ж., и С, I — V. В С, I—III датировано 1811 г., в С, V—1810 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 96) и список рукой А. А. Протасовой (№ 1895/196), озаглавленный: «К Батюшкову (1811 года)». Список этот сделан для П. А. Вяземского и содержит на полях критические замечания Вяземского и исправления, которые Ж. внес, руководствуясь этими замечаниями. Рук. С-Б (стр. 1086), без заглавия.

«К Батюшкову» — ответ на стихи К. Н. Батюшкова (1787—1855) «Мои Пенаты. Послание к Ж[уковскому] и В[яземскому]». Батюшков написал свое послание в 1811 г., но доработал его в 1812 г. и 12 апр. 1812 г. послал его Ж. (см. РА, 1875, кн. 3, стр. 348). Ж. счел нужным согласовать свой ответ со вторым адресатом послания Батюшкова — П. А. Вяземским. На присланной ему рук. П. А. Вяземский сделал ряд записей. При стихе: «Укромный домик твой» Ж. приписал для Батюшкова: «Не видавши твоего дома, я описал свой». Под этим Вяземский: «И очень дурно сделал, потому что у Батюшкова описание своего жилища, а в послании к Пенатам нимало не сходствует с твоим; а хозяину, кажется, скорее поверят. Притом же Батюшков признается, что обитель его ничуть не завидна, а ты делаешь его владельцем прекрасной дачи. Стихи прекрасны, но вовсе не у места». Стих: «Но ах, пленен небесным» исправлен на: «И восхищен небесным» (поправка эта в Собр. соч. не вошла). Против стиха: «Туда непосвященной» Ж. написал «непросвещенной» (поправка эта в Собр. соч. не вошла). Рядом со стихами: «В потоке том журчит Гармония Наяды» приписка Вяземского: «Я этого не понимаю». Ж. исправил здесь же на:

В источнике журчит
Там пение наяды;

(в Собр. соч. эта поправка не вошла). Против стихов: «И ты в мечтах жилец Сего блаженных мира!» приписка Вяземского: «В сих двух стихах слова кажется слишком разбиты». Ж. зачеркнул «Сего

блаженных» и написал: «Таинственного». Против ряда стихов от стиха: «Погибнет то, что мило» рукой Вяземского: «Прекрасно! прекрасно!» Против стиха: «Преступник раздробленный» — рукою Вяземского: «Неприятная картина». Далее Вяземский подчеркивает рифму *глас* и *зажглась*, очевидно вследствие неблагозвучия (иного произношения возвратного глагола). Против стихов: «И дочери стыдливой Заботливая мать Гармонии игривой Сама велит внимать» Вяземский приписал: «Сие подражание известному французскому стиху ⟨ А. Пирона — *Ц. В.*⟩ кажется мне некстати. Парни верно один из счастливейших поэтов, а однако ж заботливая мать дочери своей читать его запретит». В стихах: «И в шуме ветерка И в тихом горлиц пеньи» Вяземский подчеркнул слово: горлиц и написал: «Что хочешь, только не горлиц, я ничего томнее их не знаю». В рук. Ж. не сделал поправки, но в печати эти стихи читаются: «И в тихом ветерка Вдоль рощи трепетанье». Против стиха: «Невозвратимых теней!..» — приписка Вяземского: «Это место прекрасно!». Против стихов: «Он мир свой оградил Забором огорода» — приписка Вяземского: «Сколь предыдущие 4 стиха хороши, столь эти два дурны». Против стиха: «Прелестниц записных» Вяземский приписал: «Зачем мешаешься ты не в свое дело. Записные прелестницы относятся к моей части. Прошу их оставить в покое. С нами бог!» Против стихов: «И запах ароматный Пленительных кудрей Во грудь твою льётся» — Вяземский: «Как ни сказано пиитически, а всё-таки помада». Против стиха: «И веровать святым» — приписка Вяземского: «Как будто мученикам!» Ж. исправил на: «Покорствовать святым». В печатных изданиях: «И следовать святым». Против стиха (и предыдущих): «При сладостных лучах» — приписка Вяземского: «В этом отрывке на каждом стихе должно восклицать: прекрасно! прекрасно! (разумеется в предыдущем)». Затем написана Вяземским общая характеристика послания: «Теперь скажу тебе вообще мнение мое об твоем послании. Оно отрывками прекрасно; в целом нахожу я некоторые погрешности. Во-первых, оно не есть ответ на Батюшково послание, которое всё наполнено сладострастьем, эпикуреизмом, негой. Твое есть послание строгого моралиста, не позволяющего даже иметь я записных красавиц. Сличая оба послания, скажешь тотчас: любезные поэты верно часто видаться не будут! Ж. никогда не может привыкнуть к житию Батюшкова. Пока сей последний будет выходить к калитке навстречу к своей пастушке, первый станет рассуждать о платонической любви, и оба будут удивляться друг другом. Наконец, послание твое немного длинновато; есть излишности, как, например, описание Батюшкова жилища». Под этим Ж. написал, вероятно уже для Батюшкова: «Я ничего не поправил по этим заметкам, из которых некоторые, замеченные критиком, справедливы. Поправь ты, если хочешь». Поправки Ж., таким образом, либо внесены им после того, как рукопись вторично к нему вернулась, или же он, снова пересмотрев рукопись перед отправкой, сделал ряд исправлений.

С Батюшковым Ж. познакомился в 1809 г. (см. РА, 1901, кн. 3, стр. 253). Дружескому сближению поэтов способствовала и близость их литературных позиций.

Послания и Батюшкова и Ж. входят в тот цикл дружеских посланий, которые в начале 10-х гг. получают среди карамзи-

нистов широкое распространение. Карамзинисты культивировали в эти годы жанр посланий, широко используя его и для литературной борьбы с противниками и для формулирования своей литературной программы.

Послание Ж. «К Батюшкову» основано на ряде литературных источников. Так, 50 стихов от стиха: «Ты помнишь ли преданье?» и кончая стихом: «Ты презришь мир земной» — пересказ стих. Шиллера «Die Teilung der Erde» (Раздел земли). Стихи, посвященные мечтаньям о возлюбленной, восходят к стих. барона Исаака фон Геринга «Chloe an Amyntas». Образ богини Фантазии заимствован из переведенного Ж. стих. Гете «Meine Göttin» — «Моя богиня» (ср. Ив. Галюн, стр. 1—9). Послание Ж. «К Батюшкову» в свое время пользовалось большой популярностью и оказало влияние на характер лицейских посланий А. Пушкина.

Кроме этого послания, Ж. принадлежит надпись к портрету Батюшкова. После того как Батюшков написал четверостишие для объявленного М. Каченовским в ВЕ конкурса на стихи к портрету Ж. (это четверостишие Батюшкова напечатано было как подпись к портрету Ж., помещенному в начале С, II), Ж. ответил такими же стихами к портрету Батюшкова:

> Певец любви, отважный воин.
> С ним дружен бог войны, с ним дружен Аполлон!
> По дарованию достоин славы он,
> По сердцу счастия достоин, —

датируемыми предположительно авг. 1819 г. Ср. рук. ГПБ (Б № 29, л. 21). Когда в начале 1820-х гг. у Батюшкова обнаружилось душевное заболевание, Ж. принял в поэте участие и сам отвез его в Дерпт (выехал 6 мая 1824 г. и вернулся в СПб. в июне), передав Батюшкова там психиатру на попечение.

Сильван — один из лесных богов. *Над гробом милых благ* — намек на свое чувство к М. А. Протасовой (также и дальше все намеки носят автобиографический характер). *Лаисы* — имена известных греческих гетер.

Тургеневу в ответ на его письмо — 1-я половина сент. 1813. С, I—V. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 121). Здесь ст. 133—136 иначе читаются (см. стр. 457) и (№ 26, л. 1) — конец послания от стиха: «Неси ж туда, где наш отец и брат».

2 сент. 1813 г. Ж. писал А. И. Тургеневу: «Я получил твои два милые письма, брат и друг, и начал отвечать на них стихами: низкая проза их не стоит. Думаю, что на будущей почте отправлю к тебе мое послание» (ПкТ, стр. 103). Послание было написано в течение 1-й половины сент. 1813 г.

В сент. 1813 г. из Муратова Ж. писал А. Ф. Воейкову: «Я получил ⟨твое письмо⟩ в то время, когда писал к Тургеневу послание, касающееся и до тебя, ибо в нем говорится о прошлом времени, о нашем лучшем времени; я доставлю его и к тебе, ибо ты имеешь на него такое же право, как и Тургенев. Ты один из действующих лиц той прекрасной комедии, которую мы играли во время оно и которая называется *счастие*. Многие из актеров сошли со сцены, а для остальных пиеса кончилась; они разделись, устали и просят, чтобы их скорее отпустили по домам» (РА, 1900, кн. III, стр. 16). Самое начало послания: «Друг, отчего печален голос твой» имеет

в виду ту душевную меланхолию, в которую впал А. И. Тургенев еще в 1803 г., после смерти своего брата Андрея (см. В. Истрин, «Из архива бр. Тургеневых. Смерть Андрея Ив. Тургенева», ЖМНПр, 1910, март, стр. 26), и которая усугубилась смертью отца (И. П. Тургенев умер в 1807 г.). Об этом горе А. И. Тургенева Ж. и говорит в своем послании. Получив от Ж. стихи, А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому в окт. 1813 г.: «Сию минуту получил я его ⟨Ж.⟩ послание ко мне, в ответ на мое письмо к нему. Превосходно! Боюсь напечатать его, ибо из его стихов узнают тайну души моей, которая от Ж. не была скрыта» (ОА, I, стр. 16).

Исчезло всё — и сад, и ветхий дом, где мы в осенний хлад и т. д. — здесь говорится о собраниях «Дружеского литер. общества». «Дом и сад» — дом, в котором жил Воейков в Москве, на Девичьем поле («поддевичеспий дом»). *Один исчез из области земной* — Андрей Иванович Тургенев. *Другой... старик...* — Иван Петрович Тургенев.

К Воейкову («Добро пожаловать, певец») — 29 янв. 1814. ВЕ, 1814, март, стр. 97, под заглавием «Послание к Воейкову» с пометой: «29 января 1814», и С, I—V. В С, I—III отнесено к 1814, в С, V — к 1813 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 134). В ВЕ — ряд стихов, впоследствии Ж. опущенных. Так, после стиха: «Владимир князь с богатырями» идет стих: «Вот темны Муромски леса». Вместо стиха: «Мой падший гений оживил» — ряд стихов (см. их на стр. 458). В ВЕ к ряду стихов Ж. сделал примечания. К стиху: «И вот пошли в усопших сени»: «у Евангелических *братьев* заутреню светлого Христова воскресения служат на кладбище». К стиху: «И Чечереец, и Шапсук» — «Народы, обитающие в Кавказских горах, по большей части магометане». К стиху: «Друг, оглянись... еще нет брата» — «Поэт говорит здесь об незабвенном Андрее Сергеевиче Кайсарове, убитом в сражении с французами, в мае 1813 года». К стиху: «Весь сокровенный жребий мой?» — «Это место темно для тех, кто не читал сих осьми стихов, написанных на белой книге, в которой будет твориться Русская Поэма вроде Виландова Оберона».

«К Воейкову» написано в ответ на «Послание к Жуковскому из Сарепты 1813 г.» А. Ф. Воейкова, товарища Ж. по Университетскому Пансиону (напечатанное в ВЕ, 1813, март, стр. 26, под заглавием «К Ж. (Ты, который с равной легкостью)», с датою «7 янв. 1813»).

В 1812 г. Воейков вступил в армию, но вышел в отставку после изгнания французов из России. В 1813 г. он предпринял большое путешествие по югу России, был в Сарепте, на Сев. Кавказе, на Дону (на реке Цымле, при впадении ее в Дон, расположена станица Цымлянская, местожительство атамана донских казаков М. И. Платова (1751—1818) — см. о нем в «Певце во стане...». Цымлянская известна своим вином: «Цымлянским»). В конце 1813 г. Воейков возвратился из путешествия и приехал в Муратово. Здесь Ж. познакомил его с семьей Протасовых. Воейков решил жениться на А. А. Протасовой (Саше, Светлане). Для этой цели он разыграл следующую комедию. Явился к Протасовым в слезах и трауре, со словами, что он несчастнейший человек в мире, что у него умер единственный брат, оставив его наследником. «У меня теперь 2000 душ, а я беднейший человек в мире!» 2000 душ произвели впечатление на Е. А. Протасову. Воейков быстро разобрался в психологиче-

ских взаимоотношениях муратовского кружка и вписал в альбом Ж. 8 стихов (см. у Ж. «И кто, скажи мне, научил» и т. д.), в которых дал понять Ж., что он вполне сочувствует планам Ж. жениться на М. А. Протасовой. Очевидно и А. А. Протасовой он внушил надежду, что ему удастся устроить судьбу Ж. Видимо, желание устроить счастье сестры и Ж. было одним из мотивов, побудивших А. Протасову принять предложение Воейкова (она вышла за него замуж 14 июля 1814 г.). Вскоре, однако, двуличие Воейкова проявилось и привело к изгнанию Ж. из Муратова. История о 2000 душ оказалась мифом. Ж. выхлопотал Воейкову (в 1814 г.) место профессора в Дерпте, куда тот и переехал с Протасовыми. В Дерпте Воейков проявил себя самым скандальным образом. Распутничал, пьянствовал со студентами, писал доносы на профессоров. За последнее, после публичного скандала в 1820 г., он был выгнан из университета.

Его приставания у себя дома к М. А. Протасовой были одной из причин, побудивших ее выйти замуж за И. Ф. Мейера. Ж., после изгнания Воейкова из университета, помог ему переехать с семьей в Петербург и устроиться в качестве издателя. В литературе Воейков прославился журнальными дрязгами и сатирой «Дом сумасшедших», в которой Ж. была посвящена следующая строфа (см. РС, 1874, т. 9, стр. 591):

Вот Жуковский: в саван длинный
    Скутан, лапочки крестом;
Ноги вытянувши чинно,
    Чорта дразнит языком;
Видеть ведьм воображает:
    То глазком им подмигнет;
То кадит, и отпевает,
    И трезвонит, и ревет.

Завися от Ж., Воейков принужден был примириться с вмешательством Ж. в свою семейную жизнь, имевшим целью оградить Светлану от грубостей мужа. Отношение Воейкова к Ж. хорошо характеризует запись, сделанная Воейковым в дневнике «Мои поденные заметки»: «Жду с надеждою, а больше со страхом Жуковского. Что могу я ожидать от глупца, который живет в эфире, который погубил собственное счастье, исполняя волю Ек. Афан., сошедшей с ума на слезах, ложной чувствительности и пожертвованиях?» (Е. Колбасин, «Лит. деятели прежнего времени», СПб., 1859, стр. 279). Таким образом, уже к середине 1814 г. личность Воейкова начинает для Ж. обрисовываться отчетливо. «К Воейкову» написано еще в то время, когда Ж. полон был относительно Воейкова всяческих иллюзий. Впоследствии, перепечатывая послание, Ж. убрал приметы особенной дружественности, исправив стих «Признаться ль друг?.. Смотрю с тоской» на «Признаться ли?.. Смотрю с тоской» (и др.).

В послании Воейкова к Ж. были изложены те представления о стоящей перед Ж. поэтической задаче, которые характеризовали надежды, возлагаемые на Ж. близкими ему литературными кругами. От Ж. ожидали народного произведения в *русском* духе, аналогичного западноевропейским героическим поэмам, ожидали, что он напишет героическую поэму из времен киевского князя Владимира,

которого трактовали как русского Карла Великого, требовали от Ж. обращения к сюжетам из исторического прошлого России. Воейков в своем послании и изложил эти ожидания, предлагая:

> ...Соверши двенадцать подвигов;
> Напиши четыре части дня,
> Напиши четыре времени,
> Напиши четыре повести
> В русском вкусе стихотворные,
> Будь наш Виланд, Ариост, Баян!
> Нам предметов не заимствовать
> И за словом не за море плыть!
> На Руси был свой Великий Карл,
> Князь Владимир солнце светлое... *и т. д.*

Ответное послание Ж. при своем появлении в печати имело огромный успех. Впоследствии Кюхельбекер (см. вступ. статью) назвал его в числе немногих стихов Ж., отмеченных подлинной народностью. Ж., на первых порах, даже пришлось защищать свое право на конкретность и силу реалистических описаний, характеризующую стихи послания, от своих друзей карамзинистов. В марте 1814 г. он писал А. И. Тургеневу: «Критика твоя на *горшок* кажется мне несправедлива; я не стою за красоту стихов своих, но здесь эта черта характерная — она изображает *обычай* народа; уж это одно делает благородным слово горшок; сверх того оно прикрашено эпитетом *братский*» (ПкТ, стр. 106). «Народность» этого послания Ж. была основана на представлениях сказочной литературы XVIII в. Все мифологические имена (Добрыня, Златокопыт, Зилант, Полкан, Дубыня) взяты из «Русских сказок» Левшина из цикла «Повесть о дворянине Заолешанине, богатыре, служившем князю Владимиру» (см. в этом цикле «Повесть о коне Златокопыте и о мече Самосеке»). Особенно новы в послании были стихи, посвященные картинам Кавказа, в которых Ж. отталкивался от стихов о Кавказе «Оды к гр. Зубову» Державина. Картины Кавказа в этом послании Ж. оказали влияние на русские кавказские поэмы 20-х гг. XIX в., начиная с «Кавказского пленника» Пушкина, в примечании к которому Пушкин приводил, очень высоко их оценив, стихи о Кавказе из этого послания Ж. Можно сказать, что это послание Ж. является истоком всей романтизации Кавказа в русской поэзии XIX в. Е. Вейденбаум в статье «Кавказ в русской поэзии» (газ. «Кавказ», 1898, № 185, Тифлис) пишет, что в «Послании к Воейкову»... «уже настоящий кавказский ландшафт... но... писанный все еще не с натуры, а по рассказам, так как в нем заключается топографическая неточность: Эльбрус не виден с берегов Терека... некоторые названия: камукинец, чечереец совершенно неизвестны в этнографической номенклатуре Кавказа».

Певец тибурский — римский поэт Квинт Гораций Флакк, которому принадлежало имение в Тибуре, в Италии.

К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину — 16 окт. 1814. «Российский Музеум», 1815, ч. 2, № 6, стр. 257, под заглавием: «Послание к Вяземскому и Пушкину», и С, I—V. Рук. в Лит. музее в Москве, в тетради, озаглавленной «Долбинские стихотворения». Перед черновым текстом Ж. написал прозаический конспект

послания (см. С, IX, т. I, стр. 529). Первоначально послание начиналось стихами:

Ты, Вяземский, прямой поэт!
Ты, Пушкин, стихотворец — горе!

«И не подумайте, — писал П. А. Вяземский, — чтобы заключался тут эпиграмматический намек и умысел. Ему ⟨Ж.⟩ только хотелось попенять Пушкину за то, что он жалуется на зависть и завистников, что он скорбит и хнычет; а меня похвалить за то, что я не унываю, сам вступаю с завистниками в рукопашный бой и смело огрызываюсь. В детском простосердечии ему и не приходило в догадку, что Пушкин мог обидеться. Насилу уговорил я его переменить стих, которым насмешники могли бы заклеймить нашего доброго приятеля» (П. А. Вяземский, «Объяснения к письмам Жуковского» — РА, 1866, стр. 877).

Послание Ж. было вызвано стихотворной дискуссией, открытой посланием к нему В. Л. Пушкина («Цветник», 1810, дек., стр. 357, за подписью: В. П.), в котором В. Л. Пушкин жаловался на нападки антикарамзинистов:

...Я вижу весь собор безграмотных славян,
Которыми здесь вкус к изящному попран,
Против меня теперь рыкающий ужасно!
И дружно вопиет наш Балдус велегласно:
«О братие мои, зову на помощь вас!
Ударим на него и первый буду аз.
...И аще смеет кто Карамзина хвалить,
Наш долг, о людие! злодея истребить!» *и т. д.*

Кроме того В. Л. Пушкин написал послание к П. А. Вяземскому, в котором жаловался на ту же вражду шишковистов, жаловался, что Карамзина не оценили, что Озеров сделался жертвой завистников и врагов («Российский Музеум», 1815, ч. 1, № 2, стр. 135). В ответ в следующем номере (ч. 1, № 3, стр. 261) Вяземский напечатал «Ответ на послание Василию Львовичу Пушкину». Соглашаясь с Пушкиным, Вяземский предлагал презирать завистников, учиться жизненному поведению у Карамзина и ограничить себя небольшим кружком избранных друзей. Послание Ж. также входит в этот цикл. Кроме напечатанного в «Российском Музеуме», Ж. написал Вяземскому и Пушкину еще два послания (опубликованы П. А. Вяземским в РА, 1866, стр. 863). Одно из них представляет собой разбор и критику в стихах послания В. Л. Пушкина и, затем, П. А. Вяземского, а другое — поэтическое резюме стихотворной дискуссии. Все три послания Ж. датировал октябрем 1814 г. В печатаемом первом из этих посланий Ж. также говорит о нападках завистников, разумея здесь группу «Беседы». Он также поддерживает обвинение, которое в эти годы выдвигалось против Шаховского, приписывавшее интригам Шаховского неуспех трагедии В. А. Озерова (1769—1816) «Поликсена», неуспех, вызвавший вслед затем его (Озерова) помешательство и смерть (ср. РА, 1869, стр. 2041). Шаховской был обижен и впоследствии ответил Ж. пасквильной фигурой Фиалкина в «Липецких водах». Озеров у Ж. назван автором «Дмитрия» («Дмитрий Донской» Озерова — трагедия, восторженно встреченная публикой).

Мемнон (миф.) — царь эфиоплян, герой киклической поэмы «Эфиопида», продолжавшей «Илиаду». Статуя Мемнона, близ Фив в Египте (в действительности это статуя не Мемнона, а египетского фараона Аменхотепа III), издавала на рассвете жалобный звук; это явление, вызываемое тем, что песчаные пласты раздвигались от влияния теплоты, повело к созданию мифа, что живущая в камнях душа Мемнона приветствует свою мать зарю. Впоследствии император Септимий Север приказал реставрировать статую, но тогда чудесное явление прекратилось. Самую аналогию — поэт — Мемнон, как показал П. Н. Сакулин, Ж. заимствовал из фрагментов Новалиса (см. П. Н. Сакулин, «Взгляд В. А. Жуковского на поэзию», «Вестник Воспитания», 1902, № 5, стр. 86). См. эту же параллель в стихах Ж. того же 1814 г., в ранней редакции послания к Воейкову (стр. 458). *Моина* — героиня трагедии Озерова «Фингал». *Обвитый розами скелет* — см. примеч. к «Ответу Вяземскому на его стихи: Воспоминание» и к «Песне» («Отымает наши радости»).

К князю Вяземскому («Нам славить древность Амфиона») — 7 ноября 1814. «Российский Музеум», 1815, ч. 3, № 9, стр. 253, под заглавием: «К Вяземскому» и с пометой: «1814, ноября 7», и С, I—V. В РП отнесено в отдел «Послания». Рук. в ГПБ (Б № 78, л. 39) — наброски плана послания и (№ 26, л. 9) — список рукою А. А. Воейковой. Поводом для написания этого стихотворения послужило следующее обстоятельство: муж единокровной сестры Ж., В. А. Юшковой (урожд. Буниной), имел в Москве дом в Пречистенской части, в Мертвом переулке, в приходе Успения на Могильцах, который В. А. Юшкова потом продала некоему А. И. Муханову (см. «Жизнь и труды Погодина», т. 10, стр. 187), В 1812 г. весь этот квартал выгорел. Известный Юшковым священник этого прихода умер в бедности, оставив жену и трех дочерей. Старшей уже минуло 15 лет, а меньшая была еще грудным младенцем. Для старшей нашелся жених, но не было приданого. Собрали подписку. Ж. был тогда в деревне у А. П. Киреевской; ему нечего было дать бедным; он написал послание к П. А. Вяземскому, и тот прислал 300 руб. ассигнациями (см. «Москвитянин», 1852, т. V, № 18, стр. 125).

Амфион (миф.) — древнейший греческий музыкант, сын Зевса. Обаяние его игры было столь неотразимо, что, когда он захотел окружить город Фивы стеною, то начал играть на лире, и камни, плененные его игрою, сами стали складываться в стену вокруг города.

Государыне в. кн. Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича — 20 апр. 1818. Двумя отдельными брошюрами, под заглавием: «Ее и. в. г. в. кн. Александре Федоровне», в 1818 г. в Москве: 1-я — в типографии Медико-хирург. академии и 2-я — в типогр. С. Селивановского (ц. д. в обеих брошюрах: 7 мая 1818), и С, III—V. Под текстом в обоих изданиях дата: «апреля 20 дня 1818». Стихи написаны на рождение 17 апр. 1818 г. в. кн. Александра Николаевича (впоследствии Александра II) и адресованы к его матери. Поэтическая максима: «Да на чреде высокой не забудет святейшего из званий: человек» — восходит к стихам поэта Василия Петрова «Путешествие его имп. высоч. Константина Павловича 1799 г.»: «Средь почестей

я хвал В душе твоей вовек Пребудет впечатленно, Пребудет живо и нетленно Всех выше титло, *Человек*» (см. ПКТУ, № 22080), являвшимся в свою очередь пересказом четырех стихов из оды Державина «На рождение на Севере порфирородного отрока» (1779): «Но последний ⟨гений⟩ добродетель Зарождаючи в нем, рек: Будь страстей твоих владетель, Будь на троне человек!» Хотя послание Ж. формально восходит к жанру одических стихотворений, по существу оно связано с мироощущением мистико-романтического психологизма, с лирической манерой описания и той мистико-романтической философией жизни, которая проходит в ряде других стихов Ж. 1818—1820 гг.

Подробный отчет о луне — 10 июня 1820. Отдельным изданием под заглавием: «Подробный отчет о луне, представленный ее имп. велич. гос. имп. Марии Федоровне 1820 июня 18, в Павловске», СПб., 1820 (ц. д. 22 июня 1820), с примеч. Ж.: «Прекрасная лунная ночь в Павловске подала повод написать это послание. Гос. имп-це угодно было дать заметить поэту красоту этой ночи, и он, исчислив разные прежде им сделанные описания луны, признается в стихах своих, что ни которая из этих описанных лун не была столь прекрасна, как та, которая в ту ночь освещала Павловские рощи и воды. В. Ж.»; и С, III—V. В РП отнесено в отдел «Послания». Рук. в ГПБ (Б № 29, л. 43), без заглавия. Датировано: «10 июня 1820 г.». Тем самым отпадает утверждение К. Зейдлица (II, стр. 116), что произведение написано в 1819 г. и только представлено Марии Федоровне 18 июля 1820 г. Ранняя редакция отличается от окончательной мелкими стилистическими разночтениями.

А. С. Гангеблов пишет в своих воспоминаниях: «В один тихий, ясный вечер, когда встали из-за ужина (а любопытных у дверей уже не было), Мария Федоровна вышла на террасу и, полюбовавшись несколько минут луною, велела бывшему при ней камер-пажу А. Ростовцеву вызвать к ней из залы Ж. «Не знаете, зачем?» — спросил Ж., поднимаясь с места. «Не знаю наверно, — отвечал тот, — а знаю, что что-то о луне!» — «Ох уж мне эта луна!» — заметил поэт. Плодом этой довольно долгой созерцательной беседы поэта с царицей был *Подробный отчет о луне*» (РА, 1886, кн. 3, стр. 196). «Подр. отчет о луне» написан в 1820 г. За год до того, в 1819 г., Ж. написал «Отчет о Павловской луне». П. Ефремов указывает (в С, IX, т. 2, стр. 552, в примеч. к этому первому отчету), что «вероятно было прочитано стихотворение Нелединского-Мелецкого «В Павловской ферме 1810 г.». Велено было написать стихи на сиявшую тогда луну». Своим первым отчетом Ж. был недоволен. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому 23 июля 1819 г.: «Рапорт ⟨Ж.⟩ государыне о Павловской луне, в шутовском тоне, — прекрасный; но лучшие стихи выпустил, опасаясь длинностей» (ОА, I, стр. 271; см. также письмо от 30 июля, на стр. 276). Этот первый отчет Ж. в Собр. соч. не перепечатывал. Узнав, что А. И. Тургенев хочет напечатать этот первый «Отчет», Ж. писал ему 2 окт. 1820 г.: «Пачканья о луне не печатай особенно» (ПкТ, стр. 192). Однако Тургенев напечатал этот «Отчет» в СО, 1821 г., ч. 67, № 1, стр. 21. Впоследствии В. Кюхельбекер назвал этот «Отчет» «мозаичною работой: но в этой мозаике есть и чистое золото» (РС, 1883, т. 99, стр. 120). В том же СО несколько раньше (1820,

ч. 63, № 30, стр. 178) была напечатана хвалебная рецензия на отдельное издание «Подр. отчета», которая по существу представляла перепечатку больших отрывков, перемежаемую пересказом.

Произведенное Ж. в «Подр. отчете» сравнительное описание пейзажа своих баллад и элегий дает возможность прояснить общие принципы поэтики пейзажа в его творчестве. От стиха: «Когда с усопшим на коне» — описание пейзажа из баллады «Людмила». От стиха: «Когда в санях с *Светланой* мчался» — из баллады «Светлана». От стиха: «Я помню: рыцарь *Адельстан*» — из баллады «Адельстан». От стиха: «Пловец неведомый с *Варвиком*» — из баллады «Варвик». От стиха: «Когда ж неведомая сила» — из баллады «Двенадцать спящих дев». От стиха: «Еще воспета была мною» — из «Певца во стане...». Следует отметить, что стих «Певец, по слуху знавший бой» в ранней редакции читался: «певец, во сне лишь знавший бой». Окончательная редакция точнее характеризует участие Ж. в Бородинском сражении (см. «Певец во стане...»). От стиха: «Картин луны: то над гробами» — из элегии «Сельское кладбище». От стиха: «То вдруг как в дыме без лучей» — из баллады «Эолова арфа». От стиха: «То вдруг на *взморье* — где волна» — из послания гр. С. А. Самойловой («Графиня, признаюсь, большой беды в том нет»).

К Ив. Ив. Дмитриеву — 16 окт. 1831. «Северные Цветы на 1832 г.», стр. 11, под заглавием: «Ответ Ивану Ивановичу Дмитриеву», и С, IV—V. В С, IV—V печаталось в отделе «Смесь». В PII отнесено в отдел «Послания». Рук. в ГПБ (собр. Ж. — Плетнева, № г, л. 5) — после 5 сент. В перечне стихотворений 1831 г. Ж. отнес к 16 окт. (Б № 35, л. 8). В сент. 1831 г. Ж. послал И. И. Дмитриеву свои стихи на взятие Варшавы. Дмитриев отвечал посланием: «Василию Андреевичу Жуковскому, по случаю получения от него двух стихотворений на взятие Варшавы» («Была пора: питомец русской славы»). В своих стихах Дмитриев говорит о том, что его время миновало: «Пришла пора: увянул, стал безгласен...» (напеч. в той же книжке «Северных Цветов», что и вызванное этими стихами ответное послание Ж.). Ж. отвечал 16 окт. 1831 г. стихами и письмом: «Милостивый государь Иван Иванович. Ваши стихи расшевелили всю мою душу: примите мою искреннюю благодарность за то чувство, которое вы во мне пробудили. *Жуковский, дай мне руку*: в этих словах, сказанных мне Дмитриевым, так много магического; они мне кажутся подписью всей прошедшей моей жизни, в лучших годах которой Дмитриев и Карамзин играют такую светлую роль. Как весело подать вам руку в такую минуту, когда слава отечества опять вспыхнула ярким светом... Ваши стихи, коими вы меня так обрадовали, свежи, как все ваши прежние? Что мне отвечать на них? Нет, не прошла, певец наш вечно юный...» (РА, 1866, стр. 1634). Прилагаемая к письму редакция послания отличается от окончательной. Здесь 4 и 5 строфы читаются иначе (см. стр. 458).

Послание это точно выражает отношение Ж. к Дмитриеву. Ж. считал И. И. Дмитриева одним из своих литературных учителей. 11 февр. (или дек.) 1823 г. Ж. писал ему: «Ваши стихи *Размышление по случаю грома*, переведенные из Гете, были первые, выученные мною наизусть в русском классе, и первые же мною написанные

стихи (без соблюдения стоп) были их подражанием... Вы мой учитель в поэзии. Не назову себя вашим достойным учеником, но имею право благодарить вас за то, что вы способствовали мне познакомиться с живыми наслаждениями поэзии» (РА, 1866, стр. 1632). Эти слова могут служить комментарием к стихам послания: «Тогда, явясь, сорвал передо мною покров с поэзии поэт». Как установила Е. Н. Купреянова, поэзия Дмитриева действительно оказала влияние на поэзию Ж.; у Дмитриева предвосхищены элегические интонации медитативной лирики Ж. (см., напр., финал басни Дмитриева «Два голубя»). В. Резанов (в. 1, стр. 11) отметил также, что влияние Дмитриева заметно у Ж. в сентиментально-идиллических песенках — «не совсем удачных попытках подражать народной лирике» (напр., в стих. «Майское утро»). Ж. ценил Дмитриева прежде всего как представителя «карамзинского духа», как друга и ближайшего сподвижника Карамзина. «Вы останетесь для меня, — писал Ж. Дмитриеву, 19 февраля 1834 г., — на всю мою жизнь второю ипостасью нашего незабвенного Николая Михайловича» (РА, 1866, стр. 1638). Вот почему в послании к Дмитриеву Ж. пишет о могиле Карамзина. Для Ж. имя Карамзина было «второю религиею». «Можно сказать, — писал он 18 февр. 1816 г., — что у меня в душе есть особенно хорошее свойство, которое называется *Карамзиным*: тут соединено всё, что во мне есть доброго и лучшего» (С, VII, т. 6, стр. 426). После смерти Н. М. Карамзина Ж. писал в июле 1826 г. к овдовевшей Е. А. Карамзиной: «Когда я его покидал, я чувствовал, что это навсегда. Я не смел с ним проститься. Я счастлив, что мог поцеловать его руку. Это было безмолвным выражением всей моей благодарности за то, что был он для меня в жизни. И кто мог быть более? Лучшее мое чувство, чистое и высокое, как религия, была моя к нему привязанность. Смерть этого чувства ни ослабить, ни изменить не может; она переменила только его имя!» (С, VII, т. 6, стр. 511). Получив стихотворное послание Ж., Дмитриев писал 21 окт. 1831 г.: «Всею душою благодарю превосходного и вместе милого и добродушного Поэта за лестные для меня звуки лиры его. Я не однажды читал милый ответ и, проходя 12 строф, право, два раза плакал» (РА, 1870, стр. 1691). [*Ты нам воспел*] *как буйные титаны*... и следующие три стиха—цитаты из стих. Дмитриева «Глас патриота», написанного на взятие Варшавы и напечатанного в 1794 г. в «Приятном и полезном препровождении времени», ч. 4, стр. 279.

СМЕСЬ

К К. М. С[оковнин]ой — дек. 1803. С, I—V. В С, V датировано 1807 г. В РП отнесено в отдел «Смесь». Рук. в ГПБ (Б № 13, л. 11) под заглавием: «К К...», датировано: «1803 году в декабре», затем все стихотворение зачеркнуто; здесь же (л. 5), в перечне непереводных стихотворений обозначено: «К К... 1803» и прибавлено затем «в декабре»; и рук. (№ 14, л. 17) «К К...» — другой список.

«К К. М. С...ой» адресовано Катерине Михайловне Соковниной (ум. в 1807 г.) — невесте Андрея Тургенева и сестре товарища Ж. по Университетскому благородному пансиону С. М. Соковнина. Когда в 1802 г. Андрей Тургенев уехал в Петербург, Ж. «вел его сердечное дело в Москве» (см. А. Н. Веселовский, стр. 78), был «передатчиком и посредником в его отношениях с Е. М. Соковниной».

После смерти Андрея Тургенева, 24 авг. 1803 г. Мерзляков писал А. И. Тургеневу: «Соковниных здесь нет, потому письмо тебе возвращается. Не можешь ли ты написать в деревню? Надо поберечь бедную». Посвящение Ж. очевидно и является одним из таких слов дружеского утешения.

Дружба — 1805. С, I—V. В С, V отнесено к 1805 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 62). Это — ранняя редакция. Другой автограф здесь же (Отчет ИПБ за 1887 г., стр. 229, № 42, стр. 62) — список рукою одной из Протасовых. Вопросы философии дружбы начали занимать внимание Ж. еще в пансионе главным образом под влиянием философии дружества, пропагандируемой масонской журналистикой, а отчасти вследствие тех идей русского вертеризма, которые в пансионе насаждал тургеневский кружок. В «Дружеском литер. обществе» вопросам дружбы и дружеского быта уделялось большое внимание. В частности, 27 февр. 1801 г. Ж. выступил здесь с речью «О дружбе» (ср. В. Истрин «Дружеское литературное общество 1801 г.» — ЖМНПр, 1910, авг., стр. 290). Ж. неоднократно обращался к вопросу о дружбе и в своих письмах, излагая свои представления о природе дружбы, о ее смысле и задачах. Так, в речи «О дружбе» он говорит: «Любовь — которую не сравню с дружбой, — любовь страсть сильная, пламенная — должна неоспоримо уступить ей!» «Дружба не боится ни злобы, ни предрассудков, никакая сила не может разлучить сердец, соединенных самой природой, ни море шумящее, ни степи непроходимые, ни гонения оскорбленного рока, — дружба и под кровом сельским всё та же чистая божественная дружба, утешительница добродетельных, гений-хранитель тружеников мира. Пифагор в разговоре о дружбе сказал: Я не один, когда со мною друг мой, однако ж нас не двое, — сильное, много значащее изречение, достойное великого философа, который произнес его» (ср. В. Резанов, в. 2, стр. 170). В письме к А. И. Тургеневу от 8 янв. 1806 г. Ж. формулирует свое понимание дружбы и указывает, какой тип дружбы необходим ему лично: «Ах, брат, нам надобно жить... возвышенным образом; но я *один* ничего не сделаю: мне необходима подпора. Я найду ее в дружбе, и в твоей дружбе... Ты должен быть согревателем моей души» (ПкТ, стр. 17, 18). Эти мысли непосредственно перекликаются со стих. «Дружба». *Перунами* — молниями.

Сафина ода — май 1806. ВЕ, 1807, март, стр. 44, за подписью: В. Ж—ий, и С, V (п). Рук. в ГПБ (Б № 13, л. 22), под заглавием: «Ода Сафы к Фаону 1806 году в Мае»; рук. (№ 14, л. 11), под заглавием: «Ода Сафы к Фаону (перевод)»; рук. (№ 15, л. 59) — редакция № 14; и (№ 12, л. 22) — черновая редакция. Печатается по ВЕ.

Перевод знаменитых стихов греческой поэтессы Сафо «Φαίνεταί μοί κῆνος ἴσος θέοισιν», многократно переводившихся во всех европейских литературах и с греческого оригинала и с известного латинского перевода Катулла «Ille mi par esse deo videtur». Однако, хотя Ж. был известен перевод стихов Сафо, сделанный Мерзляковым размером подлинника — сафической строфой, Ж. переводил не с оригинала, а с французского перевода, сделанного Буало, и с переработки перевода Буало, сделанной Делилем, укоротившим

четвертый стих каждой строфы в подражание строфе Сафо. Как и у Делиля, у Ж. каждый четвертый стих укорочен. Первоначально Ж. написал стихотворение от мужского лица (№ 12, л. 22 — см. стр. 458; ср. с русским переводом Люценко в «Приятном и полезном препровождении времени», 1896, ч. 11, стр. 320: «Перевод оды из Сафо», за подписью: Елцюкон). Затем переделал и написал стихи от имени женщины. Однако в тексте остались некоторые следы ранней (мужской) редакции: «Лежу у *милых* ног, горю огнем желанья» (в подлиннике у Буало этому соответствует: «Je tombe en de douce langueurs» — падаю в сладкой истоме). Стихотворение это могло быть истолковано как указание на чувство Ж. к М. А. Протасовой. Поэтому задача переработки — уничтожить возможность автобиографических истолкований стихотворения.

Идиллия — май 1806. ВЕ, 1807, март, стр. 44, за подписью: В. Ж-ий, и С, I—V. В С, V датировано 1805 г. В С, III в оглавлении обозначено: «Идиллия. Подражание». Рук. в ГПБ (Б № 12, 13, 14, 15): № 12, л. 22 — черновой автограф. Ст. 8 здесь первоначально написан: «Где я так счастлив был присутствием Алины!» Затем «Алины» зачеркнуто и написано «Корины» (в печатных изданиях всюду: Алины). Ст. 15 был написан: «Алина предпочла блаженству суеты». Затем «блаженству» зачеркнуто и написано «утехам» (в печатных изданиях всюду: блаженству); № 13, л. 22 — «Идиллия. 1806 году в мае» и № 14, л. 10 — список, под заглавием: «Идиллия. (С немецкого)»; № 15, л. 60 — в отделе «Смесь». Ст. 4 здесь читается: «И кудри светлые стихами украшала»

П. А. Плетнев писал Я. К. Гроту 11 марта 1841 г.: «Ж. идиллию я знаю. Помнится, это с французского перевод из Мильвуа или из Парни» («Переписка», т. 1, стр. 273). Однако (см. рук.) «Идиллия — перевод не с французского, а с немецкого. Оригиналом для нее послужила 1-я строфа стих. Шиллера: «An Minna». «Эту строфу, — говорит В. Резанов (в. 2, стр. 352), — Ж. делает второю половиною собственного стихотворения, в первой же половине дает антитезу шиллеровского образа, рисуя ту же Корину до ее переселения в столицу — простодушной сельской красавицей» (см. также Чешихин, стр. 5). Перевод строфы Шиллера — свободная обработка оригинала. Не сохранены ни размер, ни характер строфы (у Шиллера — четырехстопный хорей). Уничтожен сатирический тон стихотворения, которому у Шиллера противопоставлены заключительные три стиха, от слов «насмехаться? Сохрани меня бог»:

Höhnen? Gott bewahre mich!
Weinen will ich bittre Tränen,
Weinen, Minna! über dich.

Эпитафия лирическому поэту — 19 окт. 1806. ВЕ, 1807, июнь, стр. 279, за подписью: В. Ж-ий, и С, V (п). Рук. в ГПБ (Б № 13, л. 38), под заглавием: «Епитафия. 1806 году 19 октября»; (№ 14, л. 17); и (№ 15, л. 63); и список рукою одной из Протасовых (Отчет ИПБ за 1887 г., стр. 229, № 42, стр. 2), под заглавием: «Эпитафия лирику». В рук. (№ 13) ст. 1 первоначально был написан: «Здесь кончил век Панфил, без толку од певец» (как и в рук. № 14 и 15), затем «без толку» зачеркнуто и надписано:

«надутых» (в печати всюду: «без толку»). Рук. № 13 — очевидно последняя редакция. Эпитафия — перевод четверостишия Ж.-Б. Руссо, напечатанного в «Oeuvres poétiques de J.-B. Rousseau». «Epigrammes», I, III, № 23: «Ci gît l'auteur d'un gros livre».

Эпиграммы

«Ты драму, Фефил, написал?» — 18 окт. 1806. ВЕ, 1807, февр., стр. 263, за подписью: В. Ж-ий, и С, V (п). Рук. в ГПБ (Б № 13, л. 38, № 14, л. 16, и № 15, л. 64). Рук. № 13 — датирована: «1806, октября 18». Эпиграмма — подражание французской, напечатанной в сб.: «Elite de poésies fugitives. Londres», 1769, т. 1, стр. 110: «Epigramme» («Certain Pradon, bâtard de Melpomène...») См. (Б № 79, л. 8).

«Не знаю почему, по дружбе или так» — 25 окт. 1806. ВЕ, 1807, февр., стр. 264, за подписью: В. Ж-ий, и С, V (п). Рук. в ГПБ (Б № 13, л. 41, № 14, л. 18, и № 15, л. 64). Рук. № 13 датирована: «1806, октября 25-го». Эпиграмма — подражание эпиграме Гамбо: «Une fois l'an il me vient voir», напечатанной в «Nouvelle anthologie françoise, ou choix des epigrammes et madrigaux de tous les poëtes François depuis Marot jusqu'à ce jour». Paris; 1769, т. 2, стр. 291.

«Для Клима всё как дважды два» — 25 окт. 1806. ВЕ, 1807, февр., стр. 263, за подписью: В. Ж—ий, и С, V (п). Рук. в ГПБ (Б № 13, л. 41, № 14, л. 18 и № 15, л. 64). Рук. № 13 датирована: «1806, октября 25». Эпиграмма — подражание эпиграмме Ж.-Б. Руссо из той же антологии, что и предыдущая (т. 1, стр. 125) — «Epigramme» («Chrysologue toujours opine»).

«Трим счастия искал ползком и тихомолком» — 25 окт. 1806. ВЕ, 1807, март, стр. 116, за подписью: В. Ж—ий, и С, V (п). Рук. в ГПБ (Б № 13, л. 41, № 14, л. 18, и № 15, л. 65). Рук. № 13 датирована: «1806, октября 25-го».

Новопожалованный — 25 окт. 1806. ВЕ, 1807, янв., стр. 123, за подписью: В. Ж...й, и С, V (п). Рук. в ГПБ (Б № 13, л. 41) датирована: «1806, октября 25-го»; (№ 14, л. 18); и (№ 15, л. 65) — под заглавием «Баварский король». Направлена против курфюрста Баварии Максимилиана IV Иосифа, получившего 1 янв. 1806 г. от Наполеона титул короля, с присоединением к Баварии ряда герцогств. Новопожалованный король Максимилиан Иосиф I возглавил объединение немецких князей («Рейнский союз»), которые в акте об учреждении этого союза (12 июля 1806 г.) приняли на себя обязательство в случае войны выставить для Наполеона 30 000 солдат. *Злодей* — Наполеон Бонапарт.

«Барма, нашед Фому, чуть жива, на отходе» — 1 ноября 1806. ВЕ, 1807, янв., стр. 121, за подписью: В Ж...й, и С, V (п). Рук. в ГПБ (Б № 13, л. 50, № 14, л. 29, и № 15, л. 65). Рук. № 13 датирована: «1 ноября 1806». Печатается текст ВЕ. Эпиграмма — пересказ французской — из «Nouvelle anthologie Françoise...» (см. выше), т. 1, стр. 16. См. ее также в «Elite de

poésies fugitives», Londres, 1769, т. I, стр. 129: «Blaise voyant à l'agonie».

Расстройка семейственного согласия — 1808. ВЕ, 1808, сент., стр. 49, за подписью: Ж., и С, V (п). Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 51) и более поздний список, исправленный Ж. (Отчет ИПБ за 1887 г., стр. 229, № 42, стр. 36). Во втором списке текст кардинально переработан. Я печатаю эту окончательную редакцию. Стихотворение — разработка традиционной басенной темы (ср. басню Сумарокова «Коловратность»). Мораль басни у Ж. по всей вероятности имеет в виду Наполеона.

Моя богиня — 1809. ВЕ, 1809, сент., стр. 31, с подзаголовком: «(Подражание Гете) ◡ — ◡ ◡ — ◡ ◡», за подписью: В. Ж., и С, I — V. В С, V датировано 1809 г. В С, III—IV отнесено в отдел «Смесь». Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 94), текст, сходный с ВЕ. В ВЕ имеется ряд стихов, исключенных Ж. при перепечатках. Так, после ст. 101 следовало:

(Цветок разнолиственный,
Душистый, невянущий).

После ст. 108:

Цибелы, обильные
Дарами и жизнию...

«Моя богиня» — подражание стих. Гете из цикла «Оды и гимны»: «Meine Göttin». Ж. распространил текст (у Гете — 78 стихов, у Ж. — 151) и унифицировал ритм стихов (введя обязательное дактилическое окончание). Гетевская веселая, ветреная и беззаботная дочь Зевса Фантазия у Ж. приобрела черты сентиментально-оссиановского образа (см. Ал. Веселовский, стр. 329). Образ богини Фантазии проходит через ряд стихотворений Ж. (см. в посланиях к Батюшкову, Вяземскому и В. Л. Пушкину и др. — ср. Ив. Галюн, стр. 9).

К Делию — 1809. ВЕ, 1810, февр., стр. 188, за подписью: Ж., и С, I—V, в отделе «Смесь». В С, I—III обозначено как «Подражание Горацию». Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 60).

Свободный перевод оды III римского поэта Квинта Горация Флакка (65—8 до н. э.). Ж. переводил «К Делию» очевидно с французского прозаического подстрочника. Вероятно, он пользовался французским изданием латинского текста с прозаическим переводом, напечатанным en regard, которое было в его библиотеке (см. ПКТУ, № 6943 — «Les Poésies complètes d' Horace», traduites par Bateux et F. Geyrard, A Paris, 1803). Видимо, потому, что Ж. переводил с прозаического французского текста, он не сохранил в переводе строфической структуры подлинника (алкееву строфу).

Моя тайна — 1810. ВЕ, 1810, апр., стр. 196, без подписи. П. А. Бычков, не зная, что стихи опубликованы, опубликовал текст автографа ГПБ (Б № 14, л. 62). Эту публикацию П. Ефремов и А. С. Архангельский перепечатывали в Собр. соч. Ж. Ст. 1 в рукописной редакции читается: «Вам странно, отчего во всю я жизнь мою». Другой автограф здесь же, в ГПБ (Отчет ИПБ за 1887 г., стр. 229, № 42, стр. 62). Я печатаю текст ВЕ.

К ней — 1810—1811. «Памятник отечественных муз на 1827 год, изданный Борисом Федоровым», СПб., 1827, стр. 12, с примеч. от издателя, что стихи написаны несколько лет тому назад. Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 10) — в переплетенной тетради. Стихотворение здесь написано в две колонки. Вторая (от стиха: «Прелесть жизни твоей») — другими чернилами. Видимо, она написана впоследствии.

«К ней» — близкий перевод немецкой песни, ошибочно приписываемой Шиллеру: «Namen nennen dich nicht» (см. Загарин, стр. 119, и Чешихин, стр. 51). По свидетельству К. Зейдлица (II, стр. 47), «К ней» посвящено М. А. Протасовой и было найдено в ее портфеле после ее смерти. Стихи написаны в 1810—1811 гг. Положено на музыку Ц. Кюи (ор. 27, 1864).

К Филону — 1813. ВЕ, 1813, апр., стр. 198, за подписью: В. Ж., и С, I—V. В С, II отнесено к 1813 г., в С, V — к 1809 г. Ранняя датировка более точна. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 81); другой автограф в альбоме Н. Д. Иванчина-Писарева, дата под стихами: «1819, февр. 9 СПб» (см. СиН, кн. 10, 1905, стр. 483).

«К Филону» — перевод стих. Ф. Матиссона (см. прим. к стих. «Элизиум») «Die Grazien» (Грации). В переводе более всего изменен тон последней строфы, где Ж. заменил Тартар (темную бездну, в которой заключены низвергнутые Зевсом титаны, — царство грешников) характеристикой творческого бессилия. *Бог песнопенья* — Аполлон.

К самому себе — 1813. ВЕ, 1814, февр., стр. 286, за подписью: Ж.... Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 124) в альбоме Протасовой, среди стихов 1812 и 1813 гг. Относится ко времени, когда Ж. уже отказался от надежды на брак с М. А. Протасовой, т. е. к 1813 г.

Уединение (Отрывок) — апр. 1813. С, I—V. В С, I—III отнесено к 1813 г., в С, V — к 1810 г. А. С. Архангельский (Соч. ВАЖ, 1902) отнес к 1814 г. Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 28, и № 14, л. 133).

«Уединение» написано в 1813 г. в ответ на настойчивые приглашения друзей, после успеха «Певца во стане...», переехать в Петербург и устроиться при дворе, и послано в Петербург (при письме от конца апр. 1813 г. — см. «Москвитянин», 1852, т. 5, № 18, стр. 124). Выросший на карамзинских идеях, среди которых заметное место занимала философия идиллического уединения, Ж. с неохотой вступал на путь открывающейся ему придворной карьеры, которая, он опасался, лишит его творческой независимости.

К Тургеневу в ответ на стихи, присланные им вместо письма — 26 марта 1814. С, I—V в отделе «Смесь». Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 138): «К Тургеневу», в конце помета: «26 марта» (после стихов, датированных янв. 1814 г.). Ст. 12, выпавший, очевидно, при печатании в С, IV—V, в рук: «Оно мой лучший утешитель». Ст. 24: «О том, мой милый брат, ни слова!» Затем «мой милый брат» зачеркнуто и надписано: «о том пока, мой друг, ни слова!» Другой автограф в ПД (рук. № 102, [illegible]) в письме Ж. к А. И. Тургеневу из Муратова (с припиской В[illegible]ва).

В Муратове Воейков был в марте 1814 г. (ср. с рук. ГПБ: «26 марта»). Таким образом отпадает утверждение М. С. Боровковой-Майковой в книге «Арзамас и арзамасские протоколы»

(Л. 1933, стр. 278), что эти стихи неправильно датируются 1814 г., а «вызваны вступлением А. И. Тургенева в Арзамас 15 марта 1816 г.». Письмо Ж. написано 26 марта, после сообщения А. И. Тургенева, что митрополит Филарет, на суждение которого Ж. возлагал большие надежды, не усматривает препятствий к женитьбе Ж. на М. А. Протасовой. Посылая А. И. Тургеневу стихи, Ж. писал ему 26 марта 1814 г.: «Вот тебе ответ на твои два итальянские стиха, которых всю цену и всё значение понимаю и чувствую. Но ты от этого ничего не теряешь» (ПкТ, стр. 110). *Воспоминанием иным Плачу тебе: я вечно с ним* — воспоминанием об отце и брате А. И. Тургенева (см. прим. к «Тургеневу», стр. 491). Очевидно, Ж. предполагал, что А. И. Тургенев, удрученный горем, «презирал жизнь» и «желал смерти». Этим объясняются стихи: «Еще я жизнь не презираю» и «Одна мольба: не упреди!». Последний стих сделался крылатою фразой в кружке Ж. См., напр., в письме К. Н. Батюшкова к Ж. от 1 авг. 1819 г.: «И отсюда я следую за тобою, желая счастливого пути твоему таланту. Иди, одна мольба: не упреди!» (РА, 1884, кн. 1, стр. 233). Перевод итальянских стихов: «В твои счастливые дни вспомни обо мне».

Теон и Эсхин — 1—11 дек. 1814. ВЕ, 1815, март, стр. 27, под заглавием: «Теон и Есхин», и С, I—V. В С, IV и РП отнесено в отдел «Смесь». Написано 1—11 дек. 1814 г. Черновая рук. в собрании автографов И. Н. Розанова. В ГПБ (Б № 78, л. 41) — наброски плана «Теона и Эсхина». П. Ефремов (С, IX, т. 1, стр. 526) приводит первоначальный вариант, озаглавленный «Теон и Пилад», написанный другим размером (см. стр. 459).

П. А. Плетнев писал 20 окт. 1843 г. Я. К. Гроту: «Теон и Эсхин, если не из Шиллера, то из другого какого-нибудь немецкого поэта, не помню» («Переписка», т. 2, стр. 134). Однако источник этого стихотворения не обнаружен. Вероятнее, что стихотворение — самостоятельный пересказ общих формул сентиментально-дидактической поэзии. Формулы эти у Ж. сочетаются с фразеологией классицизма (античные имена героев и обстановка действия). Критика рассматривала «Теона и Эсхина» как программное для Ж. стихотворение, в котором выражены основные формулы его мировоззрения: мистико-романтическая философия дружбы, любви и воспоминания. *Алфей* — крупнейшая река на полуострове Пелопоннесе. *Пенаты* (римск. миф.) — домашние боги, души предков.

Смерть — окт. 1814. «Российский Музеум», 1815, ч. 3, № 8, стр. 137, и С, V (п). В перечне стихотворений, написанных с 1 окт. по 24 ноября 1814 г. (Б № 77, л. 26), помещено вторым, между «Эпитафией» и «Что такое закон». Таким образом датируется окт. 1814 г. «Смерть» — пересказ афоризма Сенеки. Впоследствии в статье «О меланхолии в жизни и в поэзии» (Соч. ВАЖ, 1902, т. 10, стр. 99) Ж. отрицательно отнесся к этой философской максиме Сенеки, считая, что она противоречит миросозерцанию христианина.

Бесполезная скромность — окт. 1814. «Российский Музеум», 1815, ч. 3, № 8, стр. 138, и С, V (п). Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 2). В перечне стихотворений, написанных с 1 окт. по 24 ноября 1814 г., помещено в начале, после «Что такое закон» и до «Послания

к Вяземскому» и «Эльвины и Эдвина» — следовательно, написано в окт. 1814 г.

«Кто слез на хлеб свой не ронял» — начало 1816. FWДН, 1818, № 2, февр., стр. 26, и С, V (п). Перевод стих. Гете «Derselbe» («Wer nie sein Brot mit Thränen ass...»). Стихотворение Гете состоит из трех строф. Третью строфу Ж. оставил непереведенной. Вероятно, Ж. перевел эти стихи из «Вильгельма Мейстера» Гете (Песня арфиста в 13-й главе. Арфист заканчивает пение второй строфой). К. Зейдлиц (II, стр. 103) указывает, что стихотворение это отражало тяжелое душевное состояние Ж., вызываемое предстоящим выходом замуж М. А. Протасовой (К. Зейдлиц, I, стр. 75).

На первое отречение от престола Бонапарте, стихи, петые на празднике... — 2-я половина марта 1816. СО, 1816, ч. 29, № 14, стр. 68, под заглавием: «Стихи, петые на празднестве Английского посла лорда Каткарта, в присутствии его имп. вел.», с примеч.: «Сей великолепный праздник дан был ныне 28 марта, в день падения и отречения Бонапартова за два года перед сим. Все генералы, участвовавшие в той знаменитой кампании, были приглашены к оному». В альманахе Вл. Измайлова «Литературный Музеум на 1827 г.» (стр. 308) напечатано под заглавием: «Стихи на случай первого отречения Бонапарта, петые на празднике, данном Английским министром лордом Каткартом», по автографу, принадлежавшему И. И. Дмитриеву. Затем — в «Славянине», 1827, т. III, стр. 503 (ц. д. 30 июня 1827). В С, V (п) озаглавлено: «Стихи, петые на празднестве Английского посла лорда Каткарта, в присутствии госуд. имп. Александра Павловича», с примеч.: «Сей великолепный праздник дан 28 марта 1816 г., в годовщину отречения императора Наполеона от престола в Фонтенебло». Рук. в ГПБ (Б № 26, л. 23), без заглавия.

Стихи Ж. написаны по просьбе английского посла (см. ОА, I, стр. 41) и характеризуются общей фразеологией, присущей публицистике александровского времени в годы борьбы с наполеоновской Францией. Ж., вообще мало ценя свои стихи, написанные на гражданские темы (по его словам, «эта дорога ему несвойственна»), мало ценил и это стихотворение и не включал его в свои Собр. соч. (см. примеч. к «Русской песне на взятие Варшавы»). Стихи Ж. оказали влияние на стихотворение Пушкина о Наполеоне. 2, 3, 5 и 6 строфы этого стихотворения Ж. Пушкин набросал по памяти, неточно, так что строфы приобрели вид черновика (ср. П. Бартенев — РА, 1866, стр. 1154, см. также «Рукою Пушкина», Academia, 1935, стр. 494). Эти строфы Анненков принял за часть стихотворения Пушкина и напечатал в т. 7 редактировавшегося им Собр. соч. Пушкина (стр. 36) как стихи Пушкина.

Овсяный кисель — окт. 1816. FWДН, 1818, № 2, февр., стр. 2 (здесь текст разбит на 4 строфы: 2-я — с 23-го стиха, 3-я — с 29-го и 4-я с 34-го), и С, III—V. В С, III отнесено в отдел «Сельские стихотворения». В РП — в отдел «Смесь». 21 окт. 1816 г. из Дерпта Ж. писал к А. И. Тургеневу: «Написал, т. е. перевел с немецкого, пиесу под титулом *Овсяной кисель;* не думай, чтоб этот кисель был для Арзамаса; нет, но надеюсь, что он покажется вкусным для

арзамасцев, хоть и не разведен на бессмыслице. Это перевод из *Гебеля*, вероятно, тебе неизвестного поэта, ибо он писал на швабском диалекте и для поселян. Но я ничего лучше не знаю! Поэзия во всем совершенстве простоты и непорочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и нам еще неизвестный род» (ПкТ, стр. 164). Перевод стих. «Das Habermuss» Иоганна-Петера Гебеля (1760—1826), немецкого народного поэта, по профессии педагога и пастора, писавшего на алеманском наречии. Его нравоучительные сельские идиллии в свое время пользовались большой популярностью и их высоко ценил Гете. Передавая «Das Habermuss», Ж. опустил три последних стиха оригинала:

Wüschet d'Löffel ab, und bett eis: Danket dem Heren —
Und iez göhnt in d'Schul, dört hangt der Oser am Simsel
Fall mer keis, gent achtig, und lehret, was menich ufgit!
Wen der wieder schömmet, sie schömmetder Zibbertli über...

и заменил осла, везущего на мельницу зерно, лошадью («Вот и Гнедко потащился»). После того как Ж. в шутку однажды назвал Гнедича — Гнедко, стих этот стал нарицательным для именования Гнедича. Переводы Ж. из Гебеля были встречены его друзьями неодобрительно. П. А. Вяземский писал о том, что переводами из Гебеля Ж. роняет себя в общественном мнении (см. ОА, II, стр. 226). Мерзляков же даже глумился над переводами Ж. из Гебеля (см. РС, 1879, т. 24, стр. 137), предпочитая идиллиям Гебеля идиллии г-жи Дезульер (русский перевод идиллий Дезульер, сделанный А. Мерзляковым, вышел в Москве, в 1807 г. — см. ПКТУ, № 22509). Батюшкову также не нравилось, что Ж. переводит Гебеля. В авг. 1819 г. он писал Ж.: «Прошу тебя писать ко мне; чего тебе стоит, когда ты имеешь время писать ко всем фрейлинам, и еще время переводить какого-то базельского Пиндара на какие-то пятистопные стихи, и со всем этим — писать еще, как Жуковский» (РА, 1884, кн. 1, стр. 236). Несмотря на критику друзей, Ж. работу над Гебелем не прекратил и, перепечатывая «Овсяный кисель» и др. переводы из Гебеля, сопроводил их высокой оценкой Гебелевской поэзии (см. примеч. к «Овсяному киселю» в С, V).

Жалоба пастуха — не позже янв. 1818. FWДН, № 1, генв., стр. 16. Написано в конце 1817 или в янв. 1818 г. Перевод стих. Гете «Schäfers Klagenlied». Особенно следует отметить точную передачу размера (дольника). «Жалоба пастуха» — единственное стихотворение Ж., написанное дольниками — размером, который в русской поэзии впоследствии разрабатывали символисты.

Листок — между янв. и февр. 1818. FWДН, № 2, февр., стр. 24, и С, III—V. В РП отнесено в отдел «Смесь».

«Листок» — перевод стих. «La feuille» Антуана Венсана Арно (1766—1834) — французского поэта и драматурга, представителя французского классицизма, бонапартиста. «La feuille» был написан им в альбом одной дамы в 1815 г. и оттуда был перепечатан парижскими журналами, которые усматривали в этом стихотворении намеки на судьбу политических эмигрантов-бонапартистов в эпоху реставрации Бурбонов. Стихи эти приурочивались к судьбе самого автора, искавшего в 1816 г. убежища в Брюсселе (см. Oeuvres de A. V. Arnault. Fables et poésie divers». Paris, 1825, стр. 371).

Пушкин писал о «Листке» Арно в 1836 г., в статье «Французская академия»: «Участь этого маленького стихотворения замечательна. Костюшко перед своей смертью повторил его на берегу Женевского озера; Александр Ипсиланти перевел его на греческий язык; у нас его перевели Жуковский и Давыдов». При переводе Ж. сократил стихотворение (у Арно 15 стихов), сжав стихи 5—10 в два. Ж. также удлинил стихотворную строку. Положено на музыку А. Рубинштейном (op. 8, № 3).

Ответ кн. Вяземскому на его стихи: Воспоминание — апр. 1818. «Дамский Журнал», 1823, № 17, стр. 174, за подписью: Ж. Черновая рук. в Татевском архиве Рачинских. Ю. Н. Верховский воспроизвел факсимиле в книге: «Е. А. Баратынский. Материалы к его биографии», П., 1916, стр. 12. Еще автограф в альбоме С. А. Самойловой (см. публикацию Н. К. Кульмана в «Изв. 2-го отд. Ак. Наук», 1900, кн. 4, стр. 1120: «К к. Вяземскому»).

Стихотворение — ответ на стих. П. А. Вяземского «К воспоминанию» («Дамский Журнал», 1823, № 6, стр. 234). П. Ефремов датировал «Ответ» 1823 г. А. С. Архангельский — 1819. Ю. Н. Верховский — 1823. Написано в апреле 1818 г., сейчас же по получении стихов Вяземского.

Посылая Вяземскому в Варшаву 17 апр. 1818 г. свой «Ответ», Ж. писал: «Я иногда прихожу от себя в отчаяние и готов послать за попом, чтобы велеть себя отпевать. Моральный рак ест мою душу; по крайней мере, в эту минуту сидит он в ней глубоко и портит все прошедшее, настоящее и будущее... всё мне гадко. Доказательством этой гадости пусть будут мои стихи, которые я тотчас и написал по прочтении твоих прекрасных» (РА, 1896, т. 3, стр. 205 — напечатанный здесь текст «Ответа» имеет отличия от редакции С, VI). «Ответ» Ж. тесно связан с его жизнеощущением этого времени. В письме к А. П. Елагиной Ж., жалуясь на разлагающее влияние придворной жизни на душу, так автобиографически комментирует основную мысль своего «Ответа»: «Неприятное, не оживленное никакою привязанностью рассеяние самым тяжелым образом отвлекает от всякого воспоминания: оно не лечит, а только дает прием усыпительного опиума, производящего тяжелый сон, нарушаемый неясными и неприятными сновидениями... *Обвитый розами скелет*: это можно сказать не об одной славе, но и о жизни, т. е. о том, что называют жить в обыкновенном смысле, об этом беспрестанном движении, об этих разговорах без интереса, об этих свиданиях без радости и разлуках без сожаления, об этом хаосе света — скелет! скелет! И посмотреть на него вблизи убийственно даже для самого уединения» («Москвитянин», 1853, т. 1, янв., № 2, кн. 2, отд. 1, стр. 86). Таким образом «Ответ» содержит в себе те мотивы пессимистического жизнеощущения, которые подготовили настроение стих. Ж. «Песня» («Отымает наши радости»), черпающего мотивы пессимизма в «самом грустном» стихотворении Байрона (см. «Песня» «Отымает наши радости»).

Надгробие И. П. и А. И. Тургеневым — дек. 1818 или 1 янв. 1819. «Памятник отечественных муз на 1827 г., изданный Борисом Федоровым», СПб., 1827, стр. 47, под заглавием: «Надгробие И. П. и А. И. Т....», с примечанием от издателя,

что стихотворение написано за несколько лет до напечатания, и С, IV—V. В С, V датировано 1807 г. 1807 г. — дата смерти И. П. Тургенева (он умер 28 февр. 1807 г.). Дата при стихотворении — время, к которому Ж. его приурочивал. Переписка Ж. с А. И. Тургеневым о намерении Ж. написать эпитафию происходила еще в 1814 г. (см. ПкТ, стр. 129) и только 1 янв. 1819 г. Ж. послал А. И. Тургеневу эпитафию. Ж. послал стихи вероятно в день написания и во всяком случае *вскоре* после написания; таким образом стихи датируются либо 1 янв. 1819 г., либо последними днями дек. 1818. Общее надгробие написано потому, что И. П. Тургенев завещал себя похоронить рядом с сыном Андреем под одной плитою.

Цвет завета — 16 июня — 2 июля 1819. «Совр.», 1837, т. 5, стр. 113, под заглавием: «Цветок», с пометой: «1 июля 1819», и С, IV—V. Позабыв о том, что он уже опубликовал стихотворение в «Совр.», Ж. послал стихотворение для напечатания редактору «Киевлянина» М. А. Максимовичу 23 дек. 1839 г. с письмом: «Посылаю вам для вашего «Киевлянина» мой старый еще неизвестный стихотворный грех. Эти стихи не могут иметь ясного смысла для читателей: а объяснить для них этот смысл я не могу. Они писаны по желанию, на заданный предмет и получили бы особенный интерес, если бы можно было прибавить к ним надлежащий комментарий. Теперь же они без интереса для читателя» (В. В. Данилов, «Письма русских писателей к М. А. Максимовичу», РФВ, 1908, стр. 181). Вскоре после того Ж. нашел стихотворение в «Совр.» и послал М. А. Максимовичу извинения (см. там же, стр. 182). Но письмо не остановило Максимовича, и «Цвет завета» был напечатан в «Киевлянине» 1840 г.

В автографе, посланном Максимовичу, — ряд поправок (см. РФВ, 1908, № 3, стр. 178). В РП отнесено в отдел «Смесь». Рук. в ГПБ (Б № 29, л. 1). Над текстом: «Июня 16. Павловск, 1819». Подписано: «2 июля 1819». Черновику стихов предпослан план: «Родной цветок, былинка полевая, ты найдена! Тихо таишься ты! Прохожий идет мимо тебя и таинственность!», затем зачеркнуто: «Гении окружают тебя — Младенчество, Радости...», затем продолжение плана, писанное в колонку. В ПД рук. беловая, под заголовком: «Цветок» (картонка Ж. из шкафа В) и корректура тома «Разные стихотворения» С, IV, где был напечатан и «Цвет завета» (ПД № 27812/CXCIX69). Еще автограф, имеющий ряд вариантов, под названием «Ländler-Gras» — в альбоме гр. С. А. Самойловой (опубликован Н. К. Кульманом в «Изв. отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук», 1900, кн. 4, стр. 1119).

30 июля 1819 г. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «Посылаю тебе стихи Ж., написанные по заказу вел. княгини. Она же дала и тему на немецком: «Ländler-Gras», у немцев — цвет завета. Чего не выразит чародей Жуковский! В сем «Цвете» соединяется воспоминание прошедшего с таинственностью будущего. Он часто означает какую-нибудь эпоху или минуту жизни, например, свидание или разлуку. Знаменование его скорее понять, нежели объяснить можно. Но нам, немцам, весь мистицизм чувствительности понятен» (ОА, I, стр. 276). 23 февр. 1844 г. П. А. Плетнев писал Я. К. Гроту о «Цвете завета»: «Ж. стихи на *Цветок*, любимый императрицей, который еще в Берлине она завещала сестрам, как залог их взаимного воспоминания. В 1819 г. она такой цветок нашла здесь,

и Ж. воспользовался, чтобы эту идею развить в стихах. Чудная прелесть!» («Переписка», т. 2, стр. 192). См. также примечание к «Цвету завета» в С, VIII, стр. 111, сделанное на основании слов А. П. Елагиной: «Вел. кн. Александра Федоровна условилась с сестрою — присылать друг другу первые весенние цветы, которые каждая из них увидит». В альбоме Александры Федоровны, случайно попавшем к Ж., к 4-му листу прикреплено письмо о Ленддерграсе, писанное по-немецки, без подписи ⟨Ал. Фед.?⟩ и обращения, с приложенными к нему двумя ветками травки «Ländler-Gras». Письмо это содержит в себе тему последней строфы «Цвета завета» Ж.: «А ты, наш цвет, питомец скромный луга...» Получив стихи Ж. от А. И. Тургенева, П. А. Вяземский писал 7 авг. 1819 г.: «Этот обер-чорт Жуковский!.. Как можно быть поэтом по заказу? Стихотворцем — так, я понимаю; но чувствовать живо, дать языку души такую верность, когда говоришь за другую душу, и еще порфирородную, я постигнуть этого не могу! Знаешь ли, что в Жуковском важнейшая примета его чародействия? — Способность, с которою он себя, то есть поэзию, переносит во все недоступные места... всё скверное очищается перед ним... «Цветок» его прелестен. Был ли такой язык до него? Нет! Зачинщиком ли он нового у нас поэтического языка? ...Что вы ни думали бы ⟨Дмитриев И. И. и Мерзляков. — *Ц. В.*⟩, а Жуковский вас переживет. Пускай язык наш и изменится, некоторые цветки его не повянут. Стихотворные красоты языка могут со временем поблекнуть, поэтические всегда свежи, всегда душисты. В старом цветнике французов Марот еще благоухает и поныне... Воля твоя, я не могу продолжать. На душе Жуковский со своим «Цветком», которого здесь из немцев никто между тем не знает (ср. ОА, I, стр. 284 и стр. 292). «Цвет завета» разработан Ж. в свете той символизации чувств и отношений, которая характеризует мистико-романтическую немецкую поэзию (ср. Ал. Веселовский, «Цвет завета» — ЛВ, 1903, т. 5, кн. 3, стр. 297 и сл.). В основе его и не лежит *одно* определенное стихотворение. «Цвет завета» — не перевод. Но целый ряд бродячих формул немецкого мистико-романтического миросозерцания нашел себе выражение в отдельных стихах «Цвета завета». В. М. Жирмунский в своей книге «Гете в русской литературе» указывал, что «Посвящение» Гете к «Фаусту» «подсказало Ж. тип элегии, написанной октавами, как... и «Цвет завета» (Л., 1937, стр. 108). Так, три строфы «Цвета завета» (2, 3 и 8-я) — прямой пересказ этой элегии Гете. Ив. Галюн (стр. 15) нашел параллель к «Цвету завета» в стих. «Das Wunderblümchen» Кернера. Тема стихотворения развита Ж. совершенно самостоятельно; лишь в конце оно сближается в своей символике с Кернеровым. У Кернера волшебный цветок «Das Blümchen ewiger Liebestreue» — это символ верности чувству любви, родственный «голубому цветку» (die Blaue Blume) Новалиса. У Ж. он «символ любви и жизни молодой». «Самый прием символизации субъективных ценностей в виде цветка, — пишет Галюн, — широко культивированный немецкой романтической школой... является у Ж. излюбленным и в дальнейшем творчестве». Этот прием символизации, конечно, заимствован не столько из стихотворения Кернера, сколько вообще из немецкой романтической поэзии.

К портрету Гете — между 7 и 10 авг. 1819. «Соревн. просвещ. и благотв.», 1821, ч. 13, № 1, стр. 95, за подписью: В. Ж.

Рук в ГПБ (В № 29, л. 22): «К п. Гете», между стихами, датированными 7—10 авг. 1819 г. Другой автограф в ПД (№ 10102 LX 624) в альбоме П. И. Кеппена, под заглавием: «Гете», с датой «17 сент. 1820 г.». Автограф в альбоме С. А. Самойловой (см. публикацию Н. К. Кульмана в «Изв. 2-го отд. Ак. Наук», 1900, кн. 4, стр. 100).

Стихотворение—парафраза стихов Андрея Тургенева. А. И. Тургенев пишет: «В альбоме Гете к именам посетителей присоединил я и свое и написал на память 4 стиха переводчика Вертера, покойного брата Андрея, на 16-летнем возрасте им к портрету Гете написанные

Свободным гением натуры вдохновенный
Он в пламенных чертах ее изображал;
И в чувствах сердца лишь законы почерпал,
Законам никаким другим не покоренный».

Совр.», 1837 т. 5. стр. 304). На экземпляре Вертера («Leiden des jungen Werthers. Von Goethe», Leipzig, 1787—биб-ка Ж. в ПД), подаренном Ж. Андреем Тургеневым, на выходном листе, наклеен листок, на котором рукою Андрея Тургенева написано приведенное А. И. Тургеневым четверостишие.Под четверостишием подпись: «Т». А. Пушкин (в письме от конца мая—начала июня 1825 г.) упрекал Ж. за то, что он не включил надписи к портрету Гете в С. III: «Надпись к Гете, ах, если б мой милый, гению — все это прелесть? а где они?» Возможно, что Ж. не включил надписи к портрету Гете, ощущая авторское право на нее Андрея Тургенева. М. Горький очень высоко оценил это четверостишие Ж. В статье «О романтизме, «народности», Жуковском» он писал: «Здесь в четырех строках не только дан очерк Гете — это выше Гете. Здесь заключен общечеловеческий лозунг—Служи свободе, всё познавай, ни чему не покоряйся! Таких строк немного в литературе мира» («Литературный критик», 1937, № 6; стр. 100).

Невыразимое—2-я полов. авг. 1819. «Памятник отечественных муз на 1827 г., изданный Борисом Федоровым», СПб., 1827, стр. 262, без подзаголовка и с примеч. от издателя, что стихи написаны за несколько лет до напечатания, и С, IV—V. Стихотворение в журнале имеет начало, отличное от окончательной редакции:

Что бедный наш язык земной
Перед великою Природой?

В С, V отнесено к 1818 г. В РП отнесено в отдел «Смесь» и датировано 1819 г. В Лит. музее в Москве — фотокопия (шифр № 1126—а/21, 22) автографа, написанного в альбом М. Ф. Шимановской. Рук. в ГПБ (Б № 26, л. 45)—список с исправлениями, сделанными Ж. чернилами и почерком, каким написан «Ночной смотр» (1836). Здесь имеются еще два последние стиха, зачеркнутые Ж.:

Но вдохновение опять заговорилось,
И муза пылкая забыла свой отчет!

Эти два стиха любопытны как попытка Ж. «отшутиться» (и муза пылкая забыла свой *отчет!*) от философского и патетического характера лирического настроения стихотворения. Неуместность такой «иронической» концовки очевидно и была причиной того, что Ж. ее

отбросил. С. М. Бонди высказал догадку, что «Невыразимое» — это выделенный Ж. отрывок из какого-нибудь его же стихотворного «отчета».

28 авг. 1819 г. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «Из Царского Села свез я ночью в Павловское Пушкина. Мы разбудили Ж... Потом принялись мы читать новую литургию Ж., при сем к вашему сиятельству и прилагаемую» (ОА, I, стр. 295). Комментатор ОА делает к этим словам А. И. Тургенева примечание: «Под новой литургией Ж. разумеется какая-то переводная пьеса, которую кн. Вяземский в 220 письме называет «стихами Фредерика накануне сражения». Прочтя эту «неизвестную переводную пьесу», П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу 5 сент. 1819 г.: «Ж. слишком уж мистицизмует, то есть — слишком часто обманываться не надобно: под этим туманом не таится свет мысли... Стихи хороши, много счастливых выражений, но всё один оклад: везде выглядывает ухо и звезда Лабзина. Поэт должен выливать свою душу в разнообразных сосудах. Ж. более других должен остерегаться от однообразия: он страх как легко привыкает... стихи Фредерика накануне сражения — на этот только раз стихи поэта» (ОА, I, стр. 305). Эти строки, мне кажется, представляют собой критику «Невыразимого». Комментатор ОА неправильно понял слова: «стихи Фредерика накануне сражения». Смысл этих слов может быть понят, если учесть, что друзья Ж. сетовали на него за то, что он не создает ничего великого, достойного его таланта. Поэтому и замечательные стихи Ж. о процессе, *предшествующем созиданию* произведения, Вяземский называет «стихами Фредерика накануне сражения» (датируется, благодаря этой полемике, «Невыразимое» 2-й половиной авг. 1819 г.). А. И. Тургенев, получив письмо Вяземского, возмутился: «Письмо твое... 5 сентября писанное, краткостию и Лабзинскою звездою рассердило меня. И уха его в стихах Ж. я не вижу, а звезды и быть не могло, если ты так же понимаешь это выражение, как и я... Сегодня мне некогда сердиться, иначе я бы излил на тебя всю досаду мою, хотя и признаю справедливость замечания насчет единообразия. Этого письма я ему не покажу» (ОА, I, стр. 311). 27 сент. Вяземский объяснился (еще 24 сент. А. И. Тургенев писал, что Ж. примирился с Вяземским): «Как мог ты подумать, что я Лабзинскую звезду принимаю в кавалерском, а не в мистическом смысле. Перекрестись и улыбнись!» (ОА, I, стр. 317).

Три путника — начало 1820. «Соревн. просвещ. и благотв.», СПб., 1820, ч. 10, № 5, стр. 166, за подписью: В. Ж. (ц. д. 17 апр. 1820), и С, III—V. В РП отнесено в отдел «Смесь» и датировано 1822 г. Правильно: 1820 г. Черновой автограф в ПД (рук. № 2806/XIс76) без заглавия. Еще автограф в альбоме С. А. Самойловой (см. публикацию Н. К. Кульмана в «Изв. 2-го отд. Ак. Наук», 1900, кн. 4, стр. 1023).

«Три путника» — перевод стих. Уланда «Der Wirtin Töchterlein» (Дочка хозяйки). Стихотворение Уланда написано четырехстопным дольником — двустишиями. Перевод Ж. отличается от тона оригинала. Ж. уничтожил в переводе все черты демократической поэтики Уланда. «Drei Bursche» у него превратились в «Трех путников» «Frau Wirtin» — в «старушку, к которой зашли три путника в гости». Двустишия, вроде: «Frau Wirtin, hat Sie gut Bier und Wein? Wo hat Sie Ihr Schönes Töchterlein?» у Ж. обобщены, лишены характерных

черт, освобождены от «демократических» бытовых подробностей. Весь эпизод благодаря этому лишен реальной выразительности и «грубости» — «облагорожен». Также не сохранен Ж. в переводе демократический характер языка, простонародный средневерхненемецкий диалект (mittelhochdeutsch): «Und küsste sie an (вместо: auf) Mund so bleich». Кроме того Ж., как обычно, «руссифицирует» текст, приближая его к русскому быту (см. «В светлице свеча пред иконой горит» и т. п.).

⟨Лирическая партия из «Орлеанской девы»⟩—1820. Печатаемый отрывок взят из 1-го явления 4-го действия «Орлеанской девы». Вместе со всем 4-м действием напечатано в альманахе «Полярная Звезда на 1824 г.». Вся драма в С, III—V. «Орлеанская дева» — драматическая поэма Ж. — перевод Шиллеровой «Die Jungfrau von Orleans». Над переводом Ж. начал работать в 1818 г. Однако интерес Ж. к теме «Орлеанской девы» восходит к более ранним временам. В рук. ГПБ (Б № 78, л. 1) 1808 г. — наброски плана оперного либретто Ж. «Орлеанская дева». Перевод «Орлеанской девы» Шиллера был закончен Ж. в Берлине (начат с 3-го явления 4-го действия) с 10 марта по 4 апр. 1821 г. До отъезда за границу Ж. уже успел перевести большую часть пьесы («Пролог» был напечатан еще в 1818 г. в FWДН, № 6). Печатаемый отрывок следует датировать 1820 г. Рук. в ГПБ (Б № 3). Ж., при переводе, изменил размер, введя дактилические рифмы (у Шиллера — четырехстопный хорей с чередующимися мужскими и женскими рифмами). Когда цензура запретила «Орлеанскую деву» для постановки (цензура пыталась запретить ее и для печати — см. барон Н. В. Дризен, «Очерк театральной цензуры двух эпох (1801—1856)» — ИВ, 1900, т. 81, стр. 560), Ж. писал Н. И. Гнедичу: «Жаль только тех стихов, которые достались бы в уста Екатерины» ⟨Ек. Семеновой, которая играла бы роль Жанны д'Арк⟩ (см. «Книжки недели», 1896, янв., стр. 9). Из стихов, которые «достались бы в уста Екатерины», Ж. более всего любил печатаемый отрывок. И он и сестры Протасовы часто цитировали этот отрывок отдельно, вне контекста «Орлеанской девы», как самостоятельное целое. Именно поэтому эта лирическая партия может быть выделена из «Орлеанской девы» и напечатана отдельно.

Воспоминание («О милых спутниках») — 16 февр. 1821. «Моск. Телеграф», 1827, ч. 15, стр. 3, под заглавием: «К N. N.». Ст. 1 здесь — в более архаической редакции: «О милых спутниках, которые сей свет», и С, IV — V. В С, V отнесено к 1822 г. Рук. в ПД (№ 22728/CLVIII6III) — в альбоме А. А. Воейковой, под датой 13 апр. 1822 г. и в собрании А. Ф. Онегина (№ 27780/CXCVIII651). В ДЖ за 1821 г. под датой 16 февр. — ранняя редакция (см. стр. 459). Затем — текст прозы, вошедшей в статью «Воспоминание» (см. ниже), но во втором лице, в форме письма к в. кн. Александре Федоровне. Четверостишием «Воспоминание» начинает Ж. и свою статью «Воспоминание» ⟨цитирую по рук. ГПБ — Б № 71, л. 147⟩: «*Нет* и *были* — какая разница! в первом *потеря*, в последнем *воспоминание: нет* значит исчезли; *были* значит оставили следобытия своего. Прекрасная жизнь тех, которых мы лишились, освещает для нас и землю и жизнь нашу. Решительная минута разлуки миновалась, она навеки предана воспоминанию; недоумение кончилось; но будущее не приводит в трепет; печаль об них обратилась из

страдания в благодетельную для сердца любовь; можем всем делиться с ними свободно; их образ равно светел для нас и при нашем счастьи и при нашем несчастии; ни то, ни другое не изменяет им жребия; но и в том, и в другом они с *нами* воспоминанием, всегда неизменным (пока не изменимся мы сами), возвышающим душу в счастии, ободряющем ее в несчастии, и такое воспоминание есть для нас, так сказать, двойник нашей совести» (ср. также РС, 1902, т. 110, стр. 191). Статья «Воспоминание» развивает мысли, многократно встречающиеся в письмах, стихах и дневниках Ж. Можно сказать, что в основу стихов «Воспоминание» или таких стихотворений, как надпись «К своему портрету», легла своеобразная жизненная философия воспоминания. В дневнике 1815 г., 12 апр. Ж. изложил эту свою жизненную философию воспоминания еще более отчетливо (цитирую по рук. ПД № 27813/CXCIX640): «Я когда-то написал: *Счастие не состоит из удовольствий простых, но из удовольствий с воспоминанием*, и эти удовольствия сравнил я с фонарями, зажженными ночью на улице; между ими есть промежутки освещенные и вся улица *светла*, хотя не вся составлена из света. Так и счастие жизни. Удовольствие — фонарь, зажженный на дороге жизни, воспоминание свет, а счастие ряд этих прекрасных воспоминаний, которые всю жизнь озаряют. Вот тебе истолкование Дуняшиной печатки ⟨печатка А. П. Киреевской с изображением фонаря. — *Ц. В.*⟩. Надежда пустое слово. Оно прекрасно только для неопытности, которой жизнь неизвестна». «К формуле не говори... нет, но... были» Ж. неоднократно возвращается в своих письмах. Так, он, напр., писал А. П. Елагиной 12 ноября 1823 г. о покойной М. А. Протасовой: «Маша для нас существует. Прошедшее не умирает. Не говорите: ее нет! говорите: она была» (УС, стр. 39).

М о р е — 1822. «Северные Цветы на 1829 г.», СПб., 1828, стр. 152, и С, IV—V. Автографы черновой и беловой в ПД, в тетр. Семевского. В С, V подзаголовок «Элегия» и отнесено к 1822 г. В РП отнесено в отдел «Смесь». Пушкин высоко оценил «Море». Он писал П. А. Вяземскому 25 янв. 1829 г. о «Северных Цветах»: «Читал Цветы? Каково Море Ж.».

«Я М у з у ю н у ю, б ы в а л о» — Между 1822 и 1824. Курсивом в конце т. 3, С, III, в 1824 г. (ц. д. 6 дек. 1822), и С, IV. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 18). Здесь наброски первоначального плана — прозой: «Я знавал дни вдохн. — тогда муз. природы, жизни и мечты — все было пенье! — бывали дни — посвящаю их — не придут ли — как странник — пока сияет солнце — »; затем — 1-й набросок стихотворения, сделанный хореем (см. стр. 459). Тут же Ж. записал и метрическую схему строфы и предполагаемый порядок чередования мужских и женских стихов:

◡ — ◡ — ◡ — ◡ — ◡
◡ — ◡ — ◡ — ◡ — ◡
◡ — ◡ — ◡ — ◡ —
◡ — ◡ — ◡ — ◡ — ◡
◡ — ◡ — ◡ — ◡ — ◡
◡ — ◡ — ◡ — ◡ —
◡ — ◡ — ◡ — ◡ — ◡
◡ — ◡ — ◡ — ◡ — ◡
◡ — ◡ — ◡ — ◡ —

На л. 21 следующая часть прозаического плана для переложения в стихи: «Мой гений очарований — давно не прилетал — с ним в жизни всё обращалось в пенье» и т. д., и тут же переложение в стихи: «Ах! жизнерадостный мой гений» и т. д. Наброски эти помещены в тетр. между «Прощальной песней воспитанниц общ. благор. девиц» при выпуске 1824 г. С, III открывается посвящением в. кн. Александре Федоровне. В том экземпляре С, III, который Ж. подарил П. И. Полетике 20 марта 1824 г. и который был отпечатан на особой бумаге, стих. «Я Музу юную, бывало» перенесено автором в т. 1 и переплетено непосредственно за посвящением (см. С, VII, т. 1, стр. 486). К. Зейдлиц (II, стр. 136) указывает, что Ж. «начал» 3-е изд. посвящением Александре Федоровне, которое ускользнуло от его внимания, когда он готовил С, V. Итак, стихи посвящены Александре Федоровне. Возможно, что Ж. присоединил посвящение к С, III перед самым выходом С, III из печати. Тогда это посвящение датируется 1824 г. (по положению в рук.).

Смертный и боги — 1829. «Собиратель», 1829, № 2, стр. 12, без подписи. Печатаю по журнальному тексту. Стихотворение написано под влиянием идей Гете о гармонии сфер (см. его «Фауста»).

Две загадки — между 10 и 17 марта 1831. «Муравейник», 1831, № 3, стр. 31, без подписи. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 42), между «Кубком» и «Жалобой Цереры». Стихи эти — перевод двух загадок из «Притч и загадок» Шиллера. Ответы: 1 — радуга, 2 — звезды и луна. Во 2-й загадке: Пес, Овен, Лев и Дева — названия созвездий.

Русская песнь на взятие Варшавы (На голос: «Гром победы раздавайся») — 5 сент. 1831. Отдельным изданием (в тип. Греча) (ц. д. 6 сент. 1831). Затем (вместе со стих. Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина») в отдельной брошюре «На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина», СПб., 1831 (ц. д. 7 сент. 1831), под заглавием: «Старая песня на новый лад. (На голос: «Гром победы раздавайся»)», датировано: 5 сентября 1831 г. и подписано: В. Ж., и в газете «Северная Пчела», 1831, № 201, от 8 сент. Рук. в ГПБ (собр. Ж. — Плетнева, № Г): «Старая песня». Датировано 5 сентября. Написано на взятие Варшавы, происшедшее в годовщину Бородинского сражения, 26 авг. 1831 г. Польское восстание 1830/31 г., перекинувшееся и в Литву, поставило правительство Николая I в трудное положение. Действия руской армии против Польши были неудачны. Тяжелое внутреннее положение России зимой 1830 г. (эпидемия холеры и вызванные ею беспорядки), возникшая угроза европейской войны против России, наконец, опасение, чтоб польская революция не превратилась в *крестьянскую*, — всё это заставляло русские правительственные круги рассматривать восстание как угрозу самому существованию крепостнической России. И Ж. и сблизившийся с ним в это время Пушкин также были склонны весьма мрачно расценивать политическую обстановку. «В это время, — пишет Анненков, — они всё делали сообща. Более чем вероятно поэтому, что и появлению «Клеветникам России» предшествовал долгий обмен мыслей в дружеском кругу, который образовался около Пушкина в Царском Селе» (ВЕ, 1880, июнь, стр. 617). Быть может, самое написание Пушкиным антипольских стихотворений было инспирировано Ж.,

выражавшим в данном случае пожелания Николая I. Брошюру «На взятие Варшавы» Ж. послал И. Ф. Паскевичу и, кроме того, через Паскевича, подносный экземпляр в. кн. Константину (?) (см. ответ Паскевича от 2 окт. 1831 г. в РА, 1875, кн. 3, стр. 368). Стихи Пушкина и Ж. «На взятие Варшавы» вызвали возмущение в либеральных кругах тогдашней русской общественности. Ф. Ф. Вигель говорит о том, что «Клеветникам России» с живым участием рукоплескали в Петербурге, а что в Москве их называли «огромным пятном на его ⟨Пушкина⟩ славе» (РА, 1893, кн. 2, стр. 581). Настроение этих кругов выражал и П. А. Вяземский. «Охота, — писал он 14 сент. 1831 г. Ж., — ему было писать *шинельные* стихи (стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами) и не совестно ли певцу в стане Русских воинов и певцу в Кремле сравнивать нынешнее событие с Бородиным» («Переписка Пушкина», под ред. В. И. Саитова, т. 2, стр. 323). «Я уверен, что в стихах Ж. нет царедворческого побуждения, тут просто русское невежество... Мы удивительные самохвалы, и грустно то, что в нашем самохвальстве есть какой-то холопский отсед... Как мы ни радуйся, а все похожи мы на дворню, которая в лакейской поет и поздравляет барина с именинами, с пожалованием чина и проч. Одни песни 12 года могли быть несколько на другой лад, и потому Ж. стыдно запеть иначе... Стихи Ж. навели на меня тоску... Как ни говори, а стихи Ж. — une question de vie et de mort между нами. Для меня они такая пакость, что я предпочел бы им смерть. Разумеется, Ж. не переломил себя, не кривил совестью... Впрочем, Ж. слишком под игом обстоятельств, слишком под влиянием лживой атмосферы, чтобы сохранить свои мысли во всей чистоте и девственности их... В той атмосфере невидимые силы нашептывают мысли, суждения, вдохновения, чувства... Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши: *«От Перми до Тавриды»* и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от *мысли* до *мысли* пять тысяч верст» (П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. 9, 1884, стр. 155—158).

16 окт. 1831 г. Ж. писал И. И. Дмитриеву: «Как весело подать вам руку в такую минуту, когда слава отечества опять вспыхнула ярким светом. В стихах моих, написанных на взятие Варшавы, нет ничего замечательного, и они бледны, стоя рядом со стихами Пушкина; но я ни одних стихов не писал с таким живым чувством, ибо написал их в первую минуту по получении известия, воскресившего душу, так долго бывшую под гнетом грустных ощущений всякого рода: в славе отечества есть что-то жизнедательное. И в эту первую минуту всякое слово, и самое обыкновенное, казалось поэтическим; и я с необыкновенным чувством написал первый стих, взятый у Державина: *раздавайся гром победы*. Я слышал эти слова, глядя на Екатерину, и они, можно сказать, были выражением всего ее века; сладостно было повторить их в обстоятельствах, достойных времени Екатерины» (РА, 1866, стр. 1635; ср. также ПкТ, стр. 259). Недовольство Ж. этими своими стихами и было, очевидно, причиной, почему Ж. их не перепечатывал в собрании своих стихотворений. Вообще Ж. мало ценил свои стихи, написанные по официальным поводам. Так, известно, что он однажды «отрекся» от своего авторского права на монархический гимн. Его родственник А. П. Петерсон рассказывает, что «Гимн «Боже царя храни» ⟨написанный при

Александре I⟩ Николай I назвал размазнею Жуковского, как рассказывал мне ⟨А. И. Петерсону⟩ Н. Д. Киселев ⟨брат графа⟩, а однажды Жуковский сам отперся от этой «народной» песни своей, возражая А. П. Зонтаг: «Милая, какая же это моя песня? Она народная!» — А народ ничего не знал про нее» (РА, 1909, кн. 3, стр. 528).

Гром победы раздавайся — этот стих взят из хора I-го в «Описании торжества в доме кн. Потемкина» Державина. Ж. видел Екатерину и слышал эти стихи в 1795 г. на придворном празднике (см. РА, 1912, кн. 2, стр. 308, и П. Загарин, стр. 8). *Спи во гробе Забалканский!* — И. И. Дибич, гр. Забалканский (1785—1831), генерал Аракчеевской школы, главнокомандующий русской армией в войне против Польши 1830—1831 г. После его смерти, в мае 1831 г., Пушкин писал о нем (11 июня 1831 г.), выражая распространенное мнение: «О смерти Дибича горевать, кажется, нечего. Он уронил Россию во мнении Европы и медленностию успехов в Турции и неудачами против польских мятежников». *Путь твой кончил Эриванский* — И. Ф. Паскевич, гр. Эриванский (1782—1856) — генерал-фельдмаршал и светл. кн. Варшавский, командовал после Дибича русской армией в войне с польской революцией 1830—1831 г. *За Араксом наши грани* и след. три стиха — указание на персидские, турецкие и польские победы Паскевича.

«Плачь о себе: твое мы счастье схоронили» — конец апр. 1838. Без двух последних стихов как эпиграф к статье «Соч. в стихах и прозе гр. С. Ф. Толстой» в журн. «Отеч. Записки», СПб., 1840, т. 12, стр. 15. Под эпиграфом указано: «В. Жуковский (в письме к гр. Ф. И. Толстому)». П. Ефремов опубликовал стихотворение целиком в С, VII, т. 2, стр. 138 — по рук., отнеся стихотворение к 1820 г.

Написано на смерть писательницы гр. Сарры Федоровны Толстой (1821 – 24 апр. 1838) — дочери гр. Ф. И. Толстого-Американца (1782—1846) и его жены цыганки А. М. Тугаевой. Пушкин писал о С. Ф. Толстой 4 мая 1836 г.: «Видел я свата нашего Толстого; дочь у него также почти сумасшедшая, живет в мечтательном мире, окруженная видениями, переводит с греческого Анакреона, лечится омеопатически». Стихи Ж. обращены к ее отцу гр. Ф. И. Толстому. Ф. И. Толстой в 1803 г., служа в Преображенском полку, получил разрешение участвовать в кругосветном плавании (1803—1806) адмирала И. Ф. Крузенштерна, во время плаванья принял участие в заговоре против Крузенштерна и был высажен на берег в русской колонии на севере Америки. Оттуда направился на Алеутские острова, затем через Камчатку возвратился в Россию, пройдя всю Сибирь. В Петербурге он прославился как фрондер, вольнодумец, дуэлист-бреттер, картежник и распутник. За дуэли был дважды разжалован в солдаты. После 1809 г. проживал в Москве частным человеком (в 1812 г. вернул себе офицерский чин). Его характеризовал Пушкин в эпиграмме «В жизни мрачной и презренной». Грибоедов писал о нем не менее резко:

> Ночной разбойник, дуэлист,
> В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
> И крепко на-руку нечист.

Ф. И. Толстой был знаком со многими литераторами и, в частности, с Ж. Ж. не разделял тех представлений о Толстом, ко-

торые нашли выражение и в отмеченных эпиграммах. После смерти Толстого он писал А. Я. Булгакову: «В нем было много хороших качеств, мне лично были известны одни только эти хорошие качества; всё остальное было ведомо только по преданию; и у меня всегда к нему лежало сердце; и он всегда был добрым приятелем своих приятелей» (С, VII, т. 6, стр. 572). Эти последние слова Ж. объясняют тон его стихотворного послания к Ф. Толстому.

Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским — 1851. В маленькой книге: «Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским», 1852, Карлсруэ. Здесь были напечатаны: «Птичка», «Котик и козлик», «Жаворонок», «Мальчик с пальчик», «Царскосельский лебедь» и «Народная песня». Перепечатано в С, V (п) под заглавием: «Стихотворения для детей. Посвящены Павлу и Александре Жуковским». Рук. в ГПБ (Б № 51, л. 1); на обороте черновой тетр. по грамматике — черновики стих. «Птичка летает», «Котик усатый» и «Жил маленький мальчик» (1-й части). Характер рукописи подтверждает свидетельство И. Базарова, что из шести посвященных своим детям стихотворений «первые два: Птичка и Котик Усатый сложены им ⟨Ж.⟩ для первого учения детей своих русскому произношению» (РА, 1869, стр. 110). «Котик и козлик» положен на музыку Ц. Кюи («Детские песенки», ор. 73, № 6); «Мальчик с пальчик» — Гречаниновым (ор. 47, «Снежинки» сборник детских песен, № 5); «Жаворонок» — Ц. Кюи (ор. 73, № 17) «Детская песня» — В. Калинниковым (смешанный хор) и Ребиковым («Детский мир»); «Птичка» — Аренским (ор. 59, № 1), Ц. Кюи (ор. 73, № 5) и Ребиковым («Детский мир»).

Царскосельский лебедь — в ноябре или нач. дек. 1851. В маленькой книге: «Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским», 1852, Карлсруэ. На экземпляре этой книжки, подаренном Ж. протоиерею И. Базарову, Василий Кальянов, камердинер Ж., написал под диктовку Ж.: «Этот Лебедь не выдумка, а правда. Я сам видел в Царском Селе старого Лебедя, который всегда был один, никогда не покидал своего уединенного пруда, и когда являлся в обществе молодых лебедей, то они поступали с ним весьма неучтиво. Его называли Екатерининским Лебедем» (РА, 1869, стр. 98). 7 дек. 1851 г. Ж. писал П. А. Плетневу: «Посылаю вам новые мои стихи, биографию Лебедя, которого я знавал во время оно в Царском Селе. Об нем я вспомнил, увидя в Бадене в. кн. Марию Николаевну, которая была для меня явлением Руси на чужой стороне. Мне хотелось просто написать картину Лебедя в стихах, дабы моя дочка выучила их наизусть; но вышел не простой Лебедь; посылаю его вам; может быть в его стихотворной биографии вы найдете ту же старческую хилость ее автора, какой страдал описанный им лебедь» (Плетнев, Соч., т. 3, стр. 723). Кн. Мария Николаевна была в Бадене в 1851 г., тогда же ее там видел и Ж., который написал 1 июля 1851 г. стихотворение в честь ее приезда. Очевидно, к этому времени восходит и замысел «Царскосельского лебедя».

Получив стихи, Плетнев нашел, что «одно только место, ...не худо бы доделать: «Видишь угасая, *как* семья младая вкруг *царевой силы* вьется, как зеленый *плющ вкруг силы-дуба*». «Второе *как*, —

писал Плетнев, — затемняет смысл и должно быть заменено хоть словом *будто.* Третий стих начинается *тремя долгими,* затрудняющими его чтение. Наконец, самая семья, вьющаяся около царской силы, была бы картиннее, если бы вилась около предмета *не метафизического,* что относится и к *силе дуба.* Пусть оба предмета: *царь* и *дуб* будут сами обвиты, один семьей, а другой плющем, картина сделается точнее» (П. А. Плетнев, Соч., т. 3, стр. 725). В ответ Ж. писал 23 янв. 1852 г.: «Благодарю Вас за критику на моего Лебедя: я и сам не был доволен теми стихами, которые Вы забраковали; я поправил их, хорошо или дурно, не знаю» (П. А. Плетнев, Соч., т. 3, стр. 726). «Царскосельский лебедь» тогда же был воспринят литературными кругами как предсмертное стихотворение Ж.; в «Лебеде» усматривали образ самого старого поэта (см. «Санктпетербургские Ведомости» 1852, № 80, 11 апр. — Д-в. «Письма из Стутгарта 26 марта/7 апр.»)

Чесма — турецкий портовый город. *Кагул* — приток Дуная. В 1770 г. при Чесме и при Кагуле русские войска нанесли туркам поражения. В честь этих побед в Царском Селе были воздвигнуты Чесменская колонна и Кагульский обелиск.

НЕ ОПУБЛИКОВАННОЕ ПРИ ЖИЗНИ

На смерть А[ндрея Тургенева] — июль 1803. ПкТ, стр. 5. Рук. в ГПБ (Б № 13, л. 11); перед текстом дата: «1803 года в июле». Здесь же (л. 5) в перечне произведений Ж.: «На смерть А. 1803»; рук. (№ 15, л. 15) — список чужой рукой, озаглавленный: «Памяти незабвенного человека», подписано: В. Ж. Эта редакция имеет отличие от печатаемой. Кроме того — ряд списков (см. Отчет ИПБ за 1887 г., стр. 25, в этом же отчете, на стр. 229, список рукой одной из Протасовых (№ 42, стр. 11): «На смерть Андрея Тургенева», и (Б № 14, л. 17).

«А» — Андрей Ив. Тургенев (род. в 1781 г., умер 8 июля 1803 г. от пятнистого тифа — см. В. Истрин «Смерть Андрея Ивановича Тургенева». — ЖМНПр, 1910, № 3, стр. 1). После смерти Андрея Тургенева Ж. писал его брату Александру: «Никого из вас, это разумеется, я не любил с такою *привязанностью,* как брата ⟨Андрея. — *Ц. В.*⟩... моя с ним дружба была только зародыш, но я потерял в нем то, чего не заменю или не возвращу никогда: он был бы моим руководцем, которому бы я готов был даже *покориться*» (ПкТ, стр. 14). Получив от Ж. стихи на смерть сына, И. П. Тургенев писал Ж.: «Если захочешь напечатать ему стихи в мое утешение, то подпиши имя свое и его. Пусть знают о вашей редкой дружбе» (см. «Архив бр. Тургеневых», в. 2, СПб., 1911, стр. 288). Ж. отвечал: «Стихов моих не должно печатать: я горд именем его друга, но такими ли стихами я должен почтить кончину его? Они писаны для меня и для вас. Публика смотрит на стихи, а не на чувства. Она не поймет меня» (ПкТ, стр. 12), и не напечатал стихов. С этого времени тема: «грустное воспоминание об умершем друге» проходит в течение ряда лет через творчество Ж. (см. «Вечер», «К К. М. С.», «Тургеневу в ответ на его письмо», «Певец» и др.).

К*** («Увы! протек свинцовый год») — 1804. В статье А. Грен, «В. А. Жуковский» в журн. «Общезанимательный Вестник», 1857,

№ 2, стр. 67, где датировано Ж. 1804 г. (здесь же опубликовано сопроводительное письмо Ж.). Написано на годовщину со дня смерти Андрея Тургенева (см. прим. к «На смерть А[ндрея Тургенева]», стр. 519). Стихотворение, видимо, обращено к себе самому (менее вероятно, что оно адресовано А. И. Тургеневу).

⟨Романс из «Дон Кихота»⟩ — 1804. Печатается впервые. Черновой автограф в ГПБ (Б № 12, л. 10) — среди черновых стихотворений для «Дон Кихота». Романс предназначался для книги «Дон Кихот ла Манский. Сочинение Серванта. Переведено с французского Флорианова перевода В. Жуковским», 1804—1806, в шести томах (2-е изд. в 1815 г.). Над переводом этой переделки «Дон Кихота», сделанной французским писателем Жан Пьер Кларан де Флорианом, Ж. работал в 1804 г. Публикуемые стихи — перевод романса из Флориановой переделки «Дон Кихота» (ч. 2, гл. 34): «L'avare cache sa richesse».

Эпиграммы

I. «Сей камень над моей возлюбленной женой!» — 25 окт. 1806. В отчете ИПБ за 1884 г. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 18) и (№ 13, л. 41), датированная: «1806 октября 25». Эпиграмма зачеркнута Ж. Перевод сатирической эпитафии Драйдена, взятой Ж. из антологии: «Choice of the best poetical pieces of the most eminent english poets. Published by Joseph Retzer». Vienna, 1785, т. 2, стр. 12: «Epitaph, intented for his Wife» (см. ПКТУ, № 12795). Ср. указание на идентичный французский текст у В. Резанова, в. 2, стр. 474.

II. «Скажи, чтоб там потише были!» — 1 ноября 1806. Опубликовано А. С. Архангельским в Соч. ВАЖ, 1902 (т. 1, стр. 39) с ошибкой в ст. 2. Рук. в ГПБ (Б № 13, л. 50 и № 14, л. 29). Рук. № 13 датирована 1 ноября 1806 г. Эпиграмма зачеркнута Ж. Пересказ эпиграммы Баратона, напечатанной в «Elite de poésies fugitives» (см. выше), 1769, т. 2, стр. 19, и в «Nouvelle anthologie françoise, ou choix...» (см. выше), т. 2, стр. 323: «Epigramme» («Huissiers, qu'on fasse silence»).

Брутова смерть — 1808—1810. В «Отчете ИПБ за 1887 г.», стр. 229. Автограф в ГПБ. (См. «Отчет ИПБ за 1887 г.», стр. 229, № 42, л. 36.) П. Ефремов в С, IX отнес к 1808 г. А. С. Архангельский — к 1810.

Эпиграмма на прославителя русских героев, в сочинениях которого нет ни начала, ни конца, ни связи — ок. 1810. Опубликовано П. А. Висковатовым в ВЕ, 1883, февр., стр. 809. Рук. в ГПБ (Б № 29, л. 1). Висковатов датирует 1810 г. А. С. Архангельский (Соч. ВАЖ, 1902) отнес к 1806 г. Датировка Висковатова точнее. Эпиграмма несомненно направлена против поэмы кн. С. А. Ширинского-Шихматова (1783—1837)— поэта и члена «Беседы». Библейско-религиозная тематика разрабатывалась Шихматовым средствами архаического стиля (обилие славянизмов, архаичность лексики и синтаксиса, «классическая поэтика»). Эпиграмма высмеивает поэму Шихматова: «Пожарский, Минин, Гермоген, или спасенная Россия», в 3 песнях, СПб., 1807.

Поэма эта долго служила объектом литературных нападок антишишковистов.

Светлане — 1813. Опубликовано И. А. Бычковым в РА, 1900, кн. 3, стр. 194. Рук. в ГПБ (Б № 14, л. 125) среди стихов 1813 г. Печатается по рук. Посвящено А. А. Протасовой («Светлане»). Поводом для написания стихотворения послужило стремление Ж. рассеять опасения, связанные с предстоящим выходом «Светланы» замуж за А. Ф. Воейкова.

Письмо к*** («Я сам, мой друг, не понимаю») — 4 янв. 1814. «Русский Вестник», 1859, т. 22, июль, стр. 598, с пометой: «1814. Генваря 4», с примеч.: «Стихотворение это есть частное письмо В. А. Жуковского, не назначавшееся к печати. За доставление его из бумаг особы, к которой оно было адресовано, мы обязаны благодарностью В. А. Норову, родственнику ее. Ред.». Стихотворение адресовано подруге детства Ж. К кому именно (к А. П. Киреевской, А. П. Зонтаг или др.) — неизвестно.

Эпитафии — 8 окт. 1814. РА, 1864, стр. 1009, где датировано: «8 окт.». Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 2). Печатается по рук.

Что такое закон? — окт. — ноябрь 1814. РА, 1864, стр. 1043. Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 69, и л. 2). В рукописном перечне произведений, написанных с 1 окт. по 24 ноября 1814 г. (Б № 77, л. 26), обозначено между «Смертью» и «Бесполезной скромностью» и, следовательно, датируется окт. — ноябрем 1814 г. Написано в Долбине и относится к циклу так называемых долбинских.

Любовная карусель или пятилетние меланхолические стручья сердечного любления — 1814 Опубликовано А. С. Архангельским в Соч. ВАЖ 1902, под заглавием: «Любовная карусель. Тульская баллада». Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 67).

Като, Анета и Авдотья — Екатерина, Анна и Авдотья Петровны Юшковы, племянницы Ж. *Азбукин* Василий Андреевич (ум. ок. 1852 г.) — побочный сын А. Протасова, мужа Е. А. Протасовой, Василий Андреевич Азбукин в это время женился на Ек. П. Юшковой. В 1812 г. Азбукин был начальником Ж. в дворянском ополчении. «Любовная карусель» написана в Долбине и представляет собой один из опытов Ж. создать жанр русской бытовой баллады путем народного переосмысления балладного стиха. См. аналогичное стих. Ж. «Елена Ивановна Протасова, или Дружба, нетерпение и капуста. Греческая баллада, преложенная на русские нравы Маремьяном Даниловичем Жуковятниковым, председателем комиссии о построении Муратовского дома, автором тесной конюшни, огнедышащим экс-президентом старого огорода, кавалером ордена трех печенок и командором Галиматьи. 2-е издание, с критическими примечаниями издателя Александра Плещепуповича Чернобрысова, ⟨Плещеева. — *Ц. В.*⟩, действительного мамелюка и богдыхана, капельмейстера коровьей оспы, привилегированного гальваниста собачьей комедии, издателя топографического описания париков и нежного композиста различных музыкальных чревобесий, — между прочим и приложенного здесь нотного завывания. Муратово, 1811».

...Так Елена, умываясь,
Одеваясь, убираясь,
Говорила нараспев!
Лисий свой салоп надев,
Птичкой порх в свою коляску.
Не сочтите быль за сказку!
Села, скачет, снег столбом!
От колес ужасный гром... *и т. д.*

(«Изв. 2-го отд. Ак. Наук», 1911, т. 16, кн. 2, стр. 25). Ср. с «Светланой». (См. также заметку в «Новом времени», 1901, № 9148.

Плач о Пиндаре — 20 дек. 1814. РА, 1864, стр. 1019, с подзаголовком: «20 декабря. Быль». Перепечатано в С, VI, с подзаголовком: «С французского». Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 69). Печатаю текст по рукописи.

«Плач о Пиндаре» относится к так называемым долбинским стихотворениям и представляет собой сатиру на поэта гр. Д. И. Хвостова (1757—1835), члена «Беседы». Стихи Хвостова служили объектом постоянных издевательств арзамасцев еще задолго до организации Арзамаса. В письмах друзей Ж. часты насмешки над Хвостовым. Так, И. И. Дмитриев пишет 15 ноября 1805 г. Ж.: «Лирик наш или протодиакон Хвостов беспрестанно кадит Гомеру и Пиндару и печет оду за одою» (РА, 1871, стр. 411). Образ Хвостова как бездарного представителя *пиндарического* одописания был осмеян и в эпиграмме-надписи к его портрету, по свидетельству Мих. Дмитриева (стр. 85), сочиненной Ж., Д. Дашковым, А. Воейковым и А. И. Тургеневым:

Се росска Флакка зрак! Се тот, кто, как и он,
Выспрь быстро, как птиц царь, нес звук на Геликон!
Се лик од, притч творца, Муз чтителя, Свистова,
Кто поле испестрил российска красна слова!

Над стихами Хвостова столько издевались, что Батюшков в 1813 г писал Н. Ф. Грамматину: «Хвостов пишет беспрестанно и своим бесславием славен будет в позднейшем потомстве» (РС, 1892, ч. 75, стр. 398). Ж. особенно любил потешаться над прутковским характером поэтического мышления Хвостова. Многие стихи Хвостова стали буквально крылатыми словами, напр.: «Весной зиму являет лето» или «Однажды шел дождик дважды». Именно благодаря Ж. «Притчи и басни Хвостова» сделались настольною книгою в Арзамасе. Вот приводимые П. А. Вяземским в его арзамасских воспоминаниях выбранные из басен и притч Хвостова эпиграфы:

1. Не вздумай по небу кататься на ослах...
2. Кому противно что,
   Тому, конечно, то
   Не надо ни на что...
3. Как хочешь, так кусай и злися.
   Но только не воняй...

и т. п. (РА, 1866, стр. 480). В «Плаче о Пиндаре» Ж. подвергает этот прутковский характер оплакивания Пиндара пародическому осмеянию. *Неутомимый ткач стихов... Пестов* — конечно, Хвостов. *Ученая*

дима — вероятно, поэтесса Анна Бунина (1774—1828), шишковистка, которую Шишков весьма уважал за «ученость» (и она и Хвостов переводили на русский язык «L'art poétique» Буало). Работая над «Плачем о Пиндаре», Ж. подражал неизвестному французскому оригиналу (см. С, VI).

К Воейкову («О Воейков! видно, нам») — 21 дек. 1814. «Совр.», 1856, т. 60, № 11. Смесь, стр. 48, в «Библиогр. Записках» М. Лонгинова. Здесь, вместо печатаемых ныне шутливых прозвищ, читаются подлинные фамилии осмеиваемых лиц: «Мук там бездна... Вот Хвостов», «Там Шихматов, как Сизиф», «Вот Грузинцев — траголюб». Вслед затем опубликовано П. А. Вяземским в РА, 1864, стр. 1022, датировано: «21 дек. ⟨1814⟩». Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 65) и (№ 26, л. 2) список рукою А. И. Тургенева. Печатаю по рук.

«К Воейкову» направлено против «Беседы» и высмеивает ряд членов этой литературной организации. *Зрел оберткой пирогов я недавно Андромаху* — имеется в виду перевод «Андромахи» Расина гр. Д. И. Хвостова. *На заклейку окон Грен; зрел недавно как Пиндар; зрел как Сафу бил голик* — имеются в виду переводы Грея, Пиндара и Сафо П. И. Голенищева-Кутузова. *И Электрой и Орестом* — имеется в виду трагедия «Электра и Орест» драматурга и поэта начала XIX в., автора поэмы «Петриада» и ряда трагедий, А. Н. Грузинцева. См. разбор этой трагедии Ж. в ВЕ, 1811, апр., стр. 205. *Ик* — старое название начертания славянской буквы У. Здесь Ж. издевается над «церковно-славянской» грамотностью А. И. Шишкова. *А внимающий старик* — А. С. Шишков. *Феб в рукавицах, Амуры в черевичках* и т. д. — издевательство над стремлением членов «Беседы» все перекраивать на «российско-народный лад». *Старина сидит богиня* и далее о *старушке* — имеется в виду высоко ценимая Шишковым поэтесса А. П. Бунина (см. «Плач о Пиндаре»). *Тут к престолу подошли* и далее — высмеиваются «руссопятские» воззрения «Беседы». *Голубец* — народная пляска, изображающая размолвку и примирение влюбленных. *Басен Дмитрева в окладе* — стихи И. И. Дмитриева были написаны «сглаженным» карамзинистским языком. *Хлыстов* — Хвостов (см. «Плач о Пиндаре»). *Как Тантал среди плодов* — Тантал (миф.) — сын Зевса и нимфы Плуто. За оскорбление, нанесенное богам, был низвергнут в Тартар и осужден на нестерпимые мучения голода и жажды; стоя по горло в воде и окруженный прекрасными плодами, он не мог ни есть, ни пить. Как только он открывал рот, вода утекала, и ветви с плодами отклонялись. *Пустопузов* — Шихматов. *Груздочкин* — А. Н. Грузинцев. *Фирс Коротконогий* — вероятно, член «Беседы» Львов. *Очутился из Садов* — «Сады» Делиля — А. Воейков в 10-е гг. был известен как переводчик «Делилевых садов».

La grande pensée — 1814. РБ, 1915, кн. 8, стр. 26. Опубликовано Н. В. Соловьевым. По характеру может быть отнесено к долбинским.

Максим — 1814. РА, 1864, стр. 1046. Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 16) от 8-й строфы (ибо два предшествующие листа вырваны). Перевод популярных во Франции куплетов о «Monsieur de la Palisse» (или Palice). Возникновение этих куплетов возводят к эпизоду, имевшему место в битве при Павии (1525), к песне

французских солдат, оплакивавших смерть своего командира Жака де Шаванна де ля Палис, убитого в бою. Сложенная солдатами песня заключала в себе наивное четверостишие:

Monsieur de la Palice est mort,
Mort devant Pavie;
Un quart d'heure avant sa mort
Il était encore en vie.

Последние два стиха послужили поводом для комических куплетов аналогичного характера. Все куплеты Ж. — точный перевод французских (см. Н. О. Лернер, «Об одном переводе Жуковского» — РБ, 1912, № 7—8, стр. 208), кроме «Он бегло по складам читал» (и т. д.) — свободной переработки французского куплета. Для названия стихотворения Ж. взял имя своего старого слуги Максима. Ж. очень любил своего Максима и в 1823 г. отпустил его на волю, лично выхлопотав ему освобождение от «оков эсклава» (см. К. Зейдлиц. II, стр. 124; см. также УС, стр. 37). О характере взаимоотношений Ж. со своим крепостным слугой дает представление рассказ А. П. Петерсона Загарину: «Однажды А. П. Петерсон слышал, как Ж., выведенный из терпения своим Максимом, любившим порядком выпить, ударил его по лицу. Надо видеть, рассказывал нам Петерсон, с каким чувством совестливости и сожаления о своем поступке Ж. просил у Максима прощения и целовал его при этом» (Загарин, стр. 355).

«Пред судилище Миноса» — 1 янв. 1815 (1836). РА, 1864, стр. 1029. Датировано: «1 генваря ⟨1815⟩». Рук. в ГПБ (Б № 15, л. 68) — близкая тексту РА, и (№ 26, л. 44) на бумаге с вензелем Николая I — черновик. Эта вторая рукопись сильно отличается от текста РА. Датируется она 1836 г., так как характер почерка и чернил таков же, как и у черновика «Ночного смотра». Рук. 1836 г. написана позже оригинала текста РА, так как здесь встречаются стихи РА как первоначальная редакция, которую Ж. правит и перечеркивает. Наконец, переделав все строфы, Ж. переставляет их, выбрасывает три строфы ранней редакции (см. их на стр. 459). О характере переработки Ж. ранней редакции можно судить на основании сравнения, напр., строфы о коте:

Редакция РА	Редакция рук. 1836 г.
Я котом служил на свете, И имел одно в предмете: Бил мышей и сыр таскал; Этот грех, по чести, мал.	Я, Минос, не очень грешен, Я бывал с мышами бешен; А с людьми бывал я плут; Васька-кот меня зовут.

Вот порядок строф в ранней редакции: 1, строфа с перечислением скотов (см. стр. 459 и 460), 2, 3, о баране, 5, о попугае, 9, 8, 7, 4, 6, 10, 11 (РА, 1864, стр. 1029).

Стихотворение Ж., вероятно, пародия на творчество Хвостова (см. «Плач о Пиндаре»). В Арзамасе Ж. 11 ноября 1815 г. выступал с речью в «честь Хвостова», «покойника из Беседы». В этой речи говорилось о горестном собрании «скотов» (осла, лягушки, собаки, свиньи и др.) по поводу смерти Хвостова (см. «Арзамас», Л., 1933, стр. 103). Эта речь представляет собой издевательство над притчами и баснями Хвостова (ср. П. О. Морозов, «Гр. Д. И. Хвостов» — РС

1892, ч. 75, стр. 396). Одной из таких пародий на анималистику Хвостова и на прутковский характер его глубокомыслия и является, мне кажется, «Пред судилище Миноса». Этот прутковский характер рассказа о «судилище» подчеркивается заключительными стихами: «Страшно, страшно засверкал И ни слова не сказал». Что стихотворение связано именно с борьбой против «Беседы», подтверждает и опубликованный М. Лонгиновым стихотворный «Разговор в царстве мертвых» неизвестного автора, высмеивающий членов «Беседы» («Совр.», 1857, май, стр. 65). Здесь действие происходит также пред судилищем Миноса. Наконец, напомню о «Видении на брегах Леты» К. Н. Батюшкова.

«Там небеса и воды ясны!» — между сент. и ноябрем 1816. «Москвитянин», 1853, т. 1, № 2, кн. 2, стр. 142. Перепечатано в С. V (п) под заглавием: «Вольное подражание романсу Шатобриана: Combien j'ai douce souvenance». Это заглавие дано редактором Д. Н. Блудовым. Рук. в ГПБ (Б № 26, л. 25). Ст. 7 здесь первоначально был написан: «Белелся луч вечернею порою». Затем «белелся» зачеркнуто и надписано: «светился» (в печатных изданиях всюду «светился»). Затем «светился» зачеркнуто тонкой чертой и восстановлено «белелся». Последних двух стихов в рукописи нет. Вероятно, они были на оторванном крае листа. Стихотворение написано в Дерпте в 1816 г. и послано в письме А. П. Киреевской (ЖМНПр, 1869, ч. 142, стр. 377). В Дерпте в 1816 г. Ж. был три раза. Написано, видимо, в последний приезд, т. е. осенью 1816 г. «Там небеса и воды ясны» — подражание романсу Шатобриана «Combien j'ai douce souvenance». Романс этот поет герой Лотрек в романе Шатобриана «Les aventures du Dernier Abencerage». Романс Лотрека — в свою очередь обработка популярной Овернской арии. Особенно близко у Ж. переведены две последние строфы романса. Посылая стихи Авдотье П. Киреевской, Ж. писал: «Всё, что на милой родине, здравствуй! Я было начал стихи к родине: в них «ты» есть, так сказать, Дуняша, и вот что ей говорится: «Там небеса и воды ясны!» ⟨следует стихотворение⟩... Но Воейков не любит моего «там», да и слишком много его в моих стихах». Пересказывая романс Шатобриана, Ж. слегка изменил признаки образа «родины», благодаря чему его ⟨Ж.⟩ современники легко угадывали в пейзажных приметах «родины» этого стихотворения черты села Мишенского (ср. ИВ, 1887, т. 27, стр. 111).

⟨Отрывок речи в заседании «Арзамаса»⟩ — нач. 1818. Опубликовано, с выпусками в разных местах 25 стихов, И. А. Бычковым, в «Отчете ИПБ за 1884 г.», стр. 161. Полностью — А. С. Архангельским в Соч. ВАЖ, 1902, т. 2, стр. 123, с ошибками, сохранившимися и в последней перепечатке в книге «Арзамас», 1933, стр. 34. Рук. в ГПБ (Б № 80, л. 10) на бумаге с водяным знаком 1817 г. Печатаю текст по рукописи. Речь эта предназначалась, видимо, для последнего заседания Арзамаса, состоявшегося 7 апр. 1818 г. Предыдущее было 2 окт. 1817 г. Таким образом, фраза Ж. «Всё позабыл я, что было в прошедшем у нас заседаньи!» имеет в виду этот большой перерыв. Речь датируется на основании ряда имеющихся в ней указаний нач. 1818 г. (видимо январем).

Ж. был в Арзамасе секретарем и им написана большая часть арзамасских протоколов, стихотворных и прозаических (опублико-

ваны в книге «Арзамас», Л., 1933). «Отрывок речи» посвящен положению вещей в Арзамасе в последний год существования этого общества, когда обнаружившиеся между консервативными и либеральными членами различия в понимании задач общества, а также исчерпанность непосредственной литературной задачи Арзамаса привела Арзамас к распаду. Об этом периоде «расползания» Арзамаса и говорит в «речи» Ж. Эта серьезная мысль проступает в «речи», несмотря на то, что она написана в обычной манере арзамасских протоколов Ж., той манере, о которой Д. В. Дашков писал еще в ноябре 1815 г.: «Неоцененный секретарь наш... удивительно как навострился в галиматье. Любимое его выражение: Арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье» (РА, 1866, стр. 500). «Беседа» прекратила собрания в 1816 г.

«*Опасный сосед*» — поэма В. Л. Пушкина. «*Чтения*» — издававшиеся «Беседой» «Чтения в Беседе Общ. любит. русск. слова». «*Рассуждение Деда седого о слоге седом*» — книга А. С. Шишкова «О старом и новом слоге». «*Законы Арзамаса*» — составленный Ж. и Блудовым «Устав Арзамаса». *Зегельхен* — петербургский переплетчик (переплетенный экземпляр «Устава Арзамаса» — в Москве в Ист. музее). *Рейн* — М. Ф. Орлов (1788—1848), в 1817 г. за составление петиции — протеста против проектируемого присоединения Литвы к Польше был по приказу Александра I удален в Киев, а оттуда переведен командиром дивизии в Кишинев. Орлов отменил в своих частях телесные наказания и ввел так называемую ланкастерскую систему взаимного обучения солдат. Ж. посвятил ему стихотворение: «О Реин, Реин, без сомненья...» *В графах таблиц* — в это время Ж. преподавал в. кн. Александре Федоровне русский язык и составлял для уроков таблицы по грамматике, подготовляя руководство, напечатанное им в количестве 2—3 экземпляров («Esquise de grammaire russe», 1818). *Асмодей* — П. А. Вяземский. *Распростившись с халатом свободы* — 21 сент. 1817 г. Вяземский был назначен в Варшаву заведывать в канцелярии имп. комиссара в Польше Новосильцева отделом иностр. переписки и госуд. бумаг. Тогда же он написал стих. «Прощание с халатом». На это стихотворение и намекает Ж. Выехал Вяземский в Варшаву 11 февр. 1818 г. *Лезет в польское платье* и т. д. — указание на полонофильство Вяземского (в 1821 г. он был убран из Польши за резкую критику им политики русского правительства). *Резвый кот* — Д. П. Северин (1791—1865), дипломат. В 1818 г. Северин женился на Е. С. Стурдза (1794—1818). Жена его умерла через пять месяцев после свадьбы — 20 июня 1818 г. *Кассандра* — Д. Н. Блудов, в янв. 1818 г. получил назначение состоять при русском посольстве в Лондоне, информировать правительство об иностранной печати, принимая участие в обсуждении в ней русской политики. Выехал он через Германию в Париж и Лондон 7 апр. 1818 г. *Челн очарованный* — П. И. Полетика (1778—1849). *К квакерам за море* — Полетика был послом России в Америке. *Чу* — Д. В. Дашков (1788—1839), впоследствии министр юстиции. В 1818—1820 гг. служил в русском посольстве в Константинополе. *Ахилл* — К. Н. Батюшков, уехавший в деревню. *Сверчок* — А. С. Пушкин. Пушкин получил от Ж. прозвище *Сверчок*: «ибо спрятанный в стенах Лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос» (Вигель, «Записки», кн. 5, 1892, стр. 51). *Арфа* — Эолова Арфа — А. И. Тургенев (1784—1845), обжорство которого было предметом

шуток его друзей. *Вот я вас* — В. Л. Пушкин. «Кабуд путешественник» — сказка В. Л. Пушкина (напеч. в «Трудах Общ. любит. росс. слов.», 1818). *Баснописец* — И. И. Дмитриев. *Знамя гуся* — шуточным девизом Арзамаса был гусь. Печать Арзамаса имела изображение гуся и за ужином после собрания подавался жареный гусь.

⟨В альбом Е. Н. Карамзиной⟩ — 24 ноября 1818. С, VI. Написано в альбом Ек. Н. Карамзиной (1806—1867) — дочери Карамзина от второго брака. Формула «Всё для души» взята Ж. из речи Карамзина в торжественном собрании Росс. Академии 5 дек. 1818 г. (СО, 1819, ч. 51, № 1, стр. 21). Речь эта была написана Карамзиным заранее. Он познакомил с нею своих друзей, очевидно еще в окт. 1818 г. 10 окт. он писал И. И. Дмитриеву: «Я думал послать к тебе речь, написанную мною по желанию А. С. Шишкова» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, СПб., 1866, стр. 250). Друзья Карамзина усмотрели в этой речи прежде всего максиму: «Всё для души». Так, А. И. Тургенев 11 дек. 1818 г. писал П. А. Вяземскому: «Высокая, нравственная истина Карамзина, которую он открыл в жизни народов и в языке их. «Здесь всё для души» — сказал он в четверг бездушной Академии» (ОА, I, стр. 167). Ж. также эта речь была известна раньше ее произнесения. Формула «всё для души», выражающая основное содержание карамзинского психологизма, соответствовала и психологическому романтизму Ж.; поэтому он подхватил ее и поставил жизненным девизом. А. И. Тургенев писал 16 февр. 1821 г. П. А. Вяземскому: «Только не надобно на Жуковского смотреть из одной только точки зрения, с которой ты на него смотришь, — гражданского песнопевца. У него *всё для души:* душа его в таланте его, и талант в душе» (ОА, II, стр. 163). Ср. с письмами Ж. Напр., в письме от 12 ноября 1823 г.: «Жизнь для души — не тот достиг до ее цели, кто много имел в ней, но тот, кто много страдал и был достоин своего страдания» (УС, стр. 39).

Ответы на вопросы в игре, называемой «секретарь» — 1819. Соч. ВАЖ, 1902, под датой: 1819 г. Рук. в ПД (№ 437/116), на обороте листа со стих. «Цветок» («Цвет завета»), следовательно, написана ок. 1819 г. Игра «секретарь», распространенная в 10-е гг. XIX в., была одним из любимых развлечений Ж. в Долбине. Игра состоит в следующем: каждый из присутствующих пишет какой-нибудь вопрос, предлагая указать сходство и разницу между двумя определенными предметами. Вопрос опускается в общую коробку. Каждый затем вытягивает для себя записку и отвечает на выпавший ему вопрос. Тот, кто дает наиболее остроумный ответ, избирается le roi de secretaire. Остальные обязаны в течение вечера исполнять желания «короля секретаря». Игра эта была распространена и на придворных вечерах. Во время одной из таких игр Ж. и написал печатаемые «Ответы».

«Взошла заря. Дыханием приятным» — 27 ноября 1819. Опубликовано К. С. Сербиновичем в РА, 1873, стр. 1703, под заглавием: «Утро на горе». Рук. в ГПБ (Б № 29, л. 30). Дата: «27 ноября». Заглавия не имеет. Таким образом, заглавие «Утро на горе» прибавлено К. С. Сербиновичем. Печатаю по рук. Перевод

первых двух строф посвящения Гете к лирическим стих.: «Zueignung» («Der Morgen kam; es scheuchten seine Tritte»).

«О дивной розе без шипов» — 14 сент. 1819. Печатается впервые, по списку, сделанному В. К. Кюхельбекером. Рук. в ПД (в лицейском архиве Я. К. Грота, шифр 12). Под текстом дата: «Сент. 14 дня». Стихи эти Кюхельбекер переписал из альбома «Розового павильона» в Павловске (Подлинник, написанный Ж. в альбом «Розового павильона», утрачен). Автограф, без последних стихов, в ГПБ (Б № 26, л. 94), на бумаге 1819 г. Как известно, владелицей «Розового павильона» была имп. Мария Федоровна (В Лит. музее в Москве — еще одно неопубликованное стихотворение Ж. — автограф из альбома «Розового павильона»: «Посвящение Марии Федоровне», написанное 2 сент. 1815 г.).

Стихотворение представляет собой мадригальную обработку сюжета, весьма популярного («Давно твердят в стихах и прозе») у немецких романтиков мистического крыла (ср., напр., «Голубой цветок» Новалиса, «Романсы о розах» К. Брентано и др.).

⟨Гр. С. А. Самойловой⟩ — 28—29 июня 1819. С, VII, под заглавием: «Платок гр. Самойловой» (заглавие, очевидно, дано П. Ефремовым). Рук. в ГПБ (Б № 29, л. 6) — черновик, без заглавия. Под стихами: «28—29 июня 1819. Павловск»; рук. (№ 15, л. 92) — список с незначительными разночтениями от печатаемого; («Отчет ИПБ за 1889 г.», № 15 — из бумаг Краевского) — беловой автограф. На конверте Краевский написал: «Взято из альбома Ел. Ал. Захаржевской, которая взяла их у сестры своей Софии Александровны Бобринской» (Самойловой). Под стихами Ж. подписал: «1819, июня 29. Павловск». Печатаю текст по этому автографу. Н. К. Кульман опубликовал по автографу из собрания рукописей Ж., хранившихся в библиотеке гр. Бобринских (см. С-Б, стр. 1121), варианты к изданному П. Ефремовым в С, VIII тексту послания Ж. к С. А. Самойловой. Этот текст имеет мелкие отличия от печатаемого нами.

Послание Ж. адресовано гр. С. А. Самойловой (1797—1866) — фрейлине имп. Марии Федоровны (с 1816 г.). Ж. познакомился с Самойловой, видимо, в начале 1819 г., после возвращения ее из-за границы. К 1820 г. окружающие Ж. стали говорить о том, что он влюблен в гр. Самойлову. Друзья обсуждали вероятность женитьбы Ж. на графине. Н. М. Карамзин писал И. И. Дмитриеву 20 сент. 1820 г.: «Ж. едет в Берлин. Увы! он влюблен, но не жених! Ему хотелось бы жениться, но при дворе не легко найти невесту для стихотворца, хотя и любимого» (Письма Карамзина к И. И. Дмитриеву, стр. 294). 8 окт. 1820 г. Нелединский-Мелецкий писал дочери: «При отъезде моем Ж., как сказывали мне, объяснялся с г. С. В бытность твою здесь, ты знала, что считали его в нее влюбленным. Он ей сказал, что отъезжает с сожалением о том, что исканию его дружбы се она не ответствовала, и изъявление *его к ней дружбы* приписала, как видно, другому чувствованию, которое, впрочем, внушить она всех более может. — Как доведено было до этого и что далее было им сказано, не знаю; но на эти слова она, сказывают, — молчала и будто показались у ней на глазах слезы. Как ты это растолкуешь? По мнению К. И. ⟨Е. И. Нелидовой? — *И. В.*⟩, от которой я это слышал; — он это говорил для того, что боится слыть влюбленным: il craint

extrêmement d'être ridicule. — А буде она подлинно плакала, то, мне кажется, от досады. — И подлинно: как? Человек приходит женщине сказать: не подумай ради бога, чтоб я в тебя был влюблен!» («Хроника недавней старины». Из архива кн. Оболенского-Нелединского-Мелецкого, СПб., 1875, стр. 241). Попав в 1817 г. в качестве учителя в. кн. Александры Федоровны в условия дворцового быта, Ж. был втянут в круг светских интересов окружавшей царское семейство сиятельной челяди. Ж. понимал, что ему, в его положении и возрасте (37 лет), неприличен стиль фрейлинского быта. Он страшился стать смешным или «жалким», страшился светской компрометации. Сохранилась в его дневнике запись, более позднего времени, отчетливо характеризующая понимание им своего положения. Так, Ж., по поводу своих отношений с другой фрейлиною, княжной П. А. Хилковой (1803—1843), записал в «Дневнике» 25 окт. 1825 г.: «Шувалова получила письмо из Петербурга от Ушаковой, которая описывает ей радости Гатчинские и фарсы Плещеева. Х[илкова] играла на театре; воображаю, что она была прелестна, и радуюсь, что не видал ее. Я говорил о ней и о себе с Ш[уваловой]. Чего я хочу? Ничего более, как только, чтобы она думала обо мне как должно. Далее этому итти не надобно. Будешь смешон и жалок» (ДЖ, стр. 84). Ложность придворного положения Ж. в эти годы отчетливо ощущалась не только Ж. Сосланный в Сибирь М. М. Сперанский писал дочери из Иркутска (23 сент. 1819 г.): «Свидание твое с Жуковским есть действительно происшествие... Как живо я чувствую все неудобство его положения, всю страдательность его жизни. Я слишком близко видел сей род неволи, чтоб не сострадать и, что всего хуже, нет почти средства пособить ему; одна болезнь может поправить; но и в болезни не дадут ему ни лекаря, ни лекарства» (РА, 1868, стр. 1699). Период увлечения Самойловой относится к 1819 и 1820 гг. Очевидно, после того разговора, о котором пишет Нелединский, вопрос был для Ж. исчерпан. В ноябре 1820 г. Самойлова сделалась невестой гр. А. А. Бобринского, за которого и вышла замуж 27 апр. 1821 г. Взаимоотношениям Ж., Самойловой, а также влюбленного в это время в Самойлову В. А. Перовского А. Н. Веселовский уделил главу в своей монографии о Жуковском. Вас. Алекс. Перовский (1794—1857) — участник войны 1812 г. (прошедший пешком в отряде пленных дорогу из Москвы до Парижа), адъютант и близкий друг в. кн. Николая Павловича (впоследствии граф), после воцарения Николая сделал блестящую карьеру. Однако его вражда с всесильной при дворе немецкой партией Бенкендорфа — Нессельроде — Чернышева послужила причиной почетной ссылки его Оренбургским военным губернатором и командиром Оренбургского отдельного корпуса, а затем генерал-губернатором Оренбурга и Самары. В. А. Перовский был уже при жизни легендарной личностью. Впоследствии его намеревался изобразить в романе Лев Толстой, который писал о нем в 1878 г.: «Такая фигура — одна, напоминающая картину; биография его была бы груба; но с другими, противоположными ему, тонкими, мелкой работы, нежными характерами, как, напр., Жуковский, ... а главное с *декабристами*, — эта крупная фигура, составляющая тень (оттенок) к Николаю Павловичу, самой крупной и à grands traits фигуры, — выражает вполне *то время*» (И. Н. Захарьин (Якунин), «Граф В. А. Перовский и его зимний поход на Хиву», СПб., 1901, стр. 113,

см. главу «Дружба Жуковского с Перовским»). В 1886 г. Г. П. Данилевский сделал Перовского героем своего романа «Сожженная Москва». Ал. Веселовский прошел мимо той важной стороны личности Перовского, которая делала из него, говоря словами Л. Толстого, «оттенок к Николаю I». Так, известно, что Перовский бессмысленно-жестоко расправился с казаками, осмелившимися обратиться к путешествующему наследнику с просьбой об улучшении их положения. Из «Дневников» сосланного в Оренбург Т. Шевченко явствует, что идеальный «pendant» к Николаю I держал целый гарем любовниц. Если прибавить к этому, что и сам Перовский (так же, как и Ж. — сын Бунина) был *побочным* сыном министра народного просвещения гр. А. К. Разумовского (племянника Ал. Г. Разумовского — морганатического мужа имп. Елисаветы), то моральный быт этой европеизированной верхушки русской военной аристократии будет представлен не столь идиллически, как у Ал. Веселовского.

В. А. Перовский, друг Ж., оказался его соперником в отношении к Самойловой. Очевидно, между друзьями произошло по этому поводу объяснение, из которого выяснилось, что Самойлова предпочитает Перовского. Доказательством этого служит стих. Ж.: «К П***»:

Счастливец! *Ею* ты любим!
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним *моим*,
Как пламенной *моей* душою!

Возьми ж их от меня — и, страстию *своей*,
Достоин будь своей судьбы прекрасной!
Мне ж сердце и душа, и жизнь, и всё *напрасно*,
Когда *всего* отдать нельзя на жертву *Ей!*

(стихи эти напечатаны Ж. в журн. «Славянин», 1828, ч. 8, стр. 235, без подписи). Рук. в ГПБ (Б № 29, л. 13), без заглавия, с датой: «11 июля ⟨1819⟩». В собрании своих стихотворений Ж. их не перепечатывал. Редакторы посмертных изданий, не зная, что стихи напечатаны, перепечатывали текст, опубликованный П. Ефремовым в С, VIII, т. 2, стр. 114, который озаглавил стих.: «Мойеру». Доказательством того, что «К П.***» значит «К Перовскому», служит и то, что в том же «Славянине» (1830, ч. 13, стр. 38) напечатано известное послание Ж. к Перовскому («Товарищ, вот тебе рука»), также под заглавием: «К П***» (без подписи). Стихи («Счастливец...») показывают, что Ж. «уступил дорогу другу» не только по «великодушию своего сердца», но и вследствие предпочтения, оказываемого Перовскому Самойловой. Послание («Товарищ, вот...») написано через две недели после первых стихов к Перовскому. Ж. датировал послание 23 июля — 2 авг. 1819.

Вскоре после этого в Аничковом дворце был домашний вечер. Маленькие дети в. князя, их воспитательницы и несколько фрейлин, и в их числе Самойлова, танцовали под рояль. Ж. и Перовский также присутствовали. Перовский был особенно оживлен, много танцовал с детьми и с Самойловой.

На этом домашнем вечере в. кн. Александра Федоровна не присутствовала. На другой день Жуковский рассказал ей, что все очень веселились, что были танцы, в которых он не принимал участия.

но что Перовский много танцовал и «карячился». В. кн., плохо зная русский язык, придала слову иной смысл и, при встрече с Перовским, сказала ему, что ей известно, что он «карячился». Перовский сейчас же отправился к Ж. объясняться. Между ними произошел крупный разговор, в результате которого Перовский вспылил и сказал Ж.: «Дурак!» Ж. ограничился лишь тем, что сказал Перовскому: «Пошел вон!» На другой день Ж. послал Перовскому письмо, где обращался к другу уже на «вы»: «Василий Алексеевич! — писал он. — Думал ли я, что первый лист из новокупленной мною бумаги у г-на Ольхина употреблю на то, чтобы своими письменными убеждениями стараться укротить гнев ваш, произведенный нашими *обоюдными* грубыми непристойностями?!. Боже мой, как неверна жизнь человеческая! Два друга, дышавшие, кажется, до сих пор единогласно, в совокупности и, так сказать, в единственном числе, — хотя они сами и во множественном, — два Пилада, два Ореста, можно сказать даже два Данона и Пидиаса, — вдруг, в одну минуту, без всякого предварительного приготовления, свирепеют: один, в каком-то беснотворном неистовстве говорит другому: «Дурак!», а тот, в помешательстве остервенения, ответствует: «Пошел вон!»

И что же? Раздраженный, негодующий друг *идет вон* — идет и не возвращается!.. И за что все сие? — за бесовское наваждение! за танцовальное искусство, в котором и тот и другой неискусны... Господи, боже мой! Что же такое твоя жизнь, данная нам для блага и на то, чтобы мы, посредством добродетели, удостоивались твоего рая?!. Давно говорит пословица: «ляжешь живой, а встанешь мертвый!» Василий Алексеевич! я не для того сказал вам «пошел вон», чтобы и в самом деле вы пошли вон, а для того, чтобы вы пошли вон *из гнева* и возвратились бы в милость. Ведь вы назвали меня «дураком»... Ну, какой же я дурак?.. Разве не читали вы моих стихотворений? *Так* дураки не пишут. Прочитайте-ка одно, которое начинается так: «Товарищ, вот тебе рука!» — и увидите, что я знаю то, что говорю. А если я и сказал ее имп. высочеству гос. вел. княгине о том, что вы карячились, танцуя с детьми, то я этим еще не оскорбил ни чести вашей, ни дружбы — и могу без угрызения совести повторить вышеупомянутое стихотворение... Василий Алексеевич! «Поди вон» — значит *поди сюда!* Пребываю ваш покорнейший слуга-дурак Василий Жуковский». Перовский написал дружественный ответ, в котором, между прочим, писал: « ...Впрочем, «дурак» не значит, что я почитаю вас глупым: мне бы приличнее было назвать вас *болтуном,* а сии последние бывают и *не дураки*; таким-то и я вас почитаю душевно. Мне было досадно видеть, что нельзя просто ни чихнуть, ни кашлянуть, чтобы вы тотчас же не перенесли бы то и другое к ее высочеству; а между тем это не принадлежит, по моему мнению, к урокам, вами преподаваемым» (И. П. Захарьин (Якунин) «Граф В. А. Перовский и его зимний поход на Хиву», стр. 86, 88). Письмо Ж. к Перовскому, как бы предвосхищающее тон Гоголевской повести о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, показывает, в какой степени Ж., погрузившись в интересы придворного быта, был выше этого быта. Даже П. А. Вяземский, постоянно попрекавший Ж. его придворным бытием и с негодованием писавший о том, что Ж. «пудрится» (ср. рук. ПД № 27985/CCI644), и тот признавал:

Жуковский во дворце был отроком Белева:
Он веру и мечты и кротость сохранил,
И девственной души он ни лукавством слова,
Ни тенью трусости, дитя, не пристыдил.

Ж. с полным сознанием своего положения записал у себя в дневнике 13 авг. 1819 г., очевидно, вскоре после разговора с Перовским: «Замечание Перовского на мой счет, если не справедливое, то по крайней мере остерегательное. Нет ничего опаснее, как pas à pas. Нечувствительно сверху падаешь на дно. L'essentiel est de ne rien se reprocher. До сих пор я действую, кажется, прямо. Пускай душа ей; но воля останется моею; она принадлежит товарищу. Лишь бы поскорее всё, что надобно, высказать. Это бы дало более свободы и верности действовать» (ДЖ, стр. 64).

Перед нами, таким образом, встает тот реальный круг интересов обитателей Павловска, который определил характер павловских посланий Ж. К этому циклу примыкают и все послания к Самойловой (см. также послания от 18 сент., от 5 окт. 1819 г. и опубликованные Н. К. Кульманом в «Изв. 2-го отд. Ак. Наук», 1900, кн. 4, стр. 1087—1100, послания: «9 июля», «17 сент.», «5 окт. Гатчино», «Циркулярное послание» и т. п.) П. Ефремов напечатал также в С, IX, т. 2, стр. 555, четыре стиха, написанные 15 июля 1819 г. и несомненно также относящиеся к Самойловой:

Мы поменялися сердцами,
Взаимностью обручены,
На брак мы не равны годами,
Зато мы дружеством равны...

Такой же характер шуточной стилизации куртуазной поэзии носит и послание Ж. к фрейлинам: «Ее превосходительству Варваре Павловне Ушаковой, их сиятельствам графине Самойловой, графине Шуваловой, княжне Козловской и княжне Волконской, от некоторого мелкого стихотворца прошение («Больной, покинутый поэт»), в котором Ж. просил:

Вздохнуть об участи его;
Да и прислать того-сего
Из царского земного рая:
Десяток вишен в *башмаке*,
Клубники в *носовом платке*,
Малины в *лайковой перчатке*...

В связи с этим романтическим сублимированием фрейлинских платков, перчаток и башмаков стоит также попытка Ж. осмыслить романтико-дидактически все эти атрибуты светского фрейлинского быта, в котором шутка перемешана с флиртом. Ж. пишет стих. «Исповедь батистового платка» (подражание Гебелевскому «Овсяному киселю» — см.), в котором торжественно-дидактически рассказывает о том, как зерно, посаженное в землю, превращается в батистовый платок. Итоги этому увлечению романтикой фрейлинского быта подвел в своем письме Перовский (видимо, весной 1820 г.). Перовский писал: «Василий Андреевич! При сем посылаю вам перчатку и уголок платка известной вам девы. Душевно желаю, Василий Андреевич, чтобы вы смотрели на сии принадлежности, как и я на них смотрел — как на простую тряпку и на

простую лайку, и чтоб весна, а особенно горячее лето нашли бы вас совершенно прохлажденным... когда почувствуете себя довольно образумившимся, чтобы решительно открыть глаза и уши и очистить голову и сердце, прошу вас убедительнейше, Василий Андреевич, дайте мне знать через кого-нибудь о сей счастливой перемене, дабы мы вместе и торжественно предали бы земле, воде или огню все эти перчатки, платки, ленточки и фруктовые косточки... Ах, царь небесный! что за праздник будет!.. Поверьте, что минута, в которую я уверюсь, что вы сделались порядочным человеком, будет приятнейшею в моей жизни! Но — *не мне управлять песнопевца душой!*.. В. Перовский» (Захарьин-Якунин, стр. 89). Прочтя одно из павловских посланий Ж., А. И. Тургенев писал Вяземскому 23 июля 1819 г.: «Послания его к фрейлинам Павловским забавны, и он в них поэт, но поэт болтун» (ОА, I, стр. 271).

Монплезир — павильон в Петергофе. *Ундина* и *Студенец* — герои повести Ламот Фуке (см. у Ж. в «Ундине» — Ундину и Струя). *Старушка* — баллада Ж. *Арион* (миф.) — древнегреческий поэт и музыкант с острова Лесбоса, спасенный во время кораблекрушения очарованным его пением дельфином. *Гадес* (миф.) — у древних греков — ад. *Бомар* — Жак Христоф Вальмон де Бомар (1731—1807), французский натуралист, популяризатор, автор знаменитого пятитомного «Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle». *Красавицу умчит в Алжир корсар* и далее — окрошка из разных современных Ж. авантюрных романов, главным образом «Матильды» м-м Коттен. *Дей* — титул правителя на Востоке. *Малек Адель* — знаменитый военачальник турок в борьбе с крестоносцами, брат султана Саладина, герой «Матильды» Коттен. *Учтивей Солимана* и *Роксолана*. Роксолана (1505—1561) — красавица одалиска. Похищенная и доставленная в гарем султана Солимана II (1496—1566), она, благодаря своему уму, добилась неограниченного влияния на султана. Ж. исходит из рассказа о Роксолане Мармонтеля, который о Солимане пишет как об «учтивом» султане. *Матильда* — сестра английского короля Ричарда Львиное Сердце, героиня «Матильды» Коттен, которая полюбила мусульманского принца Малек Аделя и поставила условием, что она выйдет за него замуж только после его перехода в христианство. *София* — имя С. А. Самойловой — по греч. мудрость.

«Т е с н я т с я в с е к т е б е в о х р а м» — 4/16 февр. 1821. В «Отчете ИПБ за 1884 г.», стр. 10. Автограф в ГПБ (Б № 4, в) в записной книжке Ж. под датой 4/16 февр. 1821 г. (Берлин). Стихи, мне кажется, обращены к в. кн. Александре Федоровне.

19 м а р т а 1823 — 19 марта 1823? С, VII, т. 3, стр. 491. П. Ефремов опубликовал эти стихи по списку с рук., сделанному П. И. Бартеневым. В ПД — два беловых автографа. Один на листке, на одной стороне которого М. А. Протасова написала несколько «правил для жизни». На другой стороне ее подпись: «Marie de Protassoff. 1813». Под этой подписью Ж. написал беловой текст стихотворения. Два последних стиха написаны ниже, как бы отдельно. Другой список (рук. ПД № 22728/CLVIII, б 3) — в альбоме А. А. Воейковой. Два последние стиха написаны с таким же интервалом. Затем ниже стихи:

> Ты всё жива в душе моей!
> Нет, не покинула ты землю...

Ты предо мной! Тебе я внемлю,
О светлый ангел прежних дней!
Но, ах! все та же в сердце младость!
А жизнь давно уж отцвела;
Я испытал любови сладость,
Но не воротится она!

19 марта 1823 г. — день известия о смерти М. А. Протасовой (ум. 18 марта от неудачных родов). Трудно сказать, написано ли «19 марта 1823» в день получения известия о смерти, или оно написано позже и только названо «19 марта 1823». Печатаю текст по автографам ПД. В рук. ГПБ (Б № 30, л. 81) — черновик стихотворения, начинающегося двумя последними стихами «19 марта 1823»: «Звезды небес, Тихая ночь!» А. С. Архангельский опубликовал это стихотворение неисправно, с полным искажением трех последних стихов и пропустив один стих из двенадцати. Привожу текст по рук. ГПБ (см. стр. 460). Ал. Веселовский (стр. 238) полагает, что это стихотворение — «несомненно стоящее в связи со стихами на смерть Маши». Автограф этого стихотворения (№ 30, л. 81) написан в самом конце тетр. 1831 г. и относится, несомненно, к 1831 г. Вероятно, Ж. пытался продолжить стих. «19 марта 1823», ощущая, что два последние стиха, сами по себе, в конце стихотворения могут ощущаться привеском. В. М. Жирмунский указал, что источником «19 марта 1823» послужил отрывок «Wie war dein Leben», посвященный немецким романтиком Клеменсом Брентано памяти его умершей сестры Софии (В. М. Жирмунский, «Религиозное отречение в истории романтизма», М., 1919, ч. 3, стр. 37). Получив 19 марта 1823 г. известие о смерти М. А. Протасовой, Ж. в тот же день выехал в Дерпт и прибыл туда числа 21 или 22-го. 28 марта он писал А. П. Елагиной: «Дуняша, друг, дайте мне руку во имя Маши, которая для нас всё существует. Не будем говорить: ее нет!.. мысль о товариществе с существом небесным не есть теперь для меня одно действие воображения; нет, это опыт! Я как будто вижу глазами этого товарища и уверен, что мысль эта будет час от часу живее, яснее и ободрительнее. Самое прошедшее сделалось более моим; промежуток последних лет как будто бы не существует, и прежнее яснее, ближе. Время ничего не сделает, разве только одно: наш милый товарищ будет час от часу ощутительнее своим присутствием, я в этом уверен. Мысль о ней, полная ободрения для будущего, полная благодарности за прошедшее, словом — религия! Саша, вы и я будем жить друг для друга во имя Маши, которая говорит нам: Незрима я, но в мире мы одном» (К. Зейдлиц, II, стр. 131, 133). Мысли этого письма перекликаются со стих. «19 марта 1823».

⟨Гр. А. Е. Комаровской⟩ — февр. 1825. «Пушкин и его современники», т. 3, в. 11, СПб., 1909, стр. 84, в статье Б. Л. Модзалевского «Автографы альбома А. Е. Шиповой». Рук. — автограф, наклеенный на лист альбома. Стихи адресованы гр. Анне Евграфовне Комаровской (1806—1872) — дочери генерала Е. Ф. Комаровского, в замужестве Шиповой. В 1825 г. А. Е. Комаровская была фрейлиной. А. И. Тургенев 20 февр. писал Вяземскому: «Ж. мне дал вчера два послания: одно к Тутолмину о карете, а другое к фрейлине графине Комаровской, которая нарочно захромала, чтоб осво-

бодить больную мать от поездки с нею на бал. Et garde-toi de rire à ce grave sujet» (ОА, III, стр. 98).

«Тому блаженства будет на год» — 1826 или 1827. Опубликовано А. С. Архангельским в Соч. ВАЖ, 1902, и датировано им 1822—1831 гг. Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 36), в тетр. между стихами, помеченными 20 февр. 1826 г., и стих. «У гроба имп. Марии Федоровны» (1828). Перед этим последним вырвано шесть листов. Шутка Ж. написана, вероятно, в 1826 или 1827 г.

«Был у меня товарищ» — зима 1826—1827 г. Опубликовано А. С. Архангельским в Соч. ВАЖ, 1902. Рук. в ГПБ (Б № 5, л. 2) — набросок карандашом всех трех строф в записной книжке заграничного путешествия 1826—1827 г. и (№ 26, л. 116) — беловик на бумаге с вензелем Николая I. Архангельский датирует 1827 г. Написано зимой 1826—1827 г. Текст рук. № 5 отличается от № 26 (см., напр., 1-ю строфу на стр. 460). И. А. Бычков принял эти стихи за оригинальное произведение. П. Ефремов (см. С, IX, т. 2, стр. 566) утверждает, что это *начало* перевода из Ленау. «Был у меня товарищ» — перевод стих. Уланда «Der gute Kamerad» (Хороший товарищ). В оригинале трехстопный ямб переходит в паузник в 1-м и 2-м стихах 1-й и 2-й строф. Наиболее перефразирована в переводе 3-я строфа.

К Гете — 6 или 7 сент. (н. ст.) 1827. «Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу», Leipzig, 1872, стр. 115. Рук. в ГПБ (Б № 5, л. 35), в записной книжке Ж. 1826—1827 г. В рук. мелкие отличия от печатаемого текста. «К Гете» было первоначально написано по-русски, затем Ж. перевел стихи 7 сент. 1827 г. на немецкий и преподнес Гете. 8 сент. 1827 г. А. И. Тургенев писал Н. Тургеневу из Лейпцига: «В полночь приехал Жуковский... Он зажился 3 дня в Веймаре в беседе с Гете... он говорит, что Гете и Шиллер образовали его, а с ними вместе он рос и мужался с нами, Тургеневыми, и душевное и умственное образование получал с нами, начиная с брата Андрея; что только в чужих краях укрепилась душа его, между прочим и твоими письмами, и что здесь началось европейское его образование» (Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу, стр. 114). Ж. был в Веймаре с 4 по 7 сент. 1827 г. и бывал у Гете 4, 5 и 6-го числа. Познакомился Ж. с Гете впервые в 1821 г. «По обычаю большого света, из всех иностранных языков самым употребительным был французский, и на этом языке он ⟨Ж.⟩ представился «величайшему лирику Запада» ⟨Гете⟩. Ж. тотчас же заметил затруднительность для Гете объясняться по-французски. И, ему, добросердечному и утонченно-светскому человеку, показалось, что он только лишь ответил желанию своего нового, им высоко ценимого знакомца, начав через некоторое время говорить по-немецки. Но Гете, кажется, принял это за оскорбление и был после того так натянут и односложен, что русский гость возвращался от него несколько разочарованным» (Julius-Wilh. Eckardt, «Neue Bilder aus Petersburger Geselschaft». 2 unveränd. Aufl., Lpz., Verlag v. Dunker u. Humboldt, 1874, стр. 133). Ср. с этим рассказом запись Ж. в «Дневнике» от 29 окт. (н. ст.) 1821 г.: «Гете: французский язык... Жалкая помеха» (ДЖ, стр. 167). И разъяснение к словам «жалкая помеха» в письме Ж. от 1 ноября 1821 г.:

«Свидание мое с ним ⟨Гете⟩ было похоже на плавание мое по Рейну; оно было туманное, хотя он принял меня с ласкою» (ДЖ, стр. 167).

4 сент. (н. ст.) 1827 г. Ж. приехал в Веймар и был у Гете (ДЖ, стр. 203). 5-го он снова был у Гете с Е. Рейтерном и подарил Гете картину К.-Г. Каруса (1789—1869) — художника романтика-шеллингианца. Картина эта «нарисована Карусом в древности и имеет отношение к Байрону, умершему в 1824 г. Картина аллегорическая и касается смерти славного английского поэта... Гете в это время ставил в своем Ейфорионе памятник Байрону, в котором видел он зарождение типа нового человека, созданного слиянием классической и средневековой культуры. Ейфорион — сын Фауста и Елены — рано погибает при смелом полете своем, оставляя по себе плащ и лиру» (П. Висковатов, «Об отношениях Жуковского и Гете» — ЛВ, 1902, т. 4, кн. 5, стр. 7). Ср. с этим в письме С. Шевырева к А. П. Елагиной из Флоренции 29 мая 1829 г.: «Гете показал мне подарок Ж., — картину, изображавшую арфу у стула, на котором кто-то сидел и исчез, оставив плащ свой. Луна ударяет на струны. Эта мысль взята из его *Елены*» (РА, 1879, кн. 1, стр. 139). На следующий день, очевидно в связи с этим подарком, разговор с Гете был посвящен 2-й части «Фауста» и Байрону. См. запись в «Дневнике» Ж. от 6 сент. «К Гете. Разговор о Елене, о Бейроне. Гете ставит его подле Гомера и Шекспира» (ДЖ, стр. 203). Аналогичная запись под 6 сент. в дневнике Гете: «Herr von Reutern und Joukoffsky, commentirendes Gespräch über Helena» (Goethes Tagebücher, 11 Band, Weimar, 1900, стр. 106). На картине Каруса Ж. сделал стихотворную надпись: «Приношение» (см. на стр. 265) и здесь же перевел ее французскими стихами («Offrande»). Гете писал об этой картине 30 сент. 1827 г. И. Х. Мейеру: «Замечательная картина Каруса выражает восхищенному взору всю *романтику*, так же как «Геркулес и Телефус» в совершенстве передает классическое» («Goethes Werke», 4 Abt., B. 43, Weimar, 1908, стр. 94). 6 сент. вечером или 7-го утром Ж. написал стих. «К Гете» и тут же перевел его на немецкий, озаглавив: «Dem guten grossen Manne», и передал рано утром канцлеру Миллеру для Гете. В немецкой редакции ряд стихов усиливает комплиментарный характер посвящения. Так, вместо «творец великих *вдохновений*» поставлено «Offenbarungen» (откровений); вместо «твое вечернее сиянье» — «Deine herrlich flamende Abendsonne». Мюллер 7-го же передал стихи Гете, но Гете не пришел от них в восторг. Мюллер пишет: «Слишком холодно, по-моему, принял Гете великолепное прощальное стихотворение Жуковского, хотя нашел в нем нечто восточное, глубокое, иератическое (Priesterliches)». Гете сравнил стихи Ж. со стихами баварского короля Людвига I: «Последнее прощание Веймару», которые показались ему слишком субъективными: «Не дело поэзии (es sei gar nicht poetisch) так трагично передавать прошедшее, вместо того, чтобы признать настоящее и найти в нем чистое наслаждение; не следует поэту убивать прошедшее ради возможности воспеть его... Потому-то, что люди не умеют оживить, оценить настоящее, они и вожделеют будущего и кокетничают с прошлым. И Ж. надлежало бы более обратиться к объекту». — «Гете, — говорит С. Дурылин («Русские писатели у Гете в Веймаре», стр. 348), — возражает здесь не только на стихотворение, но и на весь уклад и строй поэзии Ж., более того: на всё его мироощущение. Это отповедь великого объективиста мистическому субъективисту». Известен еще

один неблагожелательный отзыв Гете о Ж. Когда в 1832 г. А. И. Кошелев (1806—1884) отправился к Гете, тот принял его с чиновною важностью и на слова Кошелева, что он привез поклон от Ж., отвечал: «Wie ist die Hoflage des Herren Joukowsky?» П. Бартенев переводит этот вопрос по-русски не точно, но стремясь раскрыть его характер: «А, Жуковский! Он далеко пойдет! Он, кажется, уже действительный статский советник?» (РА, 1884, кн. 1, стр. 246). Однако эта фраза не выражает отношения Гете к Ж. Познакомился Гете с творчеством Ж. более подробно по антологии Боуринга. В рецензии на другую антологию Боуринга, в 1827 г., Гете писал: «Г. Боуринг... еще в 1821 г. подарил нас русской антологией, и... мы могли ближе узнать человека, который давно сроднился с нами в любви и приязни: г-на Жуковского. Он любезно почтил нас милыми стихотворениями, и теперь мы имели возможность полюбить и оценить его в более широких границах его творчества». Ср. с письмом Гете к Н. Борхарду, напечатанным в «Моск. Вестнике», 1828, ч. 9, стр. 106, об «усладительных отношениях» с Ж.

Приношение — 5 сент. 1827. «Лит. Наследство», 1932, № 4—6, стр. 346. Написано на подаренной Гете картине Каруса (см. примеч. к стих. «К Гете»). Там же сделанный Ж. перевод этого стихотворения на французский язык.

Стремление — 1828. В «Отчете ИПБ за 1884 г.» Рук. в ГПБ (Б № 26, л. 120) — в тетр. с заголовком «Эолова арфа». Стихи эти, по характеру почерка, а также потому, что тетр. «Эолова арфа» находится между стихами 1827 и 1828 гг., датируются 1828 г. В этой тетради Ж. написал ряд аналогичных «Стремлению» лирико-философских фрагментов, видимо, предполагая написать целый цикл стихотворений подобного характера. «Стремление» можно рассматривать как попытку Ж. перенести в русскую поэзию жанр гномических стихотворений, в той его транскрипции натурфилософских фрагментов, которую создали немецкие романтики (Гете и др.). «Стремление» было положено на музыку Гнесиным (ор. 1, № 4, 1906).

Homer («Веки идут и веки уходят») — 1829. В «Отчете ИПБ за 1884 г.», стр. 177. Рук. в ГПБ (Б № 125, л. 4). «Homer» — перевод помещенного Ж. в своем журн. «Собиратель», № 2, 1829, стр. 29, четверостишия Гердера: «Zeiten hinab und Zeiten hinan, tönt ewig Homerus». Печатается по рук.

«Поэт наш прав: Альбом кладбище» — 1831. Печатается впервые. Рук. в ГПБ (Б № 26, л. 118). И. А. Бычков в 1884 г. опубликовал четыре стиха с припиской: «Без заголовка, в альбом; черновой набросок». Стихи Ж., очевидно, адресованы К. Яниш (Каролине Павловой) и предназначались для ее альбома. Говоря «Поэт наш прав», Ж. имеет в виду стих. Е. Баратынского, написанное в альбом Яниш: «Альбом заметить не грешно Весьма походит на кладбище», напечатанное в «Галатее», 1829, № 2, стр. 90, и вызвавшее стихотворные отклики Вяземского и др. Ж. был у К. Яниш во время своей поездки в Москву в 1831 г. См. записи его в дневнике: «31 октября Каролина Яниш»

и «6 ноября. У Каролины» (ДЖ, ср. 216). Можно думать, что тогда же она показала Ж. свой альбом и он попытался написать для нее стихи.

⟨А. О. Россет-Смирновой⟩ — июль 1831. Опубликовано в «Воспоминаниях Смирновой» в РА, 1871, кн. 2, стр. 1879, с пропуском стихов (от слов: «...да и в рот» и до «Пользуясь случаем»), которые опубликованы позже в журн. «Голос Минувшего», 1917, № 11—12, стр. 153, в статье «Рассказы А. О. Смирновой в записях Я. П. Полонского». Принадлежность этих стихов Ж. бесспорна, хотя они опубликованы в апокрифических записках Смирновой. Я. П. Полонский, служивший у Смирновой учителем ее детей, списал текст с автографа Ж. Кроме того об этих стихах говорит и А. Пушкин в своем письме к П. А. Вяземскому от 3 авг. 1831 г.: «У Жуковского, — пишет Пушкин, — зубы болят, он бранится с Россети; она выгоняет его из своей комнаты, а он пишет ей Арзамасские (sic) извинения Гекзаметрами» (дальше следуют отдельные стихи из этого послания). Датируется по Пушкинскому письму концом июля 1831 г.

Записки герцогини Абрантес (1784—1838) — жены генерала Жюно, получившего от Наполеона титул герцога Абрантес за завоевание Португалии и Испании. Ей принадлежат разнообразные сочинения, в том числе пользовавшиеся успехом записки об испанской и португальской войне и об эпохе от революции до реставрации.

«Некогда муз угостил у себя Геродот дружелюбно!» — конец 1830 (после 27 ноября). Опубликовано в «Отчете ИПБ за 1884 г.» (см. Б, стр. 93). Рук. в ГПБ (Б № 30, л. 40). Двустишие — перевод немецкого дистиха И.-Г. Гердера (1744—1803), перепечатанного Ж. в своем журн. «Собиратель», 1829, № 1, стр. 9: «Als Herodotus einst die Musen freundlich bewirtet». История Греции Геродота (ок. 480—426 до н. э.) состоит из девяти книг, каждая из которых носит название одной из девяти муз.

⟨Пушкин⟩ («Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе») — 1837. «Русский», 1867, 24 апр., л. 11, стр. 164, под заглавием: «Покойнику» (заглавие дано Погодиным). Здесь текст напечатан с искажениями. Вновь в исправленном виде в РС, 1880, т. 28, стр. 532. Однако и этот текст П. Ефремов исправил по спискам П. И. Бартенева (см. С, IX, т. 3, стр. 135). 25 апр. 1838 г. Ж. послал гр. Е. Ростопчиной альбом, приготовленный Пушкиным для новых стихов (см. письмо Ж. в «Стихотворениях гр. Е. П. Ростопчиной», изд. 2-е, т. 1, СПб., 1857, стр. 211). Ж. «начал» книгу посвящением «Ундины» и просил Ростопчину дополнить и докончить книгу. Ростопчина отвечала посланием к Ж. «Черновая книга Пушкина. (Василию Андреевичу Ж.)» («Совр.», 1839, т. 15, стр. 132). Кроме посвящения «Ундины», Ж. вписал в альбом еще девять стихотворений. Печатаемое девятое — пересказ стихами отрывка из известного письма Ж. к С. Л. Пушкину по поводу смерти А. С. Пушкина. Критику этого письма Ж. см. в книге П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина».

Ермолову — 10 дек. 1837. «Моск. Ведомости», 1858, № 66, в статье Г. Н. Геннади о библиотеке Моск. университета. В РС,

1874, т. 10, стр. 198, В. В. Хлопов в статье-воспоминаниях «Вечер с А. П. Ермоловым 23 янв. 1847 г.», ссылаясь на личный разговор с Ермоловым, приписывает это четверостишие Пушкину, Ж. же, утверждает Хлопов, пересказывая слова Ермолова, принадлежит другое четверостишие к Ермолову («За ним, пред ним нет пышных титул»...). В РС, 1872, т. 6, стр. 539 С. И. Храповицкий опубликовал экспромт из 8 стихов, сказанный Ермолову, без указания автора. В эти 8 стихов входит искаженный текст четверостишия, которое опубликовал Хлопов и которое действительно принадлежит Ж. (см. РС, 1874, т. 10, стр. 786, и РА, 1870, стр. 268). Печатаемое мною четверостишие написано Ж. на экземпляре С, IV, подаренном А. П. Ермолову. На титуле 2-й книги С, IV Ж. написал: «Его высокопревосходительству, Алексею Петровичу Ермолову, от автора, на память глубокого почтения. Москва, 1837, декабря 10». На обороте: «Ермолову» («Жизнь чудная его в потомство перейдет»). Опубликованное Хлоповым четверостишие было написано Ж., конечно, еще до того, как Ермолов вышел в отставку, когда за него был «глас молитв непобедимой русской рати», т. е. до 1827 г. В книге Ал. Ермолова «А. П. Ермолов (1777—1861), Биографический очерк», СПб., 1912, на стр. 189 приведены оба четверостишия. Первое («Жизнь чудная его...») под заглавием: «А. П. Ермолову» и второе («За ним, пред ним...») под заглавием: «Надпись к портрету А. П. Ермолова». А. П. Ермолов — генерал, прославившийся в войне 1812 г. (ему Ж. посвятил три стиха в «Певце во стане»), с 1816 г. был командующим отдельным кавказским корпусом и главноначальствующим гражданской частью на Кавказе. На Кавказе он, жестоко усмиряя горцев, вел себя как совершенно неограниченный повелитель, и правительство Александра I, а затем Николая I опасалось его, предполагая в нем возможного русского Бонапарта. Авторитет Ермолова был высок в декабристских кругах, его выдвигало Северное общество кандидатом во Временное правительство. А. И. Тургенев рассказывает, что Ермолов был прекрасно информирован о ходе декабристского движения перед 14 дек. 1825 г., и что Ермолову будто бы принадлежит фраза: «Без нас все равно не обойдутся». После отставки (в 1827 г.) Ермолов жил в Москве, демонстративно заменив военный мундир фраком. Здесь вокруг него группировались оппозиционно настроенные генералы. Недовольный этими московскими фрондерскими настроениями, Николай I, приехав в Москву и, предложил Ермолову ожидать крупного военного назначения. Ермолов согласился снова пойти на службу, надел военный мундир, но потерял вследствие этого ореол опального генерала, и интерес к нему в Москве сильно упал. Назначения не последовало, и остаток жизни Ермолов провел «на покое» (впоследствии служил в провинции), сочиняя записки и занимаясь своей библиотекой и увлекаясь переплетанием книг. Именно страсть Ермолова лично переплетать книги и отмечена Ж. в последнем стихе четверостишия (Ермолов переплел также и подаренный ему экземпляр стихотворений Ж., перешедший вместе со всей библиотекой Ермолова в дар библиотеке Московского университета).

«Ведая прошлое, видя грядущее» — между 29 мая— 3 июня 1838. Печатается впервые по рук. ПД (27769/CXCVIII6 40). Под стихами подписано: «Стокгольм. 1838». Здесь же Ж. написал стихи, послужившие оригиналом для перевода: «Ställd mellun

samtiden och efterverlden» (и т. д. всего 6 строк). В Стокгольме Ж. был в 1838 г. во время своего путешествия с наследником. Прибыл он в Стокгольм 29 мая и уехал оттуда 3 июля. Во время его пребывания в Стокгольме его знакомил со шведской литературой шведский драматический поэт, секретарь шведской Ак. Наук и гофмаршал шведского двора Бернгард фон Бесков (1796—1868). О разговорах с Бесковым о шведской литературе и поэзии Ж. писал в своем дневнике (ДЖ, стр. 386). Вероятно, Ж. просил Бескова выписать ему несколько шведских стихов и, пользуясь объяснениями Бескова, написал эти сочетания гекзаметров с пентаметрами.

⟨Е л и с а в е т е Р е й т е р н⟩ — 1840. «Музык. и театр. вестник», 1883, № 3, СПб., стр. 9, в воспоминаниях гр. Соллогуба «Быль». Ст. 8 здесь читается: «Перед образом Мадонны». По другому автографу текст снова опубликован в РБ, 1912, № 7—8, стр. 115. Рук. в ПД (№ 956-а и из шкафа № 7 с полки 1 и 2). 4 дек. 1840 г. из Петербурга Ж. писал А. П. Елагиной: «В самый день моего первого отъезда из Дюссельдорфа, когда еще и в мысль не входила мне возможность того, что через несколько часов решилось для меня на всю жизнь, мы играли в одну игру, которая состоит в том, чтобы угадать стихи, написанные навыворот, сохранив порядок слов, но переставив все буквы. Я написал, без намерения, 8 стихов из Ленау и отдал их ей для отгадки, и она разобрала эти стихи, а в вечеру того дня они сделались надписью к моей жизни; я их перевел или, лучше сказать, усвоил. Вот они». Следует перевод стих. «Stumme Liebe» («Liesse doch ein hold Geschick»—Безмолвная любовь) Николая Ленау (1802—1850), немецкого романтика (РБ, 1912, № 7—8, стр. 115). Ж. пересказал текст, сохранив основную мысль Ленау, но взамен четырехстопных рифмованных хореев передал стихотворение белыми стихами. Игра, заключавшаяся в отгадывании перепутанных слов, конечно происходила на немецком языке, и, следовательно, перевод сделан тогда же в 1840 г. Слова: «через несколько часов решилось для меня на всю мою жизнь» означают предложение, сделанное Ж. в 1840 г. Елизавете Евграфовне Рейтерн (19 июля 1821—26 ноября 1856). Прибыл Ж. в Дюссельдорф весной 1840 г., затем, получив согласие Е. Рейтерн, поехал в Петербург для устройства материальных дел перед свадьбой. Женился он на Е. Рейтерн 21 апр. 1841 г.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

К а м о э н с — 1839. «Отечественные Записки», 1839, т. 6, стр. 1, с подзаголовком: «Драматический отрывок». Рук. черновая в ПД (опись № 9/25) — без заключительной речи Камоэнса. Под рук. Ж. написал: «1839 2/14 марта — 7/19 марта дорогою (переписано 13/25 июля. Рига)». Перевод драматической поэмы немецкого писателя и поэта барона Франца Мюнх-Беллингаузена (1806—1871), писавшего под псевдонимом Фр. Гальм. Ж. познакомился с «Камоэнсом» Гальма во время своего путешествия по Европе, в 1838 г. сейчас же по выходе поэмы Гальма из печати (1838). К. Зейдлиц (II, стр. 162) пишет об этом: «Драматическая поэма Фр. Гальма «Камоэнс», только что вышедшая тогда в свет, и, может быть, виденная Ж. на Бургтеатре в Вене, сделала на него глубокое впечатление, так что поэт тотчас начал перевод ее на русский язык. Мысли, выска-

занные в драме Камоэнсом, и некоторые обстоятельства жизни этого знаменитого поэта побудили Ж. вести работу поспешно, как знамение собственного memento mori! Действительно, он чувствовал себя несовсем здоровым и был в очень мрачном расположении духа». При переводе «Камоэнса» Ж. заменил воспоминания Камоэнса собственными, в которых нетрудно усмотреть автобиографические черты. К. Зейдлиц (II, стр. 163) пишет об этом: «Начало драмы, по большей части, прямой перевод с немецкого; но под конец Ж. прибавил к подлиннику так много своего, что явно намекал на себя». «Соображая все обстоятельства последнего периода жизни Ж., — говорит Зейдлиц (II, стр. 165), — с исповедью Васко Кеведы, мы замечаем, что в то время, когда писал «Камоэнс», у Ж. начала ясно проявляться та религиозная мечтательность, которая под старость заменила романтизм его молодости. Поэзия... теперь стала для него прямо «земною сестрой небесной религии». Поэтому Ж. совершенно переменил последнюю минуту кончины Камоэнса. Вместо гения Португалии, над головой умирающего является... сама религия».

ЭПИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Ундина — 1831—1836. Отдельные отрывки из первых трех глав «Ундины» в «Библ. для Чт.» 1835, т. 12, стр. 7, и отрывок (главы 4—10) в «Библ. для Чт.», 1837, т. 20, стр. 2, с примеч.: «Мы привели здесь едва третью часть этой поэмы, и не хотим нарушать более обширною выпискою удовольствия тех, которые будут читать целое сочинение. «Ундина» выходит на-днях щегольским изданием, украшенным двадцатью гравюрами». Вслед затем — целиком — отдельной книгой под заглавием: «Ундина, старинная повесть, рассказанная в прозе бароном Ламот Фуке, на русском в стихах В. Жуковским, с рис. Г. Майделя, СПб., 1837 ⟨обложка с датой — 1835 г.; ц. д. 5 сент. 1835⟩, изд. А. Смирдина». К изданию был приложен портрет Ж., писанный Е. Рейтерном в Веве и гравированный Уткиным (часть тиража, без иллюстраций, напечатана как т. 8 С, IV). В С, V датировано: «1835». В РП отнесено в отдел «Эпические стихотворения». Изд. 1837 г. имело, кроме стихотворного посвящения в. кн. Александре Николаевне, прозаическое предисловие, отброшенное в С, V: «Повинуясь воле, которую мне было особенно приятно исполнить, я рассказал русскими стихами Ундину. В 1833 г., находясь в Швейцарии и живя уединенно на берегу Женевского озера (в деревеньке Верне близ Монтрё), написал я первые три главы этой повести. По возвращении моем в Россию, занятия другого рода надолго отвлекли меня от начатого поэтического труда; и только в нынешнем году я мог опять за него приняться. Последние главы Ундины написаны в сельском уединении близ Дерпта, где я провел половину лета и мог попрежнему посвятить досуг свой поэзии. Элистфер. 26 июля 1836. Ж.». Рук. в ГПБ (№ 1901/106 из собр. Ж.—Плетнева). На обложке тетр.: «Ундина». 18 ноября 1831». С внутренней стороны: «Глава первая. О том, как рыцарь пришел в хижину рыбака». Затем следует 20 стихов. Здесь же в ГПБ (Б № 39) — рук. «Ундины», список I—V глав с исправлениями Ж., и приложенный к ней черновик письма Ж. к в. кн. Александре Николаевне:

«В. и. в. угодно было, чтобы я рассказал русскими стихами

и посвятил вашему имени Ундину. Я долго не мог исполнить вашей воли и своего обещания. В 1833 г., находясь в Швейцарии и живя в совершенном уединении на берегу Женевского озера, я написал три первые главы этой повести, стараясь в моих стихах сохранить, сколько возможно, простоту прелестной прозы оригинала. По возвращении моем в Россию, в том же году, другие занятия отвлекли меня от работы, и я долго не имел возможности опять за нее приняться. Наконец, в нынешнем году (1836), проведя шесть недель на досуге, в деревенском уединении близ Дерпта, я кончил начатое. Прошу в. и. в. принять с благосклонностью этот новый и быть может уже последний труд моей устарелой Музы; прошу вас принять его теперь *в знак*, а со временем *на память* моей душевной к вам привязанности, которая, как вы знаете, началась еще у вашей колыбели». В рук. ПД — три первые главы (рук. № 20843/CXLIII69), написанные в Верне в 1832 г., и т. 8 С, IV (шифр № 27811/CXCIX68) с исправлениями, сделанными Ж. (о рук. «Ундины» см. Ив. Кубасов, «Списки Ундины Жуковского (Библиогр. заметка)» — ЛВ. 1902, т. 3, кн. 3, стр. 272; к сожалению, обзор у Кубасова не полон). См. также письмо L. von Maidell'я Ж., что рисунки к «Ундине» готовы (без даты, рук. ПД, № 28126/ccII633). Здесь же, в ПД (№ 27811/CXCIX6 8) — корректурный экземпляр с пометками Ж.

«Ундина» — переработка прозаической повести «Undine» немецкого романтика, придворного писателя короля Фридриха Вильгельма IV, бар. Фридриха де Ламот Фуке (1777—1843), представителя правого крыла немецкого романтизма, идеолога феодальной реакции и феодального немецкого национализма, в своем творчестве идеализатора рыцарства и религиозного мистицизма средневековья. Эйхендорф называл Ламот Фуке «Дон Кихотом романтизма». «Ундина» Фуке — стилизация под средневековую сказку — вышла в 1811 г. Она имела огромный успех в Германии и в европейских литературах. Ее «дочерьми» и «сестрами» являются такие произведения, как «Русалка» Андерсена, «Мелюзина» Грильпарцера и художника Швинда, «Потонувший колокол» (Раутенделейн) Гауптмана и др. Ж. познакомил с «Ундиной» и, быть может, рассказал ему о ней, в Дерпте, в 1816 г. фон Бок. 17 авг. 1816 г. из Дерпта Ж. писал А. И. Тургеневу, намереваясь перевести часть «Ундины» для проектируемого им совместно с Д. Дашковым альманаха переводов «Аониды» (см. РА, 1868, стр. 839. Очевидно, из планов «Аонид» впоследствии выросли сборники «Для немногих»): «Купи мне и поскорее пришли Ундину. Весьма, весьма одолжишь. Она мне очень нужна» (ПкТ, стр. 159). 24 авг. он напоминает Тургеневу: «Опять повторяю просьбу об Ундине. Она продается и отдельно, и с другими повестями, напечатанными в 4 книжках под титулом: «Die Jahreszeiten». Купи для меня всё, если найдешь. Очень, очень буду обязан. Чтобы раззадорить тебя, скажу, что эта книжка нужна моей Музе» (ПкТ, стр. 160). Наконец, еще раз о том же в сент. 1816 г. (ПкТ, стр. 161). 2 окт. он сообщает Тургеневу, что «Ундина» наконец получена. В 1817 г. Ж. начал было переводить Ундину прозой, но тогда же оставил эту работу (см. К. Зейдлиц, II, стр. 156). Сохранившаяся у Плетнева тетрадь показывает, что Ж. принимался за перевод и в 1831 г. И, наконец, в 1832 г., в Швейцарии, он перевел первые главы (коррект. экз. ПД имеет даты: около ст. 22 (гл. 1): «9 дек.»; ст. 120 (гл. 1): «дек. 11»; гл. 2: «7/19

дек.»; ст. 266 (гл. 2): «26 дек.»; ст. 297 (гл. 2): «27 дек.»; гл. 3: «28 дек.»; ст. 352 (гл. 3): «29 дек.»; ст. 401 (гл. 3: «30 дек.»; гл. 4: «31 дек. 1833)». Дата «1833» ошибочна — главы эти написаны в дек. 1832 г. (см. записи в дневнике 1832 г.: «27 (9) ноября. Начал Ундину» и 18 (30) дек.: «Кончил 3 главу Ундины» (ДЖ, стр. 250, 252). В 1835 г. Ж. вернулся к прерванной работе (гл. 4, помеченная 31 дек. 1833, была тогда же (в 1832 г.) им оставлена на ст. 13. Против ст. 14 в том же экз. ПД дата: «17 октября 1835»; гл. 5: «19 окт.»; гл. 6: «22 окт.»; гл. 7: «24 окт.»; гл. 8: «25 окт.»). 3 ноября Ж. писал А. П. Елагиной: «Чтоб несколько воскресить прошедшее, я принялся за стихи; пишу Ундину, с которой познакомился во время оно и от которой так и дышит прошлою молодостью» (УС, стр. 60). 14 февр. 1836 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Ж. перекладывает на русские гекзаметры «Ундину». Я браню, что не стихами с рифмами; что он Ундину сажает в озеро, а ей надобно резвиться, плескаться, журчать в сребристой речке» (ОА, III, стр. 300). Однако Ж. снова прекратил работу (в окт. 1835 г.) и возобновил ее только в июне 1836 г. Ж. гостил тогда у Ек. Аф. Протасовой на мызе Эллистфер, близ Дерпта. Зейдлиц (II, стр. 157) пишет об этом: «В Эллистфере, где он провел половину лета... всякое утро, прохаживаясь по зале Эллистферского дома, Ж. диктовал своим племянницам, девицам Воейковым, свои стихи, и «работа пошла славно» (в экз. ПД главы датированы: IX: «26—27 июня 1836»; X: «28—29 июня»; XI: «30 июня — 1 и 2 июля»; XII: «3—4 июля»; XIII: «5—6 июля»; XIV: «7—8 июля»; XV: «9 июля»; XVI: «11 июля»; XVII: «12 июля»; XVIII: «13 июля»; XIX: «14 июля»; под всем текстом (рук. ГПБ — Б № 39) дата: «Елистфер 17 июля 1836 г.» и ниже: «26 июня — 25 июля». Очевидно, до 26 июля (см. дату предисловия к т. 8 С, IV) Ж. закончил всю работу по пересмотру текста.

Несмотря на возражения Вяземского, Ж. переложил повесть Фуке в гекзаметры. Посылая 12 марта 1837 г. И. И. Дмитриеву С, IV вместе с «Ундиной», Ж. так защищал свои гекзаметры: «Прошу учителя принять благосклонно приношение ученика. Наперед знаю, что вы будете меня бранить за мои гекзаметры. Что же мне делать? Я их люблю; я уверен, что никакой метр не имеет столько разнообразия, не может быть столько удобен как для высокого, так и для самого простого слога. И не должно думать, чтобы этим метром, избавленным от рифм, было писать легко. Я знаю по опыту, как трудно... именно то, что кажется простым, выпрыгнувшим прямо из головы на бумагу, стоит наибольшего труда» (РА, 1866, стр. 1640). Ж. сделал в переводе ряд отступлений от оригинала. Так, он опустил в конце гл. 7 последние слова о том, что рыцарь относит Ундину на руках в спальную комнату, и в гл. 8 сократил описание утреннего пробуждения новобрачных (у Фуке: «Undine verbarg sich schamhaft unter ihre Decken, und Huldbrand lag still sinnend vor sich hin»). Зейдлиц (II, стр. 159) по этому поводу замечает, что Ж. основательно называют «писателем девственным». Ж. привнес в повесть Фуке настроения созерцательного спокойствия, придав своему лирическому созерцанию эпический характер. Чтоб не нарушать этого духа спокойного повествования, он в отдельных местах изменил тон оригинала. Так, он оставил непереведенными в гл. 19 слова Фуке, что Бертальда во время приготовления к похоронам Гульбрандта «не переставала бранить Ундину убийцей и колдуньей». У Ламот Фуке героический шопот водопада пере-

дан звукоподражательными стихами, интерполлированными в текст прозаического рассказа. Ж. этот шопот водопада передает в своем гекзаметре при помощи внутренних рифм: «Вот что шептал водопад: Ты смелый рыцарь, ты добрый рыцарь; Я силен — могуч; я быстр и гремуч...» (и т. д. — всего 5 стихов). Наконец, Ж. отбросил ироническое галантное стихотворное посвящение, обращенное Фуке к образу Ундины, и заменил его своим стихотворным посвящением (Ср. Соч. П. А. Плетнева, т. 3, стр. 104). Как только «Ундина» была отпечатана, Ж. послал книжку Ламот Фуке, с которым познакомился еще в Берлине в 1821 г. Ламот Фуке ответил ему стихами: «Undine und ihr Troubadour» (1837; рук. в ПД № 27855/СС612). Появление «Ундины» сопровождалось приветственными статьями в печати. Сохранились также свидетельства современников, передавшие их восхищение повестью Жуковского. А. Герцен писал Н. А. Захарьиной в июне 1837 г.: «Сейчас прочел я «Ундину» Ж. Как хорош, как юн его гений!» (см. А. И. Герцен, Собр. соч. под. ред. Лемке, т. 1, стр. 435). На текст «Ундины» была написана опера Львовым и представлена в Петербурге. Текст оперы не сохранился, успеха она не имела. В начале 1860 г. оперу «Ундина» писали вдвоем А. Н. Серов и К. И. Званцев (см. РС, 1888, т. 59, стр. 371 и 378).

Наль и Дамаянти — 1837—1841. Отдельной книгой: «Наль и Дамаянти. Индейская повесть В. А. Жуковского. Рисунки по распоряжению автора выполнены г. Майделем», 1844, изд. Фишера, и С, V. Ж. писал в примеч. к повести: «Наль и Дамаянти есть эпизод огромной Индейской поэмы Магабараты. Этот отрывок, сам по себе составляющий полное целое, два раза переведен на немецкий язык; один перевод, Боппов, ближе к оригиналу; другой, Рюккертов, имеет более поэтического достоинства. Я держался последнего. Но зная подлинника, я не мог иметь намерения познакомить с ним русских читателей; я просто хотел рассказать им по-русски ту повесть, которая пленила меня в рассказе Рюккерта, хотел сам насладиться трудом поэтическим, стараясь найти в языке моем выражения для той девственной, первообразной красоты, которою полна Индейская повесть о Нале и Дамаянти... Повесть о Нале и Дамаянти есть самая любимая из народных повестей в Индии, где верность и героическое самопожертвование Дамаянти так же известны всем и каждому, как у нас постоянство Пенелопы». Переводу Ж. предпослал посвящение к в. кн. Александре Николаевне (1825 — 29 июля 1844). Книга вышла 31 дек. 1843 г. (см. «Библ. для Чт.», 1844, т. 62, отд. 6, стр. 51). Рук. в ГПБ (Б. № 40, л. 70), черновик посвящения; после наброска стих. «Рыцарь Фридрих Барбаросса» в строку написано (на л. 20) карандашом (вероятно, в 1842 г.): «Я видел сон. Кашемир; дорога. Видение» и на об. листа той же тетр. черновые стихи посвящения. Здесь же (л. 21) прозаический текст посвящения по-немецки: «In den Tagen, wo wir glauben unsere Träume für Wirklichkeit halten, hatte ich einen Traum». Другой автограф посвящения здесь же (№ 53, л. 2) — черновые наброски, относящиеся к 11—15 февр. 1843 г. Первоначально стихотворное повествование имело другое течение фраз (см., напр., от ст. 5 на стр. 460). В 1844 г. Ж. послал в. кн. Александре Николаевне экземпляр поэмы (см. ее ответ в РА, 1868, стр. 107).

Рук. самой повести также в ГПБ (Б №№ 36, 43, 44). В ПД черно-

вой отрывок повести (шифр № 27780/CXCVIII651. Собр. А. Ф. Онегина) и беловая рук. (Опись № 9/32). В ПД (рук. № 27825/CXCIX622) хранятся также письма, содержащие денежные расчеты по «Наль и Дамаянти».

Первоначальный замысел переложения «Наля и Дамаянти» относится к 1832 г. В тетради 1832 г. ГПБ (Б № 37, л. 13) Ж. написал первые 17 стихов своего перевода. Очевидно, тогда же он оставил эту работу (см. эти стихи на стр. 461). В 1841 г. Ж. снова возвратился к работе над «Налем и Дамаянти». На этот раз он перекладывал повесть другим размером (своим повествовательным гекзаметром). Рук. ГПБ (Б № 43) представляет собой толстую тетрадь, с вклеенными между страницами листками печатного издания немецкого подлинника (второй половины повести от песни 15 по 30 включительно). В тетради — черновой перевод текста вклеенных печатных листков, сделанный Ж. карандашом (перевод сделан en regard). В конце главы 7, II Ж. пометил: «1841, 11 февраля, Москва»; в начале главы 7, III: «1841 6/18—7/19 марта, по дороге из Завидова до Зайцева»; в конце главы 8, II: «8/20 марта, по дороге в Петербург»; в конце главы 8, III: «Подъезжая к Петербургу»; в конце главы 9, I: «Между Вальком и Ригою. Мая 6»; в конце главы 9, II: «Мая 8. Между Тильзитом и Кенигсбергом»; в конце главы 9, III: «Между Кенигсбергом и Мариенбургом. 9 мая»; в конце главы 10, I: «11 мая. Подъезжая к Берлину»; в конце главы 10, II: «Половина, подъезжая к Берлину; другая, подъезжая к Наумбургу. 14 мая». На последнем листе: «Кончил 16/28 мая, подъезжая к Ганау».

Рук. ГПБ (Б № 44) — переписанная писарскою рукой повесть. На этом списке большое количество поправок, сделанных рукою Ж. с 30 октября по 26 ноября 1841 г. В конце рук. Ж. написал: «26 ноября/8 декабря 1841. Дюссельдорф. Переписано и поправлено окончательно 16/28 декабря 1841. Дюссельдорф. Начата 21 мая 1837». Здесь же писарской список гл. 1 с некоторыми поправками, сделанными Ж., и отдельные листы, представляющие собой писарскую копию одной из первоначальных редакций перевода. Здесь же черновой автограф примечания к «Наль и Дамаянти»: «Наль и Дамаянти есть эпизод...» и т. п. и Nota bene: «Весьма сожалею, что перевод мой будет печататься без меня. Многие мелкие ошибки, которые часто бросаются в глаза при чтении корректуры, должны остаться неисправленными, незамеченные в рукописи...»

Таким образом рук. «Наля и Дамаянти» показывают, что Ж. работал над переводом этой повести с 21 мая 1837 г. по 16 декабря 1841 г.

Я видел сон и т. д. — Ж. вспоминает берлинские празднества 1821 г. (см. «Лалла Рук»). *Невеста Севера* — в. кн. Александра Федоровна. К. Зейдлиц (II, стр. 187), впрочем, полагает, что эти стихи имеют в виду не Берлин, а Дерпт. *Я увидел себя на берегу реки широкой* — П. А. Плетнев говорит по поводу этих стихов: «16 февр. 1843 г. Ж. сам нарисовал картину своего счастья на берегу Рейна, со своей женой Е. Е. Рейтерн и с дочерью Александрой» (Плетнев, Соч., т. 3, стр. 118). *Рукой на двух родных, земной судьбиной разрозненных могилах* — Ж. положил две одинаковые мраморные доски на могиле М. А. Протасовой-Мойер в Дерпте и на могиле ее сестры А. А. Воейковой в Ливорно. *Но он уж не один, их два* — имп. Александра Федоровна и «похожая на нее» ее дочь Александра Николаевна.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ К ТОМАМ I и II [1]

Адельстан — I, 149 и 346, *390*.
Алина и Альсим — I, 173 и 348, *396*.
Алонзо — I, 296 и 349, *411*.
Ах! если б мой милый был розацветок — I, 102, *379*.
Ахилл — I, 184, *396*.
Ах! почто за меч воинственный — II, 208, *513*.

Баллада, в которой описывается, как одна старушка... — I, 160 и 346, *393*.
Барма, нашед Фому, чуть жива на отходе — II, 170, *502*.
Бежит волна, шумит волна — I, 251, *400*.
Безмолвное море, лазурное море — II, 210, *514*.
Бесполезная скромность — II, 190, *505*.
Блажен, кто близ тебя одним тобой пылает — II, 166 и 458, *500*.
Блажен, о Филон, кто Харитам богиням жертвы приносит — II, 180, *504*.
Бомбастофил, творец трагических уродов — II, 226, *520*.
Братья — друзья Арзамасцы! Вы протокола послушать — II, 248, *525*.
Брутова смерть — II, 226, *520*.
Будь, милая, с тобой любовь небес святая — II, 250, *527*.
Бывали дни восторженных видений — II, 309, *541*.
Бык и роза — II, 251, *527*.
Были и лето и осень дождливы — I, 293. 349, *410*.
Был папа готов литургию свершить — I, 305, *412*.
Был сильный вихорь, сильный дождь — I, 326, *414*.
Был удалец и отважный наездник Роллон — I, 323, *413*.
Был у меня товарищ — II, 262 и 460, *535*.

Вадим — I, 228, *398*.
⟨Вадковской, Екатерине Федоровне⟩ — I, 380, *380*.
⟨В альбом Е. Н. Карамзиной⟩ — II, 250, *527*.
Вам чудно, отчего во всю я жизнь мою — II, 178, *503*.
Варвик — I, 168 и 348, *395*.
В двенадцатом часу — I, 344, *386*.
В двенадцать часов по ночам — I, 123 и 344, *386*.
В *день счастья* вспомнить о тебе — II, 184, *504*.
Ведая прошлое, видя грядущее, Скальд вдохновенный — II, 276, *539*.
Веди меня, пустыни житель — I, 144, *390*.
Веки идут, и веки уходят, а песни Гомера — II, 267, *537*.
Верность до гроба — I, 99, *378*.
Веселого пути — II, 105, *487*.
Весеннее чувство — I, 86 и 343. *377*.
Вечер — I, 8 и 339, *360*.
Вечерний колокол печально завывает — I, 334, *358*.

[1] Римская цифра обозначает том, цифра прямым шрифтом — страницу текста, цифра курсивом — страницу примечания.

Взгляните на меня: я сед — II, 7, *467*.
Взошла заря. Дыханием приятным — II, 252, *527*.
В излучине долины сокровенной — I, 180, *396*.
Вихрем бедствия гонимый — I, 66, *373*.
В кустах, которыми была покрыта — II, 93, *483*.
Владыко Морвена — I, 190, *397*.
Война мышей и лягушек (Отрывок) — II, 59 и 455, *473*.
Воспоминание (О милых спутниках, которые наш свет) — II, 209 и 459, *513*.
Воспоминание (Прошли, прошли вы, дни очарованья!) — I, 85, *377*.
Вот повести моей конец — I, 228, *398*.
Вот что однажды я сказал — I, 343, *385*.
В свой край возвратяся из дальней земли — II, 207, *512*.
Всё в обители Приама — I, 132, *389*.
В те дни, когда мы верим нашим снам — II, 387 и 460, *544*.
В тени дерев, над чистыми прудами — I, 64, *373*.
В трактире тульском тишина — II, 233, *521*.

Гаральд — I, 199 и 348, *398*.
Где ты, далекий друг? Когда прервем разлуку? — II, 99 и 456, *485*.
Где ты, милый? Что с тобою? — I, 125, *387*.
Где фиалка, мой цветок — I, 82, *376*.
Голос с того света — I, 79, *375*.
Homer — II, 267, *537*.
Горная дорога — I, 100, *379*.
Государыне в. к. Александре Федоровне на рождение в. к. Александра Николаевича — II, 147, *496*.
Грамотею — II, 231, *521*.
Граф Гапсбургский — I, 257, *401*.
⟨Гр. А. Е. Комаровский⟩ — II, 261, *534*.
⟨Гр. С. А. Самойловой⟩ — II, 254, *528*.
Графиня, признаюсь, большой беды в том нет — II, 254, *528*.
Громобой — I, 204, *398*.

Дамон покинул свет — II, 231, *521*.
Две были и еще одна — II, 84, *481*.
Две загадки — II, 213, *515*.
Двенадцать спящих дев — I, 202 и 348, *398*.
19 марта 1823 — II, 260 и 460, *533*.
Демид, под одою своей, боясь Зоила — II, 190, *505*.
День багрянил, померкая — I, 149 и 346, *390*.
День был ясен и тепел; к закату сходящее солнце — II, 84, *481*.
Дети, овсяный кисель на столе; читайте молитву — II, 194, *506*.
Для Клима всё как дважды два! — II, 169, *502*.
Дней моих еще весною — I, 56, *371*.
Добро пожаловать, певец — II, 130 и 458, *492*.
Доника — I, 289, *410*.
До рассвета поднявшись, коня оседлал — I, 266 и 348, *403*.
Дорогой шла девица — I, 92, *378*.
Друг, отчего печален голос твой? — II, 126 и 457, *491*.
Дружба — II, 165, *500*.
Дружись с *уединеньем!* — II, 182, *504*.
Друзья, тот стихотворец — горе — II, 138, *494*.
Дубрава шумит — I, 48, *369*.

Ее превосходительству Варваре Павловне Ушаковой, ее сиятельствам графине Е. Самойловой, графине Шуваловой, княжне Козловской и княжне Волконской от некоторого мелкого стихотворца прошение — II, *532*.
Екатерине Федоровне Вадковской — I, 380, *380*.

Елена Ивановна Протасова, или Дружба, нетерпение и капуста. Греческая баллада — II, *521*.
⟨Елисавете Рейтерн⟩—II, 277, *540*.
Ермолову, А. П. — II, 275, *538*.
Есть озеро перед скалой огромной — I, 289, *410*.
Еще великий прах... Неизбежимый Рок! — I, 11 и 339, *361*.

Жаворонок — II, 217, *518*.
Жалоба — I, 63, *373*.
Жалоба пастуха — II, 197, *507*.
Жалоба Цереры — I, 285, *410*.
Желание — I, 61, *372*.
Жизнь — I, 108, *381*.
Жизнь чудная его в потомство перейдет — II, 275, *538*.
Жил-был добрый царь Матвей — II, 50, *472*.
Жил-был царь Берендей *до колен борода.* Уж три года — II, 39 и 455, *470*.
Жил маленький мальчик — II, 218, *518*.
Жил мельник. Жил он, жил, и умер — II, 78 и 456, *480*.
Жил муж в согласии с женой — II, 171, *503*.

Задача трудная для бедного поэта — II, 251, *527*.
За днями дни идут — I, 261, *402*.
Закон — на улице натянутый канат — II, 232, *521*.
За́мок на берегу моря — I, 122, *386*.
За́мок Смальгольм (см. «Иванов вечер») — I, 266 и 348, *403*.
Засни, дитя, спи, ангел мой! — I, 76, *375*.
Заснув на холме луговом — I, 89, *377*.
Зачем, зачем вы разорвали — I, 173 и 348, *396*.
Зачем так рано изменила — I, 68 и 342, *373*.
Звезда и корабль — 251, *527*.
Звезда небес плывет пучиною небесной — II, 251, *527*.
Здесь Букин — грамотей. Но что ж об нем сказать? — II, 231, *521*.
Здесь кончил век Памфил, надутых од певец! — II, 168, *501*.
Здесь Лакомкин лежит — он вечно жил по моде — II, 231, *521*.
Иванов вечер — I, 266 и 348, *403*.
Ивиковы журавли — I, 155 и 346, *391*.
Идиллия — II, 167, *501*.
Из далекой Палестины — I, 296 и 349, *411*.
Изменой слуга паладина убил — I, 198, *398*.
Изображу ль души смятенной чувство — II, 147, *496*.
Имя где для тебя? — II, 179, *504*.

К*** (Увы! протек свинцовый год) — II, 223, *519*.
Какую бессмертную — II, 172, *503*.
Камоэнс. Драматическая поэма — II, 278, *540*.
Кассандра — I, 132, *389*.
К Батюшкову — II, 109, *489*.
К Б[лудов]у — II, 105, *487*.
К Воейкову (Добро пожаловать, певец) — II, 130 и 458, *492*.
К Воейкову (О Воейков! Видно нам) — II, 238, *523*.
К востоку, всё к востоку — I, 81, *376*.
К востоку я стремлюсь душою — I, 114, *385*.
К Гете — II, 264, *535*.
К Делию — II, 176, *503*.
К Ив. Ив. Дмитриеву — II, 162 и 458, *498*.
К К. М. С[оковнин]ой — II, 164, *499*.
К кн. Вяземскому (Нам славит древность Амфиона) — II, 144, *496*.
К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину — II, 138, *494*.
Клеанту ум вскружил Платон — II, 212, *515*.
К месяцу — I, 95 и 343, *378*.
К мимопролетевшему знакомому гению — I, 106, *381*.
К Мойеру (см. К И ***).
К ней — II, 179, *504*.
К Нине (О Нина, о мой друг! ужель без сожаленья) — I, 54 и 341, *370*.

К Нине (О Нина, о Нина, сей пламень любви) — II, 102, *486*.
К Нине (Проститься ли без сожаленья) — I, 341, *370*.
Когда она была пастушкою простой — II, 167, *501*.
Когда я был любим, в восторгах, в наслажденье — I, 47, *369*.
Колокол поздний кончину отшедшего дня возвещает — I, 23, *363*.
Кольцо души-девицы — I, 87, *377*.
⟨Комаровской, А. Е., гр.⟩ — II, 261, *534*.
Кот в сапогах — II, 78 и 456, *480*.
Котик и козлик — II, 217, *518*.
К П*** (Счастливец! Ею ты любим!) — II, 530, *530*.
К П*** (Товарищ, вот тебе рука) — II, *530*.
К портрету Гете — II, 204, *510*.
К самому себе — II, 181, *504*.
Кто, рыцарь ли знатный, иль латник простой — I, 277, *408*.
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? — I, 255, *401*.
Кто слез на хлеб свой не ронял — II, 191, *506*.
Кто ты, призрак, гость прекрасной — I, 118, *385*.
К Тургеневу в ответ на стихи, присланные им вместо письма — II, 184, *504*.
Кубок — I, 277, *408*.
Куда мне голову склонить? — I, 90, *378*.
К Филалету — II, 99 и 456, *485*.
К Филону — II, 180, *504*.
К Эмме — I, 105, *381*.

La grande pensée — II, 242, *523*.
Лалла Рук — I, 112 и 343, *383*.
Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый — II, 220, *518*.
Легкий, легкий ветерок — I, 86 и 343, *377*.
Ленора — I, 298, *411*.
Леноре снился страшный сон — I, 298, *411*.
Лесной царь — I, 255, *401*.
⟨Лирическая партия из «Орлеанской девы»⟩ — II, 208, *513*.
Листок — II, 198, *507*.
Любовная карусель, или пятилетние меланхолические стручья сердечного люблєния. Тульская баллада — II, 233, *521*.
Людмила — I, 125, *387*.
Лягушке вздумалось: сём сделаюсь с быка — II, 242, *523*.

Максим — II, 243, *523*.
Мальвина — I, 51, *370*.
Мальчик с пальчик — II, 218, *518*.
Маттео Фальконе — II, 93, *483*.
Мечта — I, 102, *379*.
Мечты — I, 68 и 342, *373*.
Милостивая государыня Александра Иосифовна! — II, 269, *538*.
Милый сон, души пленитель — I, 112 и 343, *383*.
Мина — I, 97, *378*.
Минувших дней очарованье — I, 103, *379*.
Минутная краса полей — I, 62, *373*.
Мирон схватил перо, надулся, пишет, пишет — II, 227, *520*.
Младый Рогер свой острый меч берет — I, 99, *378*.
Моих стихов желала ты — I, 204, *398*.
Мой друг, хранитель-ангел мой — I, 49, *369*.
Мой милый цвет, былинка полевая — II, 201, *509*.
Мой слабый дар царица одобряет — I, *368*.
Море — II, 210, *514*.
Моту — II, 231, *521*.
Мотылек и цветы — I, 120 и 343, *385*.
Моя богиня — II, 172, *503*.
Моя тайна — II, 178, *503*.
Мщение — I, 198, *398*.
Мы поменялися сердцами — II, 532, *532*.

Надгробие И. П. и А. И. Тургеневым — II, 200, *508*.
Надпись к портрету А. П. Ермолова — II, *538*.
Надпись к портрету К. Н. Батюшкова — II, 491, *491*.
Над прозрачными водами — I, 63, *373*.

Над страшною бездной дорога бежит — I, 100, *379.*
На кончину ее величества королевы Виртембергской — I, 17, *362.*
На кровле ворон дико прокричал — I, 346 и 160, *393.*
На кровле вран печально прокричал — I, 160 и 346, *393.*
На кровле он стоял высоко — I, 282, *409.*
Наль и Дамаянти. Индейская повесть — II, 387 и 460, *544.*
Нам славит древность Амфиона — II, 144, *496.*
На пажити необозримой — II, 213, *515.*
На первое отречение от престола Бонапарте — II, 192, *506.*
На Посидонов пир веселый — I, 155 и 346, *391.*
На смерть А[ндрея Тургенева] — II, 222, *519.*
На смерть фельдмаршала графа Каменского — I, 11 и 339, *361.*
На солнце темный лес зардел — II, 217, *518.*
На ту знакомую гору — II, 197, *507.*
Невыразимое — II, 205, *511.*
Не знаю почему, по дружбе или так — II, 169, *502.*
Некогда Муз угостил у себя Геродот дружелюбно! — II, 271, *538.*
Нет, не прошла, певец наш вечно-юный — II, 162 и 458, *498.*
Не узнавай, куда я путь склонила — I, 79, *375.*
Не человечьими руками — II, 213, *515.*
Никто не зрел, как ночью бросил в волны — I, 168 и 348, *395.*
Новая любовь — новая жизнь — I, 98, *378.*
Новопожалованный — II, 170, *502.*
Ночной смотр — I, 123 и 344, *386.*
Ночь — I, 117, *385.*

О Воейков! Видно, нам — II, 238, *523.*
Овсяный кисель — II, 194, *506.*
Ода Сафы к Фаону — II, 458, *500.*
О дивной розе без шипов — II, 253, *528.*
Однажды жил, не знаю где, богатый — II, 69 и 455, *479.*
Однажды наш поэт Пестов — II, 236, *522.*
О друг мой! неужли твой гроб передо мною! — II, 222, *519.*
Озарися дол туманный — I, 61, *372.*
О милый друг! теперь с тобою радость! — I, 60, *372.*
О милых спутниках, которые наш свет — II, 209 и 459, *513.*
О, молю тебя, создатель — II, 277, *540.*
Он был весной своей — I, 321, *413.*
О Нина, о мой друг! ужель без сожаленья — I, 54 и 341, *370.*
О Нина, о Нина, сей пламень любви — II, 102, *486.*
Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе — II, 272, *538.*
Опять ты здесь, мой благодатный гений — I, 202, *398.*
Оставленная всем, забытая судьбою — II, 486, *486.*
О счастье дней моих! куда, куда стремишься? — I, 342, *373.*
Ответ кн. Вяземскому на его стихи: Воспоминание — II, 199, *508.*
Ответы на вопросы в игре, называемой «секретарь» — II, 251, *527.*
От дружной ветки отлученный — II, 198, *507.*
Откуда ты, эфира житель? — I, 73, *375.*
О той, которой боле нет — I, 380, *380.*
Отрывок (Подражание) — I, 342, *373.*
⟨Отрывок речи в заседании «Арзамаса»⟩ — II, 248, *525.*
Отуманенным потоком — I, 108, *381.*
Отуманилася Ида — I, 184, *396.*
Отымает наши радости — I, 110, *381.*

Пал Приамов град священный — I, 272, *407*.
Певец — I, 64, *373*.
Певец во стане русских воинов — I, 29 и 340, *364*.
Певец любви, отважный воин — II, 491, *491*.
Перед дружиной на коне — I, 199 и 348, *398*.
Перед своим зверинцем — II, 17, *469*.
Перчатка — II, 17, *469*.
Песня (Где фиалка, мой цветок) — I, 82, *376*.
Песня (К востоку, всё к востоку) — I, 81, *376*.
Песня (Когда я был любим, в восторгах, в наслажденье) — I, 47, *369*.
Песня (Кольцо души-девицы) — I, 87, *377*.
Песня (Минувших дней очарованье) — I, 103, *379*.
Песня (Мой друг, хранитель-ангел мой) — I, 49, *369*.
Песня (О милый друг! теперь с тобою радость!) — I, 60, *372*.
Песня (Отымает наши радости) — I, 110, *381*.
Песня (Птичкой певицею) — I, 83, *377*.
Песня (Роза, весенний цвет) — I, 52, *370*.
Песня (Розы расцветают) — I, 80, *376*.
Песня (Счастлив тот, кому забавы) — I, 55, *371*.
Песня бедняка — I, 90, *378*.
Песня матери над колыбелью сына — I, 76, *375*.
Песнь араба над могилою коня — I, 58, *371*.
Письмо к * (Я сам, мой друг, не понимаю)** — II, 229, *521*.
Плавание Карла Великого — I, 319, *412*.
Плач о Пиндаре. Быль — II, 236, *522*.
Плачь о себе: *твое* мы счастье схоронили — II, 216, *517*.
Пловец — I, 66, *373*.
Победитель — I, 116, *385*.
Подробный отчет о луне — II, 152, *497*.
Покаяние — I, 305, *412*.
Поликратов перстень — I, 282, *409*.
Поляны мирной украшение — I, 120 и 343, *385*.
Поэт наш прав: Альбом — кладбище — II, 268, *537*.
Пред судилище Миноса — II, 245 и 459, *524*.
Приношение — II, 265, *537*.
Пришла весна! Разрушив лед, река — I, *360*.
Приятель, отчего присел — II, 170, *502*.
Простишься ли без сожаленья — I, 341, *370*.
Протекших радостей уже не возвратить — II, 164, *499*.
Прошли, прошли вы, дни очарованья! — I, 85, *377*.
Птичка — II, 217, *518*.
Птичка летает — II, 217, *518*.
Птичкой певицею — I, 83, *377*.
Пустынник — I, 144, *390*.
Путешественник — I, 56, *371*.
⟨Пушкин⟩ — II, 272, *538*.

Раз в крещенский вечерок — I, 136, *390*.
Раздавайся гром победы! — II, 214, *515*.
Раз Карл Великий морем плыл — I, 319, *412*.
Раз Карл Великий пировал — I, 312, *412*.
Расстройка семейственного согласия — II, 171, *503*.
⟨Рейтерн Елисавете⟩ — II, 277, *540*.
Роза, весенний цвет — I, 52, *370*.
Розы расцветают — I, 80, *376*.
Роланд-оруженосец — I, 312, *412*.
⟨Романс из «Дон-Кихота»⟩ — II, 224, *520*.
⟨Россет-Смирновой, А. О.⟩ — II, 269, *538*.
Роща, где податель мира — I, 71, *374*.
Русская песнь на взятие Варшавы — II, 214, *515*.
Ручей, виющийся по светлому песку — I, 8 и 339, *360*.
Рыбак — I, 251, *400*.

Рыцарь Роллон — I, 323, *413*.
Рыцарь Тогенбург — I, 252, *401*.

⟨Самойловой, С. А., гр.⟩ — II, 254, *528*.
Сафина ода — II, 166 и 458, *500*.
Светит месяц; на кладбище — I, 104, *380*.
Светлана — I, 136, *390*.
Светлане — II, 228, *521*.
Свивайте венцы из колосьев златых — I, 328, *414*.
Свободу смелую приняв себе в закон — II, 204, *510*.
Сей день есть день суда и мщенья! — II, 192, *506*.
Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял — I, 58, *371*.
Сей камень над моей возлюбленной женой — II, 225, *520*.
Сельское кладбище (1802) — I, 3 и 338, *358*.
Сельское кладбище (второй перевод из Грея) — I, 23, *363*.
Се росска Флакка зрак! Се тот, кто, как и он — II, 522, *522*.
Скажи, кто ты, пленитель безымянной? — I, 106, *381*.
Скажи, чтоб там потише были! — II, 225, *520*.
Скажи, что так задумчив ты? — I, 93, *378*.
Скажу вам сказку в добрый час — II, 243, *523*.
Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче — II, 39 и 455, *470*.
Скатившись с горной высоты — II, 165, *500*.
Скупой сокровища скрывает — II, 224, *520*.
Славянка — I, 12, *362*.
Славянка тихая, сколь ток приятен твой — I, 12, *362*.
Сладко мне твоей сестрою — I, 252, *401*.
Слушайте: я расскажу вам, друзья, про мышей и лягушек — II, 59 и 455, *473*.
Смертный и боги — II, 212, *515*.
Смерть — II, 189, *505*.
Снова гений жизни веет — I, 285, *410*.
Снова лес и дол покрыл — I, 95 и 343, *378*.
Сон — I, 89, *377*.
Споет ли мне песню веселую Скальд? — I, 201, *398*.
Спящая царевна — II, 50, *472*.
Старушка — I, 160 и 346, *393*.
Старый рыцарь — I, 321, *413*.
С тех пор, как ты пленен другою — I, 51, *370*.
Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским — II, 217, *518*.
Сто красавиц светлооких — I, 116, *385*.
Стремление — II, 266, *537*.
Суд божий над епископом — I, 293 и 349, *410*.
Суд в подземелье — II, 21, *469*.
Судьба на месте сем разрознила наш круг — II, 200, *508*.
Счастие во сне — I, 92, *378*.
Счастливец! Ею ты любим! — II, 530, *530*.
Счастлив тот, кому забавы — I, 54, *371*.
Сын неги и веселья — II, 109, *489*.

Таинственный посетитель — I, 118, *385*.
Там котик усатый — II, 217, *518*.
Там небеса и воды ясны — II, 247, *525*.
Творец великих вдохновений! — II, 264, *535*.
Теон и Эсхин — II, 185 и 459, *505*.
Теснятся все к тебе во храм — II, 259, *533*.
Товарищ, вот тебе рука — II, *530*.
Тому блаженства будет на год — II, 263, *535*.
Тому, кто *Арфою* чудесный мир творит! — II, 265, *537*.
Торжественным Ахен весельем шумел — I, 257, *401*.
Торжество победителей — I, 272, *407*.
То сказано глупцом и признано глупцами — II, 189, *505*.
Тоска по милом — I, 48, *369*.
Трим счастия искал ползком и тихомолком — II, 170, *502*.

Три песни — I, 201, *398*.
Три путника — II, 207, *512*.
Тургеневу, в ответ на его письмо — II, 126 и 457, *491*.
Ты вдали, ты скрыто мглою — I, 105, *381*.
Ты видел ли замок на бреге морском? — I, 122, *386*.
Ты в утешители зовешь воспоминанье — II, 199, *508*.
Ты драму, Фефил, написал? — II, 169, *502*.
Ты предо мною — II, 260 и 460, *533*.
Ты улетел, небесный посетитель — I, 17, *362*.
Ты унываешь о днях, невозвратно протекших — II, 181, *504*.
Тюльпанное дерево — II, 69 и 455, *479*.

Увы! протек свинцовый год — II, 223, *519*.
Уединение — II, 182, *504*.
Уж день прохладно вечерел — II, 21, *469*.
Уже бледнеет день, скрываясь за горою — I, 3 и 338, *358*.
Уже утомившийся день — I, 117, *385*.
Узник — I, 261, *402*.
Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу — I, 73, *375*.
Уллин и его дочь — I, 326, *414*.
Умерен, Делий, будь в печали — II, 176, *503*.
Ундина. Старинная повесть — II, 309, *541*.
Утешение — I, 104, *380*.
Утешение в слезах — I, 93, *378*.
Утро на горе (см. «Взошла заря. Дыханием приятным»).

Хотя и много я стихами — II, 152, *497*.
Хочешь видеть жребий свой — II, 228, *521*.
Хромому — II, 231, *521*.

Царскосельский лебедь — II, 220, *518*.
Цвет завета — II, 201, *509*.
Цветок — I, 62, *373*.

Часто, при тихом сиянии месяца, полная тайной — II, 266, *537*.
Что наш язык земной пред дивною природой — II, 205, *511*.
Что с тобой, вдруг, сердце, стало? — I, 98, *378*.
Что такое закон? — II, 232, *521*.

Шильонский узник — II, 7, *467*.

Элевзинский праздник — I, 328, *414*.
Элегия, писанная на сельском кладбище — I, 334, *358*.
Элизиум — I, 71, *374*.
Эльвина и Эдвин — I, 180, *396*.
Эолова арфа — I, 190, *397*.
Эпиграмма на прославителя русских героев, в сочинениях которого нет ни начала, ни конца, ни связи — II, 227, *520*.
Эпиграммы — II, 169, *502*.
Эпиграммы — II, 225, *520*.
Эпитафии — II, 231, *521*.
Эпитафия лирическому поэту — II, 168, *501*.
Эсхин возвращался к Пенатам своим — II, 185 и 459, *505*.
Явление поэзии в виде Лалла Рук — I, 114, *385*.
Я знаю край! — I, 97, *378*.
Я Музу юную, бывало — II, 211 и 459, *514*.
Я сам, мой друг, не понимаю — II, 229, *521*.
Я свет не часто посещаю — II, 261, *534*.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В. А. Жуковский, портрет работы Гильдебрандта (1844). Фронтиспис.

Титульный лист журнала «Муравейник» (1831). Стр. 19.

Рис. В. А. Жуковского из альбома А. А. Воейковой. Стр. 37.

Гравюра А. Брюллова к «Сказке о царе Берендее» Жуковского. Стр. 48—49.

Четыре гравюры из «Фрошмеузлера» Ролленхагена. Стр. 61.

В. А. Жуковский. Портрет работы Е. Рейтерна (1832). Стр. 80—81.

Титульный лист т. I изд. Стихотворений В. А. Жуковского 1815 г. Стр. 139.

Рис. В. А. Жуковского «Памятник прямой дружбы» в альбоме М. А. Протасовой. Стр. 154—155.

Рис. В. А. Жуковского: Пушкин в гробу. Стр. 273.

Портрет Гете, подаренный им В. А. Жуковскому, вклеенный в альбом Жуковского рядом с листочком из сада Гете. Стр. 204—205.

А. А. Воейкова (Светлана). Стр. 236—237.

В. А. Жуковский. Портрет работы Е. Рейтерна (1833). Стр. 304—305.

Иллюстрация к «Ундине» Лео Майделя. Стр. 323.

В. А. Жуковский. Портрет работы К. Брюллова (1837). Стр. 384—385.

В. А. Жуковский. Портрет 1851 г. Стр. 432—433.

Обложка журнала «Für Wenige» (1818). Стр. 461.

СОДЕРЖАНИЕ [1]

ПОВЕСТИ

Шильонский узник 5 *467*
Перчатка 17 *469*
Суд в подземелье 21 *469*

СКАЗКИ

Сказка о Царе Берендее, о сыне его Иване-Царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-Царевны, Кощеевой дочери 39 *470*
Спящая царевна 50 *472*
Война мышей и лягушек 59 *473*
Тюльпанное дерево 69 *479*
Кот в сапогах 78 *480*

ПОВЕСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Две были и еще одна 84 *481*
Маттео Фальконе 93 *483*

ПОСЛАНИЯ

К Филалету 99 *485*
К Нине 102 *486*
К Б[лудов]у 105 *487*
К Батюшкову 109 *489*
Тургеневу, в ответ на его письмо 126 *491*
К Воейкову («Добро пожаловать, певец») 130 *492*
К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину 138 *494*
К князю Вяземскому 144 *496*
Государыне в. к. Александре Федоровне на рождение в. к. Александра Николаевича 147 *496*
Подробный отчет о луне 152 *497*
К Ив. Ив. Дмитриеву 162 *498*

---

[1] Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

СМЕСЬ

К К. М. С[оковнин]ой 164 *499*
Дружба 165 *500*
Сафина ода 166 *500*
Идиллия 167 *501*
Эпитафия лирическому поэту 168 *501*
Эпиграммы
1. «Ты драму, Фефил, написал» 169 *502*
2. «Не знаю почему, по дружбе или так» . . . 169 *502*
3. «Для Клима всё как дважды два!» 169 *502*
4. «Трим счастия искал ползком и тихомолком» . 170 *502*
5. Новопожалованный 170 *502*
6. «Барма, нашед Фому, чуть жива, на отходе» . . 170 *502*

Расстройка семейственного согласия 171 *503*
Моя богиня 172 *503*
К Делию 176 *503*
Моя тайна 178 *503*
К ней 179 *504*
К Филону 180 *504*
К самому себе 181 *504*
Уединение 182 *504*
К Тургеневу в ответ на стихи, присланные им вместо письма 184 *504*
Теон и Эсхин 185 *505*
Смерть 189 *505*
Бесполезная скромность 190 *505*
«Кто слез на хлеб свой не ронял» 191 *506*
На первое отречение от престола Бонапарте . . . 192 *506*
Овсяный кисель 194 *506*
Жалоба пастуха 197 *507*
Листок 198 *507*
Ответ кн. Вяземскому на его стихи: Воспоминание . . 199 *508*
Надгробие И. П. и А. И. Тургеневым 200 *508*
Цвет завета 201 *509*
К портрету Гете 204 *510*
Невыразимое 205 *511*
Три путника 207 *512*
⟨Лирическая партия из «Орлеанской девы»⟩ . . . 208 *513*
Воспоминание 209 *513*
Море 210 *514*
«Я Музу юную, бывало» 211 *514*
Смертный и боги 212 *515*
Две загадки 213 *515*
Русская песнь на взятие Варшавы 214 *515*
«Плачь о себе: твое мы счастье схоронили» . . . 216 *517*
Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским
1. Птичка 217 *518*
2. Котик и козлик 217 *518*
3. Жаворонок 217 *518*
4. Мальчик с пальчик 218 *518*

Царскосельский лебедь 220 *518*

НЕ ОПУБЛИКОВАННОЕ ПРИ ЖИЗНИ

На смерть А[ндрея Тургенева] 222 *519*
К*** («Увы! протек свинцовый год») 223 *519*
⟨Романс из «Дон Кихота»⟩ 224 *520*

Эпиграммы

I. «Сей камень над моей возлюбленной женой!» . . 225 *520*
II. «Скажи, чтоб там потише были!» 225 *520*
Брутова смерть 226 *520*
Эпиграмма на прославителя русских героев, в сочинениях которого нет ни начала, ни конца, ни связи . 227 *520*
Светлане 228 *521*
Письмо к*** («Я сам, мой друг, не понимаю») . . . 229 *521*

Эпитафии

Моту 231 *521*
Хромому 231 *521*
Грамотею 231 *521*
Что такое закон? 232 *521*
Любовная карусель или пятилетние меланхолические стручья сердечного любления 233 *521*
Плач о Пиндаре 236 *522*
К Воейкову («О Воейков! Видно, нам») 238 *523*
La grande pensée 242 *523*
Максим 243 *523*
«Пред судилище Миноса» 245 *524*
«Там небеса и воды ясны!» 247 *525*
⟨Отрывок речи в заседании «Арзамаса»⟩ 248 *525*
⟨В альбом Е. Н. Карамзиной⟩ 250 *527*

Ответы на вопросы в игре, называемой «секретарь»

Звезда и Корабль 251 *527*
Бык и Роза 251 *527*
«Взошла заря. Дыханием приятным» 252 *527*
«О дивной розе без шипов» 253 *528*
⟨Гр. С. А. Самойловой⟩ 254 *528*
«Теснятся все к тебе во храм» 259 *533*
19 марта 1823 . . . . 260 *533*
⟨Гр. А. Е. Комаровской⟩ 261 *534*
«Тому блаженства будет на год» 262 *535*
«Был у меня товарищ» 263 *535*
К Гете 264 *535*
Приношение 265 *537*
Стремление 266 *537*
Homer 267 *537*
«Поэт наш прав: Альбом — кладбище» 268 *537*
⟨А. О. Россет-Смирновой⟩ 269 *538*
«Некогда муз угостил у себя Геродот дружелюбно!» . 271 *538*
⟨Пушкин⟩ 272 *538*
Ермолову 275 *538*
«Ведая прошлое, видя грядущее, Скальд вдохновенный» 276 *539*
⟨Елисавете Рейтерн⟩ 277 *540*

ДРАМАТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Камоэнс 278 *540*

ЭПИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Ундина 309 *541*
Наль и Дамаянти 387 *544*

Варианты и другие редакции . . . . 455 —

Комментарии . . . . — *463*
Алфавитный указатель 546
Список иллюстраций 554

Ленинградское отделение издателства «Советский Писатель» просит читателей дать отзыв как о содержании, так и об оформлении книги, указав свой точный адрес. Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов. Все материалы направлять по адресу; Ленинград, внутри Гостиного двора, 122.

Отв. редактор Л. И. Тимофеев.
Технический ред. А. Кирнарская.
Корректор О. Волькенштейн. Художник М. Кирнарский. Леноблгорлит № 269. С. П. 97/Л. Тираж 8000. Послано в тип. 19/IV 1937 г.
Подписано к матр. 3/IV 1938 г.
Подписано к печати 29/I 1940 г.
Печ. л. 35. Уч.-а. л. 38,5, бум. л. $8^{3}/_{4}$.
Формат бумаги 82 × 110/32.
Набрано в тип. им. Володарского.
Отпечатано с матриц в тип. им. «Ленинградская Правда», Ленинград, Социалистическая, 14.
Заказ № 11732.

16 р. Переплет 2 р.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Читать*
между 48 и 49	1 снизу	К. Брюллова К	А. Брюллова и
277	3 сверху	вблизи	в близи
511	5 сверху	100	1086

